николай никонов

северный запад

OLS
YNGVE

ITE

НИКОЛАЙ НИКОНОВ

СЕВЕРНЫЙ ЗАПАД

ПУТЕШЕСТВИЕ

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-
УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987

84Р7
Н64

Побывав в Люксембурге, Бельгии, Голландии, в странах Скандинавии, известный уральский прозаик Николай Никонов в новой своей книге делится впечатлениями, размышляет об увиденном, о судьбах простых людей за рубежом. Читая эти очерки, мы не просто видим чужую жизнь, ярко и выразительно рисуемую писателем,— автор дает нам ощутить нечто гораздо более важное: соприкосновение личности нашего современника со сложным, противоречивым миром сегодняшнего Запада. Логический вывод, формулируемый писателем в конце, как бы высвечивает глубинный смысл книги: «И за эти недолгие дни мы, кажется, еще лучше научились понимать свою Россию».

Рецензенты:

доктор философских наук **А. Ф. Еремеев**
доктор филологических наук **В. В. Эйдинова**

Н $\frac{4702010200-078}{М158(03)-87}$ 32-87

Книга первая

Люксембург. Бельгия. Голландия

Размышление вместо пролога и предисловия

Почему так тянут нас иные страны, хоть родился от них далеким-далеко и даже представить себя жителем той земли совсем невозможно? А вот есть какое-то неясное, неосознаваемое никогда вполне, как бы идущее из глубин души тяготение: зов не зов, жажда не жажда, а что-то вроде, и не дает она жить спокойно. Не надо здесь только отождествлять сие желание с общеизвестным туристским, что ли, стремлением ехать везде: эх бы на Амазонку махнуть, в Африку, к кратеру Нгоро-Нгоро, в какой-нибудь Сингапур-Гонконг, блещущий восточной экзотикой, а можно и попроще — в Пицунду, допустим, к Байкалу, еще куда-нибудь, лишь бы вдаль. Мое желание было другое: тянула меня всего-навсего полоса земли, как бы западный край старенькой нашей матери-Европы, которая тянется, уходя к северу от меловых обрывов Бретани и Нормандии все дальше через ровную Бельгию, низины Голландии, шельфы Дании к совсем уже скальным извилистым фиордам норвежского берега. Побережная эта земля, куда от века все катит зелено-седые волны Атлантика, была, должно быть, родиной неких давних моих предков, может быть, даже из тех далей, когда человек, названный по имени деревушки Кроманьон, двигался потихоньку к северо-востоку за стадами мамонтов и диких быков, и было это на Заре времени, на той чистой, ненаселенно-дикой Земле, когда только Солнце да Ветер вечности любовно гладили каждое свое дитя.

Если есть все-таки генетическая память,— а должна быть, как не быть, если есть я, если тянется оттуда цепочка моей жизни,— то совсем уж ясно мне, что под тем ветром и теми небесами Я — не я — ОН — обозначим так, философской, что ли, формулой свою прошлую и родственную сущность — жил где-то на берегах того пасмурного моря. Почему так знакомы мне

черные смоляные челны с высоким драконовым килем,— будто вчера еще до мозольной боли тянул я тесаное древо весла, напрягаясь и подчиняясь согласному качанию-движению всех, а в лицо летел мне тяжелыми брызгами холодно-просольный океанский ветер... Я кидал гарпуны в жуткое морское чудо, я ловил серебряную бойкую рыбу, жил где-то в хижинах между песков и скал, стрелял из длинного тугого лука, носил сыромятный ремешок на рыжих и длинных светлых волосах. Я воевал мечом, таскал тяжелый кожаный щит, меня убивали, уводили куда-то, и не раз, потому что помнятся мне южные, жаркие, по-иному знакомые и тоскливо неродные страны с горько-ярким небом и нещадным солнцем, а я опять возвращался сюда, где были только серые в зелень скалы, песок и волны, женщины с овсяными волосами и белым-белым, почти как снег, не знающим загара, но кругло-прекрасным телом.

Иные такие воспоминания были ярче, чем сны, и не это ли смутное веяние предвосхищаемой прародины гнало меня к книгам, когда я был еще очень мал, даже не умел читать.

Как хорошо я помню тот летний, как будто июньский, дождевой и пасмурный день, когда за окнами было все так мокро, зелено и печально и когда мать, пахнущая дождем, принесла мне книжку в твердых тисненых корках. Она сказала, что это — сказки. И тут же почти, под моим настойчивым натиском: «Читай! Читай! Чи-тай!!» — она села к окну у стола и прочитала мне первую сказку: «Стойкий оловянный солдатик». Сказочника звали Андерсен. И от одного этого Андерсен, от самого строя слов сказки, от картинок в той книге, от самой ее тисненой обложки, где лепились друг на друга какие-то крыши-башенки и замки и стоял великан в старой шляпе, на меня вдруг пахнуло, как из растворенного окошка в т у д а л ь... О, запах полей, дождей, черепичных крыш, дождевых канав с утками, старых, мощенных камнем улиц, косогоров с серебряными ивами, запах старых-престарых таверен на берегу серого моря — он и тогда до сладости, чуть не до слез прохватил меня. И, ошеломленный им,— помню хорошо,— цепляясь за материны толстые колени — мать у меня была настоящая фламандка,— приникая к ней и весь дрожа, блестя глазами, я кричал: «Да читай! Читай же!! Еще читай!»

И слушал, боялся проронить хоть слово, прижимался к теплому боку матери. Книжку эту потом благоговейно унес в свою комнату, спрятал под подушку — от кого? Я был один ребенок в семье — но спрятал и наслаждался мыслью, что у меня есть сокровище. Там было совсем немного сказок. Все их скоро я знал наизусть. «Гадкого утенка» и «Дюймовочку», «Принцессу на горошине» и «Новое платье короля» и это чудесное, прекрасное «Огниво». Но больше всего я любил «Оловянного солдатика». Почему? Что такое за чудо скрыто в этой сказке — не могу объяснить. Или показалось мне, что это опять же я, этот солдатик с грустной судьбой, и не я ли тот гадкий утенок, не я ли даже принцесса на горошине, не я ли даже тот обманутый король.

Убежден: Андерсен не просто сказочник — он волшебник, и силу этого его волшебства я узнал куда как рано...

Вскоре к Андерсену прибавились сказки Гриммов, сказки Гауфа, еще какие-то немецкие волшебные сказки, и хоть были они тоже во многом прелестны, но как-то совсем по-иному, суше и снисходительнее принимала их моя душа.

Если уж говорить прямо, то от рождения я был «западником», разумеется, в примитивном слишком смысле, и не надо меня за это упрекать, есть ведь любят юг, север, восток, а я любил запад, может быть, еще потому, что окна бабушкиного дома, точнее, комнаты, где мы жили, выходили на теплую закатную сторону, так что видел я чаще не рассветы и зори, хоть очень их люблю, рос «рановставом», «жаворонком» и всю жизнь стремлюсь вставать рано, до шести, вместе с птицами,— так вот все-таки чаще я видел в окна ту сторону, куда опускалось солнце и где горели, погорали закаты один другого прекрасней. Эти закаты питали мою душу цветной ненасытной музыкой, ни объяснить которую, ни запечатлеть не было мне дано. Горестное это мучение потерянной красоты преследует меня и по сей день, осталось и после художественной школы, учеником которой (не так уж долго) я пытался вложить в этюды и холсты все душевное напряжение от созерцания закатных высей и далей, облаков и неуловимо садящегося солнца. Ах, сколько зря пролилось, расплескалось и забылось красоты — всех этих синих, кубовых,

лиловых, подбагренных неземной тревогой туч; кто успел запечатлеть, как они ложатся на ночлег по-над реками, над дальней далью и всеобещающе блестит в длинных гаснущих просовах меж ними, остывая и розовея, плавленое золото; что за алхимик превращает его в матовое холодеющее серебро еще не вызревшей молодой ночи? О, совершенство ее набирающих цвет холодных и теплых тонов! И не цвет ли небес, не краски ли чистых, ночных, переливающихся, осторожно потаенных зорь рождают звуки на нотном стане живописца — холсте, эти краски можно сопоставить лишь с очарованием женщины.

Когда же я добрался до толстовского романа о Петре, деяния великого императора показались мне столь естественными, будто вершил их сам. Как это все совместить? Но совмещается. Любя Россию, будучи русским по крови и по рождению, не мысля себя нигде, кроме ее вечных просторов, русского говора, русского неба, я в то же время любил и тот край Земли со вполне определенным географическим положением. Часто задавал я себе такой вопрос. Ну, почему, скажем, не Турцию, не Грецию, не Испанию, не Южную Францию? Не отвечу, не знаю. Глухо молчит здесь моя память. А вот когда вспоминаю, допустим, Польшу, в которой тоже никогда не был, нашу Архангельскую губернию, Поморье, уж не могу ответить столь категорически. Может быть, этот Я — не я — Он жил и здесь. Ведь именно здесь Русь браталась и воевала с норманнами.

Из смутных рассказов моих родителей я знал, что по материнской линии мои дальние предки выходцы из Литвы, не то еще дальше по берегу Атлантики, и, не ведая, конечно, премудрого понятия «генетическая память», о котором и поныне всплывают время от времени чахлые дискуссии, я тревожился этой памятью, может быть, как птица в пролетное время, а цветные сны, донельзя яркие, как еще неведомые полотна импрессионистов, донимали меня порой, озадачивали, мешая спокойному течению бытия.

Может быть, из всего этого и родилось увлечение живописью, литературой, историей, что и привело меня к первой моей профессии учителя. Историю следовало бы, конечно, поставить на главное место в тех мечтах, которые, несомненно, родились у всех переживших подобный искус — увидеть воочию города и площади, где

эта история творилась. Ведь одно дело, скажем, читать о взятии Бастилии, совсем иное походить по ее камням, вмощенным в площадь Этуаль в Париже. Одно дело рассказывать по учебнику о славном городе Генте, свободолюбивые жители которого, как известно, изгнали епископа-феодала, другое — рассказывать, побывав. Одно дело знать о викингах-норманнах, иное — самому посидеть на ветру над фиордом, коснуться черных боков челна, поражающего громадой корпуса и мыслью, что это были за люди, способные идти через океаны на такой вот, в сущности, утлой посудине. Про живопись уж не говорю — надо испытать трепет, с которым входишь в дом Рубенса в Антверпене, в жилище Рембрандта в Амстердаме.

Итак, постепенно все крепло мое желание поехать туда, где творил свои сказки Ганс Христиан, где жили не менее сказочные братья Гриммы, писали свои холсты Ван-Дейк и Ван Эйки — все эти большие и малые, старые и новые голландцы и фламандцы, где жрецы цвета импрессионисты искали свои сюжеты, где работал мифический как бы Торвальдсен и творили Вигеланн и Роден.

В общем, не стану я больше объяснять, почему полоса побережья, условно названная мною Северный Запад, была для меня столь тянущей землей, коль не считать мою действительную родину Урал, который, разумеется, сам собой был как родина, раз навсегда данная, единственная и неразменная, к которой, куда бы ни забросила судьба, стремился я прежде всего.

Чтобы увидеть иные земли, лучше всего идти по ним пешком (мечта идеалиста, желающего все потрогать своими руками!). Раз такой возможности нет — надо ехать. Но и для этого ехать ах как много требуется, и прежде всего — деньги. Денег же никогда у меня в избытке не было и, по-видимому, вряд ли будет. Все мои учительские, директорские и писательские доходы позволяли жить лишь без долгов. Долг же, как грядущая кара, всегда страшил меня, и поэтому я старался долгов избегать любыми лишениями. Все накопления и попытки их создать разбивались очень скоро каким-нибудь соблазном вроде коллекции кактусов, нужных книг, недешевого фотоаппарата, нового магнитофона, дохи жене, костюма себе — да мало ли еще чего. К тому же я унаследовал от матери очень ценное качество —

тратить полученные деньги как можно скорее, иначе какое от них удовольствие.

Годы складывались в десятилетия, нужды не проходили, и наконец я ощутил со всей реальностью, что положение это, видимо, никогда не изменится и либо никогда я не увижу этот Северный Запад, либо должен ехать немедленно.

Две силы угрожающего порядка: ВОЗРАСТ и ВРЕМЯ все яснее обозначались передо мной.

И МЫ ПОЕХАЛИ.

Говорю МЫ, потому что всегда, во все поездки стараюсь ездить вдвоем, то есть с женой. С женой легче переносить все трудности (они делятся на двоих), всегда есть с кем порадоваться (от этого радость удваивается), легче бывает сыскать куда-то запропастившееся мужество, когда приходится туго, все увиденное запоминается вдвое крепче — а ведь не за этим ли, не за воспоминаниями ли мы и ездим? Есть приятность созерцать домашнее лицо жены, пьющей с тобой кофе, ну, допустим, в Копенгагене. Далее. Ты избавляешься от нередкой возможности все путешествие страдать, слушая по ночам неведомого храпуна-соседа, с которым сведет судьба, и, наконец, скуднейший фонд валюты, который установили едущим за рубеж аскеты из Министерства финансов, с присутствием жены удваивается, и ты чувствуешь себя богатым по сравнению с туристами-одиночками.

Глава I

ОТ МОСКВЫ ДО ЛЮКСЕМБУРГА

Что теперь на месте владений графов Шереметевых. Таможня и пограничники. Возможность возвращения из осени в лето. Пассажиры самолета. Гостеприимство по-русски. О пользе знаний иностранного языка. Добрый доктор, хотя и не Айболит.

Мы едем на Северный Запад сразу в три страны: Люксембург, Бельгию, Голландию. Мы уже в Шереметьево, куда отличной дорогой, мимо ухоженных пред-

местий Москвы, нас доставил автобус Интуриста. Мы в Шереметьево. О, бывшие владетели, сиятельные графы и князья! Что сказали бы вы, восстав, воспрянув из праха, увидев на месте своих лесов, деревенек и пажитей эту ровную ровень, зеленую бесконечность, разлинованную знаками, цветными маячками, бетонными взлетными полосами, поле с кругящимися вдали радарами, мачтами радиомаяков, поле, населенное рядами молчаливых либо ревущих и звенящих двигателями громадных птиц, разнообразно одинаковых, белых с голубым, но с надписями: «Air France», «Finn», «India», «Japan». Наши бело-синие аэрофлотовцы поизящнее, стройнее, «капиталисты» пузатее, ярче раскрашены, на хвостах и фюзеляжах фигурные символы орлов, чаек, буревестников, даже антилоп и оленей. Думаешь, глядя на эту картину: вот оно, мирное сосуществование! Как ведь просто... Середина сентября, и стоят тихие, паутинные, левитановские дни с легким солнцем и желтыми кленовыми звездами. Поле тонет в нежной дымке голубой, золотисто-погожей осени. В такие дни и никуда не хочется ехать от своей голубоглазой России. Сейчас бы этюдник на плечо — и в леса... Вернемся — уже не застанешь золотой осени. Сожалею. Особенно когда все мы толпимся в зале досмотра, под железным ячеистым потолком — мрачной фантазией какого-то архитектора-модерниста. Всякий осмотр и досмотр неприятен. А еще неприятнее ждать его. Но бывалые таможенники, видать, без труда определяют, что нет у нас, малосостоятельных путешественников, в чемоданах ничего запретного, никто не везет ни золота, ни оружия, ни наркотиков, ни каких-то там «приспособлений для их употребления» — как сказано в декларации. А еще я написал, что нет у меня и у нас ни икон, ни картин, ни антиквариата. Ничего нет, кроме тридцати рублей, определенных на обратную дорогу, и некрупными купюрами — иных денег за границу брать не положено,— и таможня пропускает нас без досмотра. Доверие окрыляет. И, пройдя этот барьер, уже с интересом смотришь, как бдительно проверяют ребята в таможенных фуражках бездну чемоданов какого-то турка, потом японца с ровненькой и плоской во всех измерениях японочкой. Эти имеют чемодан на колесиках! В общем-то гениально простое изобретение. Ждет досмотра семья армян-реэмигрантов, тоже с кучей чемоданов, и все тут похо-

же: чемодан на чемодан, а члены семьи, армяне, друг на друга и на всех армян.

А мы идем дальше, теперь на паспортный контроль. Здесь уже не таможня — пограничники. Острыми взглядами сличаются паспорта. Похож? Похож! Стукают штампы. Лязгает, отворяется вертушка-турникет. И пожалуйте — вы уже за границей. А заграница эта — огромный зал с видом на летное поле, с удобными сиденьями, буфетами, где все спешат истратить лишние рубли, попить-поесть на дорожку либо уж безмятежно посидеть, по русскому обычаю, отдыхая от всех волнений. Уж эти проверки! Видать, слишком несовершенно еще человечество. Особенно не любит все эти «шмоны» моя супруга, бледнеет, пугается. «Чего ты?» — «Да как-то...» — «Ну, и не нужно волноваться...» — «Да как-то...» Хотя, по правде сказать, и я не люблю.

Сидим, отдыхаем. Смотрим сквозь витринные окна на поле, где все свистят и звенят, катаются и взлетают белые алюминиевые птицы. Ждем посадки в самолет. Здесь все ждут...

Наконец объявили рейс Москва — Люксембург. Почему-то я не думал, что такой рейс имеется, а вот, оказывается, есть. Москва — Люксембург. Пристроились к очереди в длинный посадочный тоннель вперемешку со здоровенными верзилами в джинсовых костюмах и замшевых куртках, многие с синими походными сумками. Похожи на забубенных студентов-буршей. По выговору вроде немцы, хотя акцент какой-то странный, многое совсем непонятно и часто повторяется что-то вроде: «А Лакснбэрж!» или «Ин Лакснбурж»! Мысль: «Неужели это люксембуржцы? Этакие гиганты-громилы?» Кажется, что в этой микростране и люди должны быть помельче. Одно из первых заблуждений путешественника. По своей привычке копировать слова и любое произношение я довольно громко брякнул: «Ин Лакснбэрж!» И на меня тотчас удивленно заоглядывались, в глазах любопытство: «Что за птица? Говорит точно по-нашему, а опереньем не похож». Жена ухмыляется. Уж она-то меня знает. Потихоньку понимаю, что все эти люди возвращаются домой в ФРГ, в Бельгию, есть и люксембуржцы,— как раз вот эти, со странным произношением. А вообще иностранцы как-то наособицу самоуверенны, говорливы, громки, чтоб не сказать более, очень обеспокоены, хотя, может, и не все, собственным

достоинством. Как отличались мы от них своей тишиной, подавленностью расставания с родиной и еще чем-то — трудно было здесь признать в нас хозяев, а в них — гостей, было все как-то вроде бы наоборот.

Замечу, кстати ли, некстати ли, что иностранцы и вообще гости в России пользуются таким уважением, почетом и доброжелательством, что иные принимают это как должное, а иные почему-то начинают считать чуть ли не своим правом глядеть на хозяев свысока, как хорошо говорят у шведов, «с высокой лошади», и во многом содействуют этому наши же отечественные люди из сферы обслуги, готовые глядеть любому иностранцу в рот, гнуться и лебезить, кланяться каждой иностранной тряпке, лишь бы на ней было фирменное, то бишь заграничное, клеймо. И в прямом соответствии у этих же людей, обслуживающих иностранцев, потеря уважения к собственным гражданам, к соотечественникам. И не хочется писать об этом, а приходится. Вспомнилась мне ассоциативно, всплыла в памяти сценка из недавнего прошлого. Жили мы как-то семьей, жена, я и дочь, в гостинице «Минск». Жили, ходили обедать в ресторан, жара в Москве стояла немыслимая. И вот в один такой полдень являемся к обеду — на столах накрытых пивко из холодильника, запотелое. Как хорошо! — радуемся (главным образом я). Пытаемся сесть. Тотчас подлетает добрый молодец: «Нельзя сюда!» Смотрит весело, нагло. «Почему нельзя?!» — «Для иностранцев накрыто».— «Ну, что ж? Проводите, пожалуйста, где свободно».— «Садитесь там!» — махнул через плечо. С полуиспорченным настроением пересаживаемся. Ждем. Подходит наконец. «Значит, так, пива холодного, пожалуйста».— «Нет пива!» — «Как же — нет?» — показываю на те столы. «Это для иностранцев».

Не продолжаю. Думаю только — случись такое там, «у них», ресторан, пожалуй, взяли бы в пикеты. Ну, да бог с ними, с такими воспоминаниями. Уже ведь едем в автобусе по летному полю, поднимаемся гуськом по пружинящему трапу, и последний взгляд на это родное осеннее поле с перелесками вдали. Там ведь, в Люксембурге, еще, конечно, лето.

Едем. Самолет совсем скоро тяжело покатился, завыл, зазвенел, погнал полосой, как волшебный неудержимый конь, и вот уже, задрав нос в синеву, вынес нас в заоблачье, а в проходе появилась отлично раскра-

шенная москвичка стюардесса с тележечкой. Летим. «Ин Лакснбэрж!» Самолет не перегружен: нас двадцать пять, человек пятьдесят — семьдесят иностранцев. Говор — главным образом немцы, и все с тем преимущественно описанным выше выражением. Позади нас расположился типичный бюргер, какой-нибудь «доктор Лей, доктор Фрич», толстый, вернее, жирненький, с водяными, голубоватого тона глазками навыкат, тонкая золотая оправа очков, и оттуда благостное, сытое, благонамеренное чванство пополам с мечтательной снисходительностью. Вся жизнь отпечатана на этом лице, оттиснута в прошлом гусарстве, в нынешнем благообразии — все тут есть: молочные сосисочки, домашний шнелльклопс, и розовые девочки, и кой-какие грешочки, и койкакие невинные увлечения, и даже тополя и платаны в Баварии, где, вероятно, есть у господина уютное гнездышко. Как умел изображать таких Генрих Цилле! Рядом с «доктором» беспрерывно стрекочущая жена, а не то экономка, черноватая, тощенькая, очень громкая и надоедливая. К этой паре, невзирая на включенное табло, то и дело перекочевывает через проход некто с мутным лицом обеспеченного забулдыги. Он хмелен, беспрестанно курит, опять невзирая на включенное «Ноу смокинг!», то и дело подкрепляется коньяком из походной плоской фляжки. Какие тошно-горючие у него сигареты! Ахти батюшки, как далеко ушагал я от воображаемой прародины, если едва терплю ее представителей, хотя, сказать по чести, пьяниц, нахалов, всякую чвань-приставань никогда и нигде не жаловал,— имею о том многие рубцы в памяти.

Стюардесса, москвичка а-ля Запад, тонкая и звонкая, несколько длинноватая для пропорционально сложенной женщины (а может, так кажется в самолете), с козьим внимательным личиком, везет мимо на столике-каталке икру, коньяк, водки, баночное пиво и сувенирных матрешек. Это на валюту. Для иностранцев. У нас валюты нет еще. Иностранцы кое-что берут, главным образом пиво. Шелестят доллары, франки, марки. Пьяный немец машет сторублевкой, сует ее стюардессе. Она вежливо отклоняет рыжеволосую лапу. Немец доволен, ржет, одновременно пускает клубы дыма ей в лицо. Но стюардесса выдержанная, вышколенная — с вежливой улыбочкой катит тележку дальше, отсчитывает сдачу.

Забулдыга поднимается, тяжело идет к заспинному моему соседу и опять дышит мне коньяком, сигаретами в лицо и в ухо. Перегар ужасный, так пахнет мусорное ведро, куда плеснули коньяку.

— Осадить его, что ли? — спрашиваю у жены, хотя в таких случаях не надо спрашивать.— Уж больно нагл...

— Что ты?! Не надо... Потерпи...— успокаивает жена.

— Форзихьт! [1] — говорю я, имитируя как можно точнее.— Энтшульдиген зи [2],— и убираю рыжую лапу, мешающую мне сидеть.

На опойном лице изумление.

— Ва-ас? Шпрехен зи дойч?!

— Я-я! — убеждаю в ответ.

— О-о! Гу-ут!

Больше он не надоедает, увлеченный своей фляжкой и сигаретами, которые разбавляет купленным пивом.

— Пригодились знания,— говорю я жене.— Как в том анекдоте.

— В каком?

— Ну, когда кошка лаяла собакой.

Бюргер за спиной начинает говорить тише. А я-то ведь, в сущности, знаю язык не больше той кошки. Так, самую малость... Крохи. О, дойч! Немецкий язык! Сколько я тебя учил! В школе, в институте, на курсах, самостоятельно. А в итоге: форзихьт! Энтшульдиген зи. Да на всякий случай у меня есть еще две классические фразы: «Ихь ферштее нихт!» [3] и «Ихь шпрехе дойч шлехт!» [4].

Но здесь они пока не пригодились.

Слева от нас через проход сидит чета японцев. Предполагаю, что это новобрачные, совершающие свадебное путешествие. Японцы и здесь отличаются от всех, точно представители иной цивилизации. Оба — он и она — плосколицы, синеволосы, оба вне возраста, оба одеты с японской простотой и аккуратностью. Оба в очках, тоже какого-то своеобразного азиатского вида. Вспоминаю — это они катили в порту чемодан на колесиках. Усовершенствование особенно умилило мою жену. Надо

---

[1] Осторожно (*нем.*).
[2] Извините (*нем.*).
[3] «Я не понимаю» (*нем.*).
[4] «Я плохо говорю по-немецки» (*нем.*).

же! Чемодан на колесах, да еще, возможно, с микромотором? С компьютером, управляемым по радио? Всего можно ждать от японцев. Они и тут, едва сев в кресла, очень целеустремленно достали какие-то удобные доски-блокноты, отщелкнули крышки, вынули авторучки. Чертят свои иероглифы сверху вниз. Все спокойно. Без суеты. Потом они снимали через иллюминатор бесшумной кинокамерой. А я-то со страхом почти читал предупреждение, что на борту самолета не разрешается даже вынимать кино-фото из чехла. К чему сие? Строгости от шпионов? Но шпионы, то бишь спутники, день и ночь висят теперь над Землей. Вся она заснята до последнего уголка, вся расшифрована. «Секрет для того, чтобы было секретно».

Японцы же, окончив снимать, вытащили плоский, похожий на портсигар транзистор, выдвинули антенну и надели карманные наушники — так они сделались еще более похожими на инопланетян: в наушниках, с транзистором, с блокнотами на кнопках, в которых продолжали чертить сверху вниз колонки каббалистических иероглифов.

Наушники при транзисторе меня очень порадовали. Вот бы так всегда, везде — слушай, радуйся, ублажай музыкой душу, не мешай жить другим. Ну, кому это нравится (а все видели, пережили), когда вваливается с орущим транзистором в трамвай хмельная ватага и ну ублажать свой вкус, дурной чаще всего, не обращая внимания на тех, кто морщится, не рискует протестовать...

А самолет наш, забравшись километров на десять в поднебесье, летел теперь то ли над Польшей, то ли над Германией. Сквозь двойное стекло иллюминатора, сквозь реденькую дымку внизу, голубея, просвечивала желтовато-коричневая и зеленая карта. Вспоминался школьный план. Уроки географии, в прошлом и как бы вот так же далеко. Вся земля внизу — видно отсюда — иссечена, излинована: кусочки, погончики, талончики, а то вот бывают еще такие дохи, жилетки-дубленки из лоскутьев под названием «мой папа скорняк». Коженные сравнения лезут мне в голову, ведь в иных местах земля выглядит старой, выношенной и облезлой, как бы от моли, овчиной, и там, где «мех» еще сохранился, курчавится зеленовато-темный и коричневый лес. Жалкие остатки некогда великих, покрывавших большую

часть Европы широколиственных и хвойных лесов. Сверху лучше видишь и понимаешь, что делает и сделало человечество с Землей. Лесу больше, когда летим над горами, но здесь и больше облаков. Земля опять скрывается за белой клубящейся мутью. Потряхивает. В иллюминатор кажется, что самолет полегоньку машет крыльями.

Одну из наших дам — красивую, яркую женщину, жену руководителя группы,— укачивает. Она бледнеет и, в общем, еще более хорошеет, но муж обеспокоен — жене плохо. И тут появляется спаситель. Он сидит впереди. Мужчина спортивного вида, абсолютно седой — по волосам шестьдесят — восемьдесят, по розовому лицу разве что сорок. Видно, из тех, что умеют сохраняться без возраста, конечно же йог, супермен — теннис, яхты, горные лыжи, что-нибудь еще в том же стиле. И у нас теперь на Руси есть такие, но чаще мы, русские люди, все-таки не похожи на витринные манекены, чаще мы (речь идет о мужчинах, конечно), если имеем за плечами сорок — выглядим на шестьдесят, если шестьдесят — всегда по виду десятку накинуть хочется. И дедушкой, глядишь, в полсотни обзовут какие-нибудь бойкие ребята.

Спортивный же красавец, оказывается, конечно, «арц» — врач, тут же дает нашей даме какой-то шнапсин, и вскоре все в порядке, женщина розовеет, начинает улыбаться. А добрый доктор кивает ей с усмешкой всемогущего. Завидую, завидую таким мужчинам, хоть и значительно моложе супермена, ему-то все-таки, полагаю, за шестьдесят. Эта мысль как-то вроде бы успокаивает,— все, наверное, эгоисты, хоть вдалеке, про себя, и я не исключение тоже. Да и что такое эгоизм? Грубое, в общем, слово, только что не бранное, нехорошее, но сейчас его редко употребляют — есть более культурные, достойные обозначения того же самого, причем они словно бы предназначены украшать: индивидуализм, некоммуникабельность, неконтактность, созерцательность, уход в себя... Что еще? Ну, там, творческое состояние, юношеский эгоцентризм... Не продолжаю...

Самолет между тем явно начинает клонить. И спасительное табло «Ноу смокинг!» воодушевляет и оживляет мою жену. Всю дорогу она задыхалась от табачного чада. Не могу понять, почему на внешних линиях не действует правило не курить в полете, а как бы надо

во имя большинства некурящих, детей, женщин, астматиков...

Опять ощущение опускающихся качелей. Чье-то повизгиванье. Самолет укачивающе сипит, сбавляет скорость, делает круг. Вижу в иллюминатор игрушечный пейзаж: домики под яркими крышами, башенки, рощицы, каменные стены, серые ленты дорог и опять аккуратно разграфленная земля. Теперь-то уж яснее ясного видишь: вся она здесь чья-то, частная, неприкосновенная, куда не ступишь ногой в простоте, не пойдешь куда глаза глядят, с рюкзачком,— от всего этого мы, русские, советские, в общем-то давным-давно и напрочь, скорее, отвыкли.

Глава II

СТРАНА ЛЮКСЕМБУРГИЯ

«Люксембург. Великое герцогство. В прошлом частично входило в Нидерланды. В современных границах с 1839 г. Площадь 2,6 тысячи кв. километров. Конституционная монархия. Глава государства Великий герцог. Законодательный орган — палата депутатов. Территория страны занята преимущественно холмистой равниной. В 1 и 2 миров. войны оккупировалась Германией. Планы Германии аннексировать Люксембург были сорваны всеобщей стачкой 1942 года. Первое место в мире по выплавке металла на душу населения. Входит в Бенилюкс, в том числе в таможенный союз с Бельгией. Население 358 000».

Из словаря

«Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в аэропорту Люксембург. Экипаж желает вам счастливого пути!»

— Вот мы и в Люксембурге. Понимаешь ты? — спрашиваю жену. Она кивает с какой-то странной нездешней улыбкой.

Спускаемся по трапу на небольшой — или так кажется? — пожалуй, провинциального вида аэродром. Ров-

ненький, словно бы и без взлетных полос, очень чистенький, как где-нибудь у нас в Тобольске. Травяное поле под ногами, та же вот луговая овсяница, клеверок, сухой, быльчатый подорожник. Пешком идем к невысокому зданию аэровокзала, на крыше, как на трибуне, машут какие-то встречающие. Здесь совсем еще лето, пахнет скошенной травой, веет полевым ветерком, верчу головой — иллюзия, да и только, будто бы приземлились не в центре самого густонаселенного региона старушки Европы, а где-то на дальнем краю ее, в Предуралье, в не слишком людном Шалинском районе родимой Свердловской области. Вот только внезапное почти смещение времени и сезона мешает. Прилетели из осени, желтых лесов, вечереющего дня в лето, в зелень и в полдень... И еще ощущение: прибыл в маленькую, добрую и улыбчивую страну. Даже с первого взгляда здесь все какое-то мягкое: воздух, дымка над полем, зелень леса вдали на полтона мягче нашей и словно бы укороченное пространство и время. От слова Люксембург веет невольным уменьшением, его непроизвольно ждешь, ищешь, но находишь не всегда, о том еще будет свой сказ. А пока, например, люксембургские таможенники — дюжие парни в серых и зелено-голубых фуражках и с огромными кольтами на боку: пистолеты здесь носят в кобурах на манер ковбоев, в кобуре только ствол,— показались нам великанами. Великаны эти было угрожающе двинулись навстречу нам смотреть чемоданы, а потом вдруг расхохотались, махнули, и мы прошли без досмотра через турникеты таможни вслед за нашей проводницей из Интуриста к выходу из вокзала.

У расписного белого в голубую и синюю полосочку автобуса «Мерседес» нас уже ждал, встречал, приветствовал, как родных, суховатенький, очень похожий на кого-то донельзя знакомого человек с обличьем типичного служащего, даже, пожалуй, конторщика, счетовода, легкий, подвижный, улыбающийся, сама доброжелательность — месье Роже — наш гид от фирмы «Вирц», бельгиец, мужчина лет сорока — пятидесяти. Месье Роже говорил по-русски довольно прилично, конечно, с акцентом — так говорят наши прибалтийцы, но акцент этот как-то сразу всем нам понравился, делал речь его более запоминающейся, колоритной и, может быть, несколько юмористичной. Мне много раз придет-

ся демонстрировать речь месье Роже, а пока мы расставались здесь с беспрерывно фотографирующими японцами и шумными немцами, которые садились в свои «фольксвагены».

В автобусе сидел за рулем шофер месье Леон. Понятие шофер с трудом примеривалось к лицу и сединам этого человека. Элегантный мужчина в рубашке, отливающей голубоватой сталью, с перстнем и обручальным кольцом на холеной руке, он походил больше всего на заслуженного артиста, на кинопродюсера. Скорее это немец, хотя говорит по-французски, в меру любопытный взгляд, на самом донышке отлично замаскированное презрение. Далеко оно припрятано. Впрочем, может быть, я не прав,— все это вечная моя привычка заглядывать в душу дальше положенного. Вот, беседую, встретился с хорошим человеком: «Привет!» — «Привет!» — «Как живешь, дружище?» — «Все по-старому».— «Не болеешь?» — «Вроде нет».— «Ну, рад за тебя, а ты хорошо выглядишь!»

А вот знаю, вижу, врешь ты, дружище, врешь и, как шофер этот, замаскировался улыбками, спрятал презрение, а может, и что похуже. И выгляжу я, значит, плохо, раз ты так рассыпался. Прав, прав был мудрец Шамфор, когда писал: «Все мои друзья делятся на три категории: друзья, которые меня любят, друзья, которые ко мне равнодушны, и друзья, которые меня ненавидят». А вот улыбается: «Хорошая погода!» — «Да, нет, у меня давление. Перепады, понимаешь».— «Понимаю: перепады. Понимаю. Давление». Понимаю — врешь!

Но, простите, отвлекся от Люксембурга. Ах, месье Леон. Что, если я вас невзначай обидел? Простите уж меня. А шофер вы отличный, артист.

На сиденьях автобуса каждого ждут синие с белым кантом и белым гербом сувенирные сумки. Надпись на фоне меридианов земного шара: «Вирцайр». «Подарок компании!» — объясняет гид. Дивлюсь щедрости. А в синих сумках еще белый пластиковый кошелек с той же эмблемой — только синий теперь остов земного шара и синяя корона над ним. В кошельке же незнакомые банкноты. Понимаем, рассматривая, что это бельгийские зеленые и розово-серые франки, а синие — голландские гульдены.

Выясняется, что это также в некотором роде презент фирмы — деньги за наши будущие ужины, которые

мы можем организовать сами или не ужинать и потратить эти гульдены-франки на собственные нужды. Неожиданность весьма приятная, ведь мы разбогатели на сумму, даже превышающую наши обменные тридцать рублей на душу.

«Тысяча шестьсот франков! Да еще восемьдесят гульденов! Это же колоссальные деньги!» — говорит кто-то сведущий в валютных курсах. Деньги новенькие, красивые. На банкнотах бельгийцев изображения художников, писателей. Узнаю, например, Рубенса, а там еще кто-то в средневековой мантии, в камилавке, уж не Эразм ли Роттердамский? Еще некто с короткой бородой, одетый в латы, вроде Валленштейна, на кредитках в двадцать франков моложавый король бельгийцев Бодуэн. История искусства отражена и на голландских гульденах. Хоть так художники и писатели уравнялись с коронованными особами, мысль такая высказывалась еще в средневековье: «Перо дает такую же власть, как и скипетр».

Некоторое время в автобусном салоне стоял гвалт, как на бирже. Наши бывалые «западники», так окрестил я группу тех, кто уже не в первый раз ехал за рубеж и без конца подчеркивал эту свою опытность и просвещенность в зарубежной жизни, мгновенно переводили суммы в франках и гульденах на рубли. И хотя при таком пересчете тысяча франков превращалась в каких-нибудь двадцать рублей, мы приятно почувствовали себя состоятельными людьми, разумеется, в пределах благопристойности, умеренности, как говорил известный подпольный миллионер Корейко, «без шика, без этого гусарства!».

Автобус катил меж тем по отлично разлинованной белыми полосами дороге с голубыми щитами-указателями над ней, мелькала на обочинах реклама сигарет, виски, кока-колы, а по сторонам тянулся кудрявый и свежий хвойный лес, чуточку, может быть, не такой, как у нас, то есть более теплый и южный.

Пока тянется этот пейзаж, напоминающий мне шоссе от моего родного города до аэропорта Кольцово (тоже соснячки, тоже отлично обустроенная автострада и такие же знаки на ней, нет только изобилия рекламы, да и нужна ли она на шоссе?), познакомлю читателя с нашей путешествующей группой. А так как группа все-таки велика, вместе с гидами тридцать человек, и

характеризовать каждого ее члена было бы утомительно, решил я, не выделяя никого в особенности, описать ее по каким-то общим признакам, интегрируя их и объединяя на основе приобретенного опыта. Так, может быть, и действительно лучше и обид меньше: того не упомянул, этого исказил... Как водится, состоит она преимущественно из москвичей, хотя бывает и была тут небольшая ленинградская фракция и по одному-два человека уже из других областей. Не главный это принцип деления, но и по нему можно классифицировать: москвичи, уж так повелось, помимо столичного лоска, собственной сплоченности всегда осведомленнее, громче, бойчее, нахрапистее, еще одно определение вертится, да не стану употреблять, потому что не все москвичи такие. Ленинградцы сдержаннее. Периферийные новички всех тише, подавленней. У них, как правило, большие растерянные глаза, в которых бесконечный вопрос. Есть в группе, как писали Ильф и Петров, «процент национальных писателей», процент жен, процент чьих-то дочерей, наконец, два-три человека и вообще как будто не относящиеся к писательской организации. В плане иерархическом есть (и был) обязательно один (два) известный писатель во всем кожано-пиджачно-трубочном величии и со взглядом светлейшего князя, есть два-три писателя рангом пониже, но тоже известные, как бы мэтры. Далее идут модный очеркист, пишущий на моральные, судебные темы, ходовой драматург, остальные обыкновенные. Могут быть и не числящиеся еще в справочнике Союза писателей. В плане интересов и взглядов всегда четкая группа «западников», обычно одетых почти по-парижски: джинсы и курточки, какие-нибудь кепочки, замысловатые обязательно. Поменьше густоволосых, бородатых хотя бы, славянофилов. Есть все хулящие брюзги. Ну, и есть обыкновенные путешественники, ничем не лезущие в глаза. В возрастном разрезе группа делится так: старики лет за семьдесят — это самый любознательный и выносливый народ, бодрые сорокалетние, которым хочется выглядеть на десятку моложе, молодые женщины от двадцати до пятидесяти, более-менее равновозрастные супруги и, наконец, «молодожены», как мы их все называли. Молодожены бывают (и были) в двух вариантах. Первый и более распространенный: бодрый семидесятилетний мужчина и миловидная жена лет на тридцать — сорок моложе, второй и

менее распространенный — зрелая, чтобы не обидеть, женщина, закамуфлированная косметикой в сорокалетнюю, и — супруг. Как страшно пролетел я в этом случае, еще в Москве, на первом сборе группы, вежливо осведомившись у дамы: «А вы... с сыном?» О, боги! О, гнев! О, испепеляющая сдержанность. «С-с-с.... мужем!»

Ну, а если отбросить юмор — все люди как люди: достоинства, недостатки — все есть, и мы с женой не исключение. Один-два зримо несут свою славу, два-три также несут, но не стараясь подчеркивать, трое-четверо молчуны, пять — семь говоруны, есть записной остряк, есть все время спрашивающий, есть парочка модниц, старающихся поразить воображение жителей Европы туалетами на каждый день, есть супруги, никогда не опаздывающие, есть супруги же, вечно опаздывающие, одна постоянно теряющаяся женщина (или мужчина) и, наконец, женщина, *которой все обязаны помогать*, потому что она так считает. «Но где же мужчины? Мужчины?!» — ее постоянный возглас. Все не вошедшие в эти классификации люди лишены недостатков. В число их входит, конечно, руководитель группы и представительница Интуриста. Она как жена Цезаря.

Замечу только, что всю эту классификацию я создал не сразу, а много позднее, став уже заядлым путешественником и перебывав во многих разрядах собственной классификации, кроме первого, да еще разряда «молодоженов», а также потрясающих Европу туалетами и теряющихся.

Автобус все так же весело, плавно катил по шоссе к Люксембургу, но уже миновал лес, шоссе двинулось в пояс предместий, которые теперь разрастаются по всему миру, ибо человек понял как будто свою ошибку — бегство от природы,— кинулся к ней обратно, спеша, однако, прихватить все достоинства покидаемого города. Уютные домики, окрашенные в светлые, пастельные тона, замелькали справа и слева, разнообразные виллы и виллочки радовали глаз примерной ухоженностью, стенками дикого камня, лоджиями, террасами, каменными лестницами и модерновыми уступами, все это с разнообразно подстриженной, выхоленной, безупречно посаженной зеленью. Как-то незаметно мы въехали и в сам Люксембург, в город, и даже сразу

почти в центральную часть, где месье Леон, демонстрируя свое превосходное водительское мастерство, вел автобус по нешироким каменным улицам, не слишком этажным, преобладали три-четыре этажа под черепичными крутыми крышами, включая обязательную поэтическую мансарду. Вскоре мы оказались в центре Люксембурга, чем-то напоминающем нашу Ригу. Площадь. Вокзал. Радиальная застройка. Здесь же, у вокзала, на площади, уютная гостиница с пышным именем «Эльдорадо». Никаких формальностей. Ключи выдает девушка лет шестнадцати. Говорит по-немецки. Нам достается номер «зибен» на втором этаже. Номер хороший, просторный. Вид на центральную площадь. Конечно, шумно, однако к шуму нам не привыкать — живем в Свердловске на стыке двух оживленных магистралей, мешает нам уже не шум — тишина. Номер выкрашен в теплый розово-желтый цвет, в тон стенам золотистые тяжелые шторы у окна, розовое покрывало на огромной двуспальной кровати, сулящей покой и отдых. Тут же тумбочки и кресло, холодильник-микро, наподобие нашего «Морозки». Заглянул: вино, коньяк, виски, шампанское, кока, пиво. И везде возле бутылок крохотные этикетки — цена. Изучив цены, тут же отказался от желания открывать даже пиво, про шампанское не говорю (стоило оно рублей двадцать пять по нашим деньгам). На тысячи же этих франков, какие мы получили за ужины, можно было рассчитывать бутылки на две. Закрыл холодильник. Но пить захотелось зверски. Лучше бы не заглядывать. Поискал глазами графин — не нашел. Ах, как захотелось пить! Ведь в самолете давали тоже какой-то наперсток. (Вот даже сейчас пишу, вспоминаю и хочу пить.) Особенность моя отрицательная — водохлеб. Чай пью до пота, пиво, конечно, не по бутылке. Что такое бутылка?! И чашка у меня дома купеческая, дулевского завода. Аппетитная чашка. Что же мне теперь делать?

Но жена, в общем не разделяющая мои муки, сказала, что пора на экскурсию по Люксембургу, и, заглушив жажду, я покорно последовал за супругой.

Мы вышли в теплый, солнечный полдень, хотя мне все казалось, что дело идет к вечеру,— смещение времени не давало жить спокойно. Здравствуй, Люксембург! Какова ты, сказочная страна, в давних детских представлениях вроде свифтовской Лилипутии? Здесь

прошу я прощения у люксембуржцев — народ они в основном все здоровый, рослый, румяный. Но таков стереотип мышления, внушенный понятием «маленькая страна»: карликовое государство — значит, и все должно соответствовать этому понятию: дома, люди, дороги, мосты, речки. Город же сильно напоминал если не Ригу, то многие наши прибалтийские города в летнюю пору. Те же шпили соборов, косые отвесы черепичных мансард, несуразно как-то уютные, некрасиво-милые дома той самой андерсеновской сказки о стойком оловянном солдатике, серый камень, старый-престарый кирпич и яркие, ярчайшие даже, цветы в ящиках перед окнами на особых предоконных полках. Простые и недорогие цветы. Видно, что здесь их, в этом царстве старого камня, домов, стен и мостовых, очень любят, но сажают чаще по полкам: полка красных цветов, синих, белых, желтых. Цветы везде: у тротуаров, в маленьких скверах, под окнами в палисадничках, вдоль дорожек в парках: цинии, канны, герани, фуксии, гортензии, герберы, алиссумы и еще что-то местное, незнакомое. Цветы оживляют каменный Люксембург, ими город улыбается, подчеркивает свою вечную молодость. Молодость и старость, так странно сочетались они в этом городе. Даже вот эти детски юные цветы и много старых-престарых дубов, ясеней, каштанов, платанов, буков, каких-то хвойных, вроде туи, и даже совсем южные, с блестящей кожистой листвой магнолии. В сочетании с алыми, индиговыми, белыми и апельсиновыми полосами цветов все походило на яркую олеографию; впрочем, и окраска некоторых домов была модернизирована: в три, в четыре цвета.

Итак, первое впечатление: Люксембург — город-сад, город-прошлое, город, который можно было бы назвать музеем времени — так легко соединяется здесь прошедшее с настоящим, далекое прошлое с прошлым близким, здесь уводит, уносит в историю старина, а возвращает к действительности какой-нибудь блистающий никелем «кадиллак» или гул-след реактивного лайнера в вышине.

В отличие от многих виденных мною городов Люксембург расположен, казалось бы, в совершенно неподходящей для застройки пересеченной местности. Что бы вы сказали о той же Риге, если бы центр ее поместить в широкое ущелье, долину реки с обрывистыми

берегами? Мосты связывают ярусы берегов, сверху вниз можно смотреть на расположенные в этой долине дома и крыши, в иных местах внизу и на обрыве останки древних стен, по которым вьется, висит, а лучше бы сказать, в которые вгрызается такой же древний и вечный плющ. Стены-развалины римских укреплений времен Цезарей, войны с галлами и германцами — здесь и было нечто вроде пограничной крепости, где стоял римский легион. Руины еще крепки, и эта забытая богом и временем кладка еще дальше уводит в прошлое, дальше, чем улицы тысячелетнего средневековья, на которых игрушками смотрятся яркие, чаще морковного, красного или голубого цвета, «фольксвагены», «ситроены», «рено» и «тойоты» — подобие наших «Москвичей» и «Жигулей».

Здесь, в центральной части старого Люксембурга, у реки, нет и не будет, видимо, торжества небоскребов, бетона, стекла, «надземок» и «подземок», цветного дрыганья рекламы, чем как бы традиционно отмечены большие западные города. Современный Люксембург, как мираж будущего, голубеет вдали, за мостами,— там нечто вроде наших Черемушек, Юго-Западов, и смотреть, по-видимому, там особенно нечего. Во всяком случае наша пешая экспедиция-прогулка туда не предусмотрена. Мы бродим по старому городу, и хотя он тоже довольно оживлен, все-таки дышит более тишиной, патриархальностью, вековым уютом и покоем. Он кажется раем для стариков, пенсионеров, людей, доживающих век в одиночестве и в усладах прошлого. Разумеется, людей обеспеченных, ибо гид наш, месье Роже, подчеркнул, что в Люксембурге живет много пожилых европейцев и даже американцев. Люксембургская старина все-таки особенная, наводящая на мысль о бодрой и даже жизнерадостной старости. Она живет по своим канонам и, чувствуется, не хочет жить иначе. Это ухоженная и омоложенная в меру сил старость, умиротворенное благополучие. Это старина, прибранная и особорованная благопристойностью многих поколений, живших тут и передавших свои жизненные устои другим, кто лелеял эту землю, клал эти камни в мостовые, творил этот город и в свою очередь передавал любовь к нему дальше.

Облик города — облик его жителей. И наоборот. Лицо жителей словно как-то неуловимо содержит в себе

лик и атмосферу города, местности, где он расположен, может быть,— это уже фантастика,— облик его строений. Люксембуржцы действительно напоминают свой город, подходят к нему так же, как коренные москвичи к Москве, ленинградцы к Ленинграду, свердловчане к Свердловску, а жители какой-нибудь древней слободы Кунавино к этой слободе.

Благообразные старички, сидящие с газетами на теплом солнышке где-нибудь в сквере под косистыми серебряными ивами, старухи, с моложавой бойкостью поблескивающие отличными вставными зубами на лавке под узловато-древним задумчивым дубом, неброско одетые женщины, в облике которых первое — трудолюбие и старательность, дети-школьники — подобие пасхальных немецких открыток. Вот такие милые дети перебегают дорогу с кожаными ранцами на спине, мальчики и девочки с длинными, цвета хорошего льна волосами. Добрые, приятные лица, теплые голубые взгляды. Таких детишек помнишь еще по гравюрам Дюрера, в каких-то чепцах, коротких платьицах, кружевных панталончиках, деревянных башмачках-кломпах. Кломпов, правда, не было. Школьники и школьницы были в неизбежных, заполонивших мир джинсах, вельветках и тому подобном массовом наряде обезличенного модой современного горожанина.

Спокойствие — вот, кажется, главная черта люксембуржцев, но спокойствие не холодное, не олимпийское, не англосаксонское, привитое строгим воспитанием, а какое-то дружеское, располагающее к себе и в то же время сопряженное с безмятежностью, уверенностью в непреходящей сути этой жизни, города, шпилей церквей и башен, упертых в тихое небо, густых ив, чеканной серой листвой клонящихся к чистым, незаплеванным тротуарам. Спокойствие это и в ясной улыбке цветов, открытых теплому небу, и даже в шеренгах дремлющих автомобилей, которых здесь много, но как-то в меру. В целом город производит впечатление большого, даже огромного, хотя в нем всего восемьдесят тысяч жителей и, значит, он в шестнадцать раз меньше моего Свердловска и в десять раз меньше Риги.

И еще одна примета Люксембурга — это царство плюща. Плющ — как будто знамение старины, он растет тут, свисая с берегов речного каньона, где открывается великолепная панорама города, висит на стенах,

взбирается под черепичные крыши, вьется по останкам римских бастионов. Что это за растение, почему так подходит к морщинистому и безлетному лику моей музы Клио? Плющ словно бы сопутствует руинам истории человечества. Как странно любит он самые старые каменные дома, как висит, растекается по ним сложным узором и, точно древо жизни, всем видом своим возвещает, что весь мир сей от века живой «сеется в тлении и встает в нетлении» и что даже древность этих стен всего только седина вечного времени. Европейский плющ не какой-нибудь вьюнок, погибающий от первого мороза, фактически это как бы вечно живущее дерево, со стволом, скрытым от взглядов своей блестящей, плотной, треугольной листвой, растекающееся по самым отвесным стенам. Я видел в Европе плющи у основания ствола в руку Геракла. И одному богу ведомо их долголетие. Плющ вечен — к такому приходишь выводу. Он удивительно запоминается. Вот, например, помню,— это уже позднее, когда я был в Париже, плыл на прогулочном судне по Сене,— у одного из мостов, перед островом Ситэ, где стоит знаменитый собор Парижской богоматери, открылась мне замечательная, неописуемой красоты картина. Древний Нотр-Дам смотрелся своими двумя башнями-главами через сучья платанов и дубов, уже начавших зеленеть, а ниже их, с каменной стены набережной, свешивались в Сену темно-зеленые бороды плюща. Ах, какой был вид, какой вид, даже несмотря на капающий весенний дождь. У меня, как всегда в таких случаях, отказал фотоаппарат, словно знал, что такую красоту нельзя снимать, а надо запомнить и задержать в своем сердце. И я запомнил этот величавый плющ не менее, чем главы Нотр-Дама. В их соединенности, собора и плющей, было что-то от круга времени. Плющ вечен, и в то же время нет мертвее стен, где он по каким-то тайным причинам угас и причудливым кружевом-узором, словно чудовищная паутина, деревянным скелетным видением висит, впаянный в стену, серый, беспредметно-безместный. Такой плющ я видел на стене старого дома-фермы, и тоже в весьма примечательном месте, близ Ватерлоо. Там, где творилась история и баловень ее, в треуголке с пряжкой, маленький человек с холодным взглядом Нерона и обиженного младенца, в последний раз испытывал Терпение и привязанность Судьбы.

Но о Ватерлоо потом, ведь мы были в Люксембурге, который можно назвать также и городом больших дубов, огромных лип, вообще городом с обликом южного, в отдаленном сравнении какого-то нашего причерноморского. Вся живая и неживая природа (хотя неживой ее, на мой взгляд, и нет) говорила, что это благодатное место. Место — ЛЮКС, коли уж так пошло. Здесь словно бы сошлись, как в неком средостении, лучшие части суровой земли германцев и сладкой, нежной земли галло-франков. Сюда не заносило холодных ветров с голландской сырой низины. Арденны, как ни суди, все-таки горы, и они надежно укрыли маленькую страну от холода, создали условия, климат для роста и процветания всякой растительной южности. Гид сообщил нам, что здесь растет даже виноград и делают отличное вино.

Месье Роже неторопливо вел нас по городу, объясняя то, что требовало объяснения, ударяясь временами в историю Великого герцогства Люксембургского или в искусствоведение. Возле какой-то модернистской уродины на бульваре возник спор: что это? Одни говорили — женщина, другие — детали от сломанного карусельного станка, кто-то вспомнил груду снарядов, а месье Роже сказал, что он видит тут «бутылка и питание». Расхохотались. Да, «питание» уже беспокоило, а жажда томила нестерпимо. День был жаркий, душный. Но мы держались, да и куда денешься — привычных сатураторных стоек с газировкой, бочек с квасом нигде не было видно.

После долгой ходьбы по знойным улицам мы свернули к собору Богоматери — крупнейшему в Люксембурге, чинно вошли в его прохладную гулкую пустоту. Собор подавлял высотой сводов, величием резных алтарей, цветными витражами, тишиной, которая прочно жила здесь, пока не ревел орган. Убегающие ввысь колонны наводили на мысль, сколько же во имя религии люди затратили одного только обыкновенного ручного труда, чтобы возвести, воздвигнуть, вытянуть, именно вознести к небесам все эти башни, своды, витражи — все, построенное на бесконечное время с надежностью и умением мастерства, равного искусству.

После прохлады и тишины собора день показался

ослепительно раскаленным. Месье Роже повел нас к одному из центральных памятников Люксембурга — монументу героям Сопротивления. Сопротивление фашизму. Сколько я о нем слышал, читал, знал, восхищался! Сверхгероизм — вот он, люди шли здесь не просто в бой, под пули, рискуя головой, здоровьем, жизнью,— здесь грозило более страшное: заточение и муки, издевательства в чудовищных застенках, пытки, которые создали, придумали словно бы и не люди, рожденные женщинами-матерями, а дети дьявола, выходцы из какой-то кошмарной, однако вполне реальной преисподней.

И все-таки это сопротивление БЫЛО и здесь, даже здесь, в маленьком Люксембурге, и в память ему, его светлым именам, а подчас и безвестным героям стоял на зеленом холмике-возвышении, выстриженном, как голова заключенного, этот памятник рядом с асфальтовой дорожкой бульвара. Две белые глухие стены полукругом с узким проходом меж ними. В глубине этой щели — решетка. Толстая черная решетка из круглой стали.

Роже опять объяснил нам, что символы монумента говорят нам: путь к свободе лежит через решетки и стены. Он узок, и стены эти надлежит раздвинуть. Объяснение, конечно, приблизительное, популярно-утилитарное. У меня памятник вызвал скорее ассоциации с недоделанным атомным реактором или безысходной тюрьмой где-нибудь в Гватемале; было в его белых формах что-то не то арабское, не то латиноамериканское, черт поймет этот модернизм...

Мы продолжили прогулку по Люксембургу. ПО ЛЮКСЕМБУРГУ! Иногда у меня, например, возникало желание ущипнуть себя, чтобы убедиться: «Нет, не во сне». Сколько раз снились нам самые дивные страны, в которых ты был, хотя никогда не бывал. Нет, не сон этот благостный воскресный город-курорт, нежащийся в тепле предвечернего солнца. Все говорило, что это столица очень старой, очень спокойной, очень самостоятельной и мирной страны, жители которой вполне соответствуют тем же характеристикам-определениям.

Кто-то из наших «западников» затеял спор, очевидно с кем-то из «славянофилов», на тему: чем меньше земля, страна, тем больше, самоотверженнее, мол, ее любят. Положение спорное, уязвимое со всех сторон,

и на утверждавшего напустились, как на грешника, пошли в ход даже тютчевские цитаты: «Умом Россию не объять, аршином общим не измерить...»

— Да ясно, да я разве о том? — оправдывался посрамленный.

Мне не пришлось беседовать с люксембуржцами и допытываться, как и насколько они любят свою родину. (Это и вообще, наверное, безнравственный вопрос, равно как и ответ, если кто-то на людях начнет распинаться в любви к тому, к сему, тем паче к Родине. Искренне любящий скромен. Любовь — это святость, и одним поэтам, быть может, разрешено говорить о ней, да и то не в стихах с гремучей позитурой. А искренняя любовь сродни чистому, благородному стыду, и стыд этот заметить так же просто, как всякое естественное чувство.)

Любовь к своему маленькому отечеству была у люксембуржцев во всем. В простоте аэродрома, заросшего метельчатым злаковником, и в обходительности таможни, и в аккурате разлинованного шоссе, и в чистоте этого вымытого города, в точеной аккуратности его башен, в доброжелательном любопытстве сидящих на бульварных скамейках, прислушивающихся к непонятному говору. Один седой, улыбчивый старик не выдержал, подошел к нам и спросил: кто вы?

— Русские,— ответил я по-немецки.

— О-о! — сказал он недоверчиво. И добавил, улыбнувшись: — Спасибо, что вы расколошматили бошей!

Я перевел его слова группе, и все стали пожимать старику руку. А он все улыбался своей доброй люксембургской улыбкой. «Спасибо вам, что вы расколошматили бошей!» Он-то, старик, помнит то время. И не зря помнит. Наверное, хранит жестокие зарубки в памяти...

Так уж устроен человек, что бог весть откуда приходят вроде бы нежданные мысли-сопоставления, образы и ассоциации. Вот и сейчас, расставшись со стариком и бредя по обочине бульвара, я глядел на высоченные вольные дубы, на непривычно толстые — такие у нас только на Кавказе есть — липы, платаны, на млеющее в их листве и уже клонящееся солнце и почему-то вспомнил свою поездку в Мелихово, в музей-усадьбу к Чехову. Получилось это случайно, во время «круглого стола» писателей-«деревенщиков» зоны Нечерноземья, которых собрал и «нацелил» писать о земле один столичный журнал. Нацеливать писателей, да и, допустим,

художников-живописцев, наверное, следует. Ленив наш брат, неподъемен, подчас не туда глядит, ждет вдохновения (все это, конечно, расхожие термины!). И вот, в порядке, видимо, разнообразия программы, включавшей в себя посещение образцовых колхозов, показательных совхозов, комплексов разных, ферм, повезли нас еще в Мелихово, дабы напомнить, видимо, что и классики сплошь жили в деревне (не были только «деревенщиками»), вникали в народную жизнь; а может, хотели напомнить нам о гражданском и нравственном долге писателя в прикосновении непосредственном к российским святыням. Спасибо журналу. Когда бы я, говоря честно, собрался в Мелихово, на станцию Лопасня? К одноименной этой реке, от одного названия которой дрожь прошивает?

ОН жил и ходил тут, смотрел на извилисто петляющую реку, всю в ивах, здесь жил у него «араб» Левитан, приезжала покрасоваться Лика Мизинова... Но главное, ОН, высокий, красивый, насмешливо-добродушный, с чем-то словно бы полумонгольским в лице (все, кто знал, отмечали это в его внешности), жил тут и остался словно бы жить среди этих полей и пажитей.

А усадьба не пришлась мне по душе. Длинный несуразный дом, с нелепым, драконовым словно, гребнем-коньком на фронтоне. Он и глядел мрачно, как ящер. Хотя окна были светлые и уставлены цветами. Особенно широкое окно ЕГО кабинета, что выходило во двор. Впрочем, какой двор? Нет двора. Есть сад, подобие дендрария, все пространство, свободное от деревьев, цветет розами, пионами, георгинами. Ярко. Южно. Оранжерейно. И над всем этим высоченные, словно бы тысячелетние деревья. Вот точно такие, как тут, в Люксембурге. Господи, вот она откуда, ассоциация и это воспоминание. И там было к вечеру, печальная предвечерняя, тянущая сердце маета в незнакомом, чужом месте. Ах, Чехов, Антон Павлович, почему так тревожно, неуютно было в этом Мелихове. И как, должно быть, тосковал ты там, скрывая от всех свою тоску, свои боли, разрушенные надежды, обиды, безнадежно больной, знающий об этом.

Середина России и — дубы, буки, платаны. Неродное великолепие чрезмерно ярких цветов. И здесь вот тоже. Середина Европы, а такая же, даже средиземноморская, южность и предвечерняя тоска.

Помню, там, в Мелихове, приотстал от группы, вышел за ограду усадьбы, выкрашенную зачем-то мрачным — коричнево-черным! — цветом, вышел — и оказался во власти совсем уж не русских, а каких-то фламандских, бургундских словно пейзажей, дубов, ив, как на картинах Милле и Коро. Туман поднимался со стороны Лопасни, стелился над землей и над заросшею ряской канавой рядом с усадьбой. И опять я словно почувствовал тягостную его, Чехова, тоску по какому-то иному, не бутафорскому, а искони русскому, российскому пейзажу, сухой равнине, ветру, облакам, здоровому несаженому лесу — не этим дубам, творениям чьих-то рук!

Так неожиданно перекликнулось Мелихово, Чехов со странным этим городом-парком, где тоже уже томило русскую душу от вековой этой ухоженности, парковости, вымытости. «Улицы в Люксембурге моют с мылом!» — такую пропись я давно читал, усвоил. Убедился сам: да, моют. Только теперь не с мылом, а с моющим порошком, окатывая водой тротуары и шаркая по ним щетками, швабрами. Кстати, щетка здесь всюду заменяет привычную нам метлу, веник и, конечно, превосходит метлу, при всей моей любви к отечественности. В Люксембурге все время видишь, как метут и моют. Метут взрослые, метут и моют дети. И все щетками. В общем, это очень хорошо. Нет плевков. Не видать окурков. Стоят у дорожек отдельные ящики с надписью: «Папир». Сюда складывают и бросают бумажки, газеты.

Теперь несколько слов об одежде. Одеты люксембуржцы просто, опрятно, но не броско. В одной из улочек вблизи центра месье Роже вдруг возбужденно зашептал нам: «Великая герцогиня! Великая герцогиня!!»

Ожидая увидеть какое-то диво в средневековом платье, в фижмах и, быть может, даже с короной, все вертели головами, а мимо прошли две молодые женщины в обычных, спокойных костюмах, простеньких шляпках, и я до сих пор сожалею, не спросил, которая из них была «великая герцогиня».

Канул в Лету обычай вельмож рядиться в золоченые фраки, в бархатные штаны, в несметные брильянты. В повседневной жизни все теперь очень просты. Не отличить от обычных горожан. Или отличия эти сделались изощренны? Не знаю. Таково, видимо, дыхание времени. Демократия. Демократизм. Демократизация.

На одном из мостов на фоне светлого, почти летнего заката я предложил жене сфотографироваться. Как не сделать такой снимок здесь, в Люксембурге, да и самому захотелось запечатлеться на фоне домов и башен. Я сфотографировал жену в лучах заходящего люксембургского солнца, затем жена фотографировала меня.

Прогулка ничуть не умерила моей жажды — пить хотелось, как после блуждания в пустыне. Я все посматривал на холодильничек типа «Морозко».

— Знаешь, я, пожалуй, напьюсь из крана,— сказала более храбрая жена.

— Что ты?! Вдруг вода какая-нибудь нехорошая?

— Не может быть...

— Ну, тогда давай я вперед! — И я отправился в ванную, налил с полстакана воды и опасливо сделал несколько глотков. Вода была вроде бы ничего, нормальная. Допил эти полстакана. А жена тем временем, не рассуждая лишнего, уже вполне сладостно выпила целый стакан.

— Ух, хорошая вода,— сказала она,— вкусная!

И я последовал ее примеру.

— А я ведь еще и есть хочу,— сказала она, блестя глазами.— Очень... Что мы за дураки — не взяли ничего с собой в Москве. Купили бы булку-другую белого, еще черного бы... Свеженького. Сыру. Колбаски...

— Перестань, перестань,— перебил я.— Думаешь, я не хочу? Сыру, колбаски... Кто знал, что у нас вместо ужина будут эти деньги, которые не знаешь, как тратить,— все так дорого, если судить по напиткам. Ничего, сегодня поголодаем, а завтра...

На лице жены появилось вдруг подобие светлого озарения.

— Слушай, погоди-ка, мы, кажется, найдем что поесть. В аэропорту я взяла бутерброд с сыром. Бутерброд большой, московский, и еще есть у меня пачка апельсинового печенья. Вот — «Привет».

И мы поужинали «по-люксембургски», разделив недоеденный бутерброд, а также и печенье, запивая вволю водой из-под крана и благословляя судьбу, как потерпевшие кораблекрушение, но благополучно добравшиеся до берега путешественники. Какой был вкусный этот бутерброд! И печенье «Привет», которое дома я скорей всего бы отринул. И вода была ничего себе — люксем-

бургская водопроводная, пожалуй, похуже московской, какого-то непривычно пресноватого вкуса, но ведь в Москве — это я свидетельствую совершенно искренне — самая лучшая в мире водопроводная вода.

Поужинав, мы приободрились, отдохнули и решили не теряя времени — здесь, в поездке, оно и действительно на вес золота — идти смотреть ночной, точнее, вечерний Люксембург. Разумеется, я знал из прессы, из наставлений перед отъездом, как опасно такое решение. Джунгли ночного буржуазного города! Растущая в Европе преступность. Все такое... Но — что делать? Сидеть вечером в номере в Люксембурге, где мы и всего-то будем два неполных дня? И когда мы еще приедем сюда? В конце концов, раз государство маленькое — и преступности в нем не должно быть большой? Логично? Мысль, что Люксембург все-таки не Чикаго, не печально знаменитый техасский Даллас, показалась верной и ободрила нас. В конце концов, и днем мы не видели ни одного кольта, кроме как у таможенников, и ни одного автомата, за исключением этого оружия у гвардейца, который, как заводной солдатик, маршировал взад и вперед у ворот Великого герцога. Идти нам теперь пришлось индивидуально, без гида, а что касается группы, то большая часть ее, состоявшая из всезнающих, вездесущих «западников», которые по сто раз уже были в заграницах, давно разбежалась по городу, не усидели, видимо, и брадатые славянофилы, о всех прочих категориях — их был самый мизер — не знаю — может, они и отсиживались в номере, хотя и это навряд ли.

Мы вышли на привокзальную площадь Плас де ля Гар, от которой веером расходились торговые улицы, пересеченные, как оказалось, улицами кольцевыми, совершенно подобно старой Риге, а кое в чем и Москве. Здесь было спокойно, немноголюдно. Воскресный вечер, и магазины закрыты. На Западе они не торгуют по праздникам, кроме мелочных лавок, и закрываются в будни ровнехонько в шесть часов. По субботам торгуют дольше. Но чтобы «ходить по магазинам», здесь вовсе и не требуется заходить в них. Витрины сделаны так, что представляют собой нечто подковообразное, и лишь в центре, в нише этой граненой как бы «подковы», вход в самый магазин. Товары же со всеми ценами выстав-

лены, выложены, размещены за стеклом — ходи, смотри, любуйся, выбирай, прикидывай цены хоть до утра. Все это мы нашли удобным, а в соответствии с нашим финансовым положением в особенности.

Оглядев все эти груды обуви, хрусталя, развешанных одежд, кино- и фотоаппаратуры, мы хотя и не приуныли, но трезво оценили свое состояние, там, в автобусе, показавшееся поначалу несметным и во всяком случае значительным. Билет в тысячу франков! Звучит? Звучит! Здесь же, от взгляда на цены, капитал наш как бы стремительно уменьшался до размеров благопристойного нищенства.

Позднее я еще более четко понял, что в магазины здесь не надо заходить, как у нас дома: поглазеть, поторчать у прилавка, полюбоваться последними достижениями косметики на личиках продавщиц и уйти. Нет, здесь в магазин заходят лишь с реальной целью. Открываешь дверь, тотчас брякает сигнальный звоночек, и из недр магазина к прилавку или прямо к вам устремляется продавец, часто хозяин или хозяйка, с возгласом-вопросом: герр? месье? и с радостным выражением покорной готовности исполнить все ваши желания. В таких случаях очень неприятно уходить, ничего не купив.

Магазины вдоль улиц тянулись в нескончаемом изобилии, витрина следовала за витриной. Здесь было все товарное изобилие из всех стран Европы, ибо Люксембург входит не только в традиционную тройку БЕ — НИ — ЛЮКС (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), с единым рынком, обменной валютой и экономическим планированием, но еще и в Общий рынок,— вот почему бельгийские и голландские товары, равно как и люксембургские, мешались тут с западногерманскими, английскими, французскими, испанскими, а также и японскими, все больше наводняющими Западную Европу.

Товарное изобилие, конечно, радует, хотя, может быть, и несколько раздражает, когда негусто в кармане. Впрочем, раздражение может возникать и на обратном варианте, когда выбор невелик, а возможности есть. Что лучше — не знаю. Видимо, лучше гармония кошелька с витриной. К ней, к гармонии, человечество испокон веков стремилось. Но где и когда она была достигнута? Нет ее и здесь.

Мы же, обходя витрину за витриной, в конце концов поняли: хватит! надоело! Обувь. Одежда... Галантерея...

Но разве ЗА ЭТИМ я ехал в Европу, на этот самый Северный Запад. В Люксембург? Все такое и подобное есть у нас, пусть не столь изобильно, разнообразно, но есть, иное хуже, иное и в сто раз лучше... За тем ли мы сюда прибыли? Задав себе этот отнюдь не риторический вопрос, мы как-то очень спокойно отхлынули от магазинов и, насколько позволял вечер, стали разглядывать дома и строения, вглядываясь в перспективы улиц и озираясь по сторонам. Именно «озираясь», потому что дома здесь все-таки дивили подчас какой-то вроде опереточностью, чем-то словно бы не всамделишным, а театральным, казались ниже привычных или были окрашены в разный цвет: этаж синий, этаж красный, этаж зеленый. Не каждый, конечно, дом такой, но что-то вавилонское было в описанных. Вечерело. Меркли, чернели как будто яркие цветы на заоконных полках. Багровое, железного накала небо светило за мансардными кровлями. И опять было ощущение Риги, казалось, бродим где-то на улице Кришьяна Барона и вот-вот выйдем к Даугаве. Но выйти мы могли лишь к каньону реки Петрюс, где были уже днем.

От центральных торговых улиц Люксембурга ответвлялись улочки узкие, темноватые, в них не тянуло идти, но так как вернуться к площади де ля Гар по такой улице было прямее и проще, мы свернули, пошли такой средневековой улицей. Здесь уже не было магазинов, но кое-где были витрины, простенькие, на манер тех, что помнило и хранило детство. Так же вблизи вокзалов и рынков, на углах общественно бойких мест были витрины при фотографиях, ну, вспомните: голенькие младенцы таращат бессмысленные глазки, юные супруги старательно приклонились друг к другу, в самом дешевом, рыночном варианте — девушки в матросках, подростки с кинжалами, где для ясности написано: «Кавказ». В общем, витрины здесь были почти такие же, только вместо младенцев на фотографиях женщины, не совсем, правда, обнаженные, однако что-нибудь важное да забыто. Негритянка в одном сетчатом чулке. Женщина портового вида всего лишь в кофточке из прозрачного капрона, еще одна в виде монахини в белом платке, все другое одеяние монашки этой отсутствует. По витрине можно было понять, что здесь нечто вроде «Заведения Телье», стриптиз или какой-то, прости господи, «паризьен» — новинка раздевания на людях. Поглядев,

подивившись,— оказывается, древнейшее ремесло живет,— пошли мы дальше, обнаружив, что витрины «фотографий» есть еще и еще. Квартал был не слишком людным, скорее наоборот, и мы с облегчением в душе покинули его, тем более что небо над ним казалось нам теперь мрачнее и беднадежнее, и, может быть, потому, что заря над городом потухла, а ночь пришла как-то внезапно, синяя, со стеклянным густого тона небом, и какая-то по-новому понимаемая люксембургская ночь.

Мы снова вышли на улицу, примыкающую к площади, убедились, что это именно Плас де ля Гар и тот вокзал, вот башня с часами, вот «Эльдорадо», словно бы уже родное, стоит на своем месте, а потому, испытывая облегчение от уверенности, что не заблудились, окунулись в уличную эту суету, ибо улица у вокзала была людной, оживленной, везде светились вывесками ресторанчики, кабачки, пивные, мелочные лавчонки, где торгуют едва ли не всю ночь сигаретами, газетами, журналами, пивом в жестянках, открытками и еще черт знает чем. Улица была подобием «обжорного ряда», потому что люди здесь были заняты тем, что ели, жевали, тянули пиво, словом, отдыхали, забавлялись и беседовали, сидя в кафе или прямо за столиками на тротуаре. Вокруг было пиво, пиво, пиво. Манящее, охлажденное — пиво. Что за напасть? Никогда я не был пивником, никогда не бегал с бидончиком за желанным продуктом дома, не корпел в чебуречных, не блаженствовал в пивнушках! Ну, в жару, бывало, приходила мысль: «Пивка бы хлебнуть!» И пил, бывало,— только и всего. А здесь — что значит реклама и жажда! Так вот и тянуло выложить драгоценные франки.

Проходили мимо какой-то буквально крошечной щели-каморки с прилавком прямо на улицу, где двое бойких парней с шутками-прибаутками торговали поджаренными колбасками или сардельками (сарделька плюс булочка), но с пылу, с жару. Один колдовал с потрескивающим противнем, жаровней, другой вручал румяную колбаску желающим — их было немало! Парни трудились в поте лица, и я сказал жене, что это, по-видимому, и есть первоначальный капитал. Судя же по месту (а оно очень важно в торговле!), энтузиазму, запаху, спросу и бойким репликам парней, они со временем подставят ногу коль не самим братьям Рокфел-

лерам, то их потомкам. Все Дюпоны, Меллоны, Морганы и Ротшильды начинали, по сказкам, вот так: с торговли газетами, спичками, сардельками...

О, запахи! О, сало, булочка и эти румяные «вюрстхен»! Мы совещались уже не на шутку: купить, что ли? Но вдруг цены опять какие-нибудь дикие, как на шампанское в «Эльдорадо»! К тому же парни говорили не то по-французски, не то на этом непонятном люксембургско-немецком языке, в котором, как я ни вслушивался, как ни напрягал свои способности в «дейчешпрахе», ровно ничего не понимал. Ах ты, проклятая лень, неспособность к языкам, голая двойка, с которой я не расставался по немецкому. Как сожалеешь о незнании языка в иноязычной стране, становясь сразу как бы уровнем ниже всех этих бойко «якающих»,— только и лезет в уши это четкое: «Йа, йа! Уи-уи...» Черт побери, со всем они соглашаются, что ли?

«Если бы снова родиться,— с горечью сказал я жене,— с пеленок бы стал учить сначала один, потом второй, потом третий язык, а четвертый, допустим испанский, японский, выучил бы как приз, как премию». Да. Как прохлопали мои родители, не настаивая, чтоб я учил языки. Да и не до того им было: война, голодуха, нужда, а в школе, в институте какой-то скучный догматический метод обучения. Анна унд Марта баден! Почему эти скучные, как сам учебник, Анна с Мартой помнятся вот уже чуть не полсотни лет? Конечно, сам я виноват. Родители вряд ли. Они у меня были гуманные. Рассказывали мне про одного аптекаря, провизора, жившего в нашем же городе. Аптекарь этот лупил сына поленом за лень к языкам и заставил ведь таким способом изучить английский, да так, что стал его сын известным, и очень известным, журналистом-международником, постоянно по Нью-Йоркам, Парижам и Лондонам.

«Поленный» стимул к изучению языков ко мне не применялся, и, в общем, зря, как я думаю теперь, вот тут, на Плас де ля Гар, вслушиваясь в незнакомую речь.

Мы еще долго бродили по ночному Люксембургу и видели жизнь вполне обычную для воскресного, праздного города. Люди, в конце концов, везде одинаково едят, пьют, беседуют, праздно болтаются, куда-то идут и едут. В основном они трезвы, хоть видели мы и люксембургских пьяниц. Один такой сидел прямо в газоне — неопрятного вида старик что-то бормотал, кому-то

грозил, пытался встать и снова плюхался, валился в подстриженную траву. Вряд ли набрался он так от пива, которого здесь было много, и его нежадно, скорее потихоньку, по-скупому тянули из высоких бокалов люди, сидящие в кабачках и в кафе.

Возвращаясь к гостинице, снова мы прошли мимо не знающих отдыха будущих миллиардеров. Уверен, с тех пор как мы не были в Люксембурге, они уже поднялись по лестнице торговой иерархии, а чем теперь торгуют: колбасками, пивом, снедью, сапогами или даже женским телом, не так уж важно — ясно, что торгуют, и конец этой торговли вряд ли предвидится.

«Ладно, пусть их вкалывают,— разрешил я,— в конце концов все равно какая-то польза». Тут я поглядел на утомленное, осунувшееся лицо спутницы и сам понял, что устал ужасно, что пора заканчивать этот бесконечный, начатый еще в Москве день, что ноги подкашиваются, что спать надо и в Люксембурге и что дома, в Свердловске, уже глубокая ночь клонится к утру.

В «Эльдорадо» улыбчивая бессонная девочка-подросток, подавая ключи, вежливо присела, улыбаясь моему: «Гуте нахт!»

Мы поднялись в свой розовый номер, показавшийся после чужой улицы обжитым и радушным, напились из-под крана, закусили таблетками — у обоих еще из дому зверски болело горло — и улеглись в прохладную двуспальную,— кровати здесь, надо признать, отличные, с крахмальными, глянцевыми простынями, по которым так и скатываешься в отдых и в сон на чем-то упругом, прохладно мягком.

Включив свой настенный светильник, я решил убедиться, есть ли в тумбочке Библия, как об этом пишут в зарубежных романах. Библия была — не то на латыни, не то на французском. Тогда я вспомнил, что у нас Библиями торгуют на импровизированной книжной толкучке — «в яме» у железнодорожного полотна, и тут же рассказал жене, как торгует святой этой книгой бойкий прохиндей — вот уж подлинно «библиефил». Знаю я его, и она сто раз видала, потому что в иное время, по будням, сидит он на стульчике возле универмагов, продает билеты Спортлото и лотерей, призывает вокзальным голосом не проходить мимо «своего щастья». Жадюга и хам он, должно быть, страшный, книги оценивает по-дикому. На вопрос: «Сколько за Библию?» — отве-

чает не сразу, а окинув молчаливым, определяющим, сколько в карманах, холодным взглядом и уже усомнившись в богатом их содержании, в платежеспособности, как можно презрительнее бросает:

— Стотридцать...

— Что так дорого?

— Затовгороде... Нижняяцена.

— Да у нее и *верхняя* не больше восьмидесяти.

— Тамиберите... Эта с картами.

В Библии, которую я теперь разглядывал, карт не было.

Излагая все это супруге, я обнаружил, что она уже мирно спит. Тогда, положив Библию в тумбочку, я погасил свет и последовал примеру жены, хотя и не скоро заснул, как бывает с утомленными людьми в незнакомом, пусть и удобном, благоустроенном месте.

Утром я проснулся, как всегда, раньше жены, не сразу понял, где я, и только сев на упругость крахмального ложа, озираясь, вспомнил-сообразил наконец — нахожусь в Люксембурге. Сегодня понедельник. За окном, за розовой золотистой шторой, серенький теплый день, точнее, утро. Подошел к окну и убедился: город уже давно живет отнюдь не вчерашней праздной жизнью, но трудовой, размеренно напрягающейся. У вокзала толпились автобусы, потоком шли пешеходы, очевидно, с электричек, катили непривычно многочисленные велосипедисты. Чуть накрапывал дождь. Площадь под ним темнела. Дождем пахло. Но сквозь сероватую теклую хмарь над крышами, над их черепично-западной и люксембургской сутью, над дальними садами, дубами, над грустно летящими не то голубями, не то галками где-то близко бродило солнце, обещало к полудню погожий и летний день. Да, сентябрь здесь — лето, не то что у нас, поди-ка уже северит. Ловлю на мысли: «Домой хочется. Вот диво, и всего сутки не пропутешествовал».

Деловито умывшись, привел я себя в порядок,— теперь мы уже законные туристы, и утром, и в обед нас должны теперь кормить, поить, развлекать,— не то что вчерашнее положение на уровне безработных.

Мы спустились в вестибюльный зал и раскланялись

с месье Леоном — «заслуженным артистом», который, уже позавтракав, величаво курил сигарету у подъезда. Я тоже вышел подышать люксембургским утром. Воздух был свежий, мягкий и легкий, может быть, от крапающего дождя, или вообще в этой части Европы воздух чист от близости океана, его безмерных водяных пустынь.

Месье Леон со спокойным достоинством наслаждался утром, воздухом, сигаретой — завидую я людям, умеющим жить словно б в постоянном наслаждении. Их немного, наверное, они самые счастливые. А вы встречали таких?

Да здравствует завтрак! Особенно когда почти сутки как следует не ел. О, хрустящая свежая булочка! Масло, экономно запечатанное порцией в фольговый кубик, и такая же, чтоб не объелись, порция конфитюра — сиречь варенья — в баночке, словно из-под вазелина.

Кофе в толстых чашках, облитых глянцевым лаком. Хорошие чашки. Простые, тяжелые. Изящная полнота. Никакой росписи. Подает все мальчишка, по виду цыган, а скорей итальянец, жуликоватый и неприятный. Только гляди за ним. На соседнем столике сливки — у нас нет. Конфитюров этих в вазелиновых баночках не четыре, а три, сахару тоже по кусочку — убеждаюсь, что полагается два. Кое-как объясняю по-немецки. Нехотя несет. В сине-белковых взглядах сицилийских глаз неизбывное плутовство: не удалось обжулить, ладно, объеду на другом.

В разговоре за чаем (и чай был тоже на выбор) убеждаемся, вечер все провели примерно так же. Только «молодожены», упомянутая неюная писательница и мальчик-супруг, путешественники со стажем, оказывается, «ужинали в баре», а кроме того, у них все есть с собой: колбаса, сыр, чай и даже маленький кипятильник — нужнейшая вещь в походах, в этом позднее сто раз убедился.

Сразу после завтрака выяснилось, что с городом знакомство закончено и предстоит переезд в Бельгию, ехать Люксембургом несколько часов, а мы-то думали, это все рядом.

И вот едем по Люксембургу, теперь уже не городу — стране, государству, Великому герцогству,— для герцогства оно и действительно великовато, приблизительно семьдесят километров в длину. Город же провожал нас

еще довольно долго, если не бесконечно, и не понять было: выехали мы из него или все еще нет. «Хороший город узнают по окраинам»,— гласит мудрость, а здесь окраины в их обычном понимании — базы, склады, пакгаузы, бойни, кладбища, сортировочные станции и какие-то, как писал Чехов, окаянного вида строения — почему-то отсутствуют или скрыты в стороне, облагорожены насколько возможно. Нигде ни чадящей трубы, ни унылого забора с лопухами, ни ржавеющей вековечно какой-нибудь хламы. По обе стороны шоссе все тянется пояс разноцветных, бесконечно разнообразных домов и домиков — точнее, вилл. Слова «вилла» не надо пугаться — на Западе это всего лишь сельский дом, жилье, но обязательно почти нетиповой формы. Есть виллы крошечные: комната, кухня, неизбежная мансарда, клочок зеленого газона с носовой платок, во многих наших садах стоят куда более представительные строения,— но есть и виллы внушительные, богатые, сгруппированные, как правило, в единые районы. Сходство с малыми одно: везде камень, кирпич, бетон, стекло, блоки и вставки из дикого гранита, декоративные стенки, подстриженная дерновина газона. Заборов нет, кой-где невысокие стенки дикого гранита и песчаника, живые изгороди, но чаще просто ничего. Участок от участка отделяет незыблемая стена собственности, тысячелетней привычки не переступать за черту, она, кажется, впитана в генетику западноевропейцев. Иные строения кажутся не всегда красивыми, есть здесь и дурной вкус, и просто безвкусица, но вкус более подчинен рациональности, удобству, как, скажем, окна в крыше, но зато все, и решительно все, прибрано, ухожено, выстрижено, выметено, выкрашено и начищено выше всякой меры — блестит и радует глаз именно этой опрятностью и чистотой.

В люксембургских и бельгийских (забегаю вперед) виллах до минимума сведено в постройке дерево. Оно здесь ценность и даже драгоценность. Но эта ценность дерева оборачивается для жителя Северного Запада и пользой. Каменный дом при уходе — вечен, не так горюч, может быть в постройке более разнообразным, творчески разностильным в соединении с люксембургской, бельгийской ли рачительностью — все, что под крышей, должно быть использовано: мансарда, чердак, откосы, подвал. Убеждаешься, что такой дом, помимо

красоты,— вместителен, удобен, чаще всего современен, а находясь в сельской местности, соединяет в себе все плюсы городского и дачного жилья. Видимо, такой тип домов и станет в обозримом будущем главным на планете — ведь и в нашей стране сейчас этот процесс идет ускоренным темпом, особенно в деревне.

Наконец город все-таки кончился. Мелькнуло засеянное поле, но тут же начался и другой, и третий не то поселок, не то городок, не то село, здесь их почти не отличишь, ибо дома все такие же, кое-где лишь разреженные при въезде в более людное и центральное место, с магазинами, примерно такими же, как описаны в столице: стеклянная витрина, товары на виду, покупателей нет, масса сувениров-безделушек, добавлю, что большей частью бросовых, бездарных, на невзыскательный массовый вкус: кошечки, собачки, комиксы; возле магазина прохаживается с метлой-щеткой хозяин или хозяйка. Есть в этих поселках и магазины антикварные, и лавки старых вещей. Разницы между городом и селом в Люксембурге почти нет, разве что «село» красивее. Там, где дома становятся пореже и появляются ровные зеленые поля, везде вдоль шоссе проволока на аккуратных низеньких бетонных столбиках. Нет, упаси боже, не колючка, не в три ряда, просто проволока, нетолстая, в одну-две нитки. Но уже четко ясно: частное владение; и точно так же отгорожены, скорее отмежеваны, эти владения друг от друга... Нет вывесок: «По газонам не ходить!», «Вход воспрещен!». Но проволочка сия столь же незыблема, непреодолима, как самая высокая каменная стена-ограда, будь она тут, а то и еще надежнее. Проволочку охраняет традиция, закон, вся карательная сила государства. Хочешь гулять по траве, выбирай: заводи себе подобное владение или живи в городе, довольствуйся сквером да вот этой полосой асфальта, хотя пешеходы на ней не встречались.

У вилл — я уже сказал — нет заборов. Нет даже и этой проволоки, но у каждой есть свое лицо и свой микропейзаж. На зеленом газоне причудливые деревья, подстриженные кусты, радуга цветов. Цветы, цветы, цветы, даже осенью, в сентябре. Похоже, Люксембург коль не самое цветущее, то самое цветочное государство на Западе, хотя по традиции я считал им Голландию, и все книги пишут об этом.

Но до Голландии еще далеко, и поживем, вернее, приедем — тогда увидим.

Средняя часть Люксембурга, та, что ближе к Арденнам, чуть безлюднее в смысле ферм-вилл. Больше простора, пошли косогоры, лощины, холмистая местность с одинокими деревьями и реденькими перелесками. Однако все большей частью заселено, возделано, либо торчит уже выстриженное машинами жнивье, лежат кубики прессованной соломы. И видишь: вот трактоpишко — они здесь небольшие — яркий, как букашка, голубой, желтый, оранжевый, рачительно-неторопливо пашет, лущит жнивье на косогоре, за рулем часто женщина, в прическе, будто из парикмахерской, спокойно ведет машину, а позади какое-то несложное приспособление прессует солому в кубики. Чувствуется — земли здесь мало, земля — драгоценность, ее знают, любят, используют до сантиметра. Здесь нет сорняков, не видно птиц, не пролетают бабочки и как будто не хватает чего-то моему русскому глазу, душе, до чего уж все аккуратно, продуманно, окультурено и целесообразно. И все-таки, проезжая Люксембург, нашел я его удивительное сходство опять-таки с родимым моим Уралом, по крайней мере с Предуральем. Гляжу и глазам не верю: да ведь точь-в-точь наш Шалинский район — окраина этой же старушки Европы! Наваждение, да и только! Особенно когда пошла местность холмистая, пересеченная. Невысокие гряды — отроги Арденн — заросли хвойным еловым ровняком, спускались в синие лога, блестели на дне чистые речки, а там опять поле, опять косогор, щебнистая осыпь оврага и голубой от елей, весь в ровной осенней дымке невысокий склон. Урал в центре Западной этой Европы. Чудно. Никогда бы не предвидел встретиться с Уралом в Люксембурге! И все-таки при подобии значительном было и ощущение несоизмеримости: на Урале все названное неогляднее, беспредельней простор, размах полей, синева гор, широта небес, да и горы, лога, лощины помогучее будут, словно все это в Арденнах уменьшено в два-три раза, а то и более. Жалел я только, что виллы у нас пока не в ходу, преобладает еще изба. Конечно, и пятистенка не худое жилье, тем более крестовая хоромина, но все-таки новое, современное жилье лучше. И думалось, надо внедрять его, сносить где можно прабабушкино деревянное жилье, ставить на века облагороженное ка-

менное — так хотелось мне, и радостно убеждаюсь — теперь к тому идет дело.

А дорога все той же холмистой равниной привела к городку Ди Кирш, от названия которого я тут же вспомнил примеры из практики моего обучения немецкому языку по пластинкам, когда эта самая пластинка назойливо вопрошала меня: кирхе одер кирше? И давала ответ: кирхе — это церковь, а кирше — это вишня. Здесь же, в городке, была налицо высокая церковь с остроконечной башней, а вишни я что-то не видел, хотя, возможно, она должна тут расти в изобилии. Гид же сказал, что Ди Кирш славится не церковью и не вишней, а — пивом! Вот тебе и на! Вообще же за все время поездки по Северному Западу я убедился: здесь обязательно каждое местечко, всякий город непременно чем-нибудь да славится, и довольно настойчиво: не колокольня, так пиво, не пиво, так сыр, не сыр, так рыбная похлебка «буйабез» — будто бы из семнадцати сортов рыбы! Или славен фарфор, фаянс, замок с привидениями, какой-нибудь фонтан, в который обязательно надо бросить монету, чтобы быть, допустим, счастливым на всю дальнейшую жизнь, и все такое прочее. Нет достопримечательностей — их настойчиво ищут, наконец, придумывают, как Лохнесского змея,— все идет в ход, а особенно следы великих: здесь вот некто достославный жил, там останавливался, отдыхал, влюблялся, грешил с горничными, завтракал или хотя бы ночевал. Могут быть и памятники мифические, как д'Артаньяну или квартира Шерлока Холмса. Не продолжаю — нетрудно убедиться, что в основе всего лежит четкий, отлаженный бизнес на людских слабостях, везде в рекламе присутствует советчик-психолог, который говорит: люди в массе тщеславны, любопытны, одержимы желанием выделиться. Вот и дайте им возможность посидеть на королевском троне, заглянуть в спальню Помпадур, самолично увидеть морского монстра. Хоть и не увидят — многие подтвердят: да, поднимался змей на поверхность, ровно в полночь. Ласты. Длинная шея. Все точно. И текут туристские денежки...

Не пробовал я пиво Ди Кирш — автобус здесь не останавливался,— зато пивал я и знаменитое пиво «Карлсберг», и «Туборг», и пльзенское, разумеется, и скажу тут по чести: братия, да объявите-ка наше собственное «Исетское», «Российское» или хоть «Жигулев-

ское» хорошей выработки «лучшим в мире»! Снабдите этикетками, золотыми печатями, надпись побойчее: скажем, «Екатеринбургское золотое» фирмы Бетеньковой (была такая пивная фабрикантша), 200 лет с момента основания. Приготовлено на особо мягкой воде подземных ключей. Исцеляет и рекомендуется при всех хронических заболеваниях. Гарантия качества. Отличный вкус. И так далее. А то вот додумались дать название хорошему пиву «Ячменный колос». И на примитивного вида желтой этикетке тот самый остистый, жесткий колос. Больше ничего. Я же как на грех сразу вспоминаю, как однажды — дело было давно, в конце войны,— шел в августе на охоту, мальчишка тринадцати лет, с голоду едва волочил ноги и сорвал на поле несколько ячменных колосьев. Пожевал да так подавился остью от этого колоса, так он застрял у меня в горле, что еле я откашлялся, отдышался. А еще ведь и конфеты есть «Колос». И «Радий» есть, почему только не «Уран», не «Стронций» и не «Стрихнин»... Психолога бы, думаю. Психолога! Полцарства за психолога! И текли бы, текли денежки в государственную, а значит, в народную казну, в том числе и валютные.

А пока я так прикидывал, косогоры и рощицы перешли в сплошной лес. Горы стали покруче. И сплошь по ним ель, одна ель, еловая ровень от подножия до вершины. Я же представлял европейские леса почему-то лиственными. Спокойный горный пейзаж. Увалы. Речки. Ясное небо. И не верилось как-то, что только в нашем столетии, даже в первой его половине, здесь дважды полыхала жестокая мировая война. Первая с газами: ипритом, люизитом, вторая с танками, минометами, бомбами, фаустпатронами. Ведь именно здесь, в этом пересеченном ландшафте, в этих лесах, наторелые и крепко битые у нас фельдмаршалы Рундштедт и Модель организовали под занавес фашистской агонии жестокий удар по союзным армиям. И бог знает чем кончилась бы для англо-американских армий Арденнская битва, не начнись в ответ на крики союзников о помощи наступление на Востоке. «Спасибо, что вы расколошматили бошей!» — вспомнил я старика в Люксембурге. А значит, расколошматили, пусть косвенно, и в этих невысоких горах, напоминающих мне Урал.

Месье Роже тем временем все еще рассказывал о пиве, о том, как на родине Роже в Бельгии, если не

ошибаюсь, еще в 1926 году парламент и правительство приняли закон, ограничивающий потребление и продажу крепких спиртных напитков: коньяка, виски, рома, водки. Закон был вынужденный, ибо, Роже подчеркнул, в Бельгии было ужасное пьянство. Взамен решили увеличить производство пива. Пивная монополия постепенно вытеснила водочную. Приучившись удовлетворять хмельную потребность пивом, бельгийцы, что называется, ожили, здоровье нации было как будто спасено. Конечно, можно возразить, что и пивом при усердии можно упиться до тяжелого опьянения, но это, значит, пить надо ведрами, а ведро как мера было в ходу, кажется, только в дореволюционной России, и, как правило, в основном у горожан-голубятников. Вот дядя мой, в частности, голубятник высокого класса, повествовал, бывало, как собирались у него по воскресеньям в бревенчатой, дедовской еще, голубятне завзятые любители, то есть собирались они в комнатке под голубятней (бывал я там и помню — светло, уютно, оклеено чистенькими обоями и бордюрчик к ним соответственный: бутылочка — рюмочка, бутылочка — рюмочка и так далее). Так вот, собирались и обсуждали достоинства голубков под пиво с моченым горохом и солеными сухариками. «По ведру за день на брата выходило! — посмеивался дядя, поглаживая свою дворницкую бороду.— Сбегаешь, отольешь — и опять за стол. Да-а, попито было». Как я заметил, все это до революции главным образом...

В Бельгии же, забегая вперед, скажу, пьяных я не видел. Пиво, на мой взгляд, потребляется тоже умеренно. Оно всегда ледяное, зубы ломит. Бутылка не поллитровой емкости, а двести семьдесят пять граммов, равно как и жестянка, что-то около трехсот. На вкус бельгийское пиво хорошее, но как-то пожиже, что ли, нашего, послабее и ближе к газированному напитку. Очевидно, мера по ограничению крепких напитков действенная, хотя я не изучил ее во всех тонкостях. Проблема «водка — пиво» развеселила нашу группу. Завязался даже спор: что, если б и у нас попробовать сухой закон? Нашлись тотчас горячие сторонники — особенно женская половина,— нашлись и скептики: начнут-де, самогон варить, всякого рода «кислуху», «брагу», «косорыловку» и «стенолаз». Обратились к гиду: «Варят ли в Бельгии самогон?»

— О-о-о! — вытаращил глаза Роже.— Что вы! Что

вы! Это наказуемо! Оч-чень строго. У-ужасно строго. Каторжные работы...

Я же припомнил. В нашей деревне районная милиция совершила набег на бражников-самогонщиков. Брагу нашли, самогонку тоже.

Долго пахло по огородам спиртным духом. Ну и как? — спросите вы. Полдеревни отправили на выселки? Или хоть на пятнадцать суток? Ничуть не бывало. Отделались малым испугом. Вот он где, гуманизм выше всякой меры.

И еще долго обсуждали бы спиртную проблему, если б впереди, меж еловых гор, не показались в глубокой лощине башни и кровли аббатства Клерво — обители древнего ордена монахов-бенедиктинцев, кстати, изобретших попутно с молениями неплохой ликер «Бенедиктин».

Месье Роже посоветовал остановиться перед спуском в долину-ущелье, чтобы обозреть вид, сфотографироваться и вообще отдохнуть, поразмяться. От автобуса, даже очень хорошего, устаешь как будто хуже, чем от всякого другого транспорта.

Воздух здесь, в горах перед Клерво, а лучше сказать, над ним, после автобусного казался райским нектаром. Пахло свежим, еще не отошедшим от сна горным утром, еловым лесом, мокрыми от росы скалами и травами — вообще всем, чем пахнет и может пахнуть только вдали от жилья, промышленности, густонаселенных районов. В лесу перекликались зяблики. Спокойный голубой и едва заметный туман окрашивал лес и дома. Монахи знали где селиться, спасать душу, коль и сейчас здесь было тихо, первобытно, не верилось, что мы в центре самой густонаселенной Европы,— такие сплошные, ровные спускались в долину еловые склоны к уединенному маленькому монастырю с красной крышею колокольни. Лес уходил за горизонт, и далеко-далеко маячила в нем еще какая-то башня; представилось — там живет одинокий волшебник.

Надышавшись горным воздухом, снова погрузились в автобус, и он тихо съехал вниз по шоссе к монастырю. Здесь можно было побродить, потрогать серый с зеленью камень стен, как бы прикасаясь к самому прошлому. И здесь по стенам и кирпичной вековой кладке ярко зеленел плющ, напоминая, что жизнь вечна. Он был в тон и камню, и легкому белому небу.

День разгулялся, как я и предполагал, солнце уже слегка золотилось сквозь небесную дымку. В лесу кричала альпийская галка. Маленькие улочки Клерво были сплошь заполнены сувенирными лавками, магазинами, совсем пустыми от покупателей, но забитыми доверху разной сувенирной дребеденью.

Времени на остановку отводилось не густо, в пределах получаса. Но, пожалуй, и двадцати минут хватило бы обойти весь этот Клерво, поселок-монастырь, так уютно спрятавшийся от мира в еловую долину. Зная, что Люксембургское государство вот-вот кончится, а еще не куплено ни одного сувенира «на память о великом гостеприимном герцогстве», не истрачено ни одного франка, мы после недолгого совещания решили зайти в сувенирную лавку.

Время торопило.

В первой лавке стояла, как на посту, пожилая хозяйка с неприветливым видом. Во взгляде ни капельки радушия — одна напряженная настороженность. Глаза так и следили: не станет ли кто-нибудь прятать за пазуху ее товары, и мы, невольно оскорбленные этой изучающей озабоченностью, не сговариваясь, повернули прочь, перешли улицу и вошли в открытую дверь другого магазинчика, чуть покрупнее. Здесь навстречу нам, улыбаясь, как родным, всем своим розовым круглым и нежным лицом, вышла полноватая девушка-продавщица в каком-то полупрозрачном и также розовом платье-пеньюаре — кстати, такие широкие платья позднее я видел в Бельгии и в Голландии и скажу, что хозяева не зря тратятся, наряжая так своих продавщиц. В пеньюаре, широком и мягко обрисовывающем юные женские формы, продавщицы казались греческими богинями, и я просто не представлял, да и не хотел бы видеть их в сатиновом халате.

У круглолицей улыбчивой девушки, щедрой на глазки, хотелось все купить. Мы (особенно я) тотчас нашли общий язык — она по-французски, я кое-как по-немецки, помогая себе жестами и даже русским языком, сказал, что денег немного, но без сувенира уходить не хочу, и девушка тут же начала предлагать то, и другое, и третье, обнаруживая хороший вкус и сообразительность. Она лазала по грудам товаров, лепилась на полки, пока мы не выбрали вместе с ней — она будто и впрямь выбирала вместе с нами — очень красивую настенную та-

релку. Вот уж действительно сувенир из Люксембурга — лучше не придумаешь. Тарелка сверкала золотыми краями, в центре герб герцогства — темно-красный геральдический лев на бело-голубом полосатом щите. Лев стоял торчком, на дыбах, с разинутой пастью, навострив когтистые лапы,— готовность идти навстречу любому противнику. Вокруг герба располагались по кольцу крохотные виды люксембургских городков, наподобие цветных переводных картинок, впаянных в фарфор. Вот тут и Клерво, и тот Ди Кирш или Кирх, и тихий полевой Вианден, промышленный Эш и сам стольный град с мостом Адольфа через реку Петрюс, с герцогским замком и с колокольней Божьей Матери Люксембургской. Все было на этой тарелке: и косогоры, и хвойные долины, и напоминание о двойном языке люксембуржцев — вот французская Ларошель и немецкий Вассербилихь, что в переводе обозначает «дешевая вода». На пейзажике величиной с почтовую марку голубая речка под древним каменным мостом. Надо же: Вассербилихь! Словно весь Люксембург уместился на этой чудесной тарелке, не очень даже дорогой, вполне по деньгам. «Вассербилихь!» — машинально повторил я, а продавщица, приняв мое раздумье за сомнение, а упоминание о дешевой воде за попытку купить более дешево, сказала на ломаном немецком, что лучше сувенира не подобрать, но если для месье это дорого (тойер!), то можно взять точно такую же тарелку, лишь без золотого края. На что «месье» расхохотался, сказал, что тарелка нравится, и, не раздумывая больше, зашелестел бумажками с изображением художников и писателей. На сдачу взял еще открыток с видами Клерво, объяснил, что тарелку везти далеко и потому ее надо бы «гутен паккен!» — хорошо упаковать. Но девушка и без этого напоминания знала свое дело, ибо уже завертывала сувенир в пачку люксембургских газет, а затем в упаковочную бумагу, заклеив ее пластиковой ленточкой. Вручая покупку, блеснув своей солнечной, доброй улыбкой, она присела в книксене, за что мне просто без удержу захотелось ее расцеловать, но я удержался, не рискнул при жене. Расстались мы все улыбаясь, все счастливые и опять почти как родственники. Вот пишу, вспоминаю аббатство Клерво, и кажется мне, что ездил я отнюдь не затем, чтоб смотреть древние башни, каменные стены, а повидать эту девушку-продавщицу в розовом пеньюа-

ре, что, улыбаясь, краснея, блестя и кося своими круглыми глазами с девичьей ясной чистотой в них, присела передо мной в своем несравненном книксене. Раньше я видел книксен в кино, в театре, но нигде и ни одна девушка не исполняла его с такой очаровательной кошачьей грацией, удивительной тем более для ее округлополного тела. Взгрустнул даже, когда брел к автобусу, а месье Роже сказал, что скоро мы покинем Люксембург — Бельгия уже рядом. Ну, что ж... Прощай, маленькая уютная страна, прощай, девушка-продавщица в розовом платье, может быть, самая лучшая достопримечательность Великого герцогства Люксембургского.

Мимо автобуса неслись уже более пологие места, лес перемежался полянами и полями, опять гуще стали поселки и просто строчки вилл вдоль шоссе. А вот и граница, за которой новая страна — Бельгия, хотя ландшафт и строения по другую сторону границы отличались не более чем одна сторона одной и той же улицы, разделенная перекрестком.

Ожидая суровых пограничников, всяких там таможенных досмотров и страстей, мы завозились, доставали паспорта, ерзали: вдруг будет надо выходить? Но гид наш всего лишь что-то сказал по-французски, высунувшись из автобуса, стоящему на дороге таможеннику, и мы поехали дальше.

Глава III

БЕЛЬГИЯ — КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЙЦЕВ

«Королевство Бельгия — государство в Западной Европе у Северного моря. 30,5 тыс. кв. километров. Население 9,8 миллиона. Население фламандцы и валлоны. Государственный язык французский и нидерландский (фламандский). Название от белгов, населявших территорию в древности. В средневековом прошлом герцогство Брабант, Люксембург и графство Фландрия частично входили в состав Нидерландов, находившихся под испанским господством. С 1830 г. в результате революции —

самостоятельное государство. Бельгия — высокоразвитая индустриальная капиталистическая страна с интенсивным хозяйством и широкими внешними экономическими связями. Конституционная монархия. Законодательный орган — двухпалатный парламент».

Из словаря

Те же невысокие Арденны, еловый лес и лога в ультрамариновой дымке. Ухоженные поселочки вдоль дорог. Обилие совершенно разных, сходных лишь опрятностью, свежерасписанных красками домиков. Кирпич. Камень. Бетон. Стекло. Черепица. Непременный газон с яркими вставками цветов, продуманно размещенной растительностью: голубая ель, хвойная туя, дуб и словно лавр, еще какие-то южного вида деревья. Все вычищено, вымыто, ухожено выше всякой меры. Не людно. Пожалуй, даже пустынно. А если видишь мужчину, женщину, подростка (детей и вовсе не видать), чаще всего они что-нибудь красят, моют или подметают. Уют и чистота здесь вроде культа. Им молятся. Гид сказал, что постройки вдоль дорог в основном новые, самое большое тридцать — сорок лет. В минувшую войну все здесь было разрушено, сожжено, растоптано военной техникой на суше и с воздуха. Именно здесь рвали-крошили бельгийскую землю гусеницы страшных фашистских «тигров», «пантер», длиннорылых «фердинандов» шестой танковой армии СС и пятой армии генерал-фельдмаршала Моделя — того самого Вальтера Моделя, что командовал на Восточном фронте группами немецких армий и был бит под Курском. Как историк я хорошо знал, что Моделя, сделавшего стремительную карьеру за три года войны от командира танковой дивизии до фельдмаршала, Гитлер бросал всегда на самые горячие участки. Но что мог сделать хоть супергений и сверхполководец в войне, проигранной с самого начала. А Модель и не был супергением. Здесь, в Арденнах, была одна из последних попыток фашизма оттянуть свою гибель, обеспечить хотя бы иллюзорную победу, и здесь же она иссякла, как погиб вскоре и застрелившийся неудачник Модель. Битву в Арденнах я знал подробно, смотрел на пробегающий пейзаж с особым любопытством, пытался заметить хоть какие-то следы былых боев, войны, прошлого. Но ничего ровным счетом нигде не было видно. Жизнь давно залечила раны, на-

несенные смертью. Ровненькое и чистое стелилось под колеса шоссе, стояли по обочине бетонные столбики, зеленели выстриженные откосы, висели над дорогою голубые щиты-указатели. В этой малой Европе не заблудишься — все расписано, указано, расчислено, выверено до сантиметра.

А между тем мы миновали лесистое местечко — курорт Спа. Спа славится лечебной водой, источниками, минеральными ключами нарзанного типа. Есть здесь источник Петра Великого. Гид поведал, что Петр во время своего путешествия в Европу, побывав здесь, попил знаменитой воды, задохнулся от ее холода и сказал якобы: «Спа, спа-а... спасибо». Отсюда, мол, и пошло название местечка и самих вод.

Не собираюсь опровергать легенду, тем более что Петр действительно здесь был и, конечно, пил знаменитую минеральную, хотя бы из-за своего безмерного любопытства, тем он, конечно, добавил известности сим местам и, вероятно, целебности воде Спа. Ведь я уже писал, что у деловых европейцев все идет в ход: «Деньги не пахнут». В Спа же увидели мы и первый за все время деревянный дом — нечто вроде темной рубленой избы, стоявшей в лесу. Это было, однако, не жилье, а просто ресторанчик в стиле «рюс». Бревна у «избы», покрытые масляным лаком, гляделись странно, вот так же, наверное, смотрелся бы отлакированный лапоть.

Деревянных домов на Северном Западе не строят по многим причинам, и первая из них — дорого. Даже круглый лес, не говорю уж пиломатериалы, стоит очень недешево. Прошли времена, когда Европа получала русский лес чуть не по дармовой цене. «Лес», «золото» — слова эти теперь равнозначны. Вторая причина — дерево огнеопасно, в-третьих, не в ладах с вечностью, есть и четвертое — традиция предков. Традиции же: веками строили из кирпича, из камня, песчаника, известняка, гранита — материалов прочных и относительно дешевых, подручных. Ныне их дополнили бетон, пластики, алюминий и разного рода керамические, цементные блоки — всего не перечтешь. Строят бельгийцы умело (опять виноваты традиции), с тщанием и старанием, экономией и аккуратностью, как и положено строить где бы то ни было. Весь район Арденн новый не только по причине, что старое снесла война. Раньше, до развития индивидуального транспорта, селиться здесь избегали. Далеко!

Следовательно, и земля была дешевле. Ныне автомобиль сделал несущественной проблему отдаленности (к тому же особой, бельгийской, ведь бельгийцы сами шутят, что, въезжая в их страну на автомобиле, иностранец должен притормозить, дабы как-нибудь не проскочить ее невзначай до Голландии). Так или не так, но сейчас район Арденн бешено раскупается и застраивается, конечно, не самыми бедными людьми. Бельгийцы устремились сюда, как в некую бельгийскую Сибирь. Мне думалось, что именно так воспринимали эту местность наш гид Роже и те, кто строил виллы, покупал участки, конечно, значительно вздорожавшей земли. Земля в Бельгии вообще дорогая, ее мало, качество тоже дает себя знать: суглинок, песок, щебень, более плодородны низины Фландрии, спускающиеся к Северному морю,— цены от этого очень колеблются, но все равно, по словам месье Роже, «у-ужасно дорого!». Хотя в соседней Голландии земля еще дороже.

По странной какой-то склонности, по инстинкту ли я очень люблю строительство, в особенности индивидуального, малоформатного жилья. Я готов часами и часами смотреть альбомы, фотографии, модели домов, их чертежи, интерьеры, фасады, меблировку и планировку, оценивать целесообразность удобств и тому подобное. И сейчас, на автостраде в Арденнах, я наслаждался, фотографируя через стекло автобуса несущиеся назад и мимо виллы, выбирая наиболее красивые, хотя заранее знал, что хорошие снимки вряд ли получатся (стекло автобуса «бликует», трясет, скорость изрядная), да что поделаешь — охота пуще неволи. Попутно я набросал гиду кучу вопросов: почем в Бельгии земля, сколько стоит средней руки дом и т. д. и т. п. Оказалось, средний дом стоит 300—400 «тисачий франки» — воспроизвожу произношение месье Роже,— а «более богатеющий» — это уже до миллиона, а то и двух-трех миллионов франков. И цена на жилье растет, у-ужасно дорого все: стройматериалы, проект. На дотошный вопрос мой, сколько стоит в Бельгии кирпич,— гид опешил. Сказал даже: «Ну-у, ето знайте что-то... Я ведь... не ето... не-е ходяча енциклопедия...» Но тут же добавил: «К завтра я узнаю и вам сообчу». Сказал также, что имеет сам загородный дом. «Для сельского труда и отдыха». Купил его давно за 700 тысяч франков и очень доволен. Цены растут, и, как я понял, подобное вложе-

ние денег самое выгодное. Затем Роже сообщил, что индивидуальное строительство в Бельгии развито исключительно: иметь свой дом — золотая мечта бельгийца. Ради ее осуществления идут на любые лишения: десятилетиями жестоко экономят, копят, отказывают себе во всем, едут на заработки, работают сверхурочно, когда есть возможность (тогда, несколько лет назад, в Бельгии еще не было нынешней жестокой безработицы, жизнь была дешевле). Гид говорил, что бельгийцы занимают первое место в мире по разнообразию индивидуального жилья, был вопрос этот, пожалуй, спорный, претендовать на первенство могут, наверное, и французы, и англичане, и шведы, и мало ли кто еще из западноевропейцев, вот, допустим, даже исландцы. Как-то я смотрел фильм об Исландии и поразился разнообразию форм жилья.

Принцип: «Домик, садик, гараж и собака» — исповедуют здесь весьма активно, хотя и не все. Вот голландцы, как говорил Роже, те общественнее бельгийцев, у них в городах много квартирных домов и жилые районы, как у нас. Дома часто стандартные, одинаковые. А в Бельгии это прививается плохо. Бельгиец, по словам Роже, прирожденный домохозяин, домосед, домолюб. Утверждение Роже походило на истину: мы проносились мимо домов-картинок, домов-игрушек, домов-красавцев, домов-выдумок, домов, что были, видимо, чудом удобства и комфортабельности,— все эти лоджии, террасы, балконы, лестницы, стенки-веранды и проч.,— такие, конечно, и стоят миллионы. Мелькали мимо и дома-уродины, где вкус хозяина, точнее, его безвкусие боролось с рукой архитектора и побеждало,— не часто, но попадались виллы в виде каких-то черных нелепых башен, элеваторов, еще чего-то подобного, вроде руин. Такие дома походили на обитель привидений. К счастью, их было немного, но, глядя на них, я вспоминал по ассоциации стихи Николая Заболоцкого, когда-то вошедшие в память:

Есть лица, подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг,
Иные жестокие лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно...

В Бельгии уже не столь много цветов, как в Люксем-

бурге. Интерьеры газонов строже, колорит спокойнее. Но не меньше выдумки, вкуса и любви там, где работали руки строителя. За редчайшим исключением дом используется не на сто, а на сто пятьдесят, двести, триста процентов. Как понимать? Да все, что под крышей,— жилье. Подвал или полуэтаж, цокольное помещение обязательно совмещается с гаражом, кухней-столовой и всякого рода подсобками; второй этаж глядит на шоссе широкими окнами самых неожиданных форм, от простых «лежачих» до сложноуступчатых, эркерных, круглых, эллипсовых верандных и т. п. Окна эти обязательно убраны, выкрашены. Обычно белые рамы, красные откосы, реже — наоборот. За стеклом цветы: кактусы, лилии, орхидеи — все во вкусе хозяина или хозяйки. Фасад дома либо окрашен цветной штукатуркой (преобладают не столь яркие, как в Люксембурге, спокойные, пастельные тона), либо отделан камнем, керамической плиткой, глазурованным кирпичом. Выше — разнообразнейший мансардный этаж — окна его подчас ловко вставлены в крышу или уж прямо смотрят в небеса. Изобретение несколько удивляющее, но вроде бы разумное.

Еще в Люксембурге, разглядывая витрины строительных фирм, где рекламировались материалы, проекты, виды домов и домиков на любой вкус и, конечно, толщину карманов, я обратил внимание, что всюду в них присутствовала несколько странная деталь — женщина или девушка в костюме Евы и в разнообразных Евиных позах. Видимо, в расчет создателей каталогов и проспектов входил не просто замысел одну красоту дополнить другой, а призыв: копи деньги, заказывай этой фирме, а там, глядь, и красавицы воспылают к тебе бескорыстной любовью.

Ну, допустим, осудил я эту добавку к проспектам-проектам. Чего уж! Но самые проспекты жилья для села не худо изучить со всей тщательностью,— деревня наша теперь как раз строится, хорошеет, рвется к земле и горожанин-садовод. Наконец кончился беспредметный, десятилетия шедший в печати спор, какое жилье нужно деревне: пятиэтажное или индивидуальное, с сараем, баней, коровником, огородом или без таковых. Жизнь доказала преимущества жилья с огородом и коровой, красивого, современного, без перекошенного плетня, без заросших репьями пустошей, но вот что скажу положа

руку на сердце — тосковала будто моя русская душа по неухоженному приволью и даже по репьям со щеглами. Думалось, поживешь в таком вот домике-прянике, на участке, где шагу мимо не ступи — не твоя земля! — и потянет с этих расчерченных дорожек и проволочных границ, затомит и заломит душу от жажды простора, истоскуешься по российским раздольям и тучам. Да, в России-матушке на все места хватит, для всего и для всех.

Чистота и экономия в Бельгии, видимо, подкрепляются строгим законом, наподобие закона об ограничении крепких напитков. У дорог и домов не виднелось помоек, мусорных куч. Бельгия открывалась с парадного хода. Здесь она сияла, блестела, строилась. Кое-где были еще только что заложенные виллы: основание, цокольный этаж или просто строительная площадка, и строительство это велось донельзя аккуратно. Не увидишь брошенных досок, куч цемента, битого кирпича, упаси боже, стекла. Видел, как с грузовика осторожненько спускали лесоматериалы. Брусья и доски отстроганы, распилены — хоть на линейки бери, доски отшпунтованы, одна к одной, равной ширины и длины. Что-то там, едва ли не кирпич, упаковано в бумажки, в пленку-целлофан. Строительный материал — ценность, значит — деньги, значит — экономика. А экономика — наш лозунг — должна быть э к о н о м н о й. Видимо, и в Бельгии его придерживаются свято, добавим, что строительство здесь проще, дешевле. Бельгия не Урал, не Сибирь, даже не Подмосковье,— здесь теплее, и, как результат, тоньше стены, одинарные рамы в окнах, по-видимому, одинарные и полы, и нет системы отопления. Шиферных крыш здесь тоже нет. Железных, то бишь из кровельной стали, нигде не увидишь. Железо дорого, а шифер нестоек, не ладит с временем, да и, пожалуй, не слишком красив. Жаждущему разнообразия вкусу бельгийцев он, видимо, не по нраву, и отсюда великое множество видов кровли и отделки. Самая разная черепица — желтая, красная, оранжевая и чуть ли не зеленая, еще какие-то плиточки, брусочки, пластмасса, материал вроде картона, стекла, торфа, даже какая-то мохоподобная синтетика. Крыша будто покрыта этим мохом. Главный строительный материал — кирпич — разнообразен: крупный, как блоки, мелкий, словно бы игрушечный, глазурованный и еще какой-то, вроде необожженного.

Я подумал, что из таких кирпичиков строить просто и н т е р е с н о, как интересно в детстве складывать кубики. Помню, всех этих кубиков мне не хватало, а то бы играл с утра до вечера, строил дворцы. И теперь вот по новой реформе школы как бы надо учить строительному делу, учить умно, с кубиков в детском саду, с пластмассовых кирпичей в школьных наборах. Каменному делу, столярному, железному, вождению машин, может, и сантехнике учить надо в школе. Ах, каких работников воспитать можно! И не ждал бы такой выпускник, когда очередь на квартиру сбудется, а взял участок (у нас он даровой!) да и возвел на нем дом для себя и для будущей семьи. Да что там дом. Бывает ведь, щель в полу заделать зовут мастера, лампочку вкрутить, замок врезать, стекло вставить,— все мы свидетели, сколько таких, что годами домоуправления атакуют, в газеты пишут, ждут, мучаются, а всего-то взять в руки инструмент да починить как следует. Умелому все просто.

Вот такие мысли являлись, когда смотрел на дома-новостройки, где аккуратненько и неторопливо ставили готовые чердачные перекрытия или с завидным тщанием клали в стену ровненькие кирпичи-игрушки. Строить бельгийцы действительно умеют. Руки у них золотые.

Роже тотчас подтвердил мою мысль.

— О-о! У нас говорят: «Бельгиец рождается с кирпичом в животе!»

В составе Бельгийского королевства девять провинций: Антверпен, Брабант, Фландрия восточная, Фландрия западная, Лимбург, Льеж, Намюр, Эно и Люксембург. Да, оказывается, Люксембургов — три. Один — город, столица герцогства, другой — государство, которое мы покинули, и третий, по которому едем сейчас,— провинция Бельгии. Этот бельгийский Люксембург — самая безлюдная часть королевства, безлюдная, конечно, относительно, ибо поселки, деревни, фермы и городки вдоль шоссе совсем ненадолго прерываются лесом. Здесь он в основном уже буковый, широколиственный. Лес сменяют поля, одинокие усадьбы. Очень часты по дороге бензоколонки. Иногда они располагаются друг подле друга, чем-то похожие на речные суда. Преобладает в окраске белый цвет в сочетании с голубым, синим, оранжевым, красным. Вывески разные: больше всего англо-

голландская «Шелл», рокфеллеровская «Эссо», есть и советско-бельгийская «Нафта». Колонки культурные, даже, пожалуй, праздничные, над «Нафтой», например, гирлянды флажков. Очередей за бензином нет. Нет верениц ждущих грузовиков. Время дороже бензина. Время — самое дорогое.

Время, время, время! Его здесь берегут. А бензин любой, разумеется, не дешевый. Плати, и тебе тотчас зальют бак, могут подремонтировать что-то, укажут дорогу, улыбнутся. Конкуренция. Не будь ее, глядь, и нахамил бы он, и отвернулся, работал кое-как, отвечал сквозь зубы. Люди примерно везде одинаковы, но... конкуренция. Но... безработица. И как следствие этих причин вежливость на грани раболепия, улыбки, услужливая торопливость, гарантия, качество, упаси бог — никакого воровства, обсчета. Деньги из ваших карманов извлекают с большим желанием, изобретательностью, старанием.

И глядишь и думаешь: ах, какое благо работа, как она важна, как ценна и как привыкли мы к мысли: работа? Да ее всегда, везде навалом... Не хочу в одном месте — пойду в другое. С лапочками примут.

При бензоколонке, где мы остановились отнюдь не из-за нехватки бензина, а по более прозаической нужде, стояла белая широкая башня с надписью: «Эссо». Наверху здесь торговали пивом, прохладительными напитками, легкой закуской, дорожными товарами и сувенирами, всякой мелочовкой: солнцезащитные очки, жевательная резинка, сигареты, но главная суть башни очень мудро и просто была подчинена естественным надобностям проезжающих. Останавливаться на обочине здесь не принято — вот и выходит, здесь, у башни, тормозила едва ли каждая вторая машина и каждый автобус.

Месье Роже, усмехаясь, сказал, что в Бельгии и в других странах туалеты часто платные. Бросил монету в автомат — двери отворяются, не бросил — как хочешь обходись. Прижимистые голландцы, например, монету бросают, а потом дверь держат, пока все не управятся с нуждой. Добавим, что в этой башне, в ее подвале, туалет был все-таки бесплатный, о чем и сообщили со счастливыми улыбками возвращающиеся оттуда. Но, думается, рокфеллеровская компания здесь поступает мудрее. Сделай туалет платным — не станут останавливаться, раз так — захиреет бензоколонка, и не проще ли

плату за услуги и удобства в цокольном этаже разбросить на товары в этажах верхних... Волки сыты, овцы довольны, а деньги по-прежнему не пахнут со времен римского императора Веспасиана, который и произнес сию сакраментальную фразу, поднося к носу своего сына и наследника Тита монету, полученную из первой выручки от общественных уборных.

В башне у американки, зашифрованной косметикой в кинозвезду и женщину без возраста, мы купили очки, оправы, еще что-то и тем внесли свою лепту в карман братьев Рокфеллеров, широко распахнутый, очевидно, всему миру. Раковина-гребешок — символ «Шелл» — примелькалась нам впоследствии на всех европейских дорогах и перекрестках. По ней можно было изучать политэкономию.

Глава IV

ЛЬЕЖ — ГОРОД ВЕСЕЛЬЯ И ПЕЧАЛИ

Льеж и Лепаж. Кое-что из истории охоты. В чем повинен этот город. «Синь д'Аржан» — «Серебристый лебедь». Старая крепость, где живет война. «Веселый Роджер» над универмагом. Стеклянный музей и оружейная лавка. «Рю Бекман, мадам?» По ночному Льежу. Бессонная ночь и чудеса автоматики. Экскурсия в сельское хозяйство страны. Университетский Лувен.

Помнится, еще в раннем детстве я уже знал этот город. Отец мой — страстный охотник, скажем так, по-старинному,— не менее страстно любил ружья и всякого рода охотничьи принадлежности: ягдташи, пуансоны, барклаи, закрутки, пулелейки и дробокатки. Он выписывал охотничьи журналы, покупал того же рода литературу, и в числе их старинные, переплетенные под мрамор и яшму, под морскую волну с брызгами журналы «Охотничий вестник». Это были последние отголоски старой, исконной «псовой и ружейной» охоты, с рисунками благородно узкомордых борзых, брудастых гончаков и всад-

ников в полевом русском приволье, на этой самой псовой охоте, которая и тогда уже, в девятисотые годы, доживала свой закат, имела и своих грустных певцов вроде Терпигорева-Атавы, Сабанеева и писателей куда мельче, заполнявших страницы этого «Вестника». Когда я сейчас вижу каким-нибудь случаем борзую с ее вытянуто-узкой мордой, женственным взглядом и как бы высохшим от ветров плоскотощим горбленным телом, она кажется мне чудом ожившей, чтобы напомнить о давно ушедших временах, их горестной и печальной сладости. А что до журнала, то в нем обязательно печатались изображения великолепных ружей, снабженные примерно такими надписями: «Ружье двуствольное курковое фирмы «Лепаж» в Льеже со стволами букетного дамаска. Калибры 12 и 16. Превосходная работа. Исключительная чистота подгонки всех частей. Богатая лиственная или фигурная гравировка и насечка золотом. Незаменимо для охоты с гончими, на боровую и болотную дичь. Гарантия боя, кучность и резкость превосходныя. Цена... То же, но без гравировки, не уступающее по качеству. Г.г. охотники благоволят высылать деньги в адрес фирмы или ея магазинов в Москве и Санкт-Петербурге».

Такие объявления я знал наизусть. И в моем детском представлении сказочный город Льеж всегда ассоциировался с ружьями фирмы «Лепаж», одним из которых, как сообщалось в другом проспекте, владел испанский король Альфонс XIII, изображенный тут же изящный мужчина в охотничьей шляпе и куртке.

Да, это были королевские ружья. С «Лепажами» охотились Аксаков и Тургенев, а мой отец, разглядывая вместе со мной роскошные прейскуранты, лишь мечтательно вздыхал. Ему так и не пришлось быть обладателем ружья со стволами замечательной букетной дамасской стали фирмы «Коккериль», хотя бывали у него хорошие ружья «Гейм», «Зауэр» и «Пикер Баярд», не говоря уже про «Тулку» — «Императорского, Петра Великого Тульского оружейного завода». На земле, наверное, не так уж много (может быть, к счастью) городов, славящихся на весь мир производством оружия, а особенно охотничьего. У нас уже упомянутая Тула, в Англии — Бирмингем, в Германии — Зуль, а в Бельгии — Льеж,— все эти города могут претендовать на мировое первенство, хотя производство сего прекрасного, хотя бы

и с эстетической точки зрения, оружия вроде бы близится к упадку.

Не столь давно я был в Париже, жил там и каждый день, иногда дважды, проходил мимо оружейного магазина «Святой Губерт», неподалеку от старинного вокзала Сен-Лазар. Боже мой! Какие ружья и принадлежности к ним продавались тут, какие аксессуары охоты стояли и лежали в витринах! Ружья штучной работы, ружья-картины, ружья-автоматы, ружья с прицельной оптикой, от которой не уйдешь, не улизнешь, не спрячешься, роскошные тисненые ягдташи, ореховые футляры для ружей, подобные футлярам для драгоценных скрипок, и вообще вся овеществленная в стали, золотой гравировке, полированном дереве романтика этой псовой и ружейной страсти и... ни одного покупателя за целую неделю, ни души, точно магазин был необитаем (а он был открыт, сквозь витрины с ружьями виднелось скучающее лицо продавца, а может, и хозяина с внешностью того короля с несчастливым номером).

Как разительно отличался магазин от подобных ему, хотя бы по назначению, в моем родном городе, где с утра до закрытия толпится народ, к прилавку не протолкнешься и даже перед входом дяденьки с жесткими руками и взглядами образуют нечто вроде свободного клуба знатоков: делятся опытом, врут, хвастают, наставляют начинающих, продают уловистые самоделки-блесенки, мормыши, малинку спичечными коробками, мерзкого и желтого вонючего «опарыша» и всегда готовы обсудить любую охотничье-рыболовную проблему. Бойкое у нас это место — охотничий магазин. Почему-то он мне все вспоминался, пока ехали на Льеж.

Да, в Европе, а может и в мире, катастрофический закат охоты, что последовал за невиданным ее расцветом в прошлом веке и еще в первой половине века нынешнего. Кто же мог предположить, что великолепные удобные снасти, все эти самые современные тройники, штуцеры, автоматы, бюксфлинты и уточницы окажутся без большой надобности спустя двадцать — тридцать лет, пусть в магазине, находящемся под благорасположением святого покровителя охоты.

Святой Губерт явно перестарался — ведь за эти двадцать — тридцать лет живой и живительный мир, казавшийся неистребимым, неисчислимым, стремительно отступил под натиском человека с оружием. Еще Хемин-

гуэй пел гимны охоте на зеленых холмах Африки, стрелял львов и куду, помышлял о трофейном черепе носорога. Еще и наша Сибирь мнилась битком набитой маралом и соболем, о животном же мире Дальнего Востока печалились только Арсеньев с Дерсу. А вышло... Надо смазывать ружья, весить на стену и превращаться хотя бы частично в подобие Тартарена из Тараскона.

Волею судеб мне довелось быть и в Тарасконе. Славный старинный городок на берегу Роны, толстенная вековая башня у въезда, городок среди провансальских полей и пустошей, заросших желтым цветущим дроком. Здесь, в окрестностях, можно, наверное, лишь с большим трудом, охотясь все лето, подстрелить какого-нибудь жаворонка. О, Тараскон, ты, пожалуй, стал символом нынешней охоты без дичи. Вспомним, что и Доде писал о тамошних охотниках, стрелках по собственным картузам.

Как быстро трагедия Тараскона стала трагедией всей Земли, коль завелись теперь и Красные книги, а лучше бы их назвать черными, и охранные законы, а животный мир убывает не по дням — по часам. Убывает, убывает, исчезает навсегда. Где-то я читал, что человек сможет, вероятно, создать машины, фотонные звездолеты и тому подобное, но никогда не сможет возродить, сконструировать исчезнувшего... воробья.

Вот такие мысли бродили в голове, пока мы ехали к городу, который вложил едва ли не самую большую лепту в печальное дело оскудения живой земли, вложил, разумеется, косвенно, производя всего-навсего красивое безотказное оружие для Хомо сапиенс — Человека разумного, как значится в родовом и видовом определении этого представителя животного мира.

Месье Леон торопил автобус. Дорога вихрем летела под колеса, и на горизонте уже обозначился лес не лес, но как бы неровный частокол труб — начинался бельгийский промышленный «черный пояс»: торжество дымов, металла, огня, атомных реакторов, вод, похожих на нефть, разведенную кислотой, и серного желто-голубого смога, который не могут разогнать подчас даже океанские ветры Атлантики. Маленькая Бельгия занимает второе место в мире (напомню, первое за Люксембургом!) по производству металла на душу населения. А по машинизации она мало уступает Англии, Франции, ФРГ. Она и самый большой экспортер таких товаров в

Общий рынок. Даже мы покупаем у Бельгии прокат черных металлов, хотя главным образом все-таки ковры, масло, шерсть, оборудование и товары широкого потребления.

Все эти сведения сообщил нам месье Роже, чтобы мы не спутали, хотя я в данном случае знал больше гида — ведь перечитал перед отъездом все, что мог достать по экономике Бельгии. Знал, что Бельгия из самых густонаселенных стран в Европе — 318 жителей на квадратный километр (меня всегда занимает эта формула, и мысленно, хотя и безуспешно, я пытаюсь расставить называемое количество по указанной площади). Знаю, что эта страна дает седьмую часть мирового экспорта проката черных металлов, не менее пятой части цветных тяжелого удельного веса — таких, как олово, что она на весь мир шлет литое стекло и хрусталь, ковры и гобелены, кружева и фаянс, что это мировая биржа брильянтов, редких металлов (и редких, браконьерски добываемых, как недавно обнаружилось, животных, тех самых, из тех книг!), что сельское хозяйство ее одно из самых продуктивных, хотя уступает Нидерландам, и что каждое четвертое охотничье ружье, проданное на мировом рынке, а значит, и в парижском магазине «Святой Губерт», бельгийского производства. Что там ружья охотников, в конце концов они лишь косвенно стреляют в ЧЕЛОВЕКА. В годы минувшей войны оккупированная Бельгия вооружала фашистскую армию, бельгийские автоматы, по свидетельству наших фронтовиков, были лучше печально известных «шмайссеров». Бельгия и сейчас один из крупнейших поставщиков оружия в арсеналы НАТО, и даже штаб-квартира этой организации находится здесь, в Брюсселе.

Впрочем, может быть, я зря так волнуюсь, огорчаюсь, сетую на показавшийся вдали Льеж. Так ли повинен он в истреблении леопардов, носорогов, слонов, антилоп конгони и куду и мало ли еще кого, ну хоть тех же бекасов, вальдшнепов. Серую куропатку в наших местах днем с огнем не найдешь, и все за эти последние двадцать — тридцать лет, а бывало... Да, бывало. Вспомним-ка Тургенева, что сетовал на оскудевшие земли Орловщины и радостно писал про калужские земли, что, цитирую по памяти, не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и

пугает стрелка и собаку. Нет, теперь уже, сто лет спустя, «не веселит и не пугает». И не город Льеж, коль разобраться, повинен в том, повинен хомо сапиенс.

А Льеж, а «Святой Губерт»?

Вот такой, например, случай... Не далее как нынче весной, в самом конце апреля, я так затосковал по охоте — и сам был грешен, охотился, стрелял, и много, в свои молодые годы. Теперь же пошел со своей дачи в лес — благо недалеко было — на тягу. Не утерпел. Хотелось постоять, как бывало в юности, еще и вместе с отцом, неуемным, неутомимым охотником. Что такое — тяга? Проще сказать, стрельба вальдшнепов на весеннем токовом пролете. Грешное дело, если разобраться... Но сколько о ней писали, об этой тяге. Писали и в тех «Охотничьих вестниках», писали и великие: Толстой, Тургенев, Шолохов. И нынешние литераторы поспособнее не обошли. Да разве и можно обойти? Есть в ней, в этой охоте-ожидании, что-то прекрасно вещее, неудержимо манящее (фу, как плохо пишу, все не так, глубже, сокровеннее и непостижимее, как в прикосновении к вечности, к загадке бытия). Не верите? Пойдемте со мной — писали так ОНИ,— и вот ваш покорный слуга, не претендуя нисколько на сходство с ТЕМИ, стоит вместе с вами на этой тяге. Без ружья. Запомните — без ружья... Вечер. И уж село солнце. И захолодел потихоньку, остывая, закат. Красно и мирно-розово за синеющей в черноту лесистой далью. Опушка ближнего леса наливается темнотой, и фиолетовый сумрак ложится меж вершинами, макушками елей и берез. Как пахнет сочащимся, полустаявшим снегом, молодыми осинками, соком берез и мокрой подснежной листвой. Свистом-трелью рассыпается где-то по ельнику зарянка. Белый ясный огонь Венеры накаляется над засыпающим лесом, по-над елями. Пищат-шепчут мыши, квакают лягушки в теплой мочажине, кричит где-то расписная уточка-чирок: свизь... трик... свизь... трик... И внятно, ясно проговаривает свою песню певчий дрозд: чай пить! чай пить... Ах ты, милая птица... И уже видны звездочки, что-то ночное сеется, шевелится в вышине. А вальдшнепов нет. Нет. Не пролетают. Не слыхать. И уж ноет, томится душа. Да неужели не будет? Ни одного? Господи, неужели ни одного? Все еще жду, голова будто заглохла от ожидания. Нет... Не слышно...

И вот вдруг будто счастьем повеяло, звонко так,

отчетливо над лесом: цвик... И еще: цвик... И вот слышу уже ясно: квор — квор — квор... Глухое, гортанное, нездешнее. Донельзя весеннее и лесное. Цвик... Квор — квор — квор... Пролетел. Есть, значит! Есть! Значит, живем! Жизнь продолжается. Вот он, долгоносый большой кулик, пролетел над ельником, над осинником и скрылся. Поют, переквакиваются, гамом гамят лягушки. Филюкает дрозд. Где-то глухо всхохатывает сова. И еще один вальдшнеп пролетел. Слава тебе господи, есть... А вот руки у меня дрожат. Ищут и не находят тяжести ружья. Хочется ощутить эту тяжесть и силу доброго ружья. И даже бы, приложившись, бухнуть дуплетом, заглушить на минуту эту торжественную хоральную тишину. Да не думайте, что вы? Что вы! Мимо бы, конечно, выпалил. Так просто. Чтоб охоту почувствовать, большего не надо. И вальдшнеп этот, пусть он живет, летает. И дрозд пусть поет. А ружья нет — жалко. Без ружья нет ощущения охоты... Поняли вы меня?

Вот, может, тем еще и жив славный город Льеж, по пригородам которого катил наш автобус «Мерседес».

Все исконно промышленные города суровы, чтоб не сказать скучны, для взгляда. Скучны они, может быть, для путешественника, взгляд которого ищет необычное, а натыкается на заборы, закопченные корпуса, трубы, дымы, склады, какие-то еще в том же роде безотрадные, хотя, очевидно, нужные хозяйственные строения.

Мы въехали в Льеж, и сразу пахнуло на нас этой суровостью, как бы постоянным ароматом промышленного города. А я установил еще раз, что все такого рода города очень схожи в чем-то, будь то Льеж, Бирмингем, Зуль, Детройт или хотя бы наши Первоуральск, Новокузнецк, Иваново. Но здесь картина была, пожалуй, безотраднее. Словно исчезло солнце, только что светившее нам в Клерво и в Спа. Серое, копченое небо. Грязная мертвая река справа, оказавшаяся даже и не рекой, а каналом Альберта. Дома цвета старого кирпича в многолетней копоти, неизбежные трубы, постоянный дым из них, на который терпеливо взирают конные статуи императоров и полководцев, мосты, красновато-бурые черепичные крыши, размежая которые, кое-где возносятся в небо остро отточенные шпили соборов,— вот он, Льеж, самый, так и теперь мне кажется, пасмурный город Бельгии, хотя в путеводителях везде указано: Льеж — город карнавалов, веселых праздников, улич-

ных шествий с куклами-великанами, город музеев и вообще столица той части Бельгийского королевства, где живут валлоны (вспомним, что и знаменитого Портоса величали «барон дю Валлон»), говорящие на французском языке, очевидно, столь же жизнерадостные, в отличие от фламандцев (вторая часть бельгийского населения, говорящая на голландском, близком к немецкому, языке), которые, по словам гида, отличаются большой степенностью и молчаливостью. У фламандцев также есть своя столица — древний Гент, свои обычаи, обряды, партии, самоуправление. Об этом разделении Бельгии придет еще черед сказать особо. Итак, первое впечатление от Льежа было не в пользу города, хотя знал, что он интересен действительно многим и многим, ну, вот хотя бы тем, что Льеж — родина Сименона, живущего сейчас, правда, в Швейцарии.

Гостиница, куда мы прибыли, называлась просто великолепно: «Серебристый лебедь». Валлонская любовь к пышности, видимо, проявлялась и здесь, так как ровно ничего лебединого и тем более серебристого не было в трехэтажном опрятном доме, втиснутом меж другими на узенькой крохотной улочке вблизи центра,— рю Бекман. «Серебристый лебедь» — образец частной гостинички средней руки. Обслуга — всего двое, молодая чета — хозяин и хозяйка, был еще и третий, шестнадцатилетний мальчик, кажется, брат хозяйки, как сказал о нем владелец отеля, потому что этот брат, помогая на кухне, все время что-нибудь колотил, нанося ущерб без меры рачительному хозяйству «Серебристого лебедя». Вот и в момент размещения нашей группы, когда хозяин, обратясь на время в портье, горбясь, записывал наши фамилии в книгу и выдавал ключи, на кухне что-то со звоном разлетелось. Думается все-таки, что, несмотря на проторы из-за халатного брата, «Синь д'Аржан» приносил приличный доход, ибо хозяин совмещал все мыслимые мужские должности гостиничного персонала от швейцара, портье, уборщика до официанта и директора, а хозяйка от бухгалтерши и калькулятора до секретарши и поварихи. Трудно даже подсчитать, сколько людей было бы занято здесь, если б не такое самоотверженное совместительство. Однако выбора нет, ибо нанимать работников — значит, платить, и платить не ниже определенного законами о труде минимума, к тому же подоходные налоги в Бельгии исключительно высоки, что-то

вроде четырехсот франков с тысячи! Сорок процентов! Подобный опыт бельгийцев, где владельцы маленькой гостиницы, ресторана, кафе безгранично эксплуатируют самих себя, уже как будто использован в социалистической Венгрии и, может быть, достоин изучения как экономический эксперимент.

А пока, получив ключи, мы поднялись по внутренней темноватой лестнице, где свет включался лишь на минуту, не более: прошел в свой номер — гаснет, не успел — нажми кнопку еще.

Номер по жребию нам достался двухкомнатный и на сей раз вместе с «молодоженами», то бишь тридцатилетним супругом и пятиде... нет-нет, женщиной средних лет. Не обнаружив в своей комнате кровати, «молодожены» ужасно расстроились, во взглядах их было неприятное сожаление: ах, что мы наделали, не зашли в номер первыми. В нашей второй комнате кровать была. Недоразумение устранил хозяин гостиницы, который был тут как тут, с улыбкой и жестами открыл подобие шкафа, из которого выдвинулась раскладная кровать. Разумеется, ложе было наподобие спаренной раскладушки, не самое удобное, но «молодожены» стойко встретили непредвиденную неприятность, особенно муж, а узнав, что и ряду других товарищей придется ночевать так же, они, повозмущавшись бельгийскими порядками, смирились.

За счет шкафов-кроватей гостиница, очевидно, имела резервные мощности человек на двадцать, хотя бы на период наплыва туристов.

Позднее месье Роже поведал нам, что гостиницы типа «Серебристого лебедя» теперь, в эпоху массового туризма, оказались — вот парадокс! — рентабельнее громоздких отелей. Расчет прост: минимум обслуги, хозяева работают за десятерых, в то время как большой отель, хочешь не хочешь, требует и большого штата. Крупные гостиницы дороги, рассчитаны на людей с толстым кошельком, если и не на миллионеров, то все-таки на состоятельных клиентов. Главный же поток туристов и просто отпускников, желающих провести время где-то в незнакомой стране, как раз принадлежит к среднему и даже низкооплачиваемому сословию; про учащихся, студентов, пенсионеров не говорю — все это люди скромного и более чем скромного достатка. Они обходят крупные респектабельные отели, они ищут дешевые и

опрятные на манер «Серебристого лебедя». Итог: мелкие гостиницы процветают, крупные горят или стоят закрытыми десятилетия.

«Серебристый лебедь» — образец экономии даже в постройке. Три этажа и мансарда — не нужен лифт. В полуподвале обширная кухня и все подсобные помещения, здесь же столовая. Обед подает хозяин, раздатчица — хозяйка. Меню очень солидное: закуски, салат, мясо и даже, как значится, жареная форель. На десерт сыр и какой-нибудь фрукт: яблоко, груша, банан — на выбор. Также на выбор скромная бутылочка: пиво, оранжад, минеральная вода. Хорошая, свежая, вкусно приготовленная пища. Хозяйка выглядывает из кухни: бледная, высокая, тонкая женщина, усталый взгляд неуемной, неотдыхающей работницы.

Правда, на мой вкус, форель показалась не лучше жареной селедки. С детства к тому же я боюсь подавиться костями. Из-за этого ел осторожно — половину оставил и заслужил тотчас внимательно-вопросительный взгляд хозяина-официанта: «Неужели невкусно?» Но, кажется, скоро он успокоился, ибо все прочие мои товарищи ели за обе щеки, похваливали, ложками черпали даже некую сладкую горчицу, а мой сосед справа Гриша, поэт из Татарии, человек любопытный, бойкий, вездесущий, чувствующий себя в Льеже, как дома в Казани, оставил от форели только маленькую часть головы. Так я и не мог понять, куда он девал хребет рыбы и все прочие кости. Загадка эта мучает меня и сейчас.

В общем, обед в Льеже был вполне сносным, обслуживание на хорошем уровне, без шутовства, без ожидания чаевых. Изредка он только нарушался звоном разбитого стекла с кухни, где брат хозяйки продолжал наносить ущерб терпеливым родственникам.

Льеж — город на холмах. Правильнее сказать, окруженный холмами. Но на одном из них, входящем в город, расположена старая крепость, в значительной мере разрушенная временем и бомбежками минувшей войны. В этой крепости стоял оккупационный фашистский гарнизон. Рядом с крепостью кладбище и захоронение расстрелянных фашистами, главным образом тех, кто бежал из лагерей: русских, бельгийцев, французов, голландцев. До сих пор тяжелое чувство владеет мной, когда я вспоминаю и вижу эту крепость, кирпичные раз-

валины, камни стен, гранит подземелий и бункеров — все это на угрюмом холме, заросшем дубами и платанами, мрачными и всегда молчаливыми свидетелями всего, что было под пасмурным небом Льежа. Мы бродили по катакомбам, вдоль стен, исклеванных осколками и хранящих в себе пули. Стояли у стены в подземелье, где расстреливали схваченных бельгийцев и вообще всех нарушителей этого подлого «нового» порядка.

И думалось, какие прекрасные люди безвестно погибли, самые лучшие, те, кто и в плену не смирился, рвался к свободе. Да, путь к свободе ведет через решетки и стены, через пытки и пули, через вот эти руины смерти, и крепость эта была гораздо более огромным символом, чем памятник-модерн в Люксембурге на цветочном пригорке. Почему-то крепость и стена в Льеже напомнили мне парижское кладбище Пер-Лашез, тоже в дубах, в платанах и с такой же, будто вымоченной кровью, стеной в дальнем углу, где дострелив али последних коммунаров. О, путь к свободе, как ты тернист и страшен! Рядом с крепостью кладбище, похожее на темный, мрачный парк, дождевое небо висит здесь низко, и даже как будто капало, как скупыми слезами, на ряды крохотных одинаковых камней, где захоронены эти полубезвестные воины: отдельно русские, отдельно голландцы, бельгийцы, французы.

Еще перед посещением крепости, когда автобус начал подниматься на холм, месье Роже велел шоферу свернуть в одну из известных ему улиц, и мы оказались в квартале, где сплошь, один за другим тянулись магазины с не слишком приятными витринами. Здесь было все для похорон по любому стилю и состоянию, от дубовых и словно бы черного дерева полированных саркофагов до цветов, венков, лент, в таком изобилии, словно владельцы собирались хоронить весь мир. Но, с другой стороны, нигде не было видно в этой улице озабоченных людей с исплаканными лицами, толкущихся у подъездов, чего-то ждущих, словно бы опять же в Льеже никто не умирал. Гид объяснил, что все заботы о печальных обрядах берут на себя эти магазины-конторы, а родственники только платят и присутствуют при погребении. Нырнув в один такой магазин, Роже тотчас вернулся с большим букетом красных и белых гвоздик. Эти цветы мы возложили к камням-памятникам. Чьи русские сыновья лежали тут, святой памятью отмечен-

ные лишь в чьих-то сердцах,— не знаю. Но память о них должна быть донесена до матери-России.

Мы долго стояли тут, а уходили, унося тяжелую страницу прошлого, всей этой кровавой трагедии, сотворенной и развязанной маньяками, которым волею судьбы и обстоятельств повиновались народы, государства, поколения одурманенных, одураченных либо силой взятых под ружье, втянутых в водоворот высшего человеческого безумия, название которому слышится пустеньким или же примелькавшимся человечеству словом «война».

На миг представилось, как кто-то не хотел умирать, как его, молодого, сильного, не пожившего еще, волокли в подземелье к этой стене пьяные, сознающие безнаказанность вурдалаки, как наводились винтовки, как острый свинец бил в незащищенные тела... Да, здесь еще, словно бы притаившись, жила и жаждала крови война, мрачное это привидение будто пряталось в катакомбах покинутой нами крепости.

Автобус словно бы с облегчением съехал с холма и, покружив по узким серым улицам, выехал в центральную часть Льежа. Здесь надлежало нам до вечера бродить по магазинам и совершить экскурсию в самый большой собор Бельгии — если не Европы. Большой — в смысле вместимости и высоты. Он расположен в углу площади святого Ламберта. Здесь можно было и просто погулять, и даже пешком вернуться на рю Бекман к «Серебристому лебедю» — для тех, кто боялся заблудиться, гид обещал прибыть к собору ровно в шесть.

Центр Льежа запомнился мне огромным универмагом, над которым развевался черный, не менее огромный флаг. Такая пиратская символика озадачила нас, и мы обратились за разъяснениями, что за «Веселый Роджер» поднят тут.

— О-о! Совсем просто! — сказал месье Роже.— Это не пират... Это значит, фирма разорилась и в универмаге распродажа. Продают те, кто купил его за долги. Новые хозяева.

Признав, что лучше бы все-таки флаг белый, хотя бы как признак капитуляции перед предпринимателями, мы согласились, что черный, конечно, вызывает бо́льшее впечатление, а весь Льеж так и вошел в мою память как город под этим черным флагом.

Да, видимо, в Бельгии и тогда, несколько лет назад, было невесело с работой, с экономикой вообще, кризис уже подбирался к ее границам, дышал холодом на ее экономику, хотя вроде бы учить эту нацию экономии и экономике было ни к чему. Кризисы начинаются везде с самых развитых промышленных центров, и в Льеже это было особенно заметно, бросалось в глаза. Город пустых магазинов, в смысле пустых от покупателей. Даже универмаг под черным знаменем, куда мы, конечно, зашли, надеясь на баснословно низкие цены (а таких там не было!), оказался полупустым. Лежали товары, стояли стандартненькие продавщицы, похожие на манекены, и манекены, похожие на продавщиц. Манекенов здесь было много, были и шведские, абсолютно имитирующие живого человека, даже как-то неприятно на них смотреть — ведь стоит вроде бы живой мужчина, а неподвижен, как околдованный. Женские манекены демонстрировали платья, белье, трусики и панталоны, иные даже стояли вверх ногами. Но нигде ажиотажа, столпотворения, давки и тому подобного.

Хлам не брал никто. Хорошее — было дорого. И мы задержались лишь в продуктовом отделе, посовещавшись, купили — и, конечно, у-ужасно дорого! — буханку нечерствеющего хлеба. Им мы решили заменить отсутствующие ужины. Странное дело: оказавшись без ужинов, мы уже словно бы отощали, начали стремительно приобретать британскую стройность. Особенно страдал я, ибо привык вечером (и поздно!) скорее обедать, чем ужинать — ведь в прошлом я два десятилетия работал в вечерней школе и всякий раз, возвращаясь с такой постоянной третьей смены, был дьявольски голоден, выражаясь стилем Дюма. Наедаться на ночь по всем медицинским предписаниям привычка вредная. Но если она внедрилась в меня, осталась и поныне?

Более опытные члены нашей группы, особенно «западники» и «молодожены», как уже говорилось, имели еще и портативные кипятильники и готовили вечерний чай в стаканах. О, бедный эконом, хозяин «Лебедя»! Ты, наверное, за голову схватился, подсчитав, сколько лишних ватт намотал счетчик после отъезда этих «рюс». Забегая вперед, вынужден сказать, что во многих отелях по всему Северному Западу розетки в номерах просто не делаются — как средство предотвратить утечку энергии. Спускайся в бар! Пей чаек и кофе в ресторане.

И — плати, плати, плати! Вода ведь — тоже товар, об этом еще будет сказано. В иных землях розетки вынесены в коридор, как, например, в Авиньоне, на юге Франции, тут вы можете, скажем, побриться, но врубить свой кипятильник: ни-ни! Рядом комната горничных. Эх ты, Запад! Как тяжело тут исконному россиянину даже в мирные дни. Не хочешь, да сопоставишь с родимой Русью, где и сахару вдоволь, и чаю, и воды, и молоко почти даром, про хлеб не говорю. Дешево, безумно дешево. Обидная даже цена для хлеба, расточительная. Так думается, особенно как глянешь на здешний учет и расчет. На каждом шагу демонстрируют тебе: ужато, ограничено, расфасовано, оценено до сотой доли полушки, из всего глядит точный, чересчур уж трезвый расчет, хотя чему-то в этом расчете, может, и поучиться стоит.

Нечерствеющий же, который мы купили, на поверку оказался чем-то средним между хлебом и ватой. Аппетита он не вызывал, не утолял, пожалуй, и голода. Без ужинов за все время путешествия, да еще вдвоем, мы, хлебоеды, не одолели и полбуханки — остатки скормили голубям где-то в Амстердаме. Он ведь был нечерствеющий...

На площади святого Ламберта, справа от выхода из универмага, нас словно бы поджидал громадный, как гора, невероятной ширины и высоты собор. Он был светло-розового кирпича и относился к позднейшим постройкам. Главное в нем была — величина, так сказать, «громадье». В жуткую высоту уходили своды, терялись в этой высоте-сумраке колонны. Стрельчатые окна с цветными витражами не разгоняли пасмурный мрак. Бродя по собору, дивишься лишь количеству человеческого труда, вложенного в эту махину, ну, вот хотя бы в эти бегущие вверх и ввысь колонны, кажется, что их воздвигли джинны из арабских сказок. Удивляешься попутно могуществу церкви и как-то вроде бы забываешь о боге.

Не берусь я судить католицизм, а также и любые другие церкви и верования. Раз они есть, не вымерли, значит, зачем-то людям нужны. Об этом уже писано много и подробно. Бог, очевидно, был доволен дворцами, возведенными в его честь и имя. Люди не жалели сил и средств, поколениями и даже веками поднимали ввысь, созидая и воплощая все это великолепие стен, сводов,

окон, башен, шпилей, витражей, настенной росписи, картин, статуй святых, баснословно богатой, немыслимо сложной резьбы алтарей и кафедр. Описать все невозможно, а надо видеть, и не просто смотреть — созерцать... Может быть, потрогать... Рука так и тянется. Но эти же самые купола, своды, витражи и алтари не отделяют ли слишком, опять на мой взгляд, человека от бога, если уж, по Библии хотя бы, должно существовать некое единство? Пустынник где-нито в муромских лесах, Серафим Саровский, или Серапион, паломник, бредущий к святым местам, меряющий в лаптишках версты в Киевскую лавру, а то и далее, в Афон, в Иерусалим, исстрадавшийся нищий, что пав на колени, воздев руки к небу, этому от века отчему и божьему лону, вознося молитвы прямо середь поля, леса и дороги,— не ближе ли они к сути веры и бога, чем сидящие рядами, как в партере, вот в этом гигантском храме и благоустроенно слушающие пастырское слово с кафедры под шелковым балдахином, осиянной венками и резными ангелами, оплетенной чешуйчатыми змиями и с лукавыми дьяволами, поверженными в кафедральное изножие.

Вот такие мысли были, хотя была и еще одна: что храмы эти, вся их основательная романская древность, равно как шпили и башни более поздней и легкой готики, навечно входят в суть Европы, в содержание ее жизни, истории, культуры, просто облика городов,— непредставимы без нее западные грады и веси, как немыслим и облик моей России без белого камня, без золотых куполов наших храмов, тех, что были, и тех, что, опомнясь, мы восстанавливаем как памятники с великим терпением. Главная суть здесь, по-видимому, не столько в религии, сколь в эстетических традициях народной жизни.

Что же касается религии и церкви, «опиума для народа», рискну к случаю высказаться и об этом. Не столь давно слушали мы, писатели, по плану политучебы лекцию. Лектор приводил цифры, повествовал о баптистах и сектантах, с ужасом сообщил, что вот-де несколько человек опять приняли обряд водного крещения, а мы (говорю его словами), работники идеологического фронта, не забили тревогу, недоработали, проглядели и т. д. Я лишь думал: разве смысл веры и религии в «водных крещениях», поклонах и обрядах? Не идет ли это все куда глубже в психику и даже суть всего высокооргани-

зованного живого, где, может быть, какие-нибудь танцы журавлей, лосиный гон, тетеревиный ток и даже роение пчел, муравьев — попытка прежде всего обеспечить себя надеждой, не в ней ли, надежде, и надежде на лучшее, на счастье, избавление от страданий, какую-то помощь, хотя бы эфемерную, находит оформление тот нравственный закон внутри нас, которому изумлялся Кант? И разве можно убедить верующего или неверующего такой вот трескучей, а в сути пустейшей лекцией, что вся из штампов и словесной неубеждающей шелухи.

Сколько мудрых, от ранней античности, ломали головы, пытаясь объяснить миру, по каким законам он живет, а мир жил, живет и, думается, еще долго будет жить, тем дольше, чем меньше будет созидающих для него авторитарных истин. Во всякой непогрешимости, вероятно, скрыта ошибка, скрыта и, вероятно, в моем вот этом размышлении, хотя я и принял некогда по воле бабушки «водное крещение», и, следовательно, по лектору, меня вроде бы надо зачислить в верующие.

Блуждание по недрам собора (а внизу под ним, то есть под главным помещением, есть, по словам гида, еще большой подвальный зал, где церковники проводят дискотеки и танцы для молодежи — вот как агитируют!) всем надоело, и мы вышли на улицу.

После собора автобус изрядно покрутил нас по Льежу, по его серым улицам, мимо конных чугунных императоров, на плечах и головах которых сидели чайки и голуби, мимо бесконечных причалов забитой судами реки Маас, мимо здания конгрессов, где развевались на ветру десятки цветных флажков, мимо церквей и музеев. Гид перечислял названия. Получалось, Льеж набит памятниками и музеями: музей армии и оружия, музей валлонского искусства, музей-аквариум, музей зоологический, музей архитектуры, музей народного быта и так далее и так далее. Наконец, музей стекла. Он помещался в старинных темных зданиях пятнадцатого века. Здесь была средневековая оружейная мануфактура. Все тщательно сохранено, вплоть до вековой копоти. Камни двора, в который мы вошли, узкие окна двух зданий справа и слева, изъеденный дождями кирпич и эта копоть — все говорило: здесь веками ковали, налаживали, изготовляли, чинили оружие, и, возможно, не только огнестрельное, а и холодное разного рода: пики,

копья, секиры, мечи и щиты. Здесь пахло ржавым железом, войной, рыцарскими доспехами, кузнечным потом и прогорелыми кострами инквизиции. Музей стекла находился по левую сторону каменного подворья, в подобном правому трехэтажном здании. Плата за вход. И — стекло всех видов и сортов, разумеется, не оконное, а в изделиях из него, литое, граненое, формованное всех огранок и цветов. Стекло не только бельгийское. Здесь оно представлено от первобытных мутных изделий, археологических находок, египетского, венецианского и других видов до вполне современного хрусталя. Довольно любопытно все вначале, но в конце концов надоедает, уже не смотрится, долит желание податься вон из этого стеклянного и застекленного в витринах царства. Месье Роже умеет привлечь внимание: «Вот, смотрите, личный хрустальный кубок вашей Екатерины Второй!» Действительно, на золоченом бокале вензель императрицы, как на старинных тяжелых пятаках. Бокал вывезен неким вельможей, бежавшим из России, и, очевидно, продан по нужде. Кубки, вазы, фужеры, рюмки и гарнитуры. Стеклянные сервизы. Стекло всех форм и расцветок. Стекло. Стекло. Стекло. Дивное великолепие труда подчас безвестных мастеров. Демонстрация возможностей практического и декоративно-эстетического его применения. Стекло. Что бы делало человечество, если б не был открыт сей, в сущности, удивительный, прекрасный материал, без которого мы не можем себе представить современной жизни. Стекло в Бельгии — особая статья, ведь его варили здесь с древности, оно было предметом торговли, вывоза, национальной гордости, осталось ею и сейчас, о том свидетельствуют пышные витрины стеклянных «хрустальных» магазинов, где кроме многочисленных и, как ни крути, приевшихся традиционных изделий вы можете купить, скажем, хрустального слона, хрустальную акулу даже с «проглоченным» ею и просвечивающим морским камнем.

Из музея стекла мы отправились уже в пешую прогулку по улицам и буквально тут же наткнулись на оружейную лавку. Мимо нее я уже не мог пройти. Бельгия! Льеж! Ружья «Лепаж» со стволами «Коккериль» букетного дамаска! — все это заполыхало в моей голове, ведь это был первый оружейный магазин, встреченный мною на Западе, и, ожидая всего, начитавшись, наглядевшись картин «пистолетного жанра», я, конечно, ждал

многого, но все-таки и представить не мог такого изобилия оружия: охотничьего, военного, спортивного, огнестрельного, холодного и не знаю еще какого.

Рядами стояли винтовки вполне боевые, винтовки снайперские с оптическим прицелом, при взгляде на них так и чудились убитые Джон Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Были тут винтовки и еще более усовершенствованные, целевые, из которых, чувствовалось, уж никак не промахнешься, были ружья «Монте-Кристо». Далее шли автоматы с дырчатыми кожухами, объемистыми магазинами — хоть сейчас на войну. А охотничьи ружья! Ружья со спаренными, вертикальными и горизонтальными стволами! Они были в нескончаемом изобилии и, вероятно, выше всяких похвал. Бой, кучность и резкость «поразительныя», как в том прейскуранте «Охотничьего вестника». Вероятно, теперь, столетие почти спустя, еще более поразительные. А далее в витринах революьверы, кажущиеся теперь несколько допотопными, и — пистолеты, пистолеты, пистолеты: все эти ковбойские кольты, браунинги, вальтеры, дагги, парабеллумы, маузеры. Отдельно коробочки патронов, россыпи пуль, коллекции их образцов, тускло сияющие никелем и бронзой. Детский восторг в соединении с трезвым ужасом. Ведь все это царство оружия могло безотказно стрелять, и хорошо, если просто в черное яблочко мишени в каменном тире. Но главное, главное свойство этого арсенала оружия было все-таки кого-то живого убивать, убивать, убивать, поражать на безопасном расстоянии, лишать жизни...

— Да-а-а...— тянула жена, пугливо оглядываясь.— Магазинчик...

Стены лавки были к тому же увешаны уже антикварным оружием. Были на стенах аркебузы, мушкеты, кулеврины — подобие небольшой пушки индивидуального пользования, висели перекрещенные алебарды, шпаги, рапиры, медные шлемы солдат эпохи войны за испанское наследство. Все это выглядело внушительно и роскошно. Не верилось как-то, что сей начищенный антикварий некогда прилежно и прицельно палил, начиная от громадных пистолетов с раструбами времен Атосов и Портосов, Ришелье и Людовика Тринадцатого и кончая, допустим, пистолетами дуэльными (и они были тут!), двуствольными и одноствольными «Кухенрейтерами»,— в изгибах курков, в утонченном изяществе ли-

ний змеилась как будто улыбка Дантесов и Растиньяков.

А торговала всем арсеналом убийства, как ни странно, женщина средних лет и такого мирного вида, толстенная, упитанная, с голубыми добрыми глазками, добренькой улыбкой, что стоять бы ей где-нибудь в плодоовощной лавке, отвешивать покупателям морковку, петрушку или апельсины.

Замечу еще, что кроме всамделишных бельгийских и американских автоматов, пистолет-пулеметов и жутких гангстерских кольтов здесь были и точные копии-игрушки, так сказать, «пугачи», пистолеты газовые, зажигалки и все такое прочее для желающих пугать воображаемого противника где-нибудь в темном переулке. И я благословил нашу мирную страну, где нет таких магазинов, при всей их экзотичности, нет и копий описанных предметов, запрещено их ввозить, не говоря уж о подлинниках.

Вечерело. Закрывались пустые магазины. Здесь они закрываются ровно в шесть часов. Теперь мы ходим по Льежу одни, то есть без гида, просто разглядывая витрины, изучая вывески. Вот, к примеру, магазин с широкими витринами от потолка до пола. От стен до входа он забит коврами. Господи боже мой! Каких только не было тут ковров, дорожек, паласов, тканого покрытия для полов и лестниц! Все размеры и расцветки. А сверх того еще ковры под шкуры диких животных: зебр, антилоп, тигров, белых медведей и пантер. Печальная с виду чета молодоженов — нет, не наших, а там, за стеклом. Молодожены явно прикидывали, не пора ли закрывать, и поглядывали на нас с тем же грустным недоумением: что за люди? На покупателей не похожи и на ротозеев вроде бы тоже. Чувствовалось, магазину этому не миновать черного флага, он как бы читался на лицах владельцев.

Возвращаться в гостиницу решили без гида. Нас было человек семь — из этого количества пятеро искушенных в зарубежных поездках, а значит, и в хождении по незнакомым городам. Правда, никто из нас не говорил и не понимал по-французски. Все мы полагали, что берем верное направление, рю Бекман где-то недалеко. К тому же в группе был самоуверенный наш лидер, все время старавшийся, как я понимаю, держать марку и подкреплять свой авторитет. Во внешности у лидера

было что-то от Остапа Бендера, и совершенно по-бендеровски он обходился с французским языком, заявив, что надо знать и всего-то три-четыре слова: мадам (мадмуазель) — он предпочитал говорить с женским полом,— «рю» — улица, «гран мерси» или «мерси боку» — большое спасибо. Вот и все.

Вскоре он и вынужден был пустить в оборот весь этот французский словарь.

— Рю Бекман, мадам? — останавливал какую-то подшибленного вида старуху.

Страх во взгляде, отрицательный жест головой.

— Мерси...

— Рю Бекман, мадам?

Пожимание плечами.

— Рю Бекман, мадмуазель?

И опять примерно тот же жест.

Оказывается, эту крохотную, узкую «рю» никто из льежцев не знает.

Ничего! Все равно найдем, храбрится лидер, идет вперед.

— Рю Бекман, мадам? — чувствую, сейчас опять будет то же. И поспешно добавляю по-немецки: «Фрау. Дас ист... Дас ист... Как это... Как это по-немецки «вблизи, около»? В общем: дас ист вблизи ботанишен гартен! Ботанического сада!

Подозрительный взгляд. Бош? Нет, вроде бы не бош.

— Туда,— машет мадам почти в противоположную сторону.

Лидер поражен. «Не может быть»,— бормочет он. Но все-таки меняем направление.

— Рю Бекман, мадам?

Мадам сначала ничего не понимает, хотя все поясняют жестами и по-русски! Наконец вроде бы поняла. Лицо прояснилось. Опять взмах рукой. Меняем направление еще раз. «Черт бы побрал это средневековье...— ворчит лидер.— Не улицы — паутина... Гран мерси, мадам, мерси боку-у!»

И наконец, когда мы оказываемся недалеко от ботанического сада, еще одна мадам, потолковее и посмелее прочих, рисует нам пальцем на капоте какой-то машины, как пройти.

— Гран мерси! Мерси боку!

Наконец-то! Вздох облегчения.

Вот она, эта рю Бекман. Вон и вертикальная вывеска

«Серебристого лебедя» — «Синь д'Аржан». Но, похоже, пришли мы с противоположной стороны.

Как бы там ни было — все счастливы. Лидер снова обрел непререкаемое величие. Еще бы: мы совершили путешествие по незнакомому городу без языка и нашли эту улицу-щель.

Вечером после ужина (ватный хлеб и стакан воды из-под крана — воду пили с осторожностью, памятуя, какая вонючая нефтеносная жижа текла здесь в канале Альберта) мы отправились гулять по ночному Льежу. Снова пошли вдвоем с женой, ибо группа еще с Люксембурга разбилась на фракции, и каждая из этих фракций выбирала и планировала вечерние прогулки. Самые смелые и знающие язык двинулись в кино и более злачные места — здесь ведь есть и стриптиз, и кинотеатры-подвальчики, где крутят без остановки фильмы не самые нравственные. Менее храбрые, образовав дамскую компанию с двумя-тремя мужчинами, шли смотреть витрины, и только двое-трое особо берегущих свою жизнь остались в гостинице, предпочитая смотреть телевизор в отдельной комнате — здесь он включается за умеренную плату. Такие, как мы, предпочитали гулять вблизи отеля, тщательно запоминая расположение улиц, чтобы не заблудиться.

Гуляли мы долго. Вышли на оживленную магистраль с бульваром старых кленов посередине. Вечно страдающий от жажды, я решил выпить пива в какой-то угловой «аустерии». Двери ее были распахнуты. Краснолицый бармен цедил пиво из никелевого автомата в высокие, зовущие пить бокалы. Он был предельно улыбчив и учтив.

— Мне бы сок, что ли,— сказала жена.— Как это по-французски?

— По-французски не знаю. А по-немецки, кажется, зофт! Или зенф? Буду говорить по-немецки, поймет, да и что тут понимать? Месье... Месье... Э-э... Битте... Айн глас бир, унд... айн глас... этот... зофт! Стакан пива и стакан соку...

— О, я, я! — хозяин все понял.

Мы садимся за столик в углу у окна. В аустерии кроме нас только парочка молодых людей. Некрасивая прыщавая девица и ее друг — не первой свежести парень в дрянных джинсах. Все-таки, может, я и ошибаюсь, джинсы эти придают владельцам бывалый и тертый вид,

и никак я не могу понять всей прелести этой, в общем, прозаической спецодежды, как бы ни защищали ее носители и владельцы. Ну, да бог с ними, мне-то что... А вот нам уже несет бокалы с пивом и соком моложавая, разбитного вида толстуха. То, как она обменивается с хозяином за стойкой обещающими взглядами, говорит, пожалуй, скорее это любовница, чем жена, или перешедшая в такой разряд служанка. Женщина из тех, которых называют «сладкими». Их свойство нравиться и оставаться женщинами неопределенно долго всегда удивляло меня. Вот и эта, ей, пожалуй, уж далеко за сорок, если приглядеться, но что за излучение какой-то сугубо женской сути идет от ее взгляда, от каждого движения, в сущности, она ведь даже некрасивая и не была красивой никогда. Забавно все это, думал я, отхлебывая пиво. Оно было совершенный лед. Наверное, и сок — тоже. Поглядывал, как морщится жена: больно горло. Пытаюсь согреть стакан в ладонях. Ощущение — держу кусок льда. «Ты как-нибудь потихоньку»,— говорю жене. Наверное, холод и лед напитков здесь оправдываются: во-первых, в жару хочется холодного, во-вторых, здесь пьют потихоньку, сидят с бокалом чуть не весь вечер, что при полупустых кафе тоже приманка, в-третьих, «усидев» такой бокал, наверное, закажешь еще. Как ни поверни — кругом выгода... А мы по-бельгийски все-таки не умели и, подождав сколько можно, чтоб считать напитки согревшимися, стали осушать стаканы залпом, по-русски. Пиво было хорошее, ломило зубы, несмотря на согрев, и было как-то вроде пожиже нашего, не столь сытное, не столь густое, а как бы газированное и не горькое. Мы ушли под недоуменным взглядом бармена: «Куда торопятся?» — и игривой улыбкой в чувственных глазах и губах «мадам».

Мы отправились дальше по бульвару, оба, должно быть, хорошо сознавая, что не столько утолили жажду, сколько добавили себе печали — горло, по крайней мере у меня, болело все явственнее. Но что там! Ведь мы — в Бельгии! Гуляем по Льежу, столице фирмы «Лепаж» и ружей со стволами «Коккериль»...

На обратном пути мы открыли недалеко от «Лебедя» не то магазин, не то ресторан со странными рифленожелезными опущенными шторами, какие бывают на окнах банков. Может, он и не привлек бы нас своей банковой, сейфовой сутью, если бы над глухими дверями

не красовался двуглавый орел — российский герб на черном фоне. А ниже, по-русски и по-французски, было написано со старомодной орфографией: «Романовъ». Какое все-таки это заведение — понять было трудно. За глухими шторами изнутри ни звука, ни огонька. В закрытых домах и магазинах, особенно ночью, вообще кажется, обитает лишь молчаливое время, но здесь как будто не было и его. Нечто ирреальное чудилось за створами железных рам, и мне этот «Романовъ» напомнил, хотя и ничем не похожий, дом, который стоял недалеко от слободки, где я жил в детстве. В доме том закончил свои дни последний русский царь.

Далее за «Романовымъ» шли еще какие-то магазины, естественно, закрытые в сей поздний час, но с освещенными витринами. В одной из таких витрин я увидел коллекции марок, и старая филателистическая жилка тотчас встрепенулась во мне,— я прирос к витрине, разглядывая альбомы, кляссеры, марки — новинки и наборы, среди которых были серии по искусству. Филателия теперь сделалась столь разнообразно многочисленной, что разве только мультимиллиардеры да короли могут собирать, как говорили во времена моего детства, «весь мир». Я его тогда тоже собирал. Теперь любители собирают «отрасли» филателии, и больше всего «искусство» — живопись и скульптуру на марках. Но вот наказанье — и искусство в течение краткого времени сделалось непосильным, не по карману — не объять необъятное,— и тогда родились ответвления, допустим, какая-то одна школа, ну хоть импрессионисты или «женщина в живописи». Я, например, до недавнего времени собирал эту «женщину в живописи» и потому задержался у витрины так долго, что другая женщина, стоявшая сначала рядом, а потом за моей спиной, стала тянуть меня за рукав плаща. Не будучи в силах оторвать этот рукав или меня от витрины, она умоляющим тоном заметила, что на улице уже никого нет, кроме какого-то подозрительного типа, который топтался на противоположной стороне. Жена еще раз четко объяснила мне это, и я внял мольбам, скорее похожим на приказ, нехотя двинулся от витрины в направлении отеля. Он был близко, за углом. Краем глаза я видел, что личность на другой стороне улицы поплелась за нами. Жена ускорила шаги. Я же сказал ей, что торопиться не буду, а в крайнем случае вспомню что-нибудь из уроков самбо,

усвоенных в дальнем прошлом. Жена напомнила мне о том, что продавалось днем в оружейной лавке. Но пока я вспоминал и прикидывал, мы благополучно свернули на рю Бекман, а личность в плаще и шляпе осталась за углом. У подъезда отеля мы присоединились к группам своих, потихоньку они стекались сюда со всех сторон.

Было уже около двенадцати. Утомленно-бледный молодой хозяин подметал мягкой щеткой внутреннюю лестницу и пожелал нам доброй ночи.

Кое-как, по-немецки, я спросил его, как поздно он кончает свой рабочий день.

— В половине первого,— ответил он.— Надо еще поработать на кухне. Подготовить продукты на завтра.

— А встаете? — не унимался я.

— Обыкновенно. В шесть,— отвечал этот буржуй-эксплуататор.

— Ну, знаешь, не надо никакой гостиницы, чтобы так ломить,— заметила жена, с ужасом качая головой.

Мы отправились в свой двойной номер, где юный муж уже раскладывал в предбаннике эту мудреную шкаф-кровать, а супруга с неудовольствием на покрытом ночным кремом лице следила за его неуверенными действиями. Закрыв дверь, мы оказывались отрезанными от мира кроватью «молодоженов».

Уснуть сразу никак не удалось. Новое место. Мрачные коричневые обои. Что за стиль, что за вкус здесь встречается, на Западе? Иногда попадают дома и комнаты, окрашенные чуть ли не в черный цвет. Для меланхоликов, что ли? Или вот хотя бы тот черный флаг. Груз впечатлений словно вращался в голове, и все виденное, пережитое за этот огромный день возникало вновь перед глазами и в памяти. Горло болело уже зверски, невыносимо. Жена призналась, и у нее — тоже. Опять глотали, жевали таблетки. Запить нечем. Туалет во владении «молодых». К тому же я тотчас обнаружил, что стена в изголовье кровати гудит ровным электрическим гулом, по-видимому, работают какие-то моторы или холодильники внизу. А дальше обнаружилось нечто худшее,— оно всегда и везде обнаруживается по ночам, только прислушайся,— примерно каждые десять минут снизу раздавался весьма громкий стук: «Туки-тук, туки-тук, туки-тук» — работала какая-то неведомая автоматика. Месила ли она тесто, стряпала ли отбивные — не знаю,

но стучала исправно, отключаясь на короткие интервалы, в продолжение которых я вовсю старался уснуть, но сон не шел. Это была изощренная пытка. Вот стук затихал, вот я уже придремывал под ровное гудение стены, вот-вот готов был уйти в блаженный, облегчающий сон, как начиналось это «туки-тук, туки-тук», и, возвращаясь к бодрствованию, я клял технику, автоматику, всякую там телемеханику, электронику, будь она проклята, как хорошо, просто было без нее жить, дышать, спать... Проклинал я и этого «Серебристого лебедя», и его хозяина-жмота, заменившего, видать, всю обслугу и на ночь стучащими роботами, и самое ужасное, ведь даже не выйдешь — заблокирован «молодоженами». Как вторгнешься в их интим? Еще счастье — предусмотрительно побывал в туалете, иначе — беда.

Измучившись до мочального состояния, до равнодушной прострации, на рассвете я уснул. Но и во сне слышал это ритмично возникающее «туки-тук, туки-тук». Помню, мнилось мне, что, маленький, пятилетний, живу с бабушкой «на даче» в довоенном захолустном городишке, на самой окраине. И во сне я не сплю, потому что по улицам ходит ночной сторож (были тогда еще такие!) и стучит, стучит в колотушку.

Когда я открыл глаза, в коричневом ящике нашей спальни было уже мрачно-светло. И опять сразу подумал, что это за мода оклеивать стены в дикую темь. На коричневых обоях были какие-то желтые букеты, проступавшие в сумраке жуткими костяными ликами. Откинув коричневое одеяло с коричневой кровати, я подошел к зеркалу в коричневой раме, чтобы убедиться: не коричневое ли у меня лицо? Лицо было все-таки сносное, лишь несколько желтее от недоспанной ночи и олететрина, которого я хватил с досады сразу таблетки четыре. Горло не болело. Жить было все-таки можно. Издали зазвенел колокольчик — хозяин приглашал к подъему и завтраку.

А завтрак в «Серебристом лебеде» был обильный, свежий, с хорошим кофе, сыром и маслом, хрустящими пышными булочками. Не их ли тесто всю ночь месила окаянная техника? И опять прислуживал нам хозяин. Выглядел он вполне выспавшимся, бодрым — очевидно, привык к своим машинам и их голосам. Да свое ведь и не мешает, как не мешает свое радио, телевизор, в отличие от соседского. Свое-то ведь надоест — всегда

можно выключить. Жена хозяина выдавала с кухни подносы. И, принимая обратно грязную посуду, юный брат исправно ее бил. Грохот и звон фарфора не раз больно отражались на заботливом лице хозяина. Но боль эта быстро пряталась, уступала покорности судьбе.

Через полчаса мы распрощались с «Серебристым лебедем», а еще через полчаса — и с городом Льежем.

Забегая вперед, скажу, что, если другие-прочие бельгийские города и поселки дышат приветом, стариной, уютом и мирной тихой жизнью, блестят яркими красками новехоньких вилл, дорожных таверн, пароходной чистотой бензоколонок, Льеж так и остался в моей памяти (в моей ли только!) самым пасмурным, серым, каким-то замученно-озабоченным, как бы с тревогой глядящим в даль дней. Он выглядел как человек, потрясенный нежданно нагрянувшими невзгодами, человек, и прежде-то живший нешироко, строго, скуповато, с редкими праздниками и вдруг оказавшийся на грани бедности и еще без работы. Конечно, кой-какие деньжонки, сбережения есть, удерживают отчаяние, временами человек пытается веселиться, махнуть на все рукой. Характер-то у валлонов веселый, радостный, но все равно грустновато как-то было, тревожно. Вот таким и запомнился Льеж — столица оружейников и металлургов, стеклодувов и ткачей, столица веселой Валлонии с ее университетом, конными памятниками, заводами, пристанями реки Маас, забитой судами и лодками, с задумавшейся громадой собора на площади святого Ламберта и тем горьким кладбищем на лесистом холме, где остались чьи-то сыновья, русские солдаты.

Отличная автострада опять повела нас по ярким голубым указателям меж полей и лесов к Брюсселю. Местность сменилась: холмы и предгорья Арденн остались позади, и теперь лишь слегка всхолмленная равнина сопровождала наш разникелированный «Мерседес».

Бельгия — страна хорошей сельской культуры. Никогда не видно здесь заброшенной земли, посевы либо убраны, либо стоят еще ровной зеленовато-седой стенкой, редко-редко увидишь где-нибудь сорняк. Обочины дороги выстрижены, как газон (нельзя добру пропадать!). Виднелись вдали квадраты темно-зеленой неубранной кукурузы и какой-то еще высокой, явно силосной травы. Не суданской ли? Средняя Бельгия уже не походила на Урал. Если искать сопоставления с чем-то

знакомым, то местность как-то одновременно напоминала и Псковщину, и Прибалтику, и более родную мне Западную Сибирь. Равнина-равнинушка. Лишь не тот размах, не та, во всю грудь, безоглядная ширь. Пространства здесь у́же, а небо — вот странно — словно бы выше.

Густонаселенная маленькая страна, издревле обжитая местность, но сельский пейзаж поражает безлюдьем, словно бы сами собой пасутся кое-где коровы и овцы, сами собой колосятся посевы, сами собой и убраны уже значительные площади или перепахано под зиму жнивье. Нет ни фигурок пастухов, ни просто шествующих вдоль дороги селян, ни подгоняемых стад. И все-таки это не то безлюдье, что видишь у нас из окна вагона, допустим, на Среднерусской равнине или возвышенности. Там и безлюдье какое-то божье, немеренное. Здесь же о населении напоминают группы домиков, мелькающие в стороне под защитой дубовых, кленовых ли крон. Месье Роже читает нам лекцию о сельском хозяйстве. Слушают явно не все. Кто-то даже похрапывает. Но я исконный горожанин и всегда страстно интересуюсь крестьянским бытом, корни мои, должно быть, крестьянские, и не отстает от меня жена. Это уже крестьянка коренная, в прошлом и в юности колхозница, всего хватившая: и пасла, и доила, и боронила. В их полевом доме на окраине деревни еще доживала век старая, обломанная и жалобно скрипевшая, как возьмешь за ручки-рога, соха...

Оба мы записывали, стараясь еще и глядеть по сторонам. И может быть, благодаря такому вниманию месье Роже не обижается на храп. Бельгия, по его словам, уступает в сельском производстве только Нидерландам и Франции. «О-о, голандцы умеют работать еще лучше нас»,— самокритично утверждает Роже. Картина в общем-то, из слов Роже, типичная. Интенсивное хозяйствование. Любовное отношение к земле. Мясо-молочная направленность. Мясом, молоком, маслом, яйцами и овощами страна обеспечивает себя полностью. Зерновые приходится покупать. Мелкие фермы разоряются. Крупные богатеют. Сельское население уменьшается катастрофически, но зато растет число хозяйств типа наших «садов», где рабочие и служащие, пенсионеры производят много дополнительной продукции. Средняя ферма 30—40 гектаров земли. Работают семьей. Наемный труд не-

дешев. Теперь рабочий класс в Европе везде добился признания своих прав, и потому рабочему-наемнику нельзя платить меньше обусловленного законом минимума, его надо застраховать, заплатить ему отпускные и прочее. Все это у-у-ужасно дорого. Отсюда — семейная ферма, где работают от зари до зари, труд немеренный, пот — тоже. Молодежь работает неохотно — каторга! Уходят в города и от родимой земли. Выручают только машины и крестьянская самоотверженность. В Бельгии работает свыше ста тысяч тракторов. Один трактор на 10 гектаров. В то время как еще после войны один трактор приходился на 90—100 гектаров земли. Скота в Бельгии очень много: три миллиона голов крупного, пять миллионов свиней. Кроме того, лошади, овцы, птица, кролики. Великолепно развито садоводство, парники, шампиньонницы, клубника и производство (именно п р о и з в о д с т в о) цветов на срез (тюльпаны, нарциссы, лилии, орхидеи). Их даже экспортируют. Цветочной столицей Бельгии считается фламандский Гент.

Многое из пояснений гида была мне знакомо, ведь я читал о Бельгии все, что мог найти, важно было убедиться самому, увидеть своими глазами. Глаза же говорили: действительно, землю здесь ценят, она здесь на вес золота. Она и родит золото, разумеется, при умелых, старательных, любящих труд и эту самую землю руках. Трактор же и машины в странах Северного Запада фактически вытеснили кулака как типичного эксплуататора. (О самых богатых хозяйствах не говорю.) Сама экономическая обстановка заставляет крестьянина приспосабливаться жить и быть без чужого наемного труда, и, может быть, здесь заложен путь к преобразованию этих хозяйств в иные социальные формы. Вопрос этот ждет смелых и непредвзятых исследований.

А пока длилась лекция о сельском хозяйстве, мы подъехали к городу Лувену, пейзаж сменился лесистопарковыми предместьями, буковыми рощами, каким-то непривычно темным, «ненашенским» и словно бы невсамделишно-декоративным лесом. Такой лес растет на сценах оперных театров.

Город Лувен подступил-открылся внезапно. Роже называл его Лёвен (не знаю, как точно, хотя скорее по транскрипции Роже). Здесь мы остановились размять ноги, и хотя остановка была краткой, около часа, всетаки ее хватило, чтобы и послушать рассказ об этом

городе, и побродить по его центральной части. Старый это город. С таким же старым, гордящимся древностью университетом. Основан в 1425 году! Масса красивых старинных зданий. Готика и барокко. Вычурный стиль строений с башенками и куполами, резной камень. Колледжи университета расположены в разных зданиях и как бы имеют автономию. Раньше, в средневековье, университет готовил медиков, юристов и богословов. Теперь гуманитариев широкого профиля. Для завершения высшего образования мало окончить университет, надо еще дополнить его высшим профессиональным образованием. Гид сообщил, что в университет принимают без экзаменов. Но за обучение надо платить. Сумма порядочная и не всем по карману. Правда, для бельгийских Ломоносовых есть система государственных дотаций и частных стипендий, на которые худо-бедно можно одолеть университетские программы. В вузах с профессиональным уклоном надо учиться уже на собственные деньги, вот почему многие студенты подрабатывают где могут, в том числе в страдный сезон и на уборочной в богатых хозяйствах, а также работают гидами, уборщиками, нянями (студентки), сиделками и натурщицами. Студенческий хлеб не легок. Не ждет студентов и распределение по окончании. Закон жизни жёсток, если не жесток. Устраивайся как можешь. Обо всем этом гид уже не говорил. Хотя старался сохранить всегда и во всем меру видимой объективности. Если уж дорого — дорого, если налог — налог. Попутно гид рассказал и о системе народного образования. Школы в Бельгии, как и почти везде на Западе, трех типов: частные пансионы, государственная массовая школа и школа католическая, то есть существующая на церковные деньги и с несколько большим религиозным уклоном. На вопрос, насколько же церковным является обучение в этих школах, месье Роже с усмешкой ответил — «не слишком», программы примерно те же, что и в государственных училищах, но церковь побогаче, имеет возможность нанимать лучших преподавателей, лучше обеспечивать учебными пособиями, помещениями, наглядностью и прочим, построже и с дисциплиной. И вот подчас даже бельгийские коммунисты отдают, по словам Роже, детей в католические школы, очевидно не опасаясь, что дети их выйдут оттуда оголтелыми клерикалами. Частные же школы самые лучшие, но — ужасно дороги. Это для бо-

гатых людей. Везде и здесь, по-видимому, действует закон выгоды, который мало-помалу все мы уже как-то стали чувствовать и распознавать даже за эти длинно-короткие дни.

Не помню, в каком фильме было сказано, что турист за десять дней должен усвоить то, что местные жители-аборигены не усваивают за всю жизнь. Вот уж точно. Здесь информация прет на тебя потоками: от гида, от местности, от твоей собственной осведомленности по закону ассоциаций и воспоминаний, наконец, от желания запомнить, охватить, вобрать и сберечь...

А аборигены везде примерно одинаковы. На одного чудака, знающего все про все, миллион незнающих и нежелающих знать. Вот помню, как в Хосте мы с женой буквально допрашивали местных жителей: что это за дерево? Что за растение? Как называется? И многие ничего не знали, глядели на нас подозрительно, как на дураков. Дерево, да и все. Зачем вам знать, как оно называется?

Лёвен со всей своей старой геральдикой некогда был окружен стенами, на месте которых теперь бульвар. Растут высокие платаны и каштаны, клены и дубы — нечто вроде кольцевой дороги, окружающей старый центр. От Брюсселя город недалеко, всего 26 километров, это по-нашему, по-российски, рядом, по-бельгийски же город отнюдь не является предместьем Брюсселя, здесь расстояния как бы раздвигаются при одновременной их незначительности. Нет, это даже и не город-спутник. Он как бы гордится своей самостоятельностью, неподчиненностью, о чем говорит и путеводитель по городу, где старательно запечатлены все архитектурные достопримечательности и святыни.

Час прогулки по Лёвену проскочил необыкновенно быстро, и мы покинули этот город, какой-то все-таки нехарактерный для Бельгии, лесисто-парковый и словно бы сохранившийся за этими буковыми лесами как средневековое свидетельство той старой, лесной и ушедшей в прошлое предфеодальной Европы.

Теперь путь лежал уже в предместья Брюсселя, в город-спутник столицы Тервюрен.

Глава V

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АФРИКУ

Музей — памятник Африке. Экскурс в историю. Резиновая посетительница. Слоны, носороги, антилопы и прочее. История африканского павлина. Боги, божки и черти. Два разных взгляда на жизнь.

Может быть, моим спутникам этот Тервюрен не говорил ничего. Но я-то давно ждал встречи с ним, а точнее, не с этим зеленым, тенистым и парковым предместьем Брюсселя, а с музеем, который был в нем. Здесь располагался колоссальный музей Центральной Африки — музей Конго. Десятилетним подростком, оголтелым любителем-фанатиком всего живого, а особенно южного и тропического, я читал все и вся, что мог найти «про Африку», и, конечно, знал о чудесном Бельгийском Конго, владении, захваченном бельгийцами в самом сердце Африки.

Как странно, моя вовсе еще не длинная жизнь началась тогда, когда все страны Африки, кажется кроме Либерии и Эфиопии, были еще колониями. Марки колоний с изображением крокодилов, зебр и носорогов, марки, которыми я грезил, словно навсегда утверждали незыблемость африканских владений Англии, Франции, Испании, Бельгии. А Центральная Африка, бассейн Конго, воспринималась сплошным белым пятном — поясом дебрей. Еще совсем свежи были имена Ливингстона и Стэнли. И вот прошло сорок — пятьдесят лет, полвека, и уже никаких колоний, никакого Бельгийского Конго, и музей в Тервюрене скорее уж символ прошлой и будто бы сказочной Африки, о чем напоминает колоссальная бетонная статуя большеухого африканского слона,— на спине его (кстати, зачем?) как-то несуразно поместились маленькие фигурки негров с копьями. Слон стоит напротив длинного здания музея, у входа в парк.

Да, музей Центральной Африки, наверное, как все музеи вообще, постепенно, а здесь даже очень быстро, превратился в памятник истории и природы всего материка, который уже вряд ли когда-нибудь возродится

в первозданном величии дикой природы, напоминавшей еще полстолетия назад давно минувшие периоды жизни Земли.

В полутемном прохладном вестибюле мы сдали плащи и сумки, осведомились, можно ли фотографировать, и отправились в путь, ибо это действительно был путь, путешествие в глубь Африки, в недра уникального музея, который стремительно бегущее время делает все уникальнее.

Африка, что случилось с тобой за какие-то три десятилетия двадцатого века! Перекрасилась, изменила цвет твоя карта, на месте чуть не пещерных стоянок выросли современные чудища-города с кипучей европейско-африканской жизнью, с небоскребами, автострадами, аэродромами. Куда делись неисчислимые будто твои слоны, антилопы, зебры! Носороги уже наперечет, львы — никому не страшны, живут в заповедниках, на них смотрят через стекло машин, а крокодилы и бегемоты уже что-то вроде резиновых декораций Диснея и с той же целью сохранены в резерватах Серенгети и Нгоро-Нгоро. О, Африка... Ах, Африка... Эх, Африка...

Междометия сии, поверьте, оправданны, когда осознаешь, что здесь, в Тервюрене, под Брюсселем, Африки той, самобытной, хоть и, увы (еще одно междометие), неживой, наверно, больше, чем сможешь увидеть ее там, на месте, пропутешествовав годы.

В вестибюле прямо на полу, скрестив ноги по-турецки, сидела девушка, с любопытством глядя на нас яркими голубыми глазами. Подойдя ближе, мы обнаружили не без труда, что девушка — манекен, то ли резиновый, то ли пластиковый, но очень точно изображающий завороженного созерцателя. Черт побери этих бельгийцев, скоро они дойдут уже до каких-нибудь кибернетических дам, женщин, имитирующих живую и говорящую натуру из плоти (об этом еще придется сказать дальше). Девушку хотелось потрогать, боязливо погладить распущенные по плечам абсолютно натуральные волосы. Останавливает сомнение — а вдруг заговорит, запротестует и стукнет тебя по руке. Вот наваждение!

Но надо идти дальше.

Конго было завоевано бельгийцами в течение десяти лет, в период правления короля Леопольда II. Гигантская страна в центре Африканского материка неизме-

римо превосходила Бельгию и площадью и населением. Для сравнения вот современные данные: площадь Конго (ныне Заир) — 2 миллиона 345 тысяч квадратных километров, Бельгии — только 30 тысяч этих квадратов! Население Заира 26 380 тысяч, Бельгии — 9823 тысячи.

Предлогом для завоевания и вторжения, как сказал гид, было смехотворное утверждение Леопольда II, что в Центральной Африке арабы-работорговцы «украдывают женщин и продают на невольничьих рынках». Отсюда благородное стремление к защите прав несчастных негритянок, выразившееся в оккупации этого тяжелого для европейцев района, самого сердца Африки с его огромной артерией — рекой Конго. Так возникло на время Бельгийское Конго — земля влажных тропических лесов и чудесных горных саванн, природа которых в значительной мере и теперь еще не тронута цивилизацией и урбанизацией. По неосвоенности богатств Конго-Заир может соперничать только с не менее огромным Суданом в его нижней, южной части. Однако и тех богатств, которые вывозились из Конго и потреблялись или перерабатывались в Бельгии, шли на внешние рынки, было много. Бельгийская буржуазия обогащалась за счет Конго, как питается комар на теле слона. Фрукты, кофе, каучук, древесина, золото, алмазы, медь, редкоземельные элементы делали Бельгийское Конго нескончаемым источником прибыли. В этот период предусмотрительный Леопольд II и основал музей, памятуя, возможно, что нет ничего вечного под луной, а Конго рано или поздно станет самостоятельным. Так и случилось, что после восьмидесятилетнего колониального режима на карте возникла республика Заир, а город Леопольдвиль превратился в Киншасу. Черно-желто-красный флаг сменился на голубой с полосой по диагонали. Бельгийская буржуазия с трудом пережила период паники и разочарования. Но памятником почти столетнего завоевания и владения остался музей в Тервюрене, по залам которого мы теперь ходили с разным, и даже очень разным, интересом. Женщины и кое-кто из мужчин уже через полчаса зевали, шли к выходу, на воздух. Подобные мне готовы были остаться тут хоть до закрытия.

Да, здесь была та самая Африка, которой я грезил все свое детство, всю юность, да, пожалуй, и всю дальнейшую жизнь. Как-то так уж получается, что, создав в себе образ континента или даже вообще южных тро-

пических стран, представляешь их как нечто сладостно-счастливое, богатое, бесконечно разнообразное и радующее нежданными находками, открытиями, и что за перст судьбы, ее подарок, если все эти как бы открытия и якобы находки, вся радость встреч с желанными берегами, пустынями, лесами, вулканами, с животными: слонами, носорогами, буйволами, антилопами, китоглавыми цаплями, ибисами-марабу, страусами и жуками-голиафами, даже просто с названиями вроде Килиманджаро, Киву, Букаву, Конго,— все, что мыслилось как несбыточность, здесь вот превратилось в реальность, пусть неживую, но все же вещественность, глядящую на тебя из витрин стеклянными глазами. Думается, что нигде, ни в какой поездке по Африке, ни в каком зоопарке я не увидел бы столько представителей африканской фауны (здесь есть еще как будто и ботанический сад), сколько тут, в залах музея.

Животные в витринах были объединены в группы среди травы, деревьев, неплохо написанного фона. Вот, например, антилопы — большие куду, самец и самка, с красивыми, винтообразно закрученными рогами. Они точно выскочили на опушку и опешенно стояли по колена в траве перед не менее удивленным зрителем. В музее паслись зебры, грелись на солнышке львы, лежали на сучьях леопарды, носороги стояли в дремотном оцепенении. Прекрасные экзотические птицы сидели в стеклянных витринах: аисты, ибисы, змеиношейки, пальмовые орлы, нектарницы, похожие на американских колибри, ткачики со своими глиняными гнездами.

Как на грех у меня закапризничал фотоаппарат. Проклятая эта техника явно имеет свой характер и темперамент. Отказывает в самую нужную минуту, и я готов был брякнуть свой «Зенит» об пол, до того подвел он меня,— пленка не двигалась ни взад ни вперед, и я не заснял ни залов с птицами, ни витрин с обезьянами, где были разнообразные павианы: бабуины, гамадрилы, были дрилы и всяческих видов мартышки, обезьяны гверецы, или колобусы, с белыми бородами и как бы мантиями, и особо обезьяны человекообразные: шимпанзе и гориллы. Громадное чучело мохнатого черно-бурого как бы медведя-человека и лешего за стеклом напоминало о странных дорогах эволюции. Здесь была ее тупиковая ветвь. Разум природы в порывах беспомощности или гнева часто творил гигантов, чтобы,

оборвав неверную нить, начать снова и по-новому.

Да, музей давал пищу раздумьям, но не давало время, отведенное на экскурсию: оно заставляло нервно черкать в блокноте, путать страницы, торопиться, писать обрывками в попытках объять необъятное.

Когда я уже миновал залы зверей и птиц, наиболее интересные, наверное, и для читателя, упрямый «Зенит» вдруг заработал, пленка передвинулась, и я успел снять коллекции африканских жуков и бабочек. Здесь были, конечно, и знаменитые жуки-голиафы, близкие к нашим бронзовкам. Все виды этих гигантов из мира насекомых живут лишь в пальмовых лесах Конго и стали ныне так редки, что правительство Заира запретило их сбор, ловлю и вывоз! Голиафы в коллекции были чудесные. Жук достигает десяти сантиметров длины при порядочной ширине черно-белого полосатого панциря. Он окрашен наподобие расписных негритянских щитов. Впрочем, скорее наоборот, негры копировали удивительную изменчивую окраску голиафовых панцирей, перенося узоры на свою утварь. Жук этот странно, ассоциативно неуловимо напоминает и слонов, и зебр, и творения африканских народных художников, так сказать, абстракционистов. Из всего африканского он, пожалуй, самый африканский, хоть были у него и древние соперники жуки-скарабеи, огромные мрачно-сизые навозники, некогда священные жуки египтян. Символ скарабея был ведь на жезлах всех египетских фараонов. Бабочки Африки уступают бабочкам тропической Азии, тем более Америки, но и здесь были замечательные гигантские экземпляры парусников «кавалеров», были удивительные ночные павлиноглазки с длиннейшими «хвостами» и словно бы перьями — мечта энтомологов и собирателей, маленькие чудеса тропического леса.

А еще в этом же зале были витрины с хищными клыкастыми рыбами; рыба двоякодышащая, многоперы, сомы, чуть не сказал «жили» в витринах, громадные кобры, древесные змеи-яйцееды, рогатые гадюки, ящерицы-агамы и вараны и, наконец, хамелеоны, странные уменьшенные копии давно исчезнувших динозавров. А крокодилы! Они были представлены всеми четырьмя африканскими видами, но больше прочих поражал воображение гигант — нильский, едва ли не десятиметровой длины. Это был ужасный ящер, и ему значительно уступали крокодилы черный, узкомордый и тупорылый.

Были тут же и спутники крокодилов — черепахи, и тоже разные: водяные, змеиношейные и кожистые. И, наконец, красовались под стеклом скорпионы, похожие на раков и не уступающие им по величине.

В отдельных витринах, среди травы, стояли удивительные термитники. Обычно под термитником мы понимаем глинистые и как бы бетонные бугры в саванне, похожие на муравейники,— но это были совсем несхожие, странные, ирреальные даже сооружения черного и коричневого цвета: грибы не грибы, жилища домовых или каких-то травяных духов, а может, и сами эти духи. Эти травяные старички мрачновато стояли, иные даже как бы опираясь на палочки, и тягостно смотрели на нас. И я думал, что дикая природа не раз и не два создавала внешние подобия людей совсем в неодушевленных вроде бы формах: в виде скал, камней, останцев, облаков, деревьев, а здесь она сотворила человеческий образ лапками живых существ, настолько далеких от людей, словно бы инопланетяне, однако похожих своей коллективистской жизнью на общество, о котором они знать не знают, как, возможно, не ведаем мы об иных самых невероятных, непредставляемых и далеких цивилизациях.

Много было чудесного в этом музее — обо всем не расскажешь. Упомяну только еще о двух экспонатах: лесном жирафе — окапи, который был открыт в лесах Конго сравнительно недавно, в начале нынешнего века, и африканском павлине. Окапи еще очень напоминает первых, несовершенных млекопитающих, которых творящая сила природы лепила будто бы из случайных частей. Окапи как раз и похож на животное, составленное из ошибочно набранных кубиков с картинками. Полосатый зад зебры вдруг переходит в бурое туловище антилопы, далее следует длинная шея, скорее похожая на шею верблюда или гуанако, а маленькая голова одновременно напоминает жирафа, ламу и даже тапира. Этакий Тянитолкай из сказок про Айболита. Окапи был в музее даже в нескольких экземплярах.

Но самым интересным экспонатом — по крайней мере для меня — оказались невзрачные птицы величиной с крупную курицу или индюшонка, отчасти они походили и на африканских цесарок. Птицы были неброского бурого цвета. Ничего, ничего, ничего выдающегося, если бы на головах их не красовался венчик-султан, точно

такой, как у всем известных роскошных павлинов из Индии.

Я знал историю этих птиц, прочитал ее сорок пять лет назад, еще перед войной, в журнале «Вокруг света». Тогда это была всемирная биологическая сенсация. Оказывается, невзрачные бурые птицы с павлиньим хохолком были редчайшими африканскими павлинами, новым видом и даже родом отряда куриных. Открытие нового вида даже мелкой птички ныне сенсация. А тут в тридцатые годы найдена неизвестная науке крупная птица, да еще из куриных, все виды которых давно считаны-пересчитаны. Удивительнее всего было то, что нашли и открыли павлина не в дебрях Африки, не в Конго, а здесь, в музее. Некто из сотрудников-орнитологов, разбирая тушки птиц, добытых в Конго и за неимением интересных экземпляров брошенных как бы в чулан-запасник, обратил внимание на бурых птиц, похожих на самок обычного павлина. К счастью, орнитолог был грамотный и озадачился вопросом: как это мог индийский павлин (пусть самка) оказаться в Конго? А так значилось на этикетке (самка павлина). В Конго? Да не может быть. Вероятно, это путаница, недоразумение. Павлинов никогда не было в Африке, как не было, допустим, тигров. Но этикетка, привешенная к тушке павлина, свидетельствовала — птица добыта в лесах Конго. Биолог, говоря словами вечерних газет, «забил тревогу». А когда чучела птиц сравнили, не осталось сомнения: да, это новый, неизвестный науке и миру вид, африканский павлин. Осталось только найти его живым, раздобыть живую вещественность, и биологи бросились в Конго. Павлин действительно там жил, живет еще и теперь. Открытие африканского павлина в Тервюрене, замечательное само по себе, свидетельствовало и еще об одной громадной и уже геологической проблеме. Павлин с Конго подтверждал, что Африка и Индия некогда составляли единое целое, входили в гигантский праматерик Гондвану, который с течением времени раскололся на нынешние материковые плиты, дрейфующие и расходящиеся, согласно гениальной гипотезе Вегенера. Этот павлин лишний раз подтверждал теорию, над которой еще посмеивались в тридцатые годы, но которую приняли ныне всемирно даже закоренелые скептики.

Вот какая птица скромно стояла в застекленной витрине музея, как бы свидетельствуя, что чудеса Африки

не кончились, что, быть может, Конго и еще не раз удивит мир своей лесной, горной, водяной и древесной фауной и флорой.

Ах, побывать бы в этом Конго, простите, теперь уже Заире, проплыть по реке до истоков, побродить по тем лесам и саваннам! Мечта, мечта... Ведь за музейной неподвижностью всех этих прекрасных экспонатов скрывалась еще их подлинная, живая суть, а человек никогда не удовлетворяется увиденным, всегда ищет безвестное или подлинное — иначе он не был бы человеком.

Вторая часть музея, которую все из-за этого быстротекущего времени пришлось осматривать бегло, была посвящена быту и образу жизни племен, населяющих Центральную Африку. В залах были представлены хижины, утварь, лодки, оружие, украшения.

Дивной работы луки, боевые и охотничьи, что так и просятся в руки, копье-ассегай, отточенное на камне, дротики племени масаи, с которыми ходили на львов, щиты из зебровых, носорожьих, буйволовых шкур, расписные колчаны, циновки дивной работы, глиняная и деревянная посуда, амулеты и жезлы, культовые одеяния колдунов и «дьяволов», жуткие маски, украшения и одежда женщин, вплоть до каких-то, по-видимому, «поясов верности», изделия резчиков по слоновой кости, пальмовому и эбеновому дереву, боги, божки и черти — все эти идолы, тотемы и монстры, рожденные воображением первобытного художника и первозданной природы, были представлены тут. Но далее начиналась уже неведомая мне стихия — владения археологов и антропологов, и, кроме того, я обнаружил, что нахожусь уже в одиночестве. Нет, пардон, рядом, поблизости, ходила уставшая моя жена, явно не желающая покидать меня и столь же явно утомленная и пересыщенная всеми этими потоками, водопадами свалившихся впечатлений и экспонатов.

Мы выбрались благополучно из недр Центральной Африки, прошли мимо девушки-манекена, все глядевшей с заведенным старанием и бесстрастием, купили несколько открыток в вестибюле, хотя можно было, кажется, унести отсюда и весь музей, естественно, в виде альбомов и репродукций.

Вся группа уже заняла места в автобусе, и, хотя мы

не опаздывали сверх обозначенного срока, на лицах спутников я уловил раздражение и нетерпение. Нас ждали.

И опять невозмутимо-царственный месье Леон ведет словно бы плывущий «Мерседес» по карточно-ровному шоссе среди полей, реденьких перелесков и ухоженных, раскрашенных вилл. На этом шоссе не ощущается езда на автобусе: нет тряски, качки, бренчания и скрипения, не говоря уже о болтанке на ухабах. И все-таки супругу мою укачивает, да, похоже, и не ее одну. А месье Роже как ни в чем не бывало продолжает нас просвещать.

Бельгия — страна с двойным населением: фламандцы и валлоны. Потому в гербе у них два льва. Фламандцы родственны голландцам («голанцам»,— произносит месье Роже). Валлоны — это франки. Отсюда два государственных языка (с преобладанием все-таки общего французского). Есть и как бы языковая граница. Фламандцы населяют север и северо-восток Бельгии, валлоны — юг и юго-запад. Отсюда две программы на телевидении, разные университеты, разные «национальные» столицы при наличии общей — Брюсселя, даже два разных любимых сочетания в окраске стен. Красные дома с белыми наличниками и белые с красными.

Фламандцы и валлоны — это два стиля. Два уклада жизни.

Гид очень мудро, а значит, просто выразил их:

— Валлоны считают, что нужно сперва отдохнуть, а потом поработать. Фламандцы предпочитают сперва поработать — затем отдыхать.— Роже смеется.— Фламандцы, как, кстати, и голландцы, считают, что детей надо иметь побольше,— валлоны придерживаются обратной точки зрения на этот счет...

Разумеется, из книг о Бенилюксе я знал, что гид прав, и мог бы дополнить его выкладки хотя бы тем, что фламандцы, очевидно уже в силу указанной выше особенности, обогнали валлонов по численности и продолжают обгонять. Фламандцев пять с лишним миллионов, валлонов — около четырех. Кроме того, в Бельгии живут еще лица других национальностей — немцы, евреи и прочие.

Нередко раздуваются националистические страсти и распри. Есть уже такая организация — фламандский военный орден. Фландрия как часть Бельгии обгоняет Валлонию в своем развитии. (Вспомним мудрость месье

Роже!) А учитывая сказанное, мы можем без труда понять, что фламандцы располагают и большинством в парламенте, и даже безработица во Фламандии ниже, в Валлонии — выше. Хотя вообще в Бельгии она выше, чем в других странах Общего рынка. Однако не надо представлять себе валлонов этакими забитыми и подавленными фламандским превосходством, каждая часть бельгийского населения умеет за себя постоять, и не на словах, а на деле.

Кроме того, по мнению месье Роже, бельгийцы прирожденные любители компромисса во всех вопросах. «Компромисс, компромисс, компромисс, а не конфронтация,— это наша суть». Двуязычная основа страны, может быть, и способствовала развитию этого традиционного бельгийского свойства.

— Фламандцы более настроены налево. Валлоны — направо.

Вам все ясно?

— А в остальном,— примиряюще говорит месье Роже,— мы, бельгийцы, очень любим своя маленькая страна и любим работать. Иначе у нас не проживешь.

Он показал за окно.

Мы ехали мимо щебнистого бугра, на котором едва-едва росла тощая-тощая травенка.

— Природа у нас можно выбирать на вкус,— улыбается месье Роже.— На севере известняк и песок, на юге — песок и известняк. Есть также и один песок — там земля дешевле.

— Какова стоимость земли? — хозяйственно осведомился кто-то.

— Разная. Это зависит от его плодородий и от место. Плодородие — двести франки за квадратный метр. (Замечу, что земля на Западе, и на Северном Западе в особенности, расценивается и считается квадратными метрами.) В центре Брюсселя (гид говорит — «Брусэля») сорок тисачий франки за тот же метр.

Вероятно, сейчас цены на землю удвоились, если не утроились.

— Дома, виллы,— продолжает гид,— особенно дороги в Арденнах с красивый вид. Вид тоже входит в стоимость...

Как видите, в Бельгии все учтено, и виды, горизонты тоже.

Глава VI

ГДЕ КИПЕЛА ВЕЛИКАЯ БИТВА

Ватерлоо — символика и проза. Ферма Кайю. Служитель-полицай. Когда требовалось большее мужество. Свекла на поле. Отель «Виктор Гюго». Наполеон в розницу.

Автобус все так же с ровной резвостью мчал нас по серому, четко разлинованному белым шоссе Париж — Брюссель. Но теперь места кругом были однообразнее: исчез лес, тянулась по обе стороны равнина, похожая на степь. Степь не степь, конечно, не дикое «гуляй-поле», а до горизонта выровненное, засеянное чем-то или уже убранное, выстриженное машинами пространство и вдоль дороги, воспринимаемая здесь как неизбежность, эта проволока на коротких аккуратных столбиках: частное владение, чья-то собственность и принадлежность. Изредка вдали группа деревьев, бордовая черепица крыш, и опять бежит назад ровная ровень поля под блеклым и теплым сентябрьским небом. Сентябрь в Бельгии какой-то уж очень мягкий, непривычный,— у нас все резче, севернее, прохладнее и ярче: ярче краски листвы, синь небес, прозрачность вод, утренние холода как звон валдайского колокола, а здесь и колокол, наверное, звучит мягче, тона красок умиротвореннее, зелень еще едва желтеет, и даже убранные поля напоминают нечто летнее.

Мы едем к местечку Ватерлоо в двадцати километрах от Брюсселя, туда, где прошумела некогда историческая битва, известная под тем же названием, и где Наполеон потерпел свое последнее поражение. Ватерлоо теперь название скорее символическое, такое же, как Рубикон, Пиррова победа и тому подобное, и я думаю о том, как название местности перевоплотилось в символ, в иную суть, в какую-то часть истины, свершившейся тут и принятой уже всемирно.

Ватерлоо — поражение на грани победы, позор на уровне славы, какая-то сложная безнадежность связывается с ним, может быть, потому, что у каждого народа, государства, полководца, личности и явления есть или было свое Ватерлоо. Есть или будет...

Из всех едущих я один, кажется, историк по профессии в своем прошлом, историк по призванию, а может, по привычке в своем настоящем. Как литератор же я интересуюсь судьбами великих личностей, загадки их постоянно тревожат душу — и мне ли одному? — все эти люди, которых ты словно бы знал лично: Александр из Македонии, Ганнибал или Цезарь, Помпей или Красс и в ряду подобных им, конечно же, Наполеон, о котором я знаю, возможно, несколько больше едущих со мной, и это знание сейчас распирает меня, не дает мне сидеть спокойно в уютном кресле нашего бесшумного «Мерседеса». Я не просто смотрю в окно — я стараюсь вообразить себе эту местность полтора столетия назад, силюсь вобрать, сохранить в себе этот пейзаж со всеми оттенками жухловатой зелени у дороги и понять суть сухого, осеннего все-таки, света с высокого, очень высокого здесь неба. Нет, ничто не напоминает тут великого кровавого побоища, в котором участвовало едва ли не триста тысяч мужчин, ничто не напоминает и о судьбе человека, имевшего возможность столкнуть эти тысячи. Сотни тысяч безвестных теперь отцов, детей, сыновей, павших во имя странной ли прихоти, безмерного честолюбия, невероятной гордости и неисследованного еще влияния на этих людей.

Здесь закрывалась последняя страница власти, но не жизни мятежного императора, ибо еще шесть долгих лет, как бы обратившись в живого признака, он бродил по пустошам ветрового скалистого острова Елены, обители одичалых коз, морских птиц и временного пристанища разбойников и скитальцев. Он упокоился на этом острове, чтобы спустя двадцать лет, уже мертвым, вернуться в Париж и навеки остаться в семислойном полированном саркофаге из порфира сургучного цвета, по иронии судьбы подаренного русским императором, в саркофаге, установленном в пышной круглой ротонде-базилике с изваяниями скорбящих дев и богинь внутри церкви святого Михаила при парижском Доме инвалидов.

Все это было потом, за и после Ватерлоо.

Война 1806—1815 годов, более известная у нас как Отечественная война 1812 года, с Бородино, пожаром Москвы, победами с именем Кутузова, фактически завершилась здесь, на бельгийской равнине, при дороге Брюссель — Париж, где неукротимого Наполеона, как

бы воскресшего вновь, в последний раз привели к покорности. Как историк я всегда удивлялся, почему война эта не называлась первой мировой. Ведь мир, тогда несравненно более узкий, практически был охвачен ею, а главный театр военных действий удивительно предшествовал уже в деталях тем войнам, что закрепились в историческом сознании как мировые.

Сейчас, когда я глядел на проплывающие пшеничные и кукурузные горизонты, на спокойный уют редких вилл вдали, на пасущихся почти идиллических бурых коров и на дубы, разбросанные кое-где у ферм со старой фламандской экзотичностью, я думал, что здесь и в более близкие к нам времена потоками лилась кровь, рвались снаряды, падали бомбы, горела земля и гибли новые поколения мужчин. Да уж было ли это? Как быстро Земля забывает тревоги и раны. Было ли и это Ватерлоо — закрадывается, тревожит сомнение.

В конце концов, не чудо ли, что низенький, толстоватый человек с холодным лицом римлянина и глазами сумасшедшего младенца, уже поверженный вроде бы судьбой, лишенный всякой силы и власти, мог с горстью солдат высадиться туманным утром перед челом целой армии и, крикнув: «Гренадеры! Вот я, ваш император, иду к вам. Стреляйте в меня!» — смог без боя овладеть и армией, и Францией, и Парижем. Сто дней у власти, и лишь случайность, не позволившая победить здесь, у этого Ватерлоо...

Случайность в этой битве помогла не Наполеону, но герцогу Веллингтону. Подошедшие пруссаки фельдмаршала Блюхера сломили напор наполеоновских гренадеров. Победа была упущена «благодаря случайности». Случайность ли? А хоть бы и случайность... Если она яснее ясного лишь подтвердила наличие исторической необходимости. В данном примере Ватерлоо было лишь образцовым доказательством закона. Ну, предположим, Наполеон Бонапарт сумел бы и здесь победить, остаться у власти. Сохранилась ли бы его империя? О, сколько крови пролилось по земле во имя несбыточной идеи завладеть миром. А сколько империй, сколоченных силой и мечом, развалилось, едва успев создаться. Императоры, захватчики, одержимые и маньяки, полководцы и гении, политики и стратеги — все как будто знали историю, но верили, что закон распада всего подчиненного насилием даст осечку.

На это же, как видно, надеялся и сам Наполеон.

Кажется, мы уже подъезжали, потому что справа показались кирпичные красные и белые домики, крыши, вывески, ветлы и дубы небольшого поселка.

Ватерлоо — местечко при дороге. Ватер-лоо по-фламандски значит: без воды. Безводье. Местность действительно производит впечатление какого-то угнетенного вечной засухой района. Пыльная листва редких платанов и дубов. Мертвый плющ на стене одной из каменных построек, деревянное кружево его смотрится каким-то жутковатым паутинным скелетом, не то работой гигантского короеда. Отель. Магазинчики. Черепичные крыши. Битва, однако, была не здесь, а несколько дальше к западу. Отсюда было лишь послано сообщение о победе.

Мы едем к месту битвы. Справа среди равнины терриконом возвышается холм-курган, явно насыпанный. На нем памятник. А рядом памятники погибшим французам, англичанам, голландцам, пруссакам. С левой стороны дуб, подлинно вековой, даже многовековой. Здесь, как говорит наш гид месье Роже, располагался штаб командующего англо-голландскими войсками герцога Веллингтона. «Ватерлоо для нас, французов, то же, что для вас Бородино»,— заявляет месье Роже.

Ну, что ж... Вряд ли стоит вносить поправки. Французы обидчивы, а культ Наполеона силен и в Бельгии, и во Франции. Недалеко от самой равнины — место битвы не широко, три с половиной километра, но тянется с севера на юг длинной полосой — стоит белая каменная постройка под старой черепичной крышей. Несколько деревьев окружают это унылое строение ненашего века.

«Ферма Кайю,— говорит гид.— Здесь ночевал Наполеон накануне битвы. Здесь размещался его штаб 18 июня 1815 года».

Теперь в ферме платный частный музей, который обслуживает один гид, он же кассир, хранитель, сторож, истопник, привратник и, должно быть, дворник.

Неприятного вида чернявый, тощий человек, с желтым лицом печеночника и выправкой бывшего полицая, с беспокойно щупающими глазами. Одет в какую-то синюю с белым униформу, а не то ливрею. Гид этот быстренько повел нас по низеньким, тесным беленым комнатушкам, одновременно он пристально следил, чтобы никто ни к чему не прикасался. «Нельзя! Нельзя! Нель-

зя! Нельзя!» — только и слышалось, а взгляд старательно метался по нашим рукам и карманам. Ощущение было омерзительное, непривычное, в каждом из нас этот тип видел вора.

— Очень боится от хозяин! — заметил месье Роже, искоса взглядывая и усмехаясь своей хитренькой, как бы лисоватой усмешкой. Роже вообще шутник, философ и очень неглуп. Поведение хранителя наполеоновской фермы обижает и его, однако он не имеет права раздражаться и пытается свести неприятный эффект в забавную сторону.

Музей-ферма, конечно, не велик: кое-какая мебель той эпохи, оружие, сабли, шпаги, в том числе и наполеоновская, тяжеленные ружья гренадеров-гвардейцев с ужасающими штыками-багинетами, таким штыком можно насквозь пропороть корову; кивера, мундиры, амуниция, барабаны — все это в витринах либо развешано по стенам, кой-какие картины батального плана и неизбежные бюсты Наполеона. В комнате, где он ночевал накануне битвы, походная кровать наподобие раскладушки, однако под балдахином из зеленого сатина. Кровать маленькая, как для подростка, и выясняется, что копия, точно такая принадлежала Наполеону, а эта — подарок музею от французской армии.

Особенно странное, лучше сказать, тяжелое впечатление производит стеклянная витрина-ящик чуть не во всю длину комнатушки, где в богатырский рост лежит мужской скелет безвестного гренадера с черной дырой-пробоиной во лбу. Великан убит, по-видимому, пушечной картечью. С такой пробоиной человек, конечно, погиб на месте. Экспонат не из приятных, яснее ясного говорит: битва здесь была жуткая. Полки и батальоны сходились вплотную, бились со всей отчаянностью, артиллерия лупила прямой наводкой, и «ядрам пролетать мешала гора кровавых тел». Нет, мы не знаем, не представляем уже тех битв, бывает, ошибочно мним их чуть ли не парадными, идиллическими, а были они, по всей вероятности, не менее страшны, чем в минувшей войне, и как знать, не требовали ли от солдата, офицера еще большей отваги, ведь в схватке надо было рубиться и отбивать удары, полагаясь главным образом на свою силу, ловкость, бесстрашие, а не на выстрел кремневой долгозарядной фузеи. Враг был лицо в лицо — и вот оно: «Пуля дура — штык молодец! Впере-ед!» А коли

уж доставалось этой картечи — доктора не требовались,— обо всем этом рассказывал экспонат из стеклянного ящика.

Осмотрев музей, где пахло тленом и словно бы давней кровью, все под прицельным взглядом его рачителя, мы с облегчением вышли на воздух, за ворота фермы, фотографировались у дороги, по которой уходил на Париж Наполеон. Три батальона отборных гвардейцев легло тут, заслоняя своей грудью бегство императора. Три батальона, полторы тысячи молодых крепких мужчин, чьи-то отцы и сыновья, добровольно обрекли себя на гибель. Благодаря им Наполеон не попал в плен.

Вот эта дорога среди равнины. Вдали холм на том месте, где был ранен сын голландского короля. Земля, принявшая кровь и прах тысяч людей. В тот день, 18 июня, здесь стоял ад криков, стонов, стрельбы, рубки, проклятий, пушечного грохота, визга и ржания раненых коней. Теперь тишина, ветерок, чистое, ничем не омраченное небо, под ногами у дороги самая обычная, с детства знакомая белая кашка — ползучий клеверок. Поле Ватерлоо теперь засеяно свеклой.

Когда садились в автобус, хранитель-привратник все еще обшаривал глазами наши карманы. Не вытерпел даже обходительный месье Роже.

— Первы рас вижу такой дурак, как етот отставной жандарм,— сказал он, потряхивая головой и усаживаясь на свое место сбоку от шофера. Месье Леон с невозмутимым величием раскручивал баранку в обратный путь. Все-таки как этот месье Леон похож на заслуженного артиста.

Мы возвращались к поселку Ватерлоо, бросив прощальный взгляд на памятник недалеко от фермы Кайю — Раненый орел. Бронзовый почернелый орел, с раскрытым клювом, с переломанным крылом, стоял на плите и, полуобернувшись к востоку, пытался клевать кого-то.

Роже пояснил, что здесь погиб, защищаясь, последний французский батальон.

На окраине поселка Ватерлоо, у самой дороги, отель «Виктор Гюго». Памятник писателю, узким, высоким постаментом схожий с кирпичной трубой. Здесь, в гостинице, жил в уединении Гюго, когда писал «Отверженных». Видите, даже тогда, в безмашинную эпоху,

в эпоху без радио, уединение требовалось художнику. А Гюго был затворником, когда писал свои романы.

Отель «Виктор Гюго». И еще лишний раз подивишься предприимчивости бельгийцев, использующих любую возможность привлечь туристов, заработать деньги.

Ватер-лоо. Без воды.

— Господин Роже, позвольте вопрос: почему в номерах гостиниц нет графина с водой? У нас даже в провинциальных графин с водой не считается услугой.

— О-о! Все очень просто. Вода, пиво, оранж — все есть внизу, в отель, в бар. Надо только платить. Ето простой расчет.

— Как мудро! — хмыкнула моя супруга, хотя она вроде бы меньше меня страдала от жажды.

Месье Роже, поучая, был тем не менее предусмотрительней нас. Время от времени он доставал из кармана плоскую стеклянную посудину вроде фляжки и пил. Заметив наши грешные взгляды, пояснил: «Кипяченый вода. Всегда беру с собой. Что делать? В отель всегда все ужасно дорого. И зачем платить лишние франки?»

В Ватерлоо, показавшемся на первый взгляд захудалым поселком, живет, однако, несколько тысяч жителей. И, как сказал Роже, много иностранцев. Тут же на окраине, у дороги, нечто вроде мелочного торгового центра: магазинчики, лавочки, лавчонки сувениров. И Наполеон, Наполеон, Наполеон, Наполеон везде: на тарелках, чашках, настенных градусниках, каких-то нелепых и безвкусных — точнее, на дурной вкус рассчитанных постряпушках, на открытках, бутылках, авторучках, вазах, подстаканниках. Наполеоном здесь, нельзя сказать, чтоб бойко, но торговали и торговали.

Когда ехали уже к Брюсселю, месье Роже рассказал, что возле Ватерлоо жил-был старик (Роже не назвал фамилию), вся семья которого и он сам занимались историей Наполеона, его войнами, его личностью. Предки старика якобы служили в наполеоновском войске. Сам старик пешком прошел весь путь Бонапарта от Южной Франции до Аустерлица. И обратно. Бывал в Москве (не уверен, но уж не ему ли принадлежит ферма-музей Кайю?).

— Бондарчук,— сказал Роже,— когда снимал «Войну и мир», был здесь, встречался со стариком и подарил ему ружье и барабан. Старик так долго занимался Наполеон,— усмехнулся гид,— что стал на него похож.

Маленький. Толстый. Играл даже Наполеон в один французский фильм. Старик етот говорил: «У французов здесь было поражение, а у меня победа».

Теперь он мультимиллионер. К тому же еще — поэт... Семьдесят два года. У него есть дома, магазины (не в них ли мы только что были?). А Наполеоном занимается теперь его сын.

О, Ватерлоо, Ватерлоо! Местечко без воды. Из всего, оказывается, можно делать миллионы, гешефт и коммерцию, было бы настойчивое желание. Как тут к случаю не вспомнить восточную мудрость: самая большая корысть прикидывается бескорыстием, самая большая преданность близка к предательству.

Поле Ватерлоо и сахарная свекла. Дуб Веллингтона по соседству с кукурузой. Виктор Гюго, помогающий жить владельцу отеля, и Наполеон хоть оптом, хоть в розницу.

Что-то бы он сказал, поглядев на только что покинутый нами торговый ряд?

О, Ватерлоо, в философском смысле ты гораздо больше, чем поражение великой армии или великая победа. Апокалипсисом веет от бегущих к тебе равнин, и помнится, помнится: «А земля пребывает вовеки...»

Дорога клонила к Брюсселю.

Глава VII

БРЮССЕЛЬ — СЕЛО НА БОЛОТЕ

«Маленький Париж». Гостиница «Сиру», «Хлеб и вода». Собор, переживший века. Когда особенно требуется мужество. Ты русский?! Ратуша и «Дом Лебедя». Манекен Пис — самый старый гражданин Брюсселя. Старые голландцы и фламандцы. Ночной Брюссель. «Нон компромисс». Атомиум. Встреча с королем Бодуэном. Японская башня. Размышление о Брюсселе. Город Малин.

— Брусэль — это маленький Париж,— сказал Роже.

Да он, похоже, не такой уж и маленький, если Париж два с половиною миллиона жителей, Брюссель —

один миллион триста тысяч, прикидывал я. А дорога неслась через буковый лес, темный, мрачный, какой-то «ненашенский» и, конечно же, са̀женый. Все саженые леса, то есть возникшие от руки и по воле человека, не разнообразны, и даже старые хранят не свойственный природе ранжир и упорядоченность и уже никак не сходны с нашим разнообразным диким, смешанным, пригожим и веселым, а то и задумчивым и хмурым русским лесом, которого здесь, на Западе, видимо, ищи — не найдешь. Он разнообразен даже своей дикостью, потаенностью, своей глушью, и понимаешь, особенно в сопоставлении, он-то истинный, всамделишный, что ли, лес, у него есть душа. Лес же, в который нырнул автобус, видимо, был без этой души, наводил на сомнение: есть ли здесь грибы, ягоды, живут ли птицы в этой ровностволой серозеленой чаще или никто не живет. Сомнение было, хотя у дороги кое-где мелькали указатели: «Осторожно, олени!», «Осторожно, животные!». Знаки, конечно, знаками, но как соответствуют они своему назначению? Правда, я читал, что в Западной Европе вопрос с дичью — оленями, косулями, фазанами, серой куропаткой — обстоит прилично. Косуль, например, считается, около шести миллионов! — для этой части материка, включая Францию, ФРГ, ГДР, Чехословакию, Польшу и более мелкие страны, цифра немалая. И главная причина здесь, видимо,— браконьеру негде разгуляться, он на виду, а закон беспощаден. Но сколько я ни всматривался в лесную чащу, никаких признаков этих самых оленей-косуль не было. Пришлось брать утверждение на веру.

Когда буковый лес кончился, пошел пояс вилл, предместий.

— Здесь,— сообщил недремлющий гид,— живут богатéющие, ý-ужасно богатые люди. И вилла стоит от трех до семи — десяти миллионов франков.

Разумеется, вековая тяга бельгийцев к собственному дому плюс малая величина страны и относительно низкая рождаемость сделали Бельгию страной, где жилищный кризис меньше бьет по населению и карману, однако и в Бельгии отнюдь не все живут в виллах. Множество людей живет и ютится в городах, в старых средневековых домах, на узких улицах, куда не заглядывает солнце, и нередко, гуляя по таким улицам-ущельям, я думал, как же плохо тут жить-быть, нужна, наверное, веками сформированная привычка.

— У нас богачество человека — это фасад его дома. Свой дом — сама большая мечта,— опять повторил Роже,— но есть разница: фламандцы хотят жить больше общественно, валлоны — единично. А вообще мы, бельгийцы, живем ногами на земле.— И пояснил: — Вот, например, я мальчиком жил в Тервюрене и с отцом много ходил ловить форель мимо музей Центральной Африки. И отец ни один раз даже не поинтересовался, что там, в музей. Если бы я не был гидом, я бы тоже, наверное, не знал Бельгия.

В словах Роже было много правды. В этом я не раз убеждался сам, когда видел пустые галереи, пустующие музеи (так, кстати, было и в музее Африки). Безлюдье в книжных магазинах наводило на грешную мысль: да полно, читают ли здесь книги? Надолго ли нам, в Союзе, хватило бы этого книжного изобилия? Расхватали бы все в момент. Зато, повторю, как часто я видел бельгийцев — женщин, детей, мужчин, подростков,— моющих, стригущих, подкрашивающих, улаживающих и так без меры ухоженное жилье. Пришло в голову нечто вроде афоризма: характер нации — это пейзаж страны. Можно и наоборот, то есть допустима вполне перестановка частей этого суждения.

Маленькие, густо населенные страны должны были волей-неволей вырабатывать стиль жизни скуповатый, аккуратный, расчетливый, трудолюбивый и бережливый по отношению к земле и к утвари — иначе здесь не проживешь.

— У нас говорят: честный, как итальянец, мечтательный, как немец, и расточительный — как бельгиец! — посмеивался месье Роже.

В пояс вилл начали вкрапливаться, как пароходы средь лодок, довольно тщательно раскрашенные заводы, нефтехранилища, склады, но вот кончались и они — мы въехали на улицы большого, явно столичного города.

«Маленьким» Брюссель можно рассматривать лишь в сравнении с супергородами вроде Москвы, Токио, Нью-Йорка или Лондона. А на Париж, как я сейчас сопоставляю, Брюссель похож главным образом архитектурой центра, соборами, решетками балконов, зеленью бульваров. В городах этих чувствуется явное кровное родство, как между старшим и младшим братьями.

После довольно значительного кружения по кривым улицам, мимо домов, украшенных замысловатой лепкой

и скульптурой, мимо памятников королям и брабантским графам, мимо церквей, черно-серых от копоти веков, автобус привез нас в центральную часть Брюсселя к высокому зданию, чем-то похожему на палубную надстройку океанского судна. Это была гостиница «Сиру» на рю де Круазар, где мы должны были остановиться на трехдневное жительство.

Итак, мы в столице Бельгии — Брюсселе. Язык кругом французский, следовательно, я и жена ровным счетом ничего не понимаем. Даже этаж приходится переспрашивать, как это там: «труа?» «катр?». Этажи на Западе считаются со второго (второй — это у них первый!). Из-за этого путаница с лифтом. И мы поднимаемся на свой седьмой (восьмой по элементарной логике).

Вот он, номер с видом на брюссельские крыши и какие-то каменные колодцы-дворы, оборотная как бы сторона всей этой холеной и благолепной Европии. Отсюда город виден как бы с черного хода, и он непривлекателен, по крайней мере на первый взгляд.

— М-да-с, «Сиру»...— бормотал я, оглядывая наше брюссельское пристанище, ведь здесь мы должны провести несколько ночей — именно, я не оговорился, ночей: дни с утра до вечера так плотно спланированы и заполнены, что практически в гостинице не бываешь. Номер, конечно, не миллиардерский, даже и не в расчете на среднего состоятельного клиента. Скорее всего, он напоминает камеру-одиночку, не то келью средневекового монастыря, преобразованную в гостиничное жилье. Узкое окно. Высокий потолок, где копится вечная синева. Рама в виде черного католического распятия дополняет монастырский антураж. На стенах подозрительные замытые пятна. Старинная кровать, арена многих ночевавших тут, правда, чистая, с белоснежным хрустящим и гладким бельем. Белье здесь вообще на высоте, его словно бы полируют, перед тем как стелить. Разумеется, привыкнув к тяжеловесной помпезности полулюксов «Москвы» или к апартаментам «России», и я, и жена были шокированы этой примерной бедностью, но что делать, келья, очевидно, соответствовала скромным средствам, отпущенным на наше жилье. Отдохнув несколько времени под сенью оконного распятия, мы стали собираться к обеду, жена жаловалась на усталость, сказала, что есть не хочется,— ее все-таки укачало в автобусе, да и я чувствовал себя не лучшим образом:

горло опять болело, а вкус олететрина стал уже вроде бы привычным, если не навязчивым.

Мы спустились в просторный обеденный зал ресторана, с потолком, отделанным темным мореным дубом в виде решеток и шпалерных карнизов. Зал был, как положено, с баром и буфетом, где хлопотали две почтенного возраста бельгийки и одна помоложе, с обликом опытной римской гетеры. Все трое смотрели на входящих русских примерно так, как смотрят на жителей Соломоновых островов, охотников за головами, и хотя знают вроде бы, что сейчас на этих островах другое, более вегетарианское меню, но не уверены, что оно всегда соблюдается. Рот у барменш был разинут, остановившийся взгляд выражал испуг, опасение, любопытство и потрясенность. Женщины явно ждали — сейчас мы схватимся за ножи, начнем пить суп прямо из тарелок, хватать из блюд руками, пустимся прыгать по столам и творить еще какие-нибудь непристойности.

По мере того как мы усаживались на свои места, разбирали приборы и разворачивали салфетки, рот буфетчиц принимал помаленьку нормальное состояние, глаза становились менее напуганными, а румянец сменился будничной постной бледностью, говорю это главным образом о старухах, кельнерша-гетера не в счет. Стол заполнялся. Вот, усиленно дымя своими трубками, явились наши «западники», пришли «молодожены», успевшие подкрепить вянущую молодость питательным кремом. Твердо шагая и также с трубкой в руке, в коричневом пиджаке-дубленке, прошествовал к столу знаменитый поэт, пришла чета бывалых («мы за рубежом уже семнадцатый раз»), пришел поэт полузнаменитый, без трубки и в пиджачке попроще, пришел издержанный жизнью очеркист, пишущий на моральные темы, и, наконец, наши вечно опаздывающие и теряющиеся представители: яркая женщина Шафига, молодая блондинка из татарского радио, между прочим, отлично говорящая по-французски, и Гриша, поэт и любитель форели, о нем я уже писал. Лидер и руководитель наш с супругою были первыми — они вне критики. Итак, все мы были в сборе, и все хотели есть кроме, пожалуй, жены пишущего эти строки.

Здесь нас обслуживали официанты-мужчины. Их было двое, и двух крайних типов. Усатый брюнет — а-ля Мопассан, таких я помню по рекламам старинных жур-

налов: «Я был лысым! Покупайте Перуин-петó! Остерегайтесь подделок! Пробный флакон даром!» Черноусый брюнет был мрачен, как вернувшийся с похорон, двигался медленно, молча, сурово взглядывая на голодную братию «рюс». Другой, лысенький блондин с водянисто-кисельными глазками неуемного жизнелюба, был боек, смешлив, болтлив, что-то все напевал, болботал, как игривый индюк, в первый раз увидевший индюшек. Подавая блюда, он пританцовывал, хихикал, качал головой на манер китайского болванчика. Одного «западника», куда-то задевавшего столовый нож из прибора, шутливо отшлепал по руке, на что «западник» побагровел, ощетинился, уронил трубку: «Ну, это уж слишком! Позвольте!» Его еле урезонили.

На стол уже ставили какие-то явно валлонские блюда: суп-пюре из сельдерея... Черт побери, что это за овощ? Вы не пробовали? Я тоже... Понюхав розовато-серую баланду, при всем голоде я не решился есть и удовольствовался лишь салатом и разнообразным гарниром к мясному. Гарнир состоял из мелких, мельче мизинца, вареных морковок, вареных картошек величиной с вишню и листа обыкновенной свежей капусты, который, когда его ешь, делает тебя и, кажется, всех прочих похожими на кроликов. Об этом я и сказал супруге, отметив, что такую морковку, картошечку-горошину у нас никто не собирает, бросают даже в огороде, не то что в поле, а здесь, в Бельгии, ничто, как видно, не пропадает, раз этот бросовый, по нашим понятиям, овощ идет в ресторан.

Мясо было отличное, мягкое и сочное, чем я вознаградился за отказ от сельдереевого супа, а также и от шампиньонов, показавшихся мне похожими на ужасные бледные поганки. К тому же вспомнил, что во Франции и еще где-то на Западе едят грибы-навозники, которые, как белые страусовые яйца, вырастают — видали все в детстве — по бокам огородных навозных гряд и с виду поганки, поганее не придумаешь.

Умеренные в еде, мы были неумеренны в жажде и благословили эту гостиницу, потому что на столах стояли стеклянные кувшины с чистой, будто ключевой, водой (со льдом!). Безволосый блондин устал бегать за кувшинами. «Ну и пьют эти «рюс»!» — видимо, думал он.

А еще нам не хватало хлеба. Здесь, в Бельгии, его пекут длиннющими батонами, примерно в метр-полтора,

такой батон режут на куски-брусочки. Хлеб хороший. Но, заставив официанта принести лишнюю порцию означенного продукта, мы поставили его в тупик, ведь хлеб здесь ценится — не копейка кусок!

Не стану долго описывать десерт, он состоял из фруктов и был подан с бельгийской расточительностью: полъяблока, или полгруши, или две сливы, на выбор. В общем, обед вполне приличный, если б не сельдереевый суп и не тощий хлебный паек. Поднимаясь к себе, мы решили: в следующую поездку обязательно возьмем из Москвы сумку хлеба — белого и черного. Этого черного, ржаного, мне особенно не хватало. Здесь его, как видно, не пекут, а я привык к нему с детства, да и годы войны приучили считать его лакомством...

После получасового отдыха была объявлена экскурсия по городу. Отдых явно требовался, и мы прилегли на крахмальное ложе, и теперь появилась возможность внимательнее оглядеть жилье. Над кроватью висела трехрожковая люстра с колпачками выцветшего трикотажа. На стене напротив кровати литография: развалины замка, не то разбомбленные руины минувшей войны. Они хорошо подходили к интерьеру. Обшарпанные стулья и пучепузый комод как бы прабабушкиного наследства уводили еще дальше — во времена героев Мопассана и Бальзака. Я подумал, что, если бы написать подлинную историю этой комнаты, получился бы потрясающий альковно-авантюрный роман. Кто только здесь не останавливался, какие сцены и страсти не кипели. Здесь проходили целые эпохи с плеядами героев... Но неужели гостиницу «Сиру» обставили сто лет назад и с тех пор ни разу не меняли мебели? Однако, погуляв ее длинными коридорами, я понял, что этажи гостиницы обставлены, очевидно, дешевой комиссионной мебелью, и чем выше, тем, так сказать, «комиссионнее».

Брюзжать по этому поводу вряд ли следует. Здесь ценят вещи, в которые вложен материал и труд. Неприхотливый же турист — кочевник из разряда людей скромного достатка — вполне удовлетворен этими апартаментами, как-то сочетавшимися по виду с обстановкой на картинах старых фламандских и голландских мастеров. Нижние же этажи «Сиру» были на вполне современном уровне.

Автобус снова повез нас по Брюсселю.

Брюссель — расшифровывается донельзя просто, даже прозаично: селение на болоте. Город возник, по дошедшим до нас сведениям, ровно тысячу лет назад, в конце десятого века, как поселение ремесленников и торговцев на удобном пути из земли германцев и славян в земли галло-франков, а также с морского рыболовного севера на земледельческий и культурно развитый юг. Былое скрещение торговых путей и ныне ощутимо в судьбе Брюсселя. Это самый большой и самый многонациональный город Бельгии, ее столица. Брюссель — это компромисс фламандцев и валлонов. Брюссель к тому же столица «Общего рынка» — «десятки». Брюссель, наконец, столица военного блока НАТО. Куда еще дальше? Город расположен в равнинно-холмистой местности и делится исторически и традиционно на три части: верхнюю, центральную и нижнюю. Верхний город и центр — торжество старинной и новой архитектуры: высокие дома-башни и древние соборы, дома «брабансонского барокко», вычурно-причудливого стиля с немыслимым числом украшений, вензелей, завитушек — постоянно дивишься, кто мог это все изобрести, сплести в каменное и железное кружево. Да, древний Брабант плел и такие кружева... В центре Брюсселя королевский дворец, тенистые бульвары — зелени в городе много. В центре же — старые площади и магазины, рестораны, закусочные, бельгийцы их называют «брассериями», пивные бары.

Как всякий незнакомый город, Брюссель не осваивается сразу, хотя напоминает какие-то посещенные города и, снова повторю, напоминает Париж. Все это вертится на уме: «Где? Где я? Почему как будто все это уже видел? Может быть, по телевидению или в кино? Словно бы здесь я уже бывал. Что за наваждение? Ну, донельзя вы мне знакомы, эта церковь или вот эта площадь...» Поскольку жена — второе «я», обращаюсь к этому «я» за разъяснением. И «я» номер два подтверждает: точно, и я как будто здесь была, знакомы соборы, памятники, площади. Да вот хоть эта колонна конгресса. Памятник независимости. Я знаю, что колонна поставлена национальным конгрессом, парламентом Бельгии, в честь утверждения конституции и независимости в 1830 году. В этом году родилось новое государство, ранее принадлежавшее по частям то голландцам, то

французам, то испано-австрийским династиям. По углам столпа изваяния четырех конституционных свобод. Между двумя львами — символикой бельгийского герба — могила неизвестного солдата, горит вечный огонь. Я глядел на эти символы и думал, что у маленькой страны такая трудная история на пути к независимости: своевольные брабантские графы, бургундские и фландрские герцоги не раз воевали с не менее алчными французскими королями и между собой. А дальше было испанское иго, костры инквизиции, герцог Альба, захват голландцами, нашествие Наполеона, за избавление от которого после Ватерлоо страна и по сей день платит ежегодно тридцать тысяч франков наследникам герцога Веллингтона. В двадцатом веке Бельгия снова арена побоищ: и в первой мировой войне, когда появился газ иприт, печально известный по бельгийскому городу Ипру, и в войне второй, когда гитлеровские танки терзали здешние поля и дороги.

А теперь над этой землей нависла тень американских ракет, против размещения которых все решительнее выступают люди Европы.

Здание парламента Бельгии построено знаменитым архитектором Гимардом в 1779 году. По традиции в левом крыле помещается палата депутатов, в правом — сенат. Структура, сходная с французской. Неподалеку, на королевской площади, дворец в стиле Людовика XVI. На шпиле развевается государственный флаг. Площадь планировалась тем же Гимардом.

— Король здесь,— поясняет месье Роже.— Когда король отъезжает из страны, флаг опускается.

На площади этой, в самом центре, как бы олицетворяет незыблемость монархических устоев памятник герцогу Готфриду Бульонскому — королю Иерусалимскому и столпу первого крестового похода (скульптор Симонис).

Вот отсюда, из этой колыбели средневековья и католичества, начинались под звон колоколов ни с чем не сравнимые походы на Восток. «На освобождение гроба господня от неверных». Походы, в которых участвовали на протяжении столетий сотни тысяч одержимых. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД. Многострадальная Палестина. Уж не подобное ли что-то творится там не одно десятилетие во всех этих землях ливанских и синайских, где богу давно пора было бы вмешаться и навести порядок. Так

думаю, обозревая памятник этому недолговечному Иерусалимскому королю.

Напротив королевского дворца парк. Он зарос древними липами. Вдоль чугунной невысокой ограды ряды лип искусно переплетены ветвями и растут странной живой решеткой. Парк напоминает мне рижские парки, но как-то глуше, безлюднее. Внутри он еще более зарос кустарником. Именно в этих зарослях, хотя и недалеко от ограды, одинокий и затерянный, заросший со всех сторон памятник Петру Великому, побывавшему в Брюсселе в 1717 году. Маленький, словно бы озлобленный, Петр — бюстик на постаменте — в печальном этом захолустье больно задел наши российские души. Кто придумал ставить памятники в парках? Вот так же одиноко сидит бронзовый Алексей Толстой на улице Герцена, в сквере, у церкви, где венчался Пушкин. Все это ассоциации, от которых никуда не денешься...

А далее гид везет нас к строению, напоминающему собор Парижской богоматери — Нотр-Дам. Сей кафедральный собор — главный в Бельгии — посвящен святому Михаилу-архангелу, покровителю страны. Стоит он на площади святой Гудулы. Замечу, что в католической Бельгии и в ее столице церквей множество. Даже перед тем как войти в этот собор, мы, пусть бегло, осмотрели еще не менее замечательные церкви — Божьей матери «Саблон» (и она похожа на уменьшенную копию Нотр-Дам), церковь святого Якова, изящную церковь «Шапель», где похоронен художник Питер Брейгель-старший. Каждая из церквей — чудо ваятельного мастерства. Памятник золотым рукам брабантских мастеров, кружево из камня в копоти веков. Собор же Михаила-архангела поражает размерами и величием. Как многие готические храмы, он создавался столетиями, рос ввысь и вширь, как растет гигантское дерево. Начатый еще в тринадцатом веке, он достраивался в шестнадцатом, когда появились его замечательные цветные окна-витражи по рисункам Бернарда ван Орля. Собор обрастал пристройками и приделами, в которых хоронили епископов и героев. Так, в одном из приделов похоронен граф Феликс де Мерод, погибший в восстании за освобождение Бельгии в 1830 году.

Уже писал я, что в бельгийских соборах дивишься даже не столько циклопической высоте сводов этих, как бы немыслимых по искусству и вековому терпению строи-

телей храмов, не всем их куполам, звонницам, витражам и башням,— дивишься могуществу организации, именуемой *католическая* церковь, которой все пронизано здесь, кажется, до сих пор, да еще времени, будто осевшему в этих сводах.

Разглядывая собор, я думал, что постройка его шла, еще когда катились на Русь волны азиатской конницы Батыя, горели и гибли русские города, а закончилась, когда от ига не осталось и следа.

Чудо труда воистину нечеловеческого — древний алтарь в центре помещения, сам похожий на дивный коричневый собор с фигурами святых. Статуи святой Гудулы и святого Михаила. И наконец, совершенно не поддающаяся точному описанию, великолепная по мастерству резьбы кафедра-трибуна. Она поставлена здесь три века назад. Одной этой кафедре можно было бы посвятить целую главу.

Вот примерное впечатление, как успел я каракулями занести в свой путевой блокнот.

Полукруглую, коричневого тона, резную чашу кафедры держат на согбенных плечах Адам и Ева, как известно, изгнанные из рая за прелюбодеяние. Здесь им в наказание религиозный резчик отвел роль кариатид. Веками держать на плечах пастырскую кафедру, согласитесь, нелегкое дело даже для деревянных людей. Резная лестница, изукрашенная сложнейшим орнаментом с птицами, ведет на чашу-трибуну, но и это еще не все. Над кафедрой воздвигнут *деревянный* балдахин, который поддерживают ангелы. На кровле балдахина фигурки святых.

— Фландрия — так в древности часто именовали Бельгию — всегда была столица ремесла,— говорит месье Роже, довольный нашим удивлением.— Хороший ремесленник-мастер всегда был наипочетной фигурой в жизни. Его руками творилось богатство (Роже говорил «богачество») страны.

Да, глядя на эту кафедру и на собор, можно было согласиться: на этой земле жили и передавали свое дело по наследству искуснейшие строители, резчики по дереву и камню, златокузнецы, ткачи шелков, ковров и гобеленов, золотильщики, ювелиры, изготовители стекла и фаянса, про оружейников я уже писал. Не случайно в Брабанте возник стиль бесконечно вычурного «брабансонского барокко», образцом которого была хотя бы

эта кафедра с ее ангелами и святыми в позах вселенской задумчивости.

Собор святого Михаила находится над ушедшим в землю древнейшим романским собором (не будем забывать, что Брюссель был селом на болоте), а тот романский собор ставился на двенадцати тысячах бычьих шкур, что должны были спасать фундамент от разрушающего действия сырости.

В соборе венчают на царство бельгийских королей. Здесь усыпальница прежних брабантских герцогов. Собор — столп католицизма в стране, хотя настоящим религиозным центром, вроде нашего Загорска, считается город Малин, или Мехелен, в котором нам еще предстоит побывать.

Да... Я еще не упомянул о двух гигантских органах. Гигантские музыкальные инструменты напоминали своими трубами медные лесные чащи. Органы молчали. Но можно было представить, какой рев и стон исторгали они, эти медь и серебро, когда исполнялись, допустим, фуги Баха, как возвращал мощный звук вниз, к молящимся, колоссальный «мех» сводов собора.

Помню, я слушал концерт Вивальди в самом соборе Парижской богоматери, в Нотр-Дам! И целый час надо мною то бушевала божья гроза с ревущими громами, то слышалось ангельское пение ручьев весны и шорох-шепот весеннего ветра... Может быть, только тогда, в Нотр-Дам, я и понял, что такое музыка, что такое — орган и что такое — вера, хотя отнюдь не стал от этого религиозным...

— Здесь,— одухотворенно разводя руками над головой, вещал Роже,— бывал император Карл Пятый. Он подарил собору витражи, где написаны члены его семьи...

(Витражи действительно были — яркие цветные картинки, в высоких окнах собора они выглядели очень декоративно, но члены семьи как-то не запомнились.)

— Здесь проходило первое собрание ордена Золотого руна под председательством герцога Бургундского.

(О, какую картину из истории прошлого можно было бы создать, будь я живописцем!)

— Здесь самая лучшая в мире акустика...

(Усомнюсь, ведь после этого я слушал концерт в Нотр-Дам!)

— Здесь на стенах вы видите у-ужасные картины — абстракции — страх мира!

На шпалерах меж окнами действительно были изображены страсти-мордасти в стиле Иеронима Босха: глаза, щупальцы, черные осьминоги, перекошенные лики, жуткие рожи, скелеты и кости — страху было действительно много. Вот только зачем?

Пресыщенные впечатлениями, мы выбрались из недр собора на площадь Гудулы. Пасмурный бельгийский день дышал в лицо тепловатым ветром. Ветер был влажный, даже сырой, погода, похоже, собиралась испортиться и доказать нам, что в Бельгии действительно две трети дней в году идет дождь. Догадаться об этом было нетрудно по серому, размытому тону зданий, по закопченным, в потеках вековой сажи стенам самых древних строений. Собор отдалился и опять напомнил Нотр-Дам и ту присказку, что Брюссель — маленький Париж. Нет, не маленький, но подобный.

Мы кружили по центру и, конечно, не успели осмотреть то многое, достойное внимания, что было тут, в этой музейной части города.

Последним памятником зодчества было колоссальное здание мрачно-серого торжественного цвета, как бы вобравшее в себя все мыслимые и немыслимые архитектурные стили. Дворец правосудия. Порталы в стиле берлинского рейхстага увенчивала башенка на манер вашингтонского Капитолия. Памятник девятнадцатого века. Торжество компилятивного монументализма. Творение это — работа некогда весьма известного скульптора Пулярта — вызывало недоумение. Дворец не дворец, чертог не чертог, но что-то вроде. Архитектурное чудо, как сообщил гид, состояло из двухсот комнат, считалось самым большим административным зданием в Западной Европе и объединяло все мыслимые бельгийские суды, так сказать, в единый судебный комплекс.

Роже рассказывал, что, когда Бельгия была завоевана немцами, Гитлер приехал в побежденный Брюссель и весьма одобрил творение Пулярта. Сие было неудивительно, вкус Гитлера, помешанного на помпезном монументализме, выражался в архитектурных громадьях эпохи торжествующего фашизма. Можно было представить всю сцену, как фюрер, задрав голову в своей нелепой фуражке, прохаживался тут, на самом высоком месте Брюсселя, расточал восторги серой громадине под угодливое молчание вытянувшейся свиты.

Дворец этот или чертог, как-то менее всего связывавшийся в моем восприятии с правосудием, а более всего с подавлением и произволом, стоит на обрыве высокого холма в верхней части города. Отсюда открывалась замечательная панорама вечернего Брюсселя. У парапета, ограждающего холм, было подобие гранитной набережной, на которой имелись подзорные трубы на металлических стойках. Опустив монету в автомат, можно было таким способом открыть окуляр и какое-то время обозревать город. Далее окуляр закрывался и требовал новой монеты.

Пока позволяло время, мы любовались Брюсселем, стоя у каменного ограждения. Город в вечереющем красноватом воздухе казался несколько дымным, усталым, огромным, чуть ли не бесконечным, что как-то не вязалось с его известной нам населенностью. Кстати, это свойство всех городов на Северном Западе. Даже при самой незначительной населенности, тысяч в пять, они выглядят именно городами. Площади, собор, центральные улицы, музейная старина, памятники и, конечно, какая-нибудь достопримечательность, вроде того, что тут останавливался полумифический средневековый император или жил (родился) какой-нибудь писатель, философ. Такой памятью здесь дорожат, не хотелось бы говорить «торгуют», как в случае с Наполеоном на Ватерлоо.

Огромный Брюссель. Он тонул в садах, в каменном кубизме строений, что росли тут веками, целое тысячелетие, в молчаливой задумчивости узких улиц, в отрешенности дальних высоких зданий, на которых уже кое-где вспыхивала, играла реклама. Брюссель...

Вечерело, когда мы вернулись в гостиницу. Я заметил, что спутница моя совсем побледнела, сникла и все старается бодриться.

— Тебе плохо? — спросил я, заранее зная ответ.

— Не-ет... Ничего... Уже лучше. Просто надоел этот автобус.

— Может быть, отдохнешь, полежишь.

— Что ты? Теперь вечер... Нет.

— Тогда пойдем погуляем. Где-нибудь посидим. Выпьем пива или соку...

Мы спустились в цокольный этаж, вышли на площадь и направились к торговому центру — благо, до него было подать рукой. Буквально через улицу, в ста шагах, начинался пояс универмагов и больших магазинов, по пра-

вую сторону улицы располагались ресторанчики и магазины помельче. Был тут и книжный, забитый до потолка книгами, альбомами, журналами. Витринные стеллажи магазина были обращены прямо на тротуар, и книги стояли в них самого разного свойства, от цветного атласа бабочек всего мира до истории любви трех лесбиянок, весьма наглядно изображенных на обложке. И журналы и книги в самом магазине — он был почему-то открыт — также были переполнены женщиной. Отдам должное, многие и многие были отнюдь не из ранга «порно», а просто славили, воспевали, подавали бесконечную женскую красоту в самых причудливых поворотах и обличьях. Были здесь пособия для художников, портреты кинозвезд и победительниц модных на Западе ежегодных конкурсов красоты и просто «секс-бомб». Но было и множество литературы для любителей эротики под многозначительными заголовками. Ну, например, «Суперсекс».

Побродив еще немного у закрытых магазинов, мы были вынуждены спешно возвращаться в гостиницу. Жене стало плохо, и я не на шутку перепугался. Хотя супруга бодрилась и успокаивала меня, я-то знал, что зря она не станет так стараться. Еле довел ее до номера, уложил в постель. А сам не знал, куда кинуться, весь во власти самых мрачных предчувствий. Заболеть в поездке (да за границей!), этого еще не хватало. По рассказам бывалых туристов, из газет, я знал, что это помимо всех неприятностей грозило и самыми тяжелыми материальными последствиями. Ведь медицинская помощь здесь платная и, конечно, у-ужасно дорогая. Да и как, где ее взять? Если я к тому же ни черта не понимаю, ни одного слова по-французски! Мы ведь были в полном смысле слова одни. Гидша Интуриста — удивительно невнимательная ко всем, кроме собственной персоны,— исчезла, не сообщив даже своего номера, месье Роже, по-видимому, ушел домой, остальные члены группы жили по разным этажам. Где их искать? И зачем? Чем могли они нам помочь, кроме, может быть, сочувствия?

Спасение чаще всего в твоих собственных руках. Так и решил я. Успокаивая перепуганную супругу,— говорят, это лучший способ обрести мужество самому,— я сказал, что не оставлю ее нигде, в крайнем случае, найду посольство, найду врача, все, что угодно. После такого моно-

лога я кинулся вниз, в ресторан, за чаем и молоком, памятуя, что это лучшее средство от всевозможных отравлений. Я поставил этот диагноз, помня, что жена неблагоразумно выхлебала сельдереевый суп и отведала все-таки шампиньонов, что казались мне разновидностью бледных поганок. Так или иначе, но нужен был хотя бы чай или молоко. Чай и молоко! Кажется, это и твердил я, сбегая по лестнице с седьмого (точнее, восьмого) этажа, потому что лифты ненавижу, да и перспектива засесть в нем без языка перед незнакомыми надписями на кнопках и в данной ситуации...

Я влетел в обеденный зал, к бару-буфету. Но вот беда, в «этой маленькой Франции» никто ни черта не понимал не только по-русски, но и по-немецки (последнее для гостиницы в центре Брюсселя просто удивительно!). Буфетчицы лишь таращились на меня, как перепуганные куры, на мои слова: «Майне фрау ист кранк! Моя жена больна! — это я уже по-русски с отчаяния...— Дайте чаю! Бите! Тее! Ну, чего вы таращитесь? Чай мне нужен! Ферштеен? Тее! Тии! Господи! Как это по-французски чай? Неужели не понятно... Тей унд мильх?! Молоко! Мильх! Мельк! Ферштеен зии михь? Господи, как это все сказать по-французски?»

В это время к стойке подошел пожилой грузноватый мужчина — официант, с желтым лицом много перестрадавшего, выпившего свою жизнь человека. Утомленное лицо, осумкованные водянкой безразличные глаза... Во взгляде, однако, я уловил нечто словно сочувствующее или понимающее.

— Майне фрау ист кранк! — с отчаянием повторил я, глядя на него.— Мильх бите! (Молоко, пожалуйста!) И чай. Боятся, не заплачу, что ли? Вот деньги! Есть деньги! Гольд. Гельд... Франки... Тьфу.

— Э-э... Ты русский? — вдруг сказал мужчина.

— Русский! Русский!

— Откуда?

Слава тебе господи! Говорит по-русски!!

— Из России. Свердловск!

В глазах непонимание.

— Екатеринбург!

— О-о! Русский! Давай помогу, что?

— Жена заболела. Чем-то отравилась. Чаю бы. Молока и булочку.

— Сейчас...

Быстро сказал буфетчицам по-французски. Перестали хлопать глазами. Налили чаю. Дали сахар. (И до сих пор не могу понять, почему они не обслуживали меня. Может быть, не хотели? Самый глухой тот, кто не хочет понимать...) Молоко же, как выяснилось, было здесь трех сортов. Все на разные цены и в разных упаковках. Исправно выдал положенные франки. Считали их тщательно. Вроде оттеплели. А считали как! Думаю, у нас в гостинице в подобной ситуации вряд ли стали бы так старательно перебирать полушки. Дали бы и чаю, и сахару, и врача бы вызвали... Ну да ладно.

До полуночи отпаивал жену чаем, молоком, помогал как мог, пока не увидел, что стало ей вроде бы легче. Она заснула.

Я тоже прилег. Не то спал, не то задремывал. Пробуждался. Прислушивался к дыханию жены. Сидел на кровати. И все время торчал надо мною в беззвездном небе этот черный крест в гостиничном окне. Кому это в голову взбрело делать такие монастырские рамы? Шумел и утихал незнакомый город. Сюда, во дворы, шум доносило глуше, но выступали свои гостиничные шумы, хотя затихала и гостиница. Кто-то возился в номере над нами. Скрипела кровать. И ах как хотелось оказаться бы вдруг в аэропорту, в своем, то есть в нашем, самолете. И лететь бы домой... Ночью все видится, кажется ужаснее, беспросветнее. Сказать честно? Да... Я боялся. Трусил, как кролик. Что, если жена разболеется в этом Брюсселе, где мы, как жалкие беженцы, без языка, без возможности чувствовать себя полноправным человеком, как дома. Дома... Здесь, да в такой ситуации, особенно хорошо понимаешь значение этого слова. Ведь д о м а. Дома помогают стены. Дома ты знаешь — тебе о б я з а н ы помочь. Дома — ты ЧЕЛОВЕК. Здесь — игрушка случая... Дома. Кажется, я уснул лишь под утро, когда за окном стало сереть. Заснул и тотчас будто проснулся от телефонного звонка.

«Месь-е?»

Надо было спускаться к завтраку.

К счастью, все обошлось, хотя на жене, как говорится, «не было лица», мы даже позавтракали, попили чаю. Своему благодетелю — переводчику, русскому официанту (скорей всего, судя по возрасту, он был из тех, что покинули Россию еще детьми, вместе с родителями в революционные годы, а по-русски он говорил плохо,

с какими-то ненынешними интонациями, словно бы с буквами «ять» и «ер»), я преподнес сигареты «Космос». Ничего лучшего у меня не было, жаль... Ведь это был русский, и он смотрел на меня и на жену совсем не так, как другие-прочие здесь люди. Он поблагодарил, но тут же пошел в буфет, угостил жену кучкой шоколадок в обертках, похожих на «Золотой ключик». Русские люди... Русские люди, без родины, без России... Спускаясь вчера в ресторан за чаем — пришлось это сделать трижды! — я видел этого официанта, занятого обслуживанием гостей. Он двигался у столиков неторопливо, с достоинством, оно угадывалось в этом движении, в наклоне поседелой головы, во всем — старая, должно быть, наследственная дворянская косточка — разительно не похож он был на двух шалопаев, что обслуживали нас за обедом и сегодня за ранним завтраком. А в то же время было в нем что-то как бы ждущее сочувствия, какой-то незримой поддержки. Даже в том, как спросил меня вчера с горячей какой-то надеждой: «Ты русский?», и в том, как сегодня утром уже будто стеснялся своей горячности,— все говорило, что человек этот (не знаю, к сожалению, его имени, отчества, фамилии) был здесь, как привезенное, пересаженное растение, которое и живет, и растет, и привыкло к своей оранжерее, а все-таки умом, дальней памятью, неизбывной — глуши не глуши — ностальгией все помнит: где-то там, далеко, невозвратно, есть родина, которую уже не увидеть, не ощутить ее солнце, простор, ветер. Кто вернет обратно? В родную почву и среду, под привычное небо? И привьешься ли на ней и под ним, ведь как будто уж привык к иному небу и теплу... Как бы привык...

Вот вспомнил стихи Бальмонта «России»:

...Я был повсюду. Опять в России.
Опять тоскую. И снова нем.
Поля седые. Поля родные.
Я к вам вернулся. Зачем? Зачем?
Кто хочет жертвы? Ее несу я.
Кто хочет крови? Мою пролей.
Но дай мне счастья и поцелуя,
Хоть на мгновенье. Лишь с ней.
С моей!

Они показались мне вещими.

Еще вчера, когда мы катили по улицам Брюсселя, я поделился соображением, что город мне удивительно

напоминает что-то. Что? Да не отвечу. Так вот лицо встречного внезапно может напомнить кого-то из близких, знакомых, а иногда просто не можешь определить и мучаешься этой неопределенностью: есть ведь лица, похожие на животных, на птиц, лягушек, иногда словно бы на кору и кроны деревьев, на вещи, да мало ли на что. Но что же мне напоминает Брюссель? О сходстве с Парижем я уже надоедливо говорил. Нет, что-то другое, ведомое, и хорошо ведомое, он напоминает. То, что я видел многократно... И наконец, открытие пришло!

— Слушай! Это же Ма-зе-рель! Художник. Брюссель похож на его рисунки. На рисунки Мазереля! Да он и не может быть непохожим. Ведь Мазерель — бельгиец. Помнишь его «Город»?

И мы принялись вспоминать замечательную, всю из рисунков, книгу бельгийского графика и живописца. Книг Мазереля у меня было несколько, но лучшая — «Город». Черно-белые и просто черные тоновые линогравюры, где город, как видно вот этот — Брюссель! — показан во всей его красоте, богатстве, нищете, непритязательности и сложности кипящей жизни. Это была художественно отраженная энциклопедия города. Город. А значит, вокзалы, улицы, башни. Потоки живой плоти в часы пик. Демонстрации и забастовки. Труд, быт, любовь, грабежи, танцы, счеты с жизнью, публичные дома, инвалиды, больные, пьяницы, нищие, панельные дамы, кинема и галереи, биржи, парады, бракосочетания и разводы, похороны, воздвижение памятников, семейные сцены и адюльтер, тайные кутежи и оргии, безработные и студенты, узники, помешанные на идее, роды, казни, разгон демонстрантов, парадные подъезды, мансарды художников и нищих поэтов — вот что такое Мазерель и его «Город». И вот теперь только понял я, что Мазерель — это Бельгия, Брюссель, улицы, по которым везет нас месье Леон, это отель «Сиру», наш номер с крестом-распятием, официанты и тот русский, что помог мне вчера. Великий национальный художник не мог не отразить в своих творениях всей жизни нации. Мазерель сделал это. На экскурсии я спросил месье Роже о художнике.

— О-о-о!! Вы знаете Мазереля? — оживился гид (опять открытие этих «рюс», хотя Роже человек бывалый, живалый и дипломатичный — вообще образцовый гид, куда ближе к нам, чем шофер, убежден, месье Леон так и считал нас потихоньку, про себя, троглодита-

ми).— Мазерель. О-о... Сейчас картины Мазереля скуплены один наш банк и депонированы... э-э... закрыты. Почему? Простой расчет. Произведения искусство нет, не имеют... обесценений. Наоборот, их цена увеличивается от время. Но если произведения искусство хранится в банк — на него нет налог. И ето — выгодно. Просто расчет.

И еще и еще не раз вспоминал я бельгийского художника, особенно когда представлял недавно покинутый нами Льеж или всматривался в открывшийся нам «Брусэль» — как именовал его Роже. Многоликий город, тоже какой-то черно-белый, живущий по канонам своей, а для нас канувшей в прошлое жизни. Было здесь какое-то удивляющее ощущение возврата в минувшее время, как будто некая «машина» перенесла нас вдруг не то в дальний Екатеринбург или в Питер, с вывесками на старой орфографии, названиями иностранных фирм, их ведь в России было несть числа, и бельгийских тоже, в город с трактирами, приказчиками в магазинах и тому подобным. Нет, я не отрицаю буржуазного прогресса, не хочу огульно охаивать эту жизнь, ее законы, правила и порядки (у нас у самих полно несовершенства), но здесь ощущался какой-то прошлый, как бы п р о ж и т ы й день человечества, от которого оно успело ушагать той ли, не той ли дорогой, но далеко. Такие были сопоставления, когда смотрел на бельгийскую жизнь. И я еще вернусь к этому размышлению.

А брабансонское барокко тянулось из квартала в квартал, проносились площади, выложенные темным булыжным камнем, шлифованным временем и башмаками поколений. Камень, словно с глазницами времени, такой есть и у нас, приглядитесь к камням на Красной площади. Сегодня мы едем не просто на прогулку, а целенаправленно в самый центр, на Гранд-плас, что в переводе с французского (видите, я уже и французский знаю!) значит — большая или главная площадь.

Гранд-плас — как бы заповедник брабантского графства. Один из самых замечательных архитектурных ансамблей Брюсселя. Это сердце Бельгии в прямом и переносном значении. В центре площади, недалеко от ратуши, в камне выложена многолучевая звезда. Это и есть «пуп земли», по крайней мере бельгийской. Отсюда идет отсчет расстояний и прочая, и прочая...

Ратуша (магистрат, горсовет или еще как угодно в

том же роде) построена в первой половине XV века! Ее венчает прекрасная, в полном смысле кружевная башня. На шпиле башни как бы парит покровитель Бельгии — святой Михаил, пятиметровая золоченая статуя. Снизу, с площади, она кажется небольшой — ведь высота башни на ратуше около ста метров! По углам этого трехэтажного и также ажурно изукрашенного здания под темной черепицей стоят башни меньшей величины. Ратуша построена в стиле ренессанс, но как-то близко сочетается с более поздним барокко. Строил кружевную башню архитектор Иоганн ван Рейсбрук, статуя Михаила-архангела скульптора Мартина ван Лота.

Против ратуши не менее давнее и тоже трехъярусное здание — дом графов Брабантских, третью сторону площади занимают сомкнутые строем дома ремесленных гильдий: булочников, лодочников, мясников, пивоваров, ткачей и прочих. Дома эти построены позднее, в семнадцатом веке, но смотрятся даже более древними, с их треугольными уступчатыми, как у пирамид, фронтонами, статуями святых, покровителей ремесла, и с разнообразно-пестрыми, цветными знаменами с геральдическими архангелами и львами. В Бельгии очень любят, пожалуй, как на всем Северном Западе, геральдику. Гербы, флаги, короны — все эти атрибуты ее видишь на каждом шагу.

Здесь же, на площади, находится «Дом Лебедя». Здание, в общем, мало отличное от описанных. В давнее время здесь была таверна. Но из окна, точнее, с полубалкона этого здания Карл Маркс прочитал собравшимся свой «Коммунистический манифест»!

И сейчас «Дом Лебедя» в большом почете. Его знают. Его показывают. И мы с волнением разглядывали его. Еще бы! Тот самый манифест, который мы учили, как азбуку, конспектировали, знали наизусть! Вот здесь он впервые звучал, будто некий гимн-набат, прообраз певучего «Интернационала». Удивительно... Как все-таки не связывается: древняя средневековая площадь, здесь цокали копыта рыцарских коней и ступали мушкетерские сапоги, серебристо пристукивали каблучки богатых патрицианок-горожанок, здесь словно бы навеки остановилось время — запуталось в завитках каменных кружев, заглохло в башнях да так и осталось там — и грозная музыка «Интернационала», и первые шаги невиданного, неслыханного движения, которое некогда пытались поднять фанатики и как бы безумцы, правдоискатели, прав-

дожелатели, гуманисты — те, кто писал «утопии», взывал к властителям, умирал в нищете, стрелялся, сидел в цепях и в темницах, из их рук здесь было принято и поднято великое красное знамя...

Гранд-плас была задумчива. Молчали вековые камни. Переливались крылышками голуби в поднебесье. Архангел Михаил летел меж облаков. Дремотно склонились красно-желтые, желто-черные цеховые флаги феодального средневековья.

В ратуше, открытой для посетителей, мы прошли галереей монархов. Парадные величавые портреты. Вереница коронованных особ — Леопольдов, Альбертов, с добавлением цифры и дат царствования. Строгое золото рам.

— Это,— улыбался как бы про себя месье Роже,— наша история и наша традиция. Против всех владык бельгийский трудящийся выходил на восстания, а кончал компромисс...

Далее — зал Совета, где сорок три городских советника осуществляют и олицетворяют городскую законодательную власть в Брюсселе. Совет заседает два раза в месяц. Решает наиболее важные дела. По закону, а точнее, по традиции заседает при открытых дверях — символ гласности и доступности. Зал оформлен в стиле барокко, с богами и богинями олимпийского пантеона. Роже сообщил, что король посещает муниципальный Совет, имеет символические ключи от всех муниципалитетов Брюсселя.

Следующий зал, с огромным столом, крытым красным сукном, и стульями красной кожи, с высокими спинками (нечто вроде средневекового круглого стола или коллегии святейшей инквизиции),— зал исполнительной власти. Власть возглавляется бургомистром, секретарями и так называемыми эшевенами, чиновниками вроде городских министров по различным отраслям (у нас их назвали бы зав. отделами) экономической и культурной жизни города.

Праздничный зал с цветными пластиковыми стульями отделан мореным дубом. Резные высоченные двери ведут сюда. Это — маленький парламент, зал заседаний. По стенам изображения ремесленников и ремесел: оружейники, ткачи, ювелиры и стеклодувы прилежно тру-

дятся по стенам, олицетворяя тем самым творческую суть бельгийской нации.

И наконец, зал бракосочетаний. Перед дверьми — внушительные мажордомы в старинной униформе и шляпах-треуголках. Зал этот с высоким, разделенным балками на квадраты потолком. В квадратах гербы всех двенадцати провинций, а также их девизы.

Явившихся на церемонию бракосочетания принимает представитель бургомистра. Сегодня — это молодая, миловидная женщина в строгом костюме. Перед ее столом стоят двое. Жених — турок, невеста — иранка, оба, повидимому, иностранные рабочие, которых немало в Бельгии и в Брюсселе. По бельгийским законам в брак могут вступать мужчины с восемнадцатилетнего возраста и девушки — с разрешения родителей! — в шестнадцать лет. После гражданского брака, который здесь обязателен, можно совершить любой церковный. Вот и эта вступающая в брак пара — турок в черном костюме, однако подпоясанный золотым поясом, и похожая на него иранка в белом платье,— вероятно, сейчас же после церемонии с росписями свидетелей — таких же смуглых черноволосых парней, мужчин и женщин поедет в мечеть. В Брюсселе так много мусульман: турок, арабов, индонезийцев, пакистанцев, что есть и мечеть. Там брак будет оформлен уже по законам шариата. Примерно так, как у нас, заявление о вступлении в брак подают за шесть недель, никакой спешки, никаких обязательств и клятв. Но у нас в церемонии больше помпезности — это уже традиция. А здесь не видел я во всяком случае ни бутылок с шампанским, разбитых фужеров, ни золотых колец, ни приседающих от усердия фотографов, ни машин с кольцами, куклами, непристойно дрыгающимися цветными шарами да кой-где еще с надписью «Осторожно, любовь!». Скромность церемонии бракосочетания, видимо, подчеркивала, что в Бельгии и живут скромно, чтоб не сказать прижимисто, «ногами на земле» — вспомнилось пояснение Роже.

Разъясняя подробнее это «ногами на земле», месье Роже сказал, что бельгийцы мало тратят «за культура и за искусство». В музеях никого нет? Ну, что же... Потому, что «надо работать, а музей никуда не уйдет».

Кратко и ясно. Ну-ка, нет ли и в моей жизни каких-нибудь «аналогий»? Вот я, допустим, живу напротив оперного театра. Академического, хорошего. Так. А когда

я в нем был? Дай бог памяти... Кажется, в прошлой пятилетке был... Или не был? Но это я просто не люблю театр. В смысле — оперу. Однако всего через две улицы есть исторический музей. Был я в нем? Конечно, был, и не раз. Вот в детстве был и еще с дочерью ходил, лет пятнадцать назад. Стало быть, и я «живу ногами на земле»? Любопытно... Правда, я хожу на художественные выставки, но об этом другой сказ.

Покинув ратушу, побродили по окрестным магазинам. Здесь, в центре, их много, но какие-то мелкие, в одну комнату, с одной витриной. И продают в них нечто неподходящее для нас. Вот, допустим, магазин «Старая бронза». Этой бронзы в витрине — японской, китайской, индийской, индонезийской, средневековой и еще какой-то — не счесть. Божки, идолы, подсвечники, будды... Торговал — что там, не то слово! — просто сидел за прилавком печальный лысый еврей с обликом черного грифа. В глазах «грифа» была гордая тоска.

В магазин филателистический не зайти я не мог. Давняя страсть влекла неумолимо. Жена, чуть не за полы, пыталась удержать. Где там! Марки!

Звякнул колокольчик, соединенный с входной дверью. И тотчас из глубины магазинчика, из-за каких-то «кулис», возникло подобострастное видение хозяина — нечто суховатое, седенькое, высушенное старостью, временем и страстями, бог весть — одинокий холостяк или вдовец. Желтое, ближе к пергаменту лицо знатока и посвященного. Жрец этого маленького храма всемогущей богини Филателии, обладатель марок, кляссеров, альбомов и каталогов. Ах, какие стояли здесь каталоги! «Ивер» — полное собрание всех марок мира теперь уже в пяти томах! Пятитомный желтый ежегодник. Библия и коран филателистов. Да разве один «Ивер», вон и «Цумштейн», и еще какие-то... Даже — вот диво, откуда он здесь? — наш родимый старенький Чучин, мечта собирателей былой «России», «земской почты» и прочей совсем уж зыбкой марочной дребедени, разных там Колчаков, Деникиных, Махно и совсем мифически случайных правителей.

Взгляд хозяина был сплошным сверлящим вопросом. Еще бы! Может быть, я единственный кандидат в покупатели за неделю, за месяц, за год! Что же мне делать? Как была права супруга, оттаскивая меня от входа. Она-то не пошла. Благоразумно ждет на улице. Что же

делать? Тем временем все мои страсти-страдания отразились в лице хозяина. Спросил все-таки по-немецки, сколько стоит «Ивер». Зачем спросил? Цена — вот. «Тысяча четыреста франков, месье» — был ответ, а во взгляде: «Прикажете завернуть? Подать? Доставить на дом»?

Даже совестно уходить под таким взглядом. Чувствуешь себя негодяем, мерзавцем. Но — надо стоять «ногами на земле», и «месье» откланялся, что-то смущенно бормоча по-русски.

Теперь наша группа двигалась к главной достопримечательности Брюсселя — так явствовало из проспекта путешествия. «Манекен Пис — самый старый гражданин Брюсселя!» Да, он родился здесь в руках скульптора Дюкенуа в 1619 году. Вот этот знаменитый на весь мир бронзовый мальчик, с очаровательной непринужденностью справляющий у всех на виду малую нуждишку. Мальчик-фонтанчик стоит на углу узкой улицы недалеко от центра, от главной площади.

Гид сказал, что маленькому этому гражданину чуть не ежегодно шьют и дарят разные костюмы и даже военные формы от всевозможных стран и делегаций. Голеньким, каким его изваял Дюкенуа, мальчик стоит редко. За 360 лет жизни он накопил приличный гардероб — 250 нарядных форм. Вот и сейчас мальчик на углу стоял в какой-то невообразимо раззолоченной форме, в фуражке то ли конголезской, то ли аргентинской армии. Манекен Пис — символ Брюсселя. Манекен Пису подносят цветы, его посещают все, кто бывает в Брюсселе. Тут просто культ этого мальчишки, как в Париже культ Эйфелевой башни — «большой дамы», так зовут ее там. И, как всякий культ, он не обходится без курьезов и вывихов! Мало, что «пис» есть на всех сувенирах, открытках, стенных тарелках, вазах, отлит скульптурно в разную величину из меди, бронзы, олова и, видимо, даже серебра, он продается во всех сувенирных магазинах, рядами стоит на полках, оголтелые торговцы сделали из мальчишки даже штопор для открывания бутылок, что, по-моему, даже не смешно, а просто глупо и пошло, как, допустим, портрет Моны Лизы, оттиснутый на туалетной бумаге. Но чего не творят деньги!

Кто-то улыбался, кто-то хихикал. Я же, посмотрев на нелепую в военной фуражке фигуру младенца со светлой струйкой из форменных штанов, заметил вдруг, что из дома напротив, из окна, как-то печально-задум-

чиво смотрит обыкновенная голубоглазая кукла в белом кружевном платьице и таких же белых панталончиках. Это была будто ожившая андерсеновская сказка. Так и запомнилась мне эта скульптура Манекен Пис, которую людская любовь, людская ли глупость возвели на пьедестал, сделали главной достопримечательностью «маленького Парижа».

Автобус везет нас мимо гостиниц, аптек, ухоженных парков, ресторанов, кафе, магазинов и банков. Кстати о банках, к подобным учреждениям месье Роже чувствует неведомую нам глубокую почтительность. Что для нас банк? Ну, место, где хранят и считают деньги, только и всего. Миллионов у нас нет, банковских счетов, чековых книжек — тоже. Но надо было видеть и слышать, как Роже произнес, когда проезжали мимо внушительного серого здания с толстыми, словно бы пуленепробиваемыми стеклами: «Министерство финанции!» В этой «финанции» вся почтительность, все благоговение, вся суть бельгийской жизни.

Но Роже не может и без улыбки. Вот мы объезжаем другое, подобное чем-то, длинное и солидное здание с входом-порталом. Это банк. У левого его угла на постаменте скульптура женщины в платье, у правого — скульптура обнаженной.

— У нас говорят,— замечает Роже,— это женщина перед тем как войти в банк, а это,— указывает на ягодицы обнаженной,— после выхода из него...

Следующим искушением был Королевский музей старинного фламандского искусства.

Вот что говорится о нем в книге Т. Н. Седовой «Художественные музеи Бельгии»: «Музей состоит из двух больших коллекций старого искусства и искусства XIX—XX веков, которые находятся в разных зданиях. Пополнение музейных коллекций осуществляется покупками произведений, а также дарами частных лиц, что чрезвычайно распространено в Бельгии. Пожертвования картин в музей делаются часто в память родных или друзей, что отмечается в больших этикетках и каталоге. Как ни интересны отдельные собрания других художественных школ, брюссельский музей остается хранилищем прежде всего национального искусства. Одним из самых ценных разделов музея является коллекция старой нидерландской живописи».

«Старые голландцы» — художники нидерландского

Возрождения. Робер Кампен, Рогир ван дер Вейден, Дирк Боутс, Ганс Мемлинг, Квентин Массейс, Питер Артсен, от них тянется нить к блестящим именам братьев Ван Эйков, к Питеру и Яну Брейгелям, к Рубенсу и Йордансу.

Все они были представлены здесь. Мы ходим по музею. Пустые залы скуповато освещены. Светился потолок. Но в этот день с грозящим дождем света явно недостаточно и картины много теряют. Для такой столицы, как Брюссель, я ждал музея более богатого, хотя помимо упомянутых голландцев здесь представлены художники знаменитые. Питер Брейгель — «Поклонение волхвов», «Перепись в Вифлееме», «Падение Икара», «Изгнание мятежных ангелов», разнообразный Ян Брейгель, Рубенс, Ван-Дейк, Снейдерс, Франс Гальс, Госсарт. Но... Музеи живут шедеврами, как, может быть, горы вершинами и все искусство вообще высочайшими достижениями творческого гения. Иногда, вот парадокс, они могут быть даже спорными, почти мифическими, как чудище озера Лох-Несс. И тем не менее Брюссель не может похвастать своим «чудом», в парижском же Лувре таких «чуд» несколько: «Мона Лиза», Венера Милосская, Ника Самофракийская — и всегда возле них толпа, к ним едут, идут, как на поклонение.

Глядя, как в Лувре люди осаждают не такое уж большое, к тому же застекленное, миллиарды раз репродуцированное полотно Леонардо да Винчи, где то ли скептически, то ли ехидно, то ли самоуглубленно, своим мыслям, улыбается не слишком красивая женщина Мона Лиза, я думал, что такое слава, известность, фетиш... Она подобна всесильному магниту, запредельному золотому сиянию, околдовывающему зрителей. Ведь вот тут же, в Лувре, и даже в этом зале, рядом с Джокондой висят куда более прекрасные картины известнейших художников, есть и не худшие, на мой взгляд, полотна Леонардо, а смотрят, внимают, толпятся только у одного.

В брюссельском музее, как, кстати, и в музеях Голландии, из других мастеров многих зрителей собирал, пожалуй, лишь шизофренически ненормальный Иероним Босх. Кошмарные полотна с его собакоголовыми людьми, уродами, беременными женщинами со всаженными в них кинжалами и с другими садистскими ужасами, грубо говоря, ошарашивали, ошеломляли, заставляли передергивать плечами. Перед ними замирали даже мно-

гие из наших дам, которые мечтали как можно скорее промчаться по всем этим музеям, соборам, чтоб, вылетев на свежий воздух, щебечущей стаей кинуться к магазинам, витринам, обсуждая какое-нибудь «безумно» дешевое платье, «совершенно необыкновенный» шарфик или еще что-нибудь в том же роде. Дам не осуждаю, каждому свое: кому-то Босх, а кому-то сапоги со шпорами. И если сам вроде не слишком подвержен «тряпкомании», за супругу не ручаюсь. Женщины и должны, наверное, прежде всего оставаться женщинами, а уж потом искусствоведками, ценительницами живописи, всего такого прочего; не согласитесь ли, когда все бывает наоборот, женское в женщине исчезает.

А картины Босха показались мне неплохим переходом к творениям так называемого современного искусства, то бишь модерна. Здесь есть и такой зал. Да, кстати, обычно в музеях редко видишь копировщиков, «копиистов», а вот возле Босха я их видел. Стоял, например, за складным мольбертом рядом с картиной «Пророк Иеремия» не то японец, не то индонезиец и старательно писал копию. Почему так притягательна всякая жуть?

В зале современного искусства были представлены самые разные его корифеи. Прежде всего, конечно, Сальвадор Дали. Картин Дали я видел много в Бельгии, Голландии, Швеции и никак не могу понять, отчего завзятые снобы и западники так уж восхищенно закатывали глаза. Ах, Сальвадор Дали! Ах, Дали! Все же прочие, менее экзальтированные, стояли перед огромными, как правило, огромными его полотнами с видом растерянного недоумения, с неопределенно-виноватыми улыбками. Здесь были, правда, ранние и не лучшие работы испанца, но легко узнавались по теме и способам воплощения. Вот он — сюрреализм, сон или бред, цветной кошмар. Желто-розовая, цвета сукровицы, пустыня, на переднем рубеже не то муляжи, не то кости, человеческий глаз, изуродованно изогнутые части тела, где всегда угадывается нечто женское и, скажем так, половое, то же самое в других сочетаниях, изломах и на других полотнах. Розово-желтая стряпня, разложение, внутренности, уродство — все, что природа-мать если и производит, то в виде больного исключения, все, что она сама же и уничтожает, здесь подавалось за шедевр, лезло в глаза якобы сверхглубокомыслием, сверхчув-

ственностью, недоступной нормальному рассудку. На фоне Дали выигрывал даже древний его предшественник Босх, в картинах которого все-таки можно найти смысл, аллегорию и если уж не восторгаться, то по-человечески ахнуть, ужаснуться, отшатнуться и оглядеться. Здесь же не было ничего. Воистину пустыни с кучами мусора, рожденного коль не больным воображением, то ловким трюкачеством психолога-экстрасенса, знающего, что подать пресыщенному и ждущему сенсаций зрителю. Впрочем, может быть, так же начинал и Босх.

Удивить! Эпатировать! Заставить зрителя закричать от страха или негодования. А там пойдет. Известность будет, а с ней — успех, а там найдутся певцы-хвалители.

Я видел и скульптуры Сальвадора Дали в этом и в прочих музеях. Венера Милосская, к прямому античному носу которой скульптор приделал гипсовое ухо. И та же Венера, но к соскам груди «новатор» прилепил пушинки. Зачем? Не спрашивайте. Путь художника, точно путь господень, «выше путей ваших». Значит, выше вашего понимания. Ну, допускаю... Но зачем глумиться над тем, что признано миром прекрасным? Протест можно выразить как-нибудь честнее. Но вспомнились мне слова самого Дали: «Искусство должно быть съедобным!» В таком случае Венеру надо бы сделать тортом и частями отпускать желающим. Вот и еще будет один новый «арт»!

Так думал я, глядя на третью Венеру, опутанную веревками. Ну, здесь символика лежала на поверхности, хотя, следуя ей, можно было бы с таким же успехом присоединять богиню красоты и любви к чему угодно: к кровати, к гитаре, к паровозу, к станку и так далее.

Как здорово! Изумительно! Потрясающе!! — закатывали глаза очарованные. Скептики со славянофильским уклоном не одобрили, хотели, видно, видеть Венеру в лаптишках и сарафане. Руководители сурово морщились и куда-то быстро исчезали, подальше от упадочного направления. Женщины просто смеялись и также вскоре покинули зал. Остались немногие, кучка неисправимых, желающих все понять и познать. Может быть, тщетно.

Художник-модернист Де Кирико — полотно «Женщина» — все-таки вызывал какие-то мысли и эмоции. Если уж говорить о сюрреализме как возможности вы-

являть глубинное и подсознательное, то Кирико гораздо ближе подошел к сути. Для примера поясню. У меня с детства возникало странное, не выраженное словами чувство ли, ощущение, когда я смотрел на городские пожарные башни — раньше их называли каланчами — и на старые фабричные трубы, особенно когда они едва дымились или молчали совсем. В трубах и башнях, в их высоте была сосущая сердце тоска, вечная, бесконечная непреклонность, ощущение недоступности, непознаваемости и неизреченности... Они были неподвластны даже небу в какой-то земной несвязанности с ним. Я глядел на их вершины, слушал галочий крик или скрипящий свист стрижей, видел безучастно и неостановимо идущие «над» облака, и томление непонятной грусти всегда терзало меня, даже когда я просто рождал в памяти такую картину. Отчего, почему и зачем? Не объясню...

Но вот как-то в порядке литераторской жадности к всепостижению и поиску, в попытках ли разобраться в явлении, называемом обширным словом «модерн», я и наткнулся на Де Кирико. Потрясла репродукция одной его картины. Да, там была тоже бледно-желтая башня-каланча на фоне заката, в нездешней пустыне вечереющего неба. Флажки над ней, вытянутые по ветру, черная тень на земле и фигурки людей явно для масштаба. Картина «Ностальгия бесконечности». Помню, я чуть не вскрикнул — так полно, и словесно, и зримо она выражала мое давнее, необъяснимое вроде бы состояние.

Теперь я увидел наконец несколько подлинников Де Кирико. На мой взгляд, они были гораздо более насыщены мыслью и чувством, чем творения столпа сюрреализма. Конечно, и Кирико далек от реалий. Что такое уродина без лица, с очертаниями женского тела, но с механическими частями вместо живота, рук и ног? «Фигура». Гадай, решай, прикидывай как хочешь, ищи ускользающий смысл, но все-таки он есть, присутствует, в то время как другие полотна, развешанные в зале, были уже полным отрицанием всего и вся. Запомнилась лишь нежно-красивая женщина на колесе в позе вращения. «Фортуна». К сожалению, я не записал фамилию художника.

Вечером мы бродили по Брюсселю. Я был счастлив, что жена поправилась, повеселела и можно идти вдвоем. Как упустить случай увидеть ночной Брюссель! Впрочем, один я и не пошел бы. Снова было ощущение, что все это во сне: вот так запросто гулять по Брюсселю, как часто ходим мы дома вечером, к тому же и во сне ведь бываешь в каких-то незнакомых городах. Месье Роже предупредил, что улица налево от входа в отель «небезопасна для женщин», «здесь вам могут предложить...». Что — гид не уточнил, но добавил: «Лучше не надо остановля́ться и вообще ходить без мужчина». Действительно, эта «рю», несмотря на не слишком позднее время, была полупустынна, магазины закрыты, но возле кабачков, каких-то, по-видимому, игорных домов или притонов толклись посетители. Здесь были сплошь мужчины, и в основном черноволосые — арабы или пакистанцы, может быть, турки, а также негры. Проходящих женщин, даже если они были с мужчинами, здесь оглядывали, скаля зубы, с этакой приценкой во взгляде, отпускались разного рода шуточки-замечания. Иногда хорошо, что не знаешь языка. Вспомнив советы Роже, мы повернули назад, в сторону более оживленных торговых улиц. Кажется, только сейчас мы стали вдруг замечать и различать представительниц самой древней профессии. Скромненько, иногда помахивая сумочкой, они стояли на углах, у подъездов и подворотен. Видимо, наступил их час, хотя, повторю, было не более восьми по местному времени. Потом я узнал, что недалеко от «Сиру» находятся целые кварталы публичных домов, прозрачно замаскированных под «дома встреч», кафе, танцевальные залы и прочее. Официально проституция в Бельгии запрещена, но так, чтобы запрещение не мешало простору. Опять — компромисс... Гид говорил, что женщины-профессионалки не имеют права приставать к мужчинам, зазывать их и предлагать себя. Но они могут скромно стоять в ожидании клиента или даже сидеть в витрине заведения, как манекены. Видите сами — компромисс полный. «А что? Я просто стою на углу. Мне так нравится. Хочу познакомиться. Верно. Это нигде не запрещено». Так они и стояли. Закон есть закон. Любопытно, что бельгийские женщины легкого поведения в большинстве своем не носят «боевой раскраски». Показалось, они налегают именно на скромность, на маску тишины и порядочности. Наверное, так порок привлекательнее. Вот, например, очень скромная, даже тихоня с

виду, стоит у подъезда, глаза полуопущены, простенькая прическа, но взгляд — он прицельно, магнитно ласков, он говорит яснее, чем вывеска. Элегантная дама прохаживается на другом углу. Черные высокие туфли-лодочки, черные светлые чулки на полных ногах, юбка со скромным разрезом, жакетик с мехом, шляпа с полувуалью, под которой тщательно, недурно в общем, отштукатуренное лицо. Лишь слой пудры, так сказать, «шпаклевки», прикрывающий возраст, морщины, изношенность, намекает наблюдательному взгляду на профессию дамы.

Прошла кучка юнцов в драных джинсах. За ними такая же кучка жестикулирующих, хохочущих девочек. Вид яснее ясного подчеркивал вольную стихию сей хиппи-юности, по-видимому, это были просто школьники со своими подругами.

Вообще, народ в Бельгии — молодежь особенно,— не берусь, конечно, говоря по-одесски, «судить за все», както не отличался свежестью. Касалось это впрямую и значительной части женщин. Виноваты ли здесь «сексуальная революция», захлестывающая Запад, условия труда или жизни, главным образом в городах, одежда ли, манера держаться — не знаю. Знаю только, и у нас ей старательно подражают какие-то юнцы и девы... Сейчас обвинят меня в несовременности, отсталости, еще в чем-нибудь. Но что же делать, если не нравятся мне все эти одежды, эти юбки, будто век таскавшиеся по углам, под кроватями без утюга и стирки, и пресловутые джинсы, также чаще тертые-перетертые, замытые и даже словно бы неумело обрезанные ножницами... Мода? Да ну! Свобода? Да что там... Раскованность? Удобство? Ну, может быть... Невзыскательность? Пусть. А все-таки думаешь: обряди-ка вот так хоть самую раскрасавицу, и тотчас повеет от нее вокзальной истасканностью и еще чем-то подобным, запущенным, пещерным и таборным. Мода. Как часто она не просто одежда такого-то вида, фасона и сорта, а стереотип стиля жизни, поведения и мышления, отраженный в ней, как в безжалостном зеркале...

Есть в Брюсселе сверхщеголи и ультращеголихи. Но их немного. Куда меньше, чем у нас, где имеется, будем самокритичны, крен в другую сторону: тысячные наряды, алмазные гарнитуры и золото — как можно больше золота на шею, на пальцы, в уши... И добро бы только женщины. Вот летом в Москве видел юношу. С двумя цепочками на шее, с перстнями-печатками, и без чалмы он

выглядел Аладином. Щеголей, щеголих не густо в Брюсселе. Однако попадаются. Вот точное описание: крепкая молодка в белых трикотажных рейтузах, натянутых так, что опасаешься за их целостность, к ним — сапоги-ботфорты со шпорами, кофточка же предельно коротка, как бы с куклы, и грозит взорваться от обилия бюста, столь же кукольная прическа: бело-льняные волосики в хвостиках-косичках. Эффектно. Шарм-люкс и люкс-шарм. Добавление к моднице — черная собачка-терьерчик, фигурно стриженная и на чеканной серебряной цепочке.

Мужчины везде одеваются проще. Но кожаные пиджаки, широкополые шляпы а-ля Арамис, туфли на высоких каблуках-подборах попадались значительно реже, чем в родном моем городе Свердловске. То же можно сказать и в отношении красавиц. Их как-то не было видно. Не хотел бы обижать бельгиек, есть, есть, конечно, и в этой стране красавицы, есть неженки и обольстительницы, Клеопатры и Венеры, но, очевидно, не гуляют по вечерним улицам. Они либо катили мимо в потоке разноцветных «ситроенов», «рено», либо пребывали дома под присмотром мужей. Жена-красавица везде и всегда была, наверное, опасным сокровищем. Иметь его нелегко. Сохранить еще труднее. Ведь если пытающийся завладеть сокровищем именуется обиходно вором, преследуется законом, любовник и соблазнитель не рискует ныне даже дуэлью.

Торговые точки в центре, скажем по-нашему, были еще открыты. По пятницам, а также и по субботам, в Бельгии торгуют до девяти. Жене нужны были сапоги, и мы заходили в обувные магазины, забитые до непонятного переизобилия, которое рождало один вопрос: «Когда и кто все это раскупит?» Заходили и в универмаги, откуда тянуло поскорее выйти с нашими франками. Рядовые, скажем опять по-нашему, промтоварные магазины и не содержали ничего особенного. В Бельгии, как и везде на Западе, магазины имеют ранги, эквивалентные толщине кошелька. Эту истину мудро пояснял не раз месье Роже: «У нас, в Бельгия, каждый знает свое место». А вследствие сказанного есть магазины для нищих, для бедных, для малообеспеченных, для людей среднего достатка — здесь так и называют «средний класс», есть для «выше среднего», есть для «богатеющих», по Роже, и есть для «у́-ужасно богатых» — для миллионеров и миллиардеров.

Рядом с гостиницей «Сиру», например, был такой магазин для богатых и очень богатых, куда мы не иначе как сдуру, по привычке заходить в магазины, затесались нежданно-негаданно.

Здесь торговали изысканными вещами. Качество — выше похвал. Гарантия — полная. Это была роскошь напоказ, для обстановки миллионных вилл и для плеч изысканных дам, о которых поэт сказал: «сплошь одно ребро Адама». Шиншилловые и норковые манто. Искрящиеся соболевые палантины. Столовое серебро форм рококо и модерн. Драгоценного дерева трубки, изящностью линий превосходившие изгибы красавиц. Трубки с золотыми монограммами! Как ахали наши «западники», сплошь трубкоманы и ценители дубленок. И дубленки здесь тоже были, разумеется, не какие-то подделки из свиной мездры, но настоящей лосиной замши, австралийской овчины. Сапоги, созданные, конечно, для ног богинь и берите выше! Или вот, фарфоровый белый медведь в четверть настоящего — напольная скульптура. Или такие же глянцевые выдры, точно они только что выбрались из реки. А роскошные вазы севрского фарфора? А золотые, благороднейших форм портсигары? Чего еще не было здесь? О, изощренность вкусов, пикантность прихотей! Но — цены!!! Они вызывали даже не усмешку, а подобие тихого ужаса. Вот это было действительно: у-ужасно дорого!

Покупателей в магазине не было. Залетки зеваки вроде нас в счет не шли. Продавцы к ним привыкли и смотрели хотя без раздражения, но так, как смотрят на неодушевленный предмет. Покупатель здесь имел, очевидно, какие-то особые приметы и признаки. Но до сих пор меня мучает загадка, почему и как не прогорел этот магазин без покупателей, как сводит концы с концами, как приобретает многотысячный товар? Или одна миллионная покупка враз делает его рентабельным? Не знаю.

А по мере того как магазины закрывались и становилось темнее, город, как бы потягиваясь и разминаясь, начинал жить другой жизнью, дышать индустрией отдыха, развлечений и наслаждений — всего этого также четко разграфленного и продающегося по строгим ценам. Мы же свернули с богато освещенной центральной магистрали на улицу боковую, рукотворное ущелье старого средневекового города. Здесь уже не столь ярко светились витрины, преобладали фонари красного и оранжевого цвета. А в витринах под этими фонарями... В вит-

ринах сидели, стояли, полулежали женщины. Они были одеты как манекены, как ряженые или просто полуодеты. Витрина. Четкая цена. Это было так удивительно. Ошеломляло. Рождало чувство нереальности. Полно, может быть, вправду за стеклом манекены? Но это были, конечно, женщины, в большинстве своем молодые или нестарые, разные. Вот «балерина» в белой крахмальной пачке, даже с коронкой-наколкой в черных волосах. Врубелевская царевна-лебедь! Вот где встретились. Черные глаза с наклеенными ресницами зазывно мигают. 2500 франков. Пожалуйста, заходите. У крыльца заведения предупредительный вышибала с лицом гангстера в отставке. Зайди. Плати. Резвись-веселись. «Балерина» твоя. Мерцают черные ресницы. Порочное диво заученно усмехается, обещает взглядом все блага мира. Ведь ей надо зарабатывать...

А далее девочка, как бы из гимназии. Короткое форменное платье. Толстые ноги. Руки опытной массажистки. Лукавый взгляд. Эта дороже. 3000 франков. Ниже табличка: «Кредит не предоставляется». Нон компромисс! Впервые вижу такое исключение из бельгийских правил. Плати, не торгуйся.

И еще витрины, и еще... Женщины, женщины... Женщины...

Пожалуй, мы не вышли, а скорее выскочили из этой улицы-щели, где так уж явно, беззастенчиво царствовал порок. Да, пардон, позвольте — порок ли? Ведь если вдуматься, здесь просто та же самая торговля, торговля и торговля. С рыночными и розничными ценами. Что из того, что товаром является живой человек, женщина, молодость, тело и даже как бы любовь? Плати и пользуйся. Ах, какой гуманизм! Нет, автор не хотел бы относить себя к ханжам, к тем, кто считает, что человеку надо лишь хлеб, работу и крышу над головой. Нужна еще и любовь, и существо противоположного пола, как гласят учебники психологии. Но — разве так? Разве за деньги? Разве сегодня не порог двадцать первого века? А может быть, мы спутали время и оказались где-то до нашей эры? Тогда рабынь продавали на рынках... Полезно ездить по белому свету. А литератору в особенности.

На центральных улицах, примерно через пять — десять домов с пивными, магазинами, ресторанами и кафе, попадались кинотеатры. Кинема! Витрины у входов увешаны фотографиями. Преобладают сюжеты «любовь и

стрельба». Стрельба из кольтов, револьверов, автоматов, пулеметов, винтовок с оптическим прицелом, стрельба лежа, стоя, с колена, стрельба... Гангстеры, полицейские, супермены, гаучо, ковбои. Ну, а любовь — любовь тут неописуема. Она подана под всеми соусами. Длинноногие блондинки, элегантные дамы, секс-бомбы, женщины-вамп, всякие там Мессалины-Агриппины. На иных рекламах поясняющая вывеска: «Порно».

Правда, витрины в таких «кинема» снабжены цензурными наклейками из красной бумаги. Треугольничками и квадратиками заклеено то, точнее, та часть тела, которую, по мнению цензуры или полиции нравов, нельзя показывать на улице. Ну, еще бы, ведь витрины могут смотреть дети, которым «до шестнадцати». Наклейки вызывают улыбку. Вот уж действительно — компромисс! Ведь в самом деле затруднишься: закрывает наклеечка величиной с почтовую марку нечто или только возбуждает интерес к заклеенному? Пусть этот вопрос решает бельгийская цензура нравов. Ах, цензура нравов! Ее руку мы видели и в киосках, со всех сторон завешанных журналами. Опять те же красные квадратики, прямоугольнички, потому что в журналах демонстрировалось и продавалось человеческое тело. Обнаженные культуристы, обольстительницы всех величин, возрастов и форм. Купите. Пожалуйста, купите. Или заходите к нам в кино. Вот названия фильмов, без выбора: «Любовь среди женщин», «Остров Лесбос», «Что делать девушкам». У многих таких кинема надпись-аншлаг предупреждает: нон стоп! То есть фильмы здесь крутят беспрерывно, без остановки. Заплати — можешь сидеть хоть с утра до ночи, сколько вытерпишь. Главное — заплати. Фирма «Виртц» великодушно предусмотрела такую возможность. Еще утром месье Роже вручил нам каждому по сто франков — средняя цена билета в кино. Так сказать, снова премия фирмы на развлечения. Но мы не захотели смотреть на любовь без остановки и решили истратить двести франков вопреки рекомендации.

Гуляли мы до позднего вечера и вернулись пресыщенные впечатлениями от этого воистину близкого по вечерам к Вавилону бельгийского города. Разумеется, масштаб и все прочее берется вне сравнения. Может быть, по нью-йоркским меркам Брюссель скромный город. Здесь нет чрезмерного полыхания рекламы. Нет моря огней. Здешний «бродвей» не вызывает особых восторгов

и не подавляет величием. Все проще, даже провинциальнее, и, вероятно, американцы, приезжающие в старушку Европу, чувствуют себя здесь, как в тихом захолустье. Но, с другой стороны, благо ли безмерно чудовищные города? Они уже вышли как будто за контроль разума, все эти Мехико, Рио-де-Жанейро, Токио. Почему-то эта мысль долго не давала мне заснуть.

Еще один день в Брюсселе. Он разделен программой пополам. Полдня на экскурсии, полдня на магазины. Мы уже порядочно устали от суматошной жизни путешественников, но желание вобрать впечатления, сохранить, не упустить ничего держит в приподнятом настроении. Кажется, таких глупцов в поездке всего двое. Пишем как придется, на ходу, в автобусе, в залах музеев, в гостинице. А надо еще слушать гида, смотреть, фотографировать, осмысливать и сопоставлять. Кто-то сказал, что у путешественника нет памяти. Сказано точно. Пока видишь — кажется, разве можно забыть? Да ни за что! Забывается же мгновенно. Память сохраняет только самые яркие впечатления, остальное, детали, словно уходит во мглу.

Сегодня в Брюсселе мы уже ориентируемся. Соборы, церкви, башни гостиниц и немногие высотники дают возможность определять местонахождение. Вон видна башня авиакомпании «Сабена», там вращается огромная рекламная бутылка вина «Компари». «Компари» соперничает со знаменитым «Мартини». Однако мадам Мартини не думает сдаваться, и ее реклама также всемирно расхваливает вино. Сама Мартини, по словам Роже, перебралась в Париж, имеет игорные заведения, ночные клубы и бары. «Богатеющая женщина!» — с уважением заключает месье Роже.

Мы находимся в северной части Брюсселя, в его фешенебельно-парковой зоне. Здесь, у канала, знаменитый Памятник Труду Константина Менье. Недалеко отсюда церковь Божьей матери — усыпальница бельгийских королей. Великолепные парки со старыми дубами, кленами, платанами и каштанами, столетними липами. Справа от шоссе парк коммуны Лакен, в глубине его дворец, где проживает нынешний король бельгийцев Бодуэн, в парке напротив живет его брат.

У ворот королевского парка стража — солдаты морской пехоты с автоматами.

Судьбе же было угодно, чтоб мы повидали и самого

короля. В тот самый момент, когда автобус медленно проезжал мимо ворот резиденции, они вдруг отворились, стража взяла автоматы «на караул», и серо-зеленая машина, вроде наших «Жигулей», выехала на шоссе, обогнула и перегнала наш автобус. За рулем сидел моложавый человек на вид лет сорока — сорока пяти, с лицом, уже известным по стофранковым кредиткам и монетам в десять франков.

— Бодуэн! Бодуэн!! — к сожалению, поздно для моих спутников возвестил гид. Все заоборачивались, но серый «рено» или «ситроен» уже набирал скорость. Король уехал. Он даже как будто был без охраны. Впрочем, последнее не утверждаю.

Во искупление своей оплошности месье Роже подробно посвятил нас в генеалогию бельгийской монархии. Нынешний король бельгийцев Бодуэн I родился здесь в 1930 году. В этот период власть была в руках короля Леопольда III. В 1940 году, когда фашистский вермахт захватил Бельгию, Леопольд III подписал капитуляцию, а себя объявил «добровольным военнопленным». В 1944 году он был вывезен в Швецию, где и жил до возвращения в Бельгию. Однако народ не принял непопулярного короля-капитулянта, требовал его отставки, ликвидации монархии. Поразмыслив, король счел за лучшее отречься от престола в пользу сына Бодуэна и уехать из страны. Так снова восторжествовал бельгийский компромисс. Монархия осталась, разумеется, конституционная, парламентарная, ограниченная, но все-таки монархия.

Месье Роже можно было признать ее поклонником. Так расхваливал он короля и его супругу — испанку. Так сочувствовал, что у королевской четы нет наследников. Так восхищался работоспособностью монарха, его гуманизмом, строгой религиозностью и чуть ли не жертвенностью. Но, наверное, не мне судить деяния и жизнь коронованных особ, для этого есть историки и биографы, тем более что мы давно миновали королевские владения и остановились у нового парка, который казался продолжением старого — так все было вокруг выстрижено, ухожено и в то же время зелено, на газоне, окруженный хвойными туями, стоял странный дом с «рогатой» черепичной крышей, весь изукрашенный резьбой в стиле китайских иероглифов. Дом, будучи коричнево-черного цвета, походил на чугунное литье. Рядом возвышалась такая же, с «рогатыми ярусами», башня, словно чудом

переселившаяся сюда из Страны восходящего солнца. Это были Японская башня и Китайский павильон, созданные по приказу короля Леопольда II для Всемирной Парижской выставки 1900 года и возвращенные Бельгии в 1904 году.

Очень оригинальные сами по себе, Китайский павильон и Японская башня были все-таки сусальной псевдоэкзотикой Востока на Западе. Они как-то не вписывались, что ли, в осознание Брюсселя, не могли стать его органичной частью. Так выглядели бы примерно типично восточные безделушки, чеканные узкогорлые кувшины в стиле Гаруна аль-Рашида, халифа багдадского, в современно обставленном европейском доме.

Последней достопримечательностью Брюсселя, с которой иногда как раз начинают показ бельгийской столицы, был Атомиум. Громадная чудо-башня, строение-модерн, созданное на территории Всемирной выставки 1958 года. Атомиум, как символ проникновения человека в недра атома, представляет собой гигантскую реконструкцию молекулы железа. Высота этого здания сто два метра. Атомиум состоит из девяти весемнадцатиметровых шаров, соединенных трубами-переходами в многоугольную конструкцию. Внутри помещается музей космонавтики и атомной энергетики, в которой маленькая страна весьма преуспела. Уже сейчас в Бельгии несколько атомных электростанций, действующих и строящихся, успешно создается сложное оборудование для их эксплуатации. Бельгия импортирует обогащенный уран из Советского Союза.

В Атомиуме есть ресторан, из которого видна панорама Брюсселя. Полагаю, что это не самый дешевый ресторан.

На Атомиуме кончалось наше знакомство с памятниками Брюсселя. Была суббота, и мы получили возможность после обеда истратить свои франки в торговом центре возле «Сиру». Главная проблема для человека, располагающего такой суммой денег, какая была у нас, как их истратить. Дорогие и красивые вещи не купишь, дешевые плохи, и везти домой, за тридевять земель, заморскую дрянь нет ни желания, ни расчета. Мы просто замучились с решением этой головоломки.

Да, магазины были забиты товарами... Да, по-субботнему в них бродили толпы народу, не знающего, куда себя деть (в маленьких странах с большими городами

это проблема). Был жаркий день, клонившийся к вечеру, и было скучно среди всего этого изобилия, какого-то немого ажиотажа толпы, криков продавцов за прилавками, дешевой распродажи с горами залежалого барахла: сапог, туфель, маек, разного рода кофточек и рубашек. Толчея была лишь на главной торговой магистрали, где люди больше гуляли и глазели, чем покупали. Все это не было похоже на целенаправленное движение возле наших ЦУМов и ГУМов, где покупатель одержимо ищет: купить, купить, купить, толпится в очередях, изнуренно преет в давке за желанным товаром или мечется в поиске. Здесь, повторяю, все напоминало парковое гулянье среди витрин. В маленьких же улицах было совсем безлюдно, магазины казались закрытыми. Больше всего нас привлек магазин хрусталя и стекла. Изящные вазы, кубки, фужеры — все цветное, переливающееся, играющее в отраженном свете закатного солнца. Мы не могли пройти мимо.

— Не купить ли нам вон ту вазу? — предложил я, указывая на розово-перламутровую емкость для фруктов, напоминающую отчасти странную раковину. Ваза и впрямь была чудная, а главное, не такая уж дорогая. Вот и будет память о Брюсселе, о Бельгии, о ее ремесленниках, о всех этих бесконечных днях скитаний, может быть, и об этой улице, косо освещенной закатным солнцем.

— А не разобьем? — посомневалась практичная жена (способности бить посуду у нас были на уровне хозяйского брата из гостиницы «Серебристый лебедь»).

— Ну, будем осторожны. Так и быть, беру это на себя.

— Тогда, что ж... А ведь правда хорошая.

И мы зашли в хрустальный магазин. Он состоял всего из единой большой комнаты, правда щедро заставленной хрусталем и литым стеклом вдоль стен и в центральных витринах.

Нас встретили сразу две женщины: молодая ловкая особа со смешливым приятным лицом и пожилая, даже старуха, по-видимому, хозяйка. Горбоносое лицо ее походило на злую волшебницу Гингему. Острые глаза настороженно ощупывали нас, в то время как рот изображал любезную, вставную, что ли, улыбку. Зубы у старухи были слишком уж безукоризненные для такого морщинистого лица.

— Бонжур, мадам... (Это все, что я знал по-французски.) Бите, цайген зи унс... Пожалуйста, покажите нам... Ах, черт побери... Как же по-немецки — ваза? А?

— Не знаю. Не помню.

— Как не помнишь? Ты училась на курсах?

— Ну, не помню. Ваза, ваза... Да ты просто покажи, что.

Незнакомый язык явно озадачил женщин.

— Бите, мадам, дизе ваза! — сказал я, показывая на желанный предмет.

Впоследствии мы хохотали до слез над этой конструкцией из трех языков.

Сообразительная старуха тотчас велела служанке достать из витрины вазу, и, осмотрев играющее светом стекло, мы решили его брать. Но мне показалось, что лучше бы все-таки выбрать, так как вазы были немножко разные. На пальцах я показал продавщице, что желаю посмотреть еще две-три. Девчонка поняла по-своему: «Покупают три вазы!» И кинулась куда-то в подвал, на склад. Гингема показала в улыбке всю свою протезную челюсть. Пришлось немного их огорчить, когда из трех принесенных ваз мы отобрали одну, ту, что показалась красивее, и опять знаками попросили запаковать.

— Гутен паккен! — сказал я. И добавил жене: — Хорошо бы попросить, чтобы запаковали слоя в четыре?

Продавщица знала свое дело. Девчонка была разбитная, веселая, улыбчивая. «Как она работает у такой ведьмы?» — подумал я, разглядывая продавщичку: розовое личико, вольный глазок, готовый вот-вот подмигнуть, довольно приятный стан...

— Хорошая девушка! — сказал я.

— Вы кто? — очевидно, спросила она по-французски.— Не понимаем вашего языка. Язык не понимаю.

Она не нашла ничего точнее, чем высунуть свой язычок из смеющихся губ, показать на него пальцем и отрицательно тряхнуть головой. О, плутовка! Какие все-таки приятные, контактные эти бельгийки.

— Финн? Итальяно? Поланд? — допытывалась девчонка. Ожидающее выражение было и у старухи.

— Рюс, мадемуазель. Совьет! — сказал я.

И Гингема разинула рот, а потом скроила такую рожу, точно хватила кипятку. Девчонка смеялась.

— Мерси боку! Мадам, мадемуазель! — и мы вышли на вечереющую улицу.

Так мы купили сувенир из Брюсселя да еще прихватили на дешевой распродаже вроде бы очень изящные сапоги для дочери. Забегу вперед: ваза и теперь стоит на нашем серванте, напоминая нам о Бельгии, Брюсселе и тех ушедших днях. А чудные сапоги развалились, не протерпев и сезона. Как видите, не все заморское — гарантия высокого качества.

Последняя ночевка в комнате-келье. Я все-таки никак не мог привыкнуть к ней, спать под распятием, и проснулся в тот самый час, который называют бесовским часом, часом Быка, еще какими-то мистическими, магическими названиями. Светила луна, но не полная, а какая-то полувыпеченная, лицо ее странно лежало вбок, точно, наклонившись, она внимательно смотрела на раскинувшийся под нею мир и на этот город в особенности. Во взгляде луны было нечто жутковатое, завороженно-удивленное. Я не лунатик, сомнамбулизм вообще непонятен мне, и все-таки во время, близкое к полнолунию, я чувствую себя хуже, плохо сплю, меня одолевают тревоги, похожие на тоску по какой-то скрытой, не объять разумом, неизвестности. Может быть, это чувство усиливалось теперь дорогой, незнакомым городом и страной. Я встал и подошел к окну. Ночью и под луной брюссельские крыши выглядели красивее — не то определение! В них словно проявилось теперь волшебное очарование старины, средневековья, таинств его прошлого, что приглушенно жило в этих древних западных городах, пряталось днем и воскресало ночами. Оживал ночью и Андерсен, братья Гриммы, Гофман и даже как будто далекий отсюда Булгаков. Жила вся романтика жутковатых сказок. И если бы сейчас из слухового окна вон той, светящейся от луны чешуйчатой рябью крыши вдруг выпорхнула некая обнаженная Маргарита, ведьма на метле или появились маленькие, воздушно танцующие в зыбком мглистом свете эльфы,— я бы ничему не удивился.

Город спал тяжелым предутренним сном, и во всем — в загадках далеких башен, где живут, наверное, сычи, летучие мыши и совы и прячутся призраки, в красноватой синеве над глухой далью потерянных во мгле крыш, в молчании неба — было что-то усталое, подчиненное бренности времени. Город спал, пресыщенный жизнью, несвершенными ожиданиями и предчувствиями несбыв-

шихся надежд, город спал... Мне всегда кажется, что города спят не так, как леса и поля, не так, как птицы и животные, не так, как спит вода и травы. Город спит, как человек, и подобно людскому все его бытие. В городском сне слишком много тревог для того, чтобы спать спокойно. Вот сейчас в этой глухой тьме, как привидения, бродили пьяные, валялись в ненасытных оргиях эротоманы, кто-то с надеждой ждал рассвета, и редкие ночные машины везли по городу его похоть, тревогу и боль.

Не помню, сколько простоял я под распятием у окна, вглядываясь в брюссельские дали. Заснул, когда все уже стало сереть, звезды зыбиться, а луна побледнела и скатилась за крыши, не хватало только петухов, но было ясно, что где-то все равно пели они, возвещая конец ночного времени, и казалось, только сейчас, на рассвете, город заснул наконец близким к природе сном, облегчающим, расслабляющим душу и тело. Уснул и я, и так крепко, как, пожалуй, не спал все эти ночи, а проснулся свежим и бодрым после этого спрессованного отдыха. Сегодня даже горло не болело.

Мы ехали в третий крупнейший город Бельгии Антверпен, который почему-то всегда казался мне больше голландским, чем бельгийским. Всякий раз мысленно я возвращал его по логике географии в Бельгию, и каждый раз он, помимо этой логики, оказывался в Голландии. Чудеса, да и только. Не знаю, почему это было. Может быть, из-за его названия. До Антверпена было еще далеко, конечно, по бельгийским нормам. Снова стелилось под колеса «Мерседеса» серое с голубизной ровное шоссе, бежала по сторонам низменная равнина — пейзаж мало менялся, хотя мы явно пересекли валло-фламандскую языковую границу. Я думаю, различия между фламандцами и валлонами не так уж велики, если б не язык. Общая система хозяйства всегда связывает крепче крепкого. И так ли уж важно — носишь ты черный суконный костюм и широкополую шляпу, как исконный фламандец, или синюю блузу и неизбежный берет французского валлона.

Мы приближались к городу Малину, или Мехелену, как было написано в проспекте. Лысый добродушный толстяк, сняв вязаный колпак, до земли раскланивался

с обложки, приглашая в гости с отменным радушием. Малин — религиозная столица Бельгии. Город соборов, монастырей, башен с музыкальным звоном колоколов — он подобие нашего Загорска, Суздаля, хотя внешне ничем не похож, а повторяет старые западные городки со средневековыми центрами. Древняя ратуша XVI века, как видно, не раз перестраивалась, имеет странный игрушечный вид (что-то вроде Изумрудного города в известной сказке). Древние ворота — две башни с входом-аркой меж ними. Музыкальная башня, колокольня собора святого Ромбо, где колокола вызванивают сложные мелодии. Малиновый звон — словосочетание, известное всем, но не все знают, откуда пошло. И хотя оно как-то очаровательно созвучно заревому цвету малины и даже ее замечательному вкусу и запаху, сходному с запахом юного и здорового женского тела (да простят мне такую вольность!),— основанием все-таки является название старого бельгийского городка. Малиновый звон! Им восторгался еще Петр Великий. Ездил сюда специально слушать колокола. Древнее искусство игры на них не заглохло и теперь. По сей день есть в Малине школа звонарей, а точнее — музыкантов колокольной музыки. Каждый вечер по понедельникам, от начала июня до середины сентября, в Малине звучат колокольные концерты, слушать которые едут со всех концов Бельгии, да что там — Европы! В городе бережно относятся ко всем памятникам старины, будь то центральная площадь, на которой, кстати, мы и остановились ненадолго подышать «малиновым» воздухом, размяться, погулять вблизи, будь то старые суконные ряды, дома-харчевни, старинные церкви, вроде церкви святого Николая, простой, но прекрасной в своей древней, доготической простоте. Жила в Малине известная покровительница искусств, любительница живописи и философии Маргарита Австрийская, ее дворец постройки XVI века сохраняется в первозданном виде. Старина — это туристы, бизнес, необесцениваемая валюта. Время делает старину дороже, почетней, привлекательней, значительней. Впрочем, я далек от упреков бельгийцам, в том числе и жителям Малина, в сплошной меркантильности, голом расчете. Это было бы высшей несправедливостью. Старина — значит история, ее вещественность, национальные корни, которыми живо и держится всякое общество, и не только общество, а и человек, человечество. Корни питают дерево. Недаром

же издавна был презираем некто «без роду, без племени», значит, и без корней. И может ли быть сомнение в том, что надо крепить, умножать, хранить историческую связь поколений, искать преемственности меж отцами и детьми и верить, что человечество едино, единосущно и вечно лишь в таком уважении к прошлому, соединении его с настоящим.

Не надо думать, что Малин живет только стариной, музеями и туризмом. В Бельгии и в Европе он известен мебельным производством, в том числе мебелью-модерн, которая ныне старательно копирует ту же старину. Сегодня модерн — это псевдоампир и неорококо, барокко и ренессанс, и все это успешно изготовляют промышленным и ручным способом потомки малинских ремесленников. В Малине ткут ковры и гобелены. В Малине есть современное машиностроение. Таков этот город на реке Диль, который мы оставили после получасовой прогулки по центру.

Глава VIII

В ГОСТЯХ У РУБЕНСА

Антверпен — город без мостов. Отель «Конгресс». Порт «Ханд верфен» и фонтан Брабо. Собор Божьей матери. Дворец Рубенса. Экскурсия, в которой, по-видимому, принимал участие хозяин. Мнение Энгра и мнение внука. Фирма «Рубенс». Женщина как вдохновительница искусства. Торговля даже ради торговли. Йорданс. «Все для моряков и туристов». Музей живописи. Воскресный день в Антверпене. Шарманщик Карло. Лавка нумизмата. Я наблюдаю вечернюю жизнь. Здравствуй, товарищ!

Отличная дорога из Малина к Антверпену проложена едва ли еще не римскими завоевателями. Старая, обжитая, до сантиметра обработанная земля. А впереди — самый богатый, по словам Роже, бельгийский город Антверпен.

Город этот с семисоттысячным населением расположен на реке Шельде и является одним из крупнейших

европейских портов. Для Бельгии — это ворота в мир. Экспорт-импорт — вот чем занят Антверпен помимо крупнейшего промышленного производства, перегонки нефти, выплавки «тяжелых» цветных металлов — меди, свинца, цинка и олова, выделения и выплавки редкоземельных металлов и чистых элементов, таких, как селен, германий, радий, кобальт и кремний. Целый пояс городов-спутников Антверпена занят цветной металлургией на привозных рудах и концентратах. Бельгия бедна полезными ископаемыми, но не беден ими мир, и вот в маленькую, но мощную по промышленным силам и средствам страну текут руды, нефть, полуфабрикаты и сырье, чтобы, пройдя через руки рабочих, стать чистейшим металлом в слитках, обогащенным концентратом, промышленным сплавом, прокатом, бензином и снова стать статьей мирового, теперь уже бельгийского, экспорта.

Чтобы как-то особо подчеркнуть богатство Антверпена, гид поведал: здесь крупнейшая в мире биржа алмазов. Здесь бриллианты создают, гранят, покупают, перепродают. Здесь точнее всего оценят, так сказать, «сырой» алмаз, помогут его продать или огранить в брильянт, разумеется, за хорошую плату. Есть даже компания по торговле советскими бриллиантами и алмазами — «Русалмаз», а также алмазами из Конго, Бразилии, Южной Африки. Здесь же проводят международные алмазные аукционы, и тому подобное, и тому подобное...

Цветные проспекты-карты, врученные нам фирмой «Виртц», вкрадчиво вещали на четырех языках: «Добро пожаловать в город Рубенса и Йорданса! Город прекрасных магазинов и отелей, город всех мыслимых развлечений!» Афиша-реклама сообщала, что здесь есть крупнейшие отели «на высшем интернациональном уровне»: «Эмпайр», «Кайзер», «Конгресс» и т. д. В отелях ждут вас берущие под козырек швейцары, почтительные портье, обольстительные горничные, великолепные встречи, счастливые знакомства с длинноногими секс-дивами. Вас ждут ужины при свечах, танцы, карнавалы, уединенные великолепные номера, просторные кровати, ванны и сауны, все виды услуг, сервис только с улыбкой, немыслимый комфорт. ПРИГЛАШАЕМ ВАС В АНТВЕРПЕН! Ждем вас. Тоскуем. Любим. Только, разумеется, приезжайте с деньгами, и желательно с

большими деньгами... Иенами, франками, фунтами, марками, долларами... Мы поможем вам наиболее приятно их истратить...

Разумеется, проспекты вызывали улыбку, равно как цветные фотоколлажи, где жизнь подавалась сплошной арабской сказкой, с мотивами Шахразады. Тут и улыбчивая дева с зазывными глазами, оформляющая номер, и тахта, где ждет объятий дева со стаканом коктейля в узкой руке, и солнечное, доброе утро, когда один тщательно бреется, чистит зубы в сиянии кафеля и зеркал, а другая, обернув бедра полотенцем, выходит из ванной, как Венера из пены. Райская жизнь. И над всем цветным объедением проницательное лицо Рубенса с глазами венецианского гранда, грустящего художника и оборотистого купца. МЫ ЖДЕМ ВАС В ГОРОДЕ РУБЕНСА!

Отель «Конгресс», где мы остановились в Антверпене, и был как раз из таких, хотя размещались мы не в номерах под пальмами. Нет, не было салютующих швейцаров, улыбчивых горничных, не ждал ужин при свечах, портье, раздавая ключи, были сдержанны, как видно, не ждали от нас чаевых и подарков. Но все-таки свидетельствую, номера были на уровне, гостиница новая, обед лучше, чем в «Сиру», и без сельдереевого супа. Отель «Конгресс» — типичное здание эпохи минувшего упрощенного модерна — был как-то более привычен нам, и мы обжили его довольно скоро, если под «обжитием» понимать радость стандартным удобствам: ванне, душу, возможности привести себя в порядок, отдохнуть с дороги на упруго-мягкой постели и увидеть за окном не тупик двора и крыши, а панораму хотя и чужого, но какого-то словно привычно-незнакомого города. Опять черепичные кровли, улицы брюссельского барокко, но попроще, вроде бы построже и в то же время вольготней. Торчит вдали шпиль собора, еще какие-то башни, еще и еще. Пролетают темными стайками голуби. Плывут бело-серые облака с Атлантики — океан рядом — таков, в общем, ландшафт всех городов на побережье Северного Запада. Стокгольм, Осло, Роттердам, Амстердам, Копенгаген — в этом я убедился впоследствии. Добавим сюда же и нашу Ригу, Таллин, даже Ленинград, хотя в нем все внушительнее и монументальнее.

Антверпен не был исключением, он лишь подтверждал правило.

Осмотр города мы начали с порта, бесконечных причалов, чудовищных кранов, великаньи скелеты их неторопливо двигались, свершая положенную им, как бы навечно заповеданную работу. Недалеко от порта возвышалась старая крепость Стэн, окруженная рвом. Своими башенками, узкими окнами-бойницами, свинцовыми кровлями, похожими на монастырские клобуки, свесами неизбежного плюща и острым шпилем внутренней церквушки крепость Стэн напоминала чудо-городок из сказок Андерсена, а бронзовая фигура рыцаря у входа на мост, ведущий к воротам, лишь дополняла заколдованную неподвижность давнего времени. Когда-то крепость обороняла порт и город, была грозной военной силой — теперь смотрится игрушкой, сохраненной для потомков.

На одном из молов-мостов порта мы фотографировались. День разгулялся. Дул мягкий морской ветерок, играло солнце. Не верилось, что это сентябрь, уже вторая половина. Лето и лето. Дамы, смеясь, удерживали юбки. Никому не хотелось в автобус — так просторно, привольно было здесь, над портом, где стояли под погрузкой, разгружались или шли в открытое море сине-белые, голубые, серые океанские суда.

Даже пунктуальнейший месье Роже не торопился, учитывая момент, настроение масс и обстановку. Все как-то казалось, намеченного программой не осилить, да и что в конце концов важнее — вот этот мол и ветер с океана или опять какая-нибудь башня в стиле «рэннэсоонс», как произносил гид, ведь этим «рэннэсоонс» мы уже объелись в Брюсселе.

Тем не менее мы появились на центральной площади, по-видимому, вовремя. Роже просто учитывал все. На площади, как водится, фигурно изукрашенная ратуша, сбоку площади замысловатый фонтан с мужской фигурой на вершине скульптурной группы. Мужчина держит не то перчатку, не то отсеченную кисть. Ввиду многосложности и, как мне кажется, не слишком большой даровитости скульптора фонтан этот, называемый фонтан Брабо, интересен лишь своей символикой. Он олицетворяет легенду о названии и основании города Антверпена. Полагают, что название сложилось от немецко-голландского: ханд — рука, и верфен или верпен — отбрасывать. Суть легенды была мне известна. В давние времена в устье Шельды жил разбойник-великан по имени Антигон. Великан брал с купцов, идущих по Шель-

де в море, высокую пошлину. Тех, кто отказывался от платы или просто не имел денег, разбойник хватал и отрубал им руку. Но отважный рыцарь Брабо сразился с великаном, и, одолев злого разбойника, в наказание отсек ему руку, и бросил на правый берег Шельды. Местность стала называться Хандверпен, и возник город на Шельде, позднее распространившийся на ее левую часть. Левобережный город более новый, современной постройки. Обе части Антверпена вместо мостов соединены длинными тоннелями под Шельдой. По одному такому тоннелю мы проехали, и он напомнил мне Брюссель, ибо на въезде в столицу Бельгии также есть подземные транспортные развязки.

Но вернемся на площадь Ратуши к фонтану Брабо, который, грубо говоря, напоминал старинный, позеленелый от времени многофигурный подсвечник. Ратуша же напротив фонтана была увешана большими многоцветными флагами муниципалитетов, геральдику которых не берусь описывать. Я уже писал, что гербы, короны, флаги, девизы и прочая ритуальная сторона бытия занимают на Северном Западе существеннейшее место. Даже каждая вилла здесь стремится обзавестись гербом и девизом, иметь свой семейный флаг. Впрочем, не вижу в этом обычае большой беды. Почему, спрашивается, взрослым людям не придумать для своей семьи хороший герб, подходящий девиз, а главное, передать его наследственно, закрепить, создать традицию? Хорошую традицию, допустим, трудолюбие, мужество, честность, человеколюбие? Вижу в этом много положительного, для этого вовсе не надо быть монархистом, роялистом или еще каким-нибудь защитником феодального землепользования.

В Антверпене, как уже было сказано, вместо мостов тоннели. Их много, и это тем более удивительно, что город, можно сказать, стоит на воде и, подобно многим другим городам соседней Голландии, все время воюет с водой и с морем. Тоннели же явно рассчитаны на туристов. Да и какие города Запада не рассчитаны на них? Извечная тяга человека к новым землям и впечатлениям, может быть еще более острая от тесноты, скученности (вспомним — 318 человек на квадратный километр!) жизни, родила туризм как выход и замену также естественному стремлению человека и всего живого к расселению в новые места...

Собор Божьей матери (опять Нотр-Дам, но только уже антверпенский) как-то не производил потрясающего впечатления, хотя был увенчан очень высокой стрельчатой башней. Гид сказал, что это самый большой собор в Бельгии, и вот я теперь теряюсь: какой же все-таки самый большой? Ведь так обозначался громадина собор Святого сердца в Льеже, собор святого Михаила в Брюсселе и вот еще один. Он также древней постройки, длившейся столетиями с 1352 года. В качестве главнейших достопримечательностей имеет две всемирно известные картины кисти Рубенса: «Воздвижение креста» и «Снятие с креста». Картины эти я знал заочно, по репродукциям, по многочисленным описаниям, лучшим из которых считаю работу Э. Фромантена «Рубенс в Антверпене». Два огромных триптиха кисти Рубенса «Воздвижение креста» и «Снятие с креста», написанные для церкви святой Вальпургии, были вывезены Наполеоном и вернулись в Антверпен в 1815 году. Но так как церковь Вальпургии сгорела, их поместили в Кафедральном соборе. Каждая из картин представляет собой как бы икону-триптих, писанную на дереве и огромных размеров, приблизительно 4,5 на 3,5 метра. Исполнены Рубенсом — первая в 1609—1610-м и вторая в 1610—1614 годах. Тогда Рубенс, еще молодой художник, только что вернулся после восьмилетнего пребывания в Италии при дворе герцога Мантуанского в славе лучшего живописца, ученика выдающихся итальянских мастеров. За картину «Воздвижение креста» художнику было заплачено 2600 гульденов — сумма очень значительная для того времени.

«Воздвижение креста» и «Снятие с креста» еще очень сильно отличаются от типичного Рубенса, каким мы знаем его по большинству картин. Дыхание итальянских мастеров, и особенно Микеланджело, еще чувствуется за его спиной, по-иному играют краски, они строги, не столь вольны, не так золотисты, как у Рубенса позднего. Но мощь таланта, замысла, рисунка, воплощение уже и здесь рубенсовские, равно как лица героев картин, которых художник всегда искал рядом, среди родных, друзей, в семье, среди чад и домочадцев. Нередко в своих картинах он шел и от автопортрета. Искусствоведы и знатоки в едином хоре вещают, что здесь Рубенс впервые открылся как великий художник, это было начало восхождения по ступеням известности.

Мы не имели возможности длительно созерцать громадные, несколько уже потемнелые триптихи, которые казались созданными рукой великана. Впереди нас ждал дом Рубенса, так сказать, гвоздь антверпенской, а быть может, и всей бельгийской программы. И действительно, побывать в доме Рубенса — значит, совершить паломничество в Мекку живописного мастерства. Сюда идут и едут со всего мира. Имя «Рубенс» звучит на всех языках, и месье Роже был на вершине тщеславия, ведя нас к жилищу художника.

Мраморный этот дом расположен на Вартстраат ан дер Вампер, где когда-то проходил канал, и дом стоял на его берегу. Ныне канал засыпан, превращен в мостовую, отчего улица довольно широка для старого города. Рубенс строил свой дом-дворец вскоре после возвращения из Италии. В Антверпене Рубенс снова придворный живописец, теперь уже эрцгерцога Альберта. В этот период он обзаводится семьей, женившись на Изабелле Брандт.

Участок для дома был приобретен в 1610 году за 7600 гульденов. Дом строился пять лет и был закончен в 1615 году. Надобно сказать, что и при современных методах строительства возвести такое диво из резного мрамора было бы мудрено. Рубенс не жалел для дома ни денег, ни сил. Может быть, он лучше других понимал, что значит для живописца, для его души и работы, удобный и просторный дом. Всякие версии о том, что настоящие художники якобы должны обязательно ютиться в мансардах, быть нищими и тому подобное, как вроде бы способствующее их творчеству, не более чем чушь. Напомню, что подлинно великие если и жили в мансардах, всегда с ужасом вспоминали потом свой чердачный период.

Итак, дом Рубенса, большой, удобный, уютный, с внутренним двором, садом, колоссальной мастерской, напоминающей средних размеров спортзал, с галереей, откуда избранные и приглашенные могли смотреть, как пишутся картины, стал гордостью Антверпена. В нем Рубенс прожил тридцать лет до своей кончины 30 мая 1640 года. Умер художник, но нетленно живут его творения, и стоит дом, ему уже триста семьдесят лет. Вот выдержка из описания дома по путеводителю «Дом Рубенса». Путеводитель же я купил в этом самом доме за 169 франков 75 сантимов — будем точны по-бельгийски.

«Все путешественники, посетившие дом при жизни Рубенса, с восторгом отзывались о находившихся в нем сокровищах и произведениях искусства. И не удивительно, что инфанта Изабелла, королева-мать Франции Мария Медичи, герцог Бекингемский, маршал Спинола — вся знать и гранды того времени ездили подивиться столь славным домом. Тут зародились великолепные панно и красочные полотна, которыми гордятся церкви и музеи во всем мире. Тут работали некоторое время Антонис Ван-Дейк, скульпторы Ганс ван Милдерт и Лука Файдхербе, а также живописцы Якоб Йорданс, Франс Снейдерс, Пауль де Воос, Ян Вилденс, Лука ван Уден, Теодор ван Тулден, Абрахам ван Дикенбек и много других».

После кончины Рубенса оставшийся без наследников дом пережил тяжелые времена. Он переходил из рук в руки, был даже манежем для верховой езды (нечто вроде конюшни), который устроил в нем бежавший от английской революции герцог Ньюкасльский. Дом перестраивался, горел, приходил в упадок и лишь в 1937 году, через триста лет после двухсотлетней тяжбы и переговоров с владельцами, был выкуплен, перешел в собственность города главным образом благодаря усилиям бургомистра Антверпена К. Хейсминса. Город же создал комитет по восстановлению дома и начал реставрацию в январе 1939 года. Она продолжалась даже в войну и закончилась в марте 1945 года.

Вся реставрация, как явствует из путеводителя, шла из материалов самого дома, а белый и тесаный камень были взяты из материала перестроек. Все обрабатывалось старинными способами семнадцатого века.

В дом Рубенса вступаешь как в храм. Не перестаешь дивиться роскоши резного мрамора фасада и входного портала в стиле барокко. Слева от входа во внутренний двор и сад жилые белокаменные строения, справа такая же мастерская.

Итальянский и фламандский стили сливаются здесь в нечто живописное и помпезное, ускользающее подчас от реального восприятия. Такова, к примеру, беседка внутри двора, замыкающая перспективу сада.

Проект дома, отделка, видимо, принадлежали самому Рубенсу, который активно участвовал в строительстве, а позднее неоднократно изобразил дом в деталях на своих картинах.

Мы шли по этому дому благоговейно, поднимались и спускались по лестницам, переходили из комнаты в комнату. И все время было ощущение, что хозяин живет тут, он где-то здесь, следит за нами, следит заинтересованно, как может следить не видимая никому птица, пусть сорока, ворон, сова, где-то в лесу за плутающими по дебрям людьми. Это и был громадный лес прошлого, лес истории, лес искусства, какой только и может расти на фламандской земле, питаемый ее подземными водами, соками и ключами, овеянный ветрами недалекого океана. И как гигантский дуб старой Фландрии, возвышался, шумел на этом ветру сам ЖИВОПИСЕЦ — краса и гордость этого леса иже и сопричастно с ним. Душа Рубенса, несомненно, жила тут, пряталась в развешанных портретах, в картинах домашней кунсткамеры (все состоятельные люди тогда имели кунсткамеры — собрание предметов искусства и старины: картин, скульптур, ваз, стекла, драгоценной мебели и антиквариата).

Вдумчивое лицо Рубенса преследовало нас пристально изучающими, что-то печально знающими, глубокими глазами. Эти глаза! Они были даже в портретах его родителей, его жены, первой — Изабеллы Брандт и второй — юной Елены Фурман. Обе женщины были неуловимо похожи друг на друга и словно бы на самого Рубенса.

Опять его глаза!

Особенность, замеченная многими и раньше нас.

Тот же Э. Фромантен писал: «Весьма вероятно, что красивая девушка с черными глазами, с твердым взглядом, чистым профилем — портрет Изабеллы Брандт, на которой он женился за два года перед тем (перед написанием картины «Снятие с креста»). Быть может, она же (Изабелла Брандт) служила ему во время беременности моделью для Богоматери на одной из створок «Посещения Богоматери св. Елизаветой». Однако, глядя на ее полную фигуру, на ее пепельные волосы, округлые формы, невольно думаешь о блестящей, очаровательной красавице Елене Фурман, на которой он женился двадцать лет спустя.

С раннего возраста и до самой смерти в сердце Рубенса жил определенный тип красоты. Идеал этот заполнил его страстную и неизменно постоянную фантазию. Он наслаждается им, обогащает его и завершает. Он преследовал его в обоих своих браках, как не переста-

вал повторять во всех своих произведениях. Было всегда нечто похожее и на Изабеллу и на Елену в женских типах, писанных им с одной из них. В первую Рубенс словно вложил предвосхищенную черту второй (а может быть, и мечту?). Во вторую он вселил как бы неизгладимое воспоминание о первой!

В эпоху, о которой мы говорим, он любит одну из них и вдохновляется ею. Другая еще не родилась, но все же он ее угадывает. Будущее смешивается с настоящим, реальное с ирреальным. Каждый возникший образ имеет свою двойную форму. Эта форма не только превосходна, но в ней не забыта ни одна черта. И кажется порой, что закрепляя эту форму с первых же дней своего служения искусству, Рубенс хотел, чтобы ее никогда не забыли ни он сам, ни те, кто ее увидит».

Говорят не без основания, что меж истинными супругами, что называется, по судьбе и от бога, всегда есть немалое и необъяснимое сходство — здесь оно обозначалось странной, бросающейся в глаза триадой.

Над входом в дом на камне арок высечены слова из «Сатир» Ювенала. Думается, что это были путеводные заповеди, избранные художником, иначе зачем им здесь было находиться.

Вот они:

«Пусть сами боги сулят нам то, что нам полезно и нужно, им человек яснее (дороже), чем самому себе» — примерно так перевел я сию премудрую латынь на левой надписи.

Вторая, справа, гласила:

«Помолимся же за здоровый дух в здоровом теле, за мужественную душу, чуждую гнева, желаний и страха смерти».

Известно, что Рубенс по воззрениям был стоиком, пожалуй, как всякий истинный художник. Философия Сенеки была ему близка, о чем свидетельствует бюст древнего стоика и мудреца над дверью мастерской, а также бюсты других античных философов: Сократа, Плутарха, Софокла и Марка Аврелия.

Многочисленные образы античности, мифологических сюжетов, как греческих, так и римских, изображенных на фресках дома, в нишах, в садовой беседке, по сторонам от входов в дом и в мастерскую, равно как многие сцены в полотнах Рубенса, говорят о его любви к античности, о высокой образованности и философском складе

ума. Только таким и мог быть истинный МАСТЕР. Всякого рода суетность никогда не дружила с гениями.

А теперь я попытаюсь провести вас по дому от прихожей и жилой части до мастерской, руководствуясь не столько путеводителем, сколько своими записями, которые я каракулями, а кое-где чуть ли не стенографически царапал в своей записной книжке. То же самое делала и жена, удваивая таким образом поток зафиксированного восприятия. Дома, по приезде, я долго расшифровывал каракули и «стенографию» и могу лишь сказать — расшифровал не все. Едва ли не треть осталась непонятной. Но что делать? Писать приходилось в полном смысле «на ходу».

Как всякий дом, и дом Рубенса начинался с прихожей, а также небольшой приемной для посетителей и заказчиков. Надо ли упоминать, что посетители эти были высокого ранга и, разумеется, немалого состояния. Бедняки вряд ли заказывали картины Рубенсу. Как следствие — стиль приемной. Был здесь камин в готическом варианте. Над камином картина Йорданса «Сретенье господне». Йорданс очень хорошо вписывался в интерьеры рубенсовского дома не случайно. Как живописец, на мой взгляд, он наиболее близок к Рубенсу, хотя не был его явным учеником, а лишь сотрудничал иногда в исполнении заказных работ. Он же дописал и ряд незаконченных рубенсовских полотен после смерти художника. Это были в полном смысле друзья и соратники. Оба мастера учились у одних учителей, работали в сходной манере. Жили в одном городе. Общались. ЦЕНИЛИ И ЛЮБИЛИ друг друга (случаи нередкие в мире изобразительного искусства и, как думается, почему-то не частые в таких видах, как музыка, литература...). Хотя Рубенс бесспорно был на правах старшего по мастерству, положению в обществе и в искусстве, по своей известности, однако, признавая все это, Йорданс не завидовал товарищу по живописной гильдии.

Итак, в прихожей-приемной посетители грелись у камина, смотрели работы, развешанные по стенам, и ждали появления мастера-вельможи. Мебель, которой обставлена эта комната, как, впрочем, почти вся, собранная в доме-музее, к сожалению, не подлинная. За триста лет чужого владения было бы странно даже, если б сохранилась рубенсовская утварь. Где там! Человечество живет по закону: сначала развеять и промотать, уничто-

жить, а то и сжечь достояние гения, чтоб спустя века благоговейно, по кусочкам собирать крохи. Исключения редки. И Рубенс не попал в их число. Хорошо еще, что он догадался строить каменный дом... Но реставраторы подобрали из антиквариата (в Бельгии это не столь уж трудно) обстановку, сходную с рубенсовской. Здесь стоит мебель семнадцатого века. Вот, например, черный, инкрустированный черепахой скрибан — подобие шкафа-комода. Такие скрибаны были непременной принадлежностью тогдашнего богатого жилья. Здесь же, в приемной, подлинник, картина учителя Рубенса, средней руки художника Ван Ноорта «Поклонение волхвов». Глядя на нее, пожалуй, можно лишь сказать, что ученик далеко превзошел учителя. Хотя суть передачи «эстафеты искусства» также является здесь со всей очевидностью.

Из приемной мы попадаем в кухню, которую путеводитель называет скромной, с чем никак нельзя согласиться. Кухня почтенных размеров. Громадный камин, едва ли не во всю стену, похож на низенький дом без передней стенки, и в «доме» этом вертелы, крючья, на которых можно жарить или подвешивать быка целиком, а также прямо в камине огромные пилы, какими кой-где еще пилят дрова, а здесь ими разделывали мясные туши. Все эти подробности вместе с величиной камина и кухни — уж согрешу — наводили на какие-то людоедские сравнения, и на ум лезло не очень-то лестное для Рубенса, даже злое, высказывание о нем желчного Энгра: «У Рубенса прежде всего чувствуется мясник; у него в мыслях прежде всего свежее мясо, а в планировке картин — мясная лавка». И еще его же: «Да, несомненно, Рубенс большой художник, но это большой художник, который все потерял».

Ох, люты иногда великие мастера в ниспровержении авторитетов. Люты. Что поделаешь. Энгр был подчас невыносим, когда заявлял, например: «Пуссен совершенно не мог произносить имя Микеланджело да Караваджо и говорил про него, что он родился, чтобы у н и ч т о ж и т ь ж и в о п и с ь. То же самое можно было сказать и о Рубенсе и о других мастерах».

И Рубенс и Энгр остались в великой и вечной ЖИВОПИСИ. Золоту не страшна никакая ржавчина.

А мы, толпившиеся на кухне живописца, лишь подумали, всяк по-своему, что фламандцы наши жили, видать, не худо, особенно если представить, какой огонь

пылал в этом камине, что жарилось-парилось на крючьях и вертелах. Да не от кухни ли, действительно, идет богатое плотское начало во всей живописи фламандской школы? Берите хоть Йорданса, хоть Снейдерса, хоть Янсена, хоть самого хозяина.

Темный дубовый потолок кухни, окна-решетки, балки мореного дуба, оловянные тарелки и блюда над камином, дубовый же круглый стол и несколько простых стульев, отчасти похожих на этажерки, рассказывали, что здесь было царство кухарок, служанок и поваров.

Блюда из кухни передавались в соседнюю буфетную, там сервировались, оформлялись и подавались к столу.

Столовая с мозаичным черно-белым шлифованным полом (полы в доме каменные), дубовым потолком была уже «господской». Здесь висела роскошная свечевая люстра золоченой бронзы, стоял стол на фигурных, в стиле времени, пузатых ногах, темные кресла, придвинутые к нему, по стенам картины, нагоняющие аппетит. Был здесь славный Снейдерс, один из сподвижников Рубенса, был Абрахам Янсен с его «Изобилием».

Кухня и буфетная, так сказать, были прелюдией того, что свершалось здесь, в столовой.

Хотя самому Рубенсу историческая молва и свидетельства современников приписывали крайнюю умеренность в еде и питье, этому как-то мало веришь, начав знакомство с домом через кухню и глядя на сюжеты фламандских картин. Приведу, однако, свидетельство племянника Рубенса — Филиппа (в путеводителе он почему-то назван «внуком»), который так писал о своем дяде:

«Любя свою работу больше всего на свете, он жил так, чтобы ему работалось легко и без вреда своему здоровью. Поэтому он мало ел, опасаясь, как бы запах мясных блюд не помешал ему работать или же работа не затруднила пищеварение скушанного мяса (такой перевод, цитирую по путеводителю «Дом Рубенса»!). Итак, он работал до пяти часов вечера, потом ездил верхом по окрестностям и по городскому валу или же развлекался другим образом. Вернувшись после прогулки, он заставал у себя друзей, с которыми ужинал, ведя непринужденную беседу. Но он питал глубокое отвращение к злоупотреблению вином, чревоугодию, игре». Разумеется, свидетельство родственника — шаткая истина, но стоит полагать, что Рубенс понимал гибельность

порочной жизни для художника и, возможно, придерживался золотой середины. Возможно... Хоть все-таки сомневаешься, зная его картины, буйные нравы того времени и пройдя через кухню. Вспоминается, кстати, некстати ли, Йорданс, где вино льется рекой, женщины откормлены выше меры, изобилие благ изображено с любовью, даже сладострастием, а богини и герои наделены обличьем чревоугодников...

В нижней части левого крыла дома находится и «кунсткамера» — домашний музей Рубенса. Справочник-путеводитель сообщает, что в описи наследства Рубенса перечислялось 300 картин, которые художник собрал и хранил в доме, включая и собственные. Такое изобилие полотен не вместила бы никакая комната, никакая кунсткамера. Они висели на стенах или хранились в домашнем запаснике. В собрании великого живописца были работы современников, старых мастеров, соотечественников, а также голландцев и итальянцев, причем таких, как Тициан, Веронезе, Рафаэль. Старые голландцы были представлены Ван Эйком, Ван дер Гусом, Лукой Лейденским, Квинтеном Матсейсом, Питером Брейгелем. Из современных мастеров хранились картины Ван-Дейка, Йорданса, Снейдерса, Зегерса, Вранкса, Адриана Броувера.

В описи упоминались помимо собственных работ-оригиналов авторские повторения.

Хранились в кунсткамере также книги, карты, глобусы, резные скульптурки слоновой кости — заказы Рубенса резчикам Луке Файдхербе и Йоргу Петелу, а также бронза, античные бюсты и копии и значительная нумизматическая коллекция в золоте и серебре...

Как бывает с многими собраниями частных владельцев, после их кончины имуществом завладевают случайные, невежественные, а то и просто алчущие люди, и все, что с любовью собиралось, скажем, в течение полустолетия или всей жизни, разлетается, проматывается, идет с молотка и просто распродается. Так случилось и с кунсткамерой Рубенса. Нынешнее собрание дает лишь приблизительное представление об увлечениях великого художника и его коллекции предметов искусства и роскоши. Она подробно и многословно описана в путеводителе по дому. Я же упомяну только несколько картин, развешанных на стенах. Прежде всего это две работы

самого Рубенса «Поклонение пастухов» и «Мучение святого Адриана», поступившие в музей в 1955 году. Фактически это наброски для более монументальных картин. Далее в кунсткамере собраны картины Луки ван Удена, Яна Брейгеля и Франса Фракена («Освобождение Андромеды Персеем») — фактических сподвижников живописца. В кунсткамере есть и копии античных скульптур, которые собирал художник, и нумизматический раздел.

Путеводитель говорит: «Рубенс собрал крупную коллекцию античных портретов. Он начал ее еще во времена своего пребывания в Италии».

Путеводитель указывает, что ученые того времени «очень ценили Рубенса как археолога».

Из кунсткамеры путь ведет по лестнице вверх, в жилые покои верхнего этажа. Здесь апартаменты семьи художника: кабинет-спальня, семейная спальня, бельевая, еще одна спальня — «угловая», гостиная. И эти комнаты, как, вероятно, в далеком прошлом, увешаны картинами в богатых тяжелых рамах. Здесь можно увидеть портреты Николая Рококса, бургомистра Антверпена, который был другом Рубенса, покровительствовал художнику и всячески его опекал (случай, заметим, из редких в отношениях художников с градоначальниками), здесь же портрет самого Рубенса в пятидесятилетнем возрасте — работа учеников, а кроме того, картины Йорданса, Веронезе, Де Вооса, Себастьяна Вранкса и других замечательных мастеров.

Я уже говорил, что обстановка комнат, исключая камины, а они есть во всем доме и почти такие же огромные, как на кухне, не подлинная, но подобранная в стиле эпохи. Все эти комоды-скрибаны, гобелены, украшения, ларцы, фламандские шкафы, кресла, старинные альковные кровати, похожие на ящики, но под балдахином (оказывается, в них *спали сидя!*),— хотя и создают определенный колорит, но не рождают благоговения, как вещи подлинные, несущие отсвет личности владельца. Подлинные вещи есть, но их до обидного мало. Вот они: золотая медаль Рубенсу от датского короля Христиана IV, терракотовый кувшин, скульптура из слоновой кости «Адам и Ева» (принадлежность ее Рубенсу можно и оспаривать) и, наконец, деканский стул самого Рубенса с золотой монограммой на спинке. Стул до 1795 года

был собственностью гильдии и, может быть, потому сохранился.

Из жилых помещений мы переходим в правую часть дома, где находилась святая святых — мастерская живописца.

Понятие мастерская как-то мало подходит к огромному, в два этажа высотой отдельному залу или дому, в который ведет переход с дверями на трибуну-антресоль. Сюда допускались лишь избранные и приглашенные из числа заказчиков и вельмож, которые могли сверху и на отдалении созерцать готовые полотна иногда четырех-, пятиметровой длины и высоты. Стоя на антресоли, обозревая зал, понимаешь, что фактически это цех, где работали ученики и подмастерья под руководством знаменитого учителя. Не исключаю, что отсюда, как с капитанского мостика, Рубенс руководил работой, делал замечания, вносил поправки. Антресоль давала возможность художнику видеть картину издали, что особенно важно при большой площади полотен.

Массивная дубовая лестница ведет нас вниз с антресоли. Внизу кроме зала мастерской — комнаты подмастерьев и, наконец, еще одна приемная, где, по-видимому, сдавался заказ, велись переговоры и расчеты. Комната поражает великолепием. Стены ее обиты красной, тисненной золотом, кордовской кожей. Цвет королей! А здесь и обитал ведь тогдашний король живописи. «Кордовскую» кожу производили по испанским рецептам, конечно, во Фландрии на потребу изыску и роскоши. Четырехугольники коричнево-красного сафьяна покрывали тисненой золотой и серебряной фольгой и заливали слоем прозрачного лака. Понимаешь, что в такой приемной не принято было скупиться...

Ныне мастерская Рубенса представляет собой музейный зал. На стенах творения самого живописца, его друзей и учеников. Есть в ней странная высоченная и узкая дверь, каких я не видел больше нигде. Оглядывая ее, понимаешь: в дверь вносили и выносили гигантские подрамники и готовые картины для алтарей, церквей, дворцовых анфилад. Рубенс всю жизнь работал как цех, производивший не только картины — усладу жизни, но картины — предметы церковно-дворцовой роскоши. Его заказчиками были епископы, кардиналы, герцоги, королевы, короли, императоры и папы. Впоследствии я видел в Лувре специальный зал коварной королевы Марии Ме-

дичи (второй жены несчастного короля Генриха IV, убитого Равальяком, и матери малопримечательного, известного более по романам Дюма Людовика XIII). Весь зал, помнится, двадцать пять картин огромного формата, был создан руками Рубенса и его мастерской. Это было диво заказного искусства, хотя и не диво в плане живописи. Череда картин прославляла «великие деяния» королевы по заказу самой королевы. Что ж, и Рубенсу надо было жить, кормиться...

На последние годы жизни Рубенса приходится как раз максимум заказов, и все они отмечены печатью возраста, болезни и подчас дурного вкуса заказчика. В последние годы, когда скрюченный подагрой мастер едва ходил, он лишь руководил работой своего живописного цеха, кое-что подправлял, давал советы и ставил подпись воистину драгоценную. Ведь благодаря ей даже весьма посредственное заказное творение враз обретало сказочную цену, известность и долгую судьбу.

Сколько всего работ за подписью П. Рубенса вышло из этой мастерской и разлетелось по белому свету! Сколько было авторских повторений, копий и сколько подделок в погоне за драгоценной росписью!

Об этом можно было бы создать не один увлекательнейший детективный роман.

А «подлинные» Рубенсы появляются время от времени и сейчас.

В мастерской висит одна из самых ранних работ мастера, приобретена она за сказочную цену силами муниципалитетов Антверпена и Министерства культуры Бельгии. Это «Адам и Ева». Дата картины — 1600 год. Здесь еще как бы не кисть великана живописи, а в значительной степени кисть его учителей Ван Ноорта и Отто Вениуса. Однако и эта работа производит сильное впечатление — будущий талант обнаруживает себя и в первых творениях. Вообще же при всем изобилии картин со всевозможными сюжетами больше всего остаются в памяти портреты самого Рубенса и двух его жен. Жены Рубенса были его благодарными и кроткими натурщицами. Это, пожалуй, самое простейшее рассуждение. Нет. Эти женщины своеобразной, быть может, не слишком понятной в наше время красоты были еще и двигательной, вдохновляющей силой, стимулом к изображению и, может быть, к творчеству вообще. Чувствуется, что художник нежно и преданно любил этих женщин и

пользовался их взаимным расположением и любовью. В старости, очевидно тоскуя по рано ушедшей Изабелле, по-видимому, она умерла от чумы во время эпидемии, он пишет ее по памяти, оживляя силой своей творческой мощи. Иногда видишь на полотне обеих его жен, неуловимо похожих, хотя первая была шатенкой, а вторая рыжеватой блондинкой. Елена Фурман, шестнадцатилетняя девочка, стала второй женой пятидесятитрехлетнего Рубенса, и брак этот был заключен по взаимной любви, это подчеркивали все свидетели жизни и биографы Рубенса.

Женщины и вообще были воплощением страстной любви живописца к красоте, природе, чистоте и к самой сути живописи. Так было, наверное, во все ранние и поздние времена, когда рядом с великими именами стояла ЖЕНЩИНА — жена, подруга, любовница, просто красавица, не хотелось бы называть ее натурщицей, что не стеснялась позировать так, как желал и жаждал МАСТЕР. Перечислю только имена: Тициан, Леонардо, Боттичелли и Рафаэль, Рубенс, Энгр, Ренуар, Дега, Модильяни — и женщина, женщина, женщина. Модель совершенства и воплощенное совершенство.

Именно такая любовь дала право сказать одному из перечисленных: «Если бы господь не создал женскую грудь — я, возможно, не стал бы живописцем». Именно такая любовь дала кисти Рубенса, как, может быть, и всех тех, кого я только что назвал, почти необъяснимое свойство — женщины, изображенные им в самых казалось бы свободных, даже фривольных сюжетах, сценах вакханалий и сатурналий, шабашей и плотской любви,— все эти красавицы, волшебницы, ведьмы, мученицы, Венеры, богини плодородия и даже блудницы имеют свойство как бы излучать целомудрие, далекое от неуемной плотскости, бесстыдства или разврата. На них смотришь с мыслью о совершенстве и видишь совершенство в самых удивительных образах и картинах. Так отражалась любовь в творениях мастера.

Есть даже расхожее понятие: «рубенсовская женщина». Им иногда пытаются спекулировать, заявляя, что женщины во фламандской живописи слишком пышны, жирны и т. п. Мнение это всегда кажется нелепицей, плодом ненависти худосочных дам, втайне мечтающих о розовой цветущей плоти рубенсовских богинь и грешниц. Что же касается меня, вкус великого живописца

был мне понятен, как стремление выразить истину. Я бы лишь добавил, что красота там, где ее ищут, и это хорошо понимали все великие мастера, понимал и неутомимый, жадный в поиске красоты Питер Пауэл Рубенс.

Двор, сад, прочие достопримечательности дома Рубенса я уже не успел описать, да надо и знать всему меру. Кроме этой всемирной жемчужины нас еще ждал город не менее знаменитый, чем Брюссель. Мы покинули дом-музей, чтобы до вечера успеть посмотреть многое включенное и не включенное в проспекты фирмы «Виртц».

Антверпен — город торговцев и торговли. Снова и снова приходит на ум эта простая истина, когда видишь уже поблизости от дома-дворца Рубенса самый обычный, кишащий людьми рынок. Чувствуется тут даже какая-то неприятная взаимосвязь, но я уже говорил об этом, упоминал заказные работы, товар фирмы «Рубенс», как, впрочем, и многих других мастеров того времени. Живописью торговали и торгуют. Может быть, не так, как в палатках этого воскресного рынка, но изобилие его наводило на мысль о фламандской живописи. Какие продавцы! Какие покупатели! Какое буйство красок, плодов земли! Коль не Рубенс, так уж Йорданс, явно превосходивший все и вся в изображении любого изобилия. Плоды или фрукты, женские зады, торсы, ланиты и перси, веселые обжоры за праздничным столом. Вспомнить хоть картину «Бобовый король» (имеется у нас в Эрмитаже). Вспомните: площадь картины буквально забита веселыми людьми, в центре — король. Невсамделишный, ненастоящий, в жестяной, фольговой ли короне — бобовым королем назначали в пирушке того, кому доставался запеченный в пироге боб. И король сей, получавший права тамады плюс сусальную эту корону, сам пил за пятерых, поощряя питухов и наказывая отстающих шутейными пакостями.

Пьют и поют за столом, кто-то давится от смеха, кто-то целует соседку, орут дети, смеются женщины, некто, надув щеки, дудит на волынке, через край льется вино, ломится от изобилия еды стол, и веселью нет конца. Да, умели люди жить во Фландрии! — торжествует кисть живописца.

На картинах Йорданса и Рубенса много лиц семитской крови: женщины строгого, классического типа, великолепные библейские старцы и старухи. Еврейская община была здесь сильна и в семнадцатом веке. Сохранилась она и теперь. Нигде не видел я таких талесных, талмудных стариков в строгом черном одеянии, в черных круглых шляпах, черных шелковых чулках и черных же ботинках. Шли они не то с моленья, не то на моленье в синагогу, и не одни старики, попадались и совсем бравые молодцы с четким мефистофельским профилем и в таких же одеждах. Евреи эти придавали улицам города неповторимый средневековый колорит.

В воскресенье основные магазины закрыты, но тем яростнее кишит рынок, мелкие торгаши стараются сбыть товары, и вообще впечатление, что в городе заняты лишь одним: продают, продают, продают. Торгуют, чтобы обогатиться, торгуют, чтобы столкнуть гнилой товар, торгуют, чтобы свести концы с концами, торгуют, словно бы себе в убыток, и, наконец, торгуют для того, чтобы просто торговать, числиться торгующим — вот такое впечатление от Антверпена.

Однако сколько ни умеют торговать фламандцы — их далеко переплюнули выходцы из Армении. Каким ветром занесло их сюда? Однако бойкие армяне не поленились открыть свои лавочки и в воскресенье, да еще с броской надписью по-русски: «Привет русским туристам! Все для моряков и туристов!» Реклама лавчонок, конечно, не соответствовала ни форме, ни содержанию. Но ведь главное — заманить, заставить покупателя войти и взглянуть на это «все!». Армяне отлично владели русским языком. Улыбались и кланялись. «Милый! Дорогой! Все пожалуйста!» Товары у них были дешевы, гораздо дешевле, чем в соседних витринах, и мы получили наконец возможность уменьшить свои капиталы, приобретая зонтики, джинсы, какие-то там кроватные накидушки, модные очки, оправы, авторучки и баснословно дешевые колготки, на которые напустились дамы, кудахтая, как стая кур у крыльца, когда им мечут зерно. Улыбчивые хозяева следили, есть ли еще франки в наших карманах, и наперебой предлагали разное добро. Вся эта дешевка на поверку была, как говорят, «с начинкой», то есть вышла из моды, перележала срок, там нет гаечки, там болтика у зонта и так далее и тому подобное. Но такие мелочи открывались уже потом,

даже не в гостинице, а дома, и это никого не пугало, а дешевизна вполне устраивала как продавцов, так и покупателей.

После обеда в гостинице, с неизбежным капустным листом в салате и в гарнире, отправились в картинную галерею, описывать которую я просто не берусь — так много было здесь знаменитых имен, полотен старых мастеров, голландцев и фламандцев. Об этом стоит писать отдельную книгу, погружаясь в дебри живописного искусства шестнадцатого — девятнадцатого веков.

Скажу просто — музей богат. Здесь имеется единственное в Бельгии полотно Тициана, раннего периода творчества, есть знаменитое «Распятие» итальянского живописца эпохи Возрождения Антонелло да Мессина, два датированных и подписанных произведения Яна ван Эйка — рисунок кистью «Святая Варвара» и маленькая картина-икона 1434 года «Богоматерь у фонтана». Далее следует Рогир ван дер Вейден, Квентин Массейс и другие голландцы. Рубенсу в Антверпенском музее отведен целый зал. Огромное полотно 4×6 метров. «Крещение Христа» — ранняя работа Рубенса, созданная еще в Мантуе. Это центральная часть триптиха, вторая створка которого находится во Франции. Христу посвящены многие полотна Рубенса, и здесь, в музее, есть «Распятие» — иное название картины «Удар копьем», «Поклонение волхвов», «Оплакивание Христа». На библейские мотивы написаны «Неверие святого Фомы», «Блудный сын» — картина, экспонирующаяся, кстати, в другом зале и принадлежавшая лично Рубенсу, «Богоматерь с попугаем», где позировала для мадонны Изабелла Брандт, «Причащение святого Франциска» и «Троица». Можно сказать, что в музее отражен весь творческий путь Рубенса, что особенно ценно и позволяет вести большую научную работу.

Семнадцать картин Йорданса — это фактически еще один зал другого антверпенского корифея. «Семейный концерт», «Грот Венеры», «Мелеагр и Аталанта», «Дочери Кекропа» — наиболее известные из них.

Вся эта живопись воспринималась по-разному, кто-то из группы скучал, кто-то бродил от полотна к полотну, кто-то был знатоком (немногие), кто-то строил из себя знатока, позировал, вдохновенно откидывался в глубоко-

мыслии и потрясенности, кто-то заинтересованно разглядывал детали. Упитанность йордансовских женщин была предана осуждению. Дамы воротили носы от йордансовских богинь, возмущались: «Ну, это же безобразие! Где красота? Где искусство? Где изящество тела?»

Но так как большинство критикесс сами приближались к йордансовской натуре, упреки их вряд ли можно было признать заслуживающими внимания. Мне же Йорданс понравился даже больше Рубенса.

Очень много в галерее было групповых портретов каких-то дворян, солдат, торговцев. Исполненные мастерами, они все-таки напоминали огромные увеличенные фотографии, рождая мысль о том, каким уважаемым лицом был до изобретения фотоаппарата художник-живописец, а особенно дельный портретист.

Живопись, как и всякое другое искусство и ремесло (я не случайно делаю здесь такое сопоставление), претерпевает периоды странных, а в общем-то закономерных изменений. Все меняется местами: меняются полюсы Земли, меняют место материки, меняются центры революционных движений. И центры развития искусств смещаются тоже. Так, центр Возрождения, достигнув почти невероятных, наивысших достижений в Италии в четырнадцатом-пятнадцатом веках, в шестнадцатом веке перемещается в Голландию, в семнадцатом веке, говоря, конечно, условно, во Фландрию (работают здесь Рубенс, Снейдерс, Йорданс, Тенирс, Броувер, Ван-Дейк). Золотой век далее переходит к испанцам, а в девятнадцатом, безусловно, к французам и русским.

Расцвет живописи на Западе был связан со стремлением церкви поставить искусство на службу своему влиянию, а также стремлением знати увековечить себя в портретах и деяниях. Живопись играла и более подсобную, служебную как бы роль — будучи украшением дворцов и вилл, служа предметом даже эротического восприятия и вожделения.

Живопись того периода более всего смыкалась с понятием *ремесло* и, теряя от этого с одной стороны, в плане духовности и свободы, приобретала многое,— ведь художники, подобно ткачам, оружейникам, стеклодувам, столярам, объединялись в гильдии, а гильдия строго следила за *качеством* выпускаемого товара. Вспомним хотя бы, что Йорданс был деканом гильдии

живописцев, был им и Рубенс, о чем свидетельствует его деканский стул, хранящийся в доме-музее, где на кожаной спинке золотом вытиснено имя декана и год.

Гильдии были, говоря современным штампом, производственным объединением художников, работавших по четким канонам, в одной технике, материалами одного качества. Всякое уклонение от тщательного исполнения (современными словами говоря: стряпня и халтура) — каралось. Достигнуть звания мастера, тем более — декана, было очень нелегко. Для этого требовалось единодушное признание членов гильдии.

Не случайно поэтому картины «старых мастеров» — будь то итальянцы, фламандцы, голландцы, немцы или испанцы — так хорошо хранят цвет, свежесть красок, живут столетиями, в отличие от многих полотен современных художников, не знающих железного канона гильдейских правил. Работа «на миг выставки» привела к тому, что даже творения крупнейших мастеров недавнего времени, допустим, таких, как Репин, Малявин, во многом потеряли свою великолепную красоту. Почернели полотна великих французов в Лувре, вроде Жерико, Давида — тех, кто любил писать «асфальтом» и другими красивыми, но коварными красками. А старые, гильдейские мастера остались нетленными. Сейчас, перемещаясь из зала в зал Антверпенской галереи, мы были свидетелями сказанному.

Самый музей, достаточно обширный и полный картин, был тих, пуст, как бы необитаем. Что ж, бельгийцы живут «ногами на земле». И я вспомнил для сопоставления даже отнюдь не Эрмитаж, не Третьяковку с ее очередями, не Русский музей и не Музей имени Пушкина с постоянными толпами жаждущих искусства! Где там. Куда там. Я вспомнил родимую Свердловскую галерею, засунутую в закоулок третьестепенной улицы. Вот так же, в воскресенье, в ней бывает самый страдный день, мука для старух гардеробщиц... В нашей галерее есть что посмотреть. Есть и Репин, и Брюллов, Перов и Крамской, есть и западные старые мастера. И хотя далеко ей до этих вот прекрасных залов, а все наоборот получается. И радовалась моя русская душа. Хотелось и здесь чтоб было так же.

После музея фламандской живописи мы просто гуляли по Антверпену. В туристском напряженном плане это очень хорошо и облегчающе, просто здорово — погу-

лять, посмотреть, никуда не торопиться. Когда не торопишься, видишь, по-моему, в сто раз больше. Наблюдений и ассоциаций хоть пруд пруди, конечно, для внимательного человека.

Город жил своей особенной, быть может, замедленной воскресной жизнью. Люди явно отдыхали, бездельничали, сидя на скамейках у края площадей, кормили голубей — их тут тьма, и все черные, некрасивые, похожие на галок. На площадях везде видишь тазики с чистой водой — это для питья тем же голубям и бродячим собакам, которых здесь никто не ловит и не преследует, а они, по-моему, никого не пугаются, не кусают и не лают, собаки спят в газонах, лежат на траве, бегут куда-то по своим собачьим делам.

На одной из площадей антверпенского центра громко играл духовой оркестр. Он помещался в подобии круглой беседки, состоял из школьников, одетых в красные мундирчики, вроде гусарских, а дирижировала очень милая светловолосая девочка-фламандка, также в красном мундире и красном же кивере. Дирижировала она забавно, поднимая и опуская пальцы правой руки. Оркестр исполнял военные марши, громобойные, гремучие, веселые, а вокруг беседки стояли, должно быть, счастливые папы и мамы, иные утирали благоговейные слезы.

— Трам-тррам, трамм-та-там,— лихо отстукивал мальчишка на барабане.

— Тррам-тррам-тррам-та-там,— пели трубы и кларнеты.

Есть в военной музыке что-то вдохновляющее душу. А особенно, когда стараются мальчишки, а особенно, когда дирижирует девочка в красном мундире и в белых лосинах, ладно обтягивающих ее крупную фигурку.

Этот оркестр нам очень понравился. Играл он беспрерывно, с явным наслаждением, и мы долго его слушали.

Дальше двинулись, когда школьники кончили играть и девочка-дирижер, мило улыбаясь, опустила руки и отошла к краю беседки отдохнуть. Я не мог оторваться от ее свежего розового личика северной девочки-девушки, какая-то генетика заныла, зашевелилась в душе: это было знакомое, очень родное мне лицо. Такие лица, возможно, были у моих сестер, в тех моих прежних «я», которые носил я в душе, может быть, у меня была такая девушка, может быть — почему не может? — я сам был

ею, ТОГДА, когда-то, на тех и этих северных берегах, наконец, она просто похожа на мою жену, ту, на которой я женился тридцать с лишним лет назад. И жена, кажется, отлично поняла все мои мысли и чувства, потому что сказала: «Какая красивая девчонка... Твой тип! Я уж знаю... Финно-угорская группа. Северный тип. Ха-ха...»

Как показалось нам, школьники в Бельгии по воскресеньям заняты делом. Ну, хотя бы вот играют в оркестре, другие продают какие-то дешевые платки, явно с филантропическими целями, раздают листовки, собирают пожертвования у входов в храмы, куда-то шествуют, как прошла мимо нас цепочка ребят-бойскаутов, солидных, серьезных, с рюкзаками и с палками на манер альпенштоков. Скауты были явно посерьезнее наших пионеров, военизированнее. Мы долго провожали их взглядами. В шествии подростков ощущалось нечто целеустремленное, автоматическое, что тревожно напоминало фильмы о гитлерюгенде.

На следующей площади, рядом с древней церквушкой, крутил ручку шарманки старый-престарый папа Карло. Это был прямо классический шарманщик из сказки, и такой же был древний коричневый ящик-шарманка, блестевший от времени на палке-подставке. На плече у Карло кланялся почтеннейшей публике белый желтоглазый попугай. Давно не видал я такого доброго, кроткого, мученического лица. Оно было как бы из прошлого, давно прошлого века. Вертелась, скрипела ручка. Шарманка тягуче притрынкивала какую-то народную фламандскую мелодию. Жалостно глядел старик, седая щетина на щеках была как остриженная овечьими ножницами. Кланялся белый попугай.

Но рядом с шарманщиком, никак не вписываясь в картину, стоял здоровенный босяк, громила и жлоб со злющими, бегающими глазами. Этот добровольный помощник, по-моему, лишь отпугивал желающих внести лепту в кружку шарманщика. Не потому ли и был так печален старик в серебряной, алюминиевой ли щетине, что крутил блестящую, залуделую, отполированную до костяного блеска ручку.

Если бы не громила-босяк, все на площади напоминало бы давно ушедшие времена и века. Старый камень под ногами, дома под свинцом и черепицей, древняя церковь в копоти времени и дождей и музыка та же, да-

лекая от совершенства, пристанывающая от немощи и давно-давно прожитой жизни.

Многолик же ты, Антверпен!

И чтобы уж завершить хождение по его площадям, я опишу витрину лавки, которая меня очень привлекла. Это была лавка нумизмата, торговца монетами, медалями и тому подобной всякого рода музейной коллекционной ценностью. Пожалуй, про лавку эту можно было сказать «мечта нумизмата», ведь на витрине, даже на беглый взгляд, лежали вещи уникальные. Рядами, в аккуратных ящичках размещались монеты всех стран и чеканок, всех веков, времен и народов, от античных драхм и сестерциев с изображением прямоносых ликов каких-то императоров и цезарей до монет средневековья, всех этих талеров, гульденов, экю, пистолей, луидоров и эскудо. Тускло мерцало старое серебро, горело, как новенькое, золото, дышала из витрин история, история, история.

Моя память историка выхватывала кое-какие имена, когда я различал лики королей и владетелей на этих монетах, лики, уже словно не принадлежавшие живым людям, а как-то перешедшие в монетную, золотую и серебряную суть. И одновременно вспоминался «Остров сокровищ», пещера с гинеями, дублонами и пиастрами. Совершенно очевидно, лавка нумизмата не принадлежала к числу бедных, и монеты, особенно золото, старое серебро, стоили очень недешево, но раз магазин существовал — следовательно, давал доход и кому-то был нужен. Хотя, еще раз повторю, в Антверпене торгуют, кажется, даже себе в убыток и вообще ради одного наслаждения (наверное, такое есть) покупать и продавать, стоять за прилавком. В витрине нумизмата я увидел и российские рубли, полтины и полуполтины, пятиалтынные, пятаки, семишники, аккуратненько расположенные по годам и царствиям. Были тут петровские «рублевики», рубли Екатерины Первой, Елизаветы Петровны и даже вроде бы Анны Иоанновны. Да-с!! Вот как просто собрать здесь коллекцию, имей только денежки — и, пожалуйста, найдут, наверное, хоть самый редчайший «константиновский рубль», ведь где-то путешествуют две или три эти уникальные русские монеты.

Задерживаться далее у витрины не пришлось — я и так злоупотреблял терпением жены. Объясню. Глядя на витрину, я не прикидывал, как давно и куда ушла или

свернула наша группа, не думал, смогу ли я их нагнать. Занятый осмотром витрин, сюжетами картин в галерее, архитектурой или вообще, так сказать, впитыванием впечатлений и записями для памяти, я полностью возложил на супругу обязанность следить за перемещением группы, и жена исправно дергала меня за рукав, когда я слишком долго размышлял, как вот, допустим, сейчас, у этой витрины-коллекции.

Задумывался и глазел я все время. Ведь надо было не просто хватать предметную суть этой бельгийской жизни, но и как бы ее запахи, вкус, ассоциативную суть. И если первое удавалось легко, второе и последующее было сложнее. Вот как передать самый воздух, дух, что ли, этого Антверпена, именно воздух и что-то словно бы носящееся, растворенное в нем. Это «что-то» разное во всех странах, во всех городах, как разны даже словно выражения лиц жителей. Одна суть в Льеже, другая в Брюсселе, третья в Лувене, четвертая в Малине, пятая в Антверпене, и так без конца, что ни новый город или страна — новое в ассоциативном их восприятии. Льеж пахнет копотью, фабричным дымом, грязью каналов и суровой жизнью, может быть, даже есть там запах безработицы и нужды. Брюссель — легкомысленный и парадный, в нем больше надежд, веселого «ха-ха», столичной суеты, улыбок и порока. Лувен я так и не успел воспринять — кажется, он пахнет зачетными книжками и мантиями профессоров. Малин — прилежный работник, старательный ремесленник, в нем пахнет кухней и пирогами, колокольным звоном и старинными кроватями, а вот Антверпен — как-то не удавался он мне в определениях, в центре его жила патриархальная тишина, несуетность, резные башни соборов, воткнутые в тихое и какое-то прилежное небо, едва голубое и скорее серовато-белое, что говорит о том же неспешном беге времени. Неторопливо двигались прохожие, небыстро катились по дорожкам велосипедисты, но я знал, что это не подлинная, объемная суть этого города, окруженного кольцом предместий и городов-спутников, где плавили цветные металлы, творили машины и оружие, колдовали над атомом, перегоняли нефть, грузили и выгружали тысячи товаров, гранили алмазы и создавали множество неповторимых изделий, которые раньше называли ремесленными, а людей, занятых их производством, ремесленниками.

Не очень-то вкусное это слово, наверное, лучше подходит ко всей Бельгии, чем к Антверпену, может быть, еще лучше к Брюсселю или Генту, однако и сейчас ремесло и ремесленное ручное и штучное производство — это сердцевина жизни трудолюбивого и талантливого народа — бельгийцев. Мебель, одежда, посуда, утварь, ковры и гобелены, хрусталь и стекло, предметы роскоши, в том числе и немыслимый фарфор-фаянс, тисненая кожа, кружева и, господи боже, чего и сейчас не производит эта страна, по развитию ремесел уступающая разве что только Франции.

Вернувшись в отель вечером, мы опять затосковали по хорошему ужину.

Я отправился в нижний бар-салон, где торговала рыжая, приятного вида барменша-фламандка и где сидели перед стойкой на высоких стульях два-три посетителя, в их числе наш сухонький доброжелательный месье Роже. Очевидно, здесь он бывал сотни раз, потому что держался как завсегдатай и оживленно беседовал с рыжей прелестницей. Удивительная была эта барменша, высокая, но с достаточно развитыми формами, чтоб не сказать больше, и с каким-то редким, не столь красивым, сколько зазывно-приятным выражением лица,— мимо такой женщины не пройдешь... В профиль оно напоминало чеканку римской, греческой ли монеты. Нос крупноват, губы в рябинах, но голубые глаза содержали столько умоляющей ласки, что им хотелось улыбаться, в них смотреть, тянуть руку к гнедым кудрям, как-то по-римски схваченным золотистой тесемкой. Ах, какая была женщина, и я, уж прошу прощения, ею залюбовался еще прежде, чем она налила мне узкий, высокий бокал пива, который я жадно, по-русски осушил залпом, и, лишь заказав второй, решил пить по-бельгийски, как Роже.

Да, теперь я пил уже смакуя, обозревал отделанный темным деревом бар, где стояла всевозможная, обычная в таких случаях бутылочная смесь с незнакомыми этикетками. Здесь были, конечно, и коньяк, и ром, и виски, и водка, не говоря уж о винах, но в зале при этом баре не было ни души. Фламандка, очевидно получив от Роже кое-какую информацию, с улыбкой на меня поглядывала. Все-таки я был как-никак «экревейн-шрифтштеллер» — то бишь писатель. Надобно заметить, что бельгийские и вообще западные женщины, по-моему, словно

бы теплее, контактнее и приветливей, допустим, москвичек (приношу заранее извинения всем, если не прав). Они как-то более раскованны, менее спесивы, по крайней мере женщины из сферы обслуживания. Вообще же, сделаю такой вывод, спесь женщины идет главным образом, наверное, от ее красоты и от одежды, а поскольку москвички и женщины на моей родине одеты не в пример пышнее и наряднее и красавиц у нас, наверное, побольше — то больше и спеси.

Я пил пиво. Холл при баре был не слишком высокий, обставленный простой, но красивой современной мебелью: два-три низких коричневых стола, такие же низкие стулья-пуфы возле. На стенах картины и эстампы. Сюжет один: обнаженная женщина во всех ракурсах. Женщины были красиво повернуты к зрителю наиболее выразительной частью тела, они что-то делали: причесывались, шили, загорали, сидели у окна, при этом как-то уже во вторую очередь замечалось, что они обнажены. Наблюдение приходило вслед и будто дополняло прелесть этих простеньких картин и эстампов.

Холл был экономно освещен свисающими с отделанного темным деревом потолка люстрами в виде простых белых стаканов. И все-таки здесь было хорошо, уютно, может быть, еще от электрического камина в углу, тлеющего тихими красновато-желтыми огоньками.

Посетителей почти не было. Но вот зашли три или четыре, не помню точно, девушки типа студенток. Тихие, спокойные, неброско одетые. Они заказали коктейль и, когда барменша подала им, уселись компанией, неторопливо тянули напиток через соломинки, поглядывая друг на друга и усмехаясь. Девушки были приятные, скорее даже красивые, рослые, с великолепными полными ногами. От них веяло какой-то свежей печалью, недосказанной сказкой, и вечерняя тоска проглядывала в коротких взорах, брошенных нам и мне. Может быть, все это мне чудилось. Может быть, но я так люблю смотреть на женщин. Две девушки были простоволосы, с длинными, светлого тона прядями. Третья, в коричневом беретике, самая привлекательная и полная из них. Из-под коричневой челки блестел умный, внимательный глаз. Выпив коктейли и еще немного посидев, девушки так же тихо ушли.

Роже опять что-то сказал барменше, и она опять ласково посмотрела.

— Изучаете жизнь? — по-русски спросил Роже.

— Да... Вроде бы...— ответил я.— Все-таки интересно...

— О, жизнь самый большой книга! — ответил он.

Барменша же, внимательно вслушиваясь в незнакомую речь, улыбалась своей улыбкой неотразимой гетеры.

А в это время к стойке придвинулись два расчерноволосых мужчины, которых сперва я принял за турок или греков. Но «греки» по-русски вдруг сказали: «Здравствуйте, товарищ!»

Оказалось — югославы. Работают здесь, в Бельгии. Вот тебе и на! Кого только не встретишь. Один неплохо говорил по-русски и долго повествовал мне, где жил и был. Получалась целая одиссея, объехал чуть не полсвета. И все в поисках работы. В Югославии с ней туго. Товарищ его, помоложе, молчал и улыбался. И мы радовались друг другу на чужбине, как родственники. Было как-то теплее жить.

Я допил свое пиво, отказался от коньяка, которым югославы принялись было меня угощать. Мы расстались друзьями, повторяя: «Товарищ! Друг! Товарищ! Друг!» — хлопая по плечам...

На следующее утро нас ждала дорога в Гент и Брюгге, старинные фламандские города.

Глава IX

ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Гент — столица Фландрии и цветов. Сколько же здесь святых? Собор Бавона и «мистический агнец». Церковь в виде баллистической ракеты. Замок фландрских графов. Москва и Россия в Генте. Еще к вопросу о пьянстве. Верующий «по философии». Безработные со степенью. Брюгге — самый красивый город Бельгии. «Гранд-отель дю Саблон» и его хозяйка. Бойкие пенсионеры. Драгоценный чай.

Длинный, освещенный цепями лампочек тоннель имени Джона Кеннеди. Автобус мчит в нем, как в аэродинамической трубе. Закладывает уши. Вот вынырнули на поверхность из-под Шельды, и долго провожают нас причалы, заводы, пригороды и города-спутники промышленного пояса Антверпена. Лишь километров через пятьдесят начинаются поля, равнина плавно и будто бы незаметно клонит к океану, и даже ветер в лицо из автобусной форточки становится с каким-то особым влажным и чистым вкусом. Понимаешь, что океан для чадящей Европы (Европы ли только?) — великое счастье, понимаешь, не будь поверхность планеты на две трети покрыта водой, мы давно задохнулись бы от смога.

Ближе к Генту поля и фермы сменяют цветочное море, корпуса теплиц и опять площади цветов. Знаю, что древний город — столица бельгийского цветоводства, и не только бельгийского. Раз в пятилетие здесь проводится европейский и мировой праздник-ярмарка — флорарий. Здесь выставляются сортовые цветы, луковицы, семена и тому подобное. Бегонии, орхидеи, тюльпаны, лилии, нарциссы, розы — все великолепие и величие декоративного цветоводства. На Северном Западе оно развито, наверное, как нигде в мире, а в малых странах цветы еще важная статья экспорта, дохода. Занимая небольшую площадь, они дают значительную прибыль в пересчете на квадратный метр земли. Цветочное дело поставлено с размахом, с учетом конъюнктуры, праздников, сезонного спроса и т. д. Думается, что и у нас в этом отношении колоссальный опыт имеют психологи с Кавказа, те, что торгуют на рынках гвоздиками и розами, тюльпанами и мимозой к празднику Восьмого марта. Но это предмет особого исследования, лишь косвенно связанный с Гентом.

Гент — город древнейший, основан в VIII веке. Известен своей ранней борьбой за независимость против власти епископов. Помню я эти уроки истории средневековья, на которых наша «историчка» Клавдия Васильевна не столько объясняла, сколько любила читать нам (а может быть, и себе) французские романы, и в частности «Саламбо» Флобера. А потому Гент вошел в мое сознание только гравюрой из учебника «Восставшие горожане». Еще я знал, что это один из двух крупных древнефламандских городов (второй город — Брюгге нам еще предстояло посетить) и что для Бельгии оба

эти города, как для нас примерно Владимир и Суздаль.

Гент — по-старофламандски «устье». Он расположен у впадения реки Лис (Лейс) в Шельду, изрезан каналами и протоками. Соединен каналом и с Брюгге. Другой перевод названия Гент — «перчатка». Это город фламандцев, равно как и Антверпен. Здесь имеется старинный фламандский университет. Как уже было сказано, Гент — город средневековых соборов и церквей, город ярмарок, музеев, старинных набережных и площадей, город фламандских традиций и своего рода Северная Мекка туристов, «взыскующих града».

Как обычно, посещение городских достопримечательностей начинается с главного собора. Здесь это собор святого Бавона. (О, сколько здесь святых?! И все малознакомые.) Ну, допустим, Вальпургия — это еще ладно, по ассоциации с Вальпургиевой ночью, когда все ведьмы Северного Запада слетаются на таинственную гору Брокен в Германии, а вот еще святая Гудула или святой Бавон? Собор его имени начал строиться в двенадцатом веке, имеет одну башню и несколько приделов — капелл. Строительство собора шло и в четырнадцатом, и в пятнадцатом, и даже в шестнадцатом веках. Начат он был из камня, но продолжен (башня и своды) из кирпича. Храм не только постепенно строился, но и постепенно украшался. Здесь проходили съезды-заседания ордена Золотого Руна, и в память об этом событии на стенах красуются чугунные или бронзовые (этого я не понял — металл очень темный) гербы дворян, принимавших участие в съездах. Стоят здесь же мраморные скульптуры апостолов Петра и Павла. Ярко горят цветные витражи в высоких окнах. День ясный, свежий. Роскошная кафедра в стиле рококо резного дуба и мрамора мало чем уступает виденной в Брюсселе. Стиль рококо (ракушка) — без меры витой и причудливо-вычурный, сплетающий воедино символы и орнаменты, скульптуру и резьбу, как-то к месту здесь, хотя в любом ином показался бы смешным и наивным. Но главная достопримечательность собора — алтарь-полиптих, гигантская икона-складень из двенадцати створок, написанная по библейским мотивам братьями Ван Эйками — Губертом и Яном.

Наибольшую выразительность алтарь имеет в раскрытом виде, где центральную часть занимает картина

«Мистический агнец» на библейский сюжет явления молящимся Иеговы в виде белого агнца, стоящего на ковчеге-алтаре в окружении коленопреклоненных ангелов в белых одеждах. Агнец с золотым нимбом стоит на красном престоле в центре картины, на переднем плане с левого и правого угла коленопреклоненные миряне, выше их и опять справа и слева служители церкви, далее — уходящий в перспективу горизонт, но отнюдь не Синая и не Палестины. Художники имели дерзкую смелость «явить агнца» как бы здесь, во Фландрии, ибо именно ее пейзаж, даже с этим собором Бавона, изображен на заднем плане. И уже над всем, над молящимися, над полями и над замками, над самим агнцем, и тоже в центре, золотая полудуга радужного, мистического, странного солнца. Такую картину могла создать кисть лишь без меры одаренного автора. Учитывать надо и дату рождения, и созидания — 1432 год! Впрочем, искусство того времени рождало титанов и гениев весьма щедро.

Уникальное творение Яна ван Эйка (брат, Губерт ван Эйк, художник полумифический, о нем почти ничего не известно) имело нелегкую судьбу. Две его створки с изображением обнаженных Адама и беременной Евы были по приказу императора Иосифа II объявлены «непристойными» и заменены другими, написанными, естественно, другим художником, где Адам и Ева были обряжены в кожаные передники. Как видите, ханжи не переводились и в средние века. Далее во время войн и оккупаций алтарь расчленяли, прятали, конфисковывали, увозили во Францию и в Германию. Случайно находили, как нашли после минувшей войны спрятанный гитлеровцами в соляных шахтах, а одна створка украдена и не найдена до сих пор, ее заменяет копия.

Вот такая история у этого алтаря, на поклонение которому, истинно как в Мекку, идут и едут миллионы туристов.

В Генте, по крайней мере в его центральной части, запрещено какое бы то ни было новое строительство. Дома по набережным каналов выглядят так, как века назад. Странные это дома, крышами-уступами они напоминают отчасти мексиканские, не то вавилонские пирамиды. Дома стоят сомкнутым строем, и каждый имеет свою историю, свой послужной список, уходящий в тысячелетие.

Древнейшая церковь Гента — церковь святого Николая-чудотворца — находится поблизости. Ее строили в тринадцатом веке в более простом романском стиле, и она похожа одновременно на крепостную башню и на первые баллистические ракеты. Простота церкви потрясает, особенно когда сравниваешь ее с чрезмерной роскошью только что покинутого собора.

Эволюция архитектурных стилей — эволюция человечества, зеркало его совершенствования, хотя в процессе сем были и имеются необъяснимые будто вывихи, сдвиги, падения и периоды торжества рациональных сил, возрождения. В общем, это каменная летопись, в которой зафиксировано все — от величия до убожества, от убожества до стандарта.

В Генте достопримечательности старины и средневековья буквально на каждом шагу. Осмотреть в однодневной прогулке по городу их просто непосильно. Здесь все вековое, многосотлетнее: церкви, дома, площади, ратуши, башни-звонницы.

Что стоит один только замок фландрского графа Филиппа ван дер Эльзаса, построенный в 1180 году. Древний серый гранит стен и башен увит въевшимся в них плющом. О, камни древности, руины, башни, стены, бастионы, бойницы (а здесь в них стояли деревянные, скрепленные железными скобами щиты от стрел). Как трепещет душа историка, и только ли историка, когда смотришь на них и трогаешь вечность холодного камня, соперника времени. Но видишь воочию — и камень не вечен. Сколько было под этими стенами пролито крови, сколько воинственных кликов, звона мечей, пушечной пальбы под теми или иными знаменами, а победило лишь время да, может, вот этот вековой, безучастно блестящий на солнце плющ.

Глядя на немые руины замка, вспоминаешь, что здесь, в Генте, родился император Карл V, тот самый, про которого говорили, что в его владениях никогда не заходит солнце.

Здесь же, в центре, как памятник-монумент гентским корпорациям ремесленников и торговцев возвышается четырехугольная городская башня-звонница начала четырнадцатого века, на которой еще до недавнего времени висел чудовищный колокол весом в шесть тонн! Это знаменитый на всю Бельгию «Ролланд» с надписью на нем: «Когда я звучу тревожно, в стране пожар, когда

я торжествую — в стране победа». Это своего рода царь-колокол Гента.

— У нас в Генте есть все,— усмехается месье Роже,— есть цар-колокол, есть и своя цар-пушка, ее зовут «толстая Грета».

Гигантскую эту пушку на постаменте мы и посмотрели, и потрогали. Солидная дама. Длина пять метров, вес 16 тонн. Похоже, что из нее, как и из нашей царь-пушки, никогда не стреляли, а изготовили для устрашения чужеземцев. Она похожа на чугунную трубу.

— Есть в Генте и Москва,— продолжает Роже,— это на тот окраин,— махнул рукой,— и еще есть квартал — Россия. Мы много торговали и раньше с ваша страна, и это дань время и уважения.

Камни мостовой у канала Гент — Брюгге неправильной формы, это скорее просто более-менее подогнанные булыжники, сама древность. Мостовая черного цвета. Дома стоят стенами прямо в воде канала, вдыхая его зловоние. Да, канал удивительно грязен, как сточная яма. Очевидно, в него выходит городская канализация, и запах ужасный. Не знаю как, но, видимо, в Генте считают, что вонь также реликвия, что поделаешь...

Ясный погожий день сиял над всей этой готической стариной, над этим недвижимым каменным средневековьем. Зеленая вода канала дышала миазмами. В узких двориках не шевелились разомлелые дубы и липы. И лишь гудок со стороны порта напоминал, что город живет не одной древностью.

В Генте я увидел магазин «Иконы». Черные лики русских святителей и заступников, угодников и чудотворцев, как оказались вы за тридевять земель? Вопрос мучил неразрешенностью...

Магазин не был закрыт, но заходить я поопасался, тем более что все было видно с улицы через стекло витрин. Иконы висели на стенах рядами, старые, совсем черные, с едва различимым ликом и тусклым венчиком нимба, возможно, еще дониконовского письма, старообрядческие, с ковчежками, как бы врезанные в глубь доски. Соответственными были, конечно, и цены. Кто бы подумал, что вот эти образа, их писали на липовых, кипарисовых досках во Мстере, Палехе, Суздале, Нижнем и еще во многих городах и весях, всего за полстолетия, а то и меньше станут редкостью, ценностью, предметом поклонения, пусть совсем с иной подкладкой, а

все-таки поклонения. Пятьдесят лет назад собиратели икон слыли разве что опасными чудаками, на которых смотрят, скривя рот на сторону, как бы сомневаясь в надежности их рассудка, а вот теперь уже рот не кривится, и объявились просвещеннейшие, изощреннейшие собиратели, радетели, «открыватели», любители, ценители, знатоки и даже презренные похитители святого письма (облик последних непременно в джинсах, в черных дубленках и в отсутствии всего святого в пакостных речах и взорах). О, люди, люди! — воскликнул бы некто великий, горестно качая мудрой кудлатой головой.

Но как все-таки собрались русские иконы сюда, в Гент, чтоб стать тут товаром — ценой и стоимостью? Ведь каждая эта икона рассказала бы, наверное, ахти какую поучительную летопись жизни...

А напротив икон помещался зоомагазинчик, до потолка забитый клетками, кормами, аквариумами, цветными попугайчиками, и запомнилось, что в одном аквариуме плавали не рыбки, а мелкие, с пятак, черные и юркие кожистые черепашки-трионикcы, едва ли не из Китая или с нашего дальневосточного озера Ханка. Заведовала магазинчиком улыбчивая полнотелая дама с голубыми выпуклыми глазами. Она очень подходила к этому миру искусственной жизни и уже держала наготове маленький водяной сачок.

Думать, что Гент всего лишь город-памятник, лавка-антикварий, абсолютно неверно. Кроме замков двенадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого веков, старинных отелей и харчевен, купеческих домов и церквей в нем есть и вполне современный Юго-Запад, рабочие кварталы, многоэтажники в районе Вассерспортбан, глядящиеся в огромный канал-пруд, есть модерновые выставочные павильоны, разнообразные музеи, вплоть до музея народного творчества, есть великолепная университетская библиотека в двадцатиэтажной башне с пристроем. Библиотека содержит три миллиона книг и четыре тысячи манускриптов.

Трудовой Гент конструирует машины, производит химические материалы, ткет льняное полотно и ковры (кстати, по производству шерстяных ковров Бельгия занимает первое место в мире, и нигде больше я не видел такого их изобилия).

Рестораны, харчевни и ресторанчики Гента, равно как его отели и мотели, нацелены на туриста. Любая

кухня — европейская, азиатская, африканская. Любое блюдо на национальный вкус. Любое обслуживание. «Пожалуйста, приезжайте! Гент ждет вас!» — эти лозунги на трех языках открывают красочный проспект путеводителя. Переехав валлоно-фламандскую языковую границу, как-то еще более ощущаешь, что тут живут «ногами на земле». Фламандия — это уже переход к Голландии, а о голландцах, их безмерной расчетливости и скупости ходят легенды. Ведь недаром не раз я читал и слышал: если голландец пригласил вас «на чашку чая», то это будет лишь чашка чая. Как-то отказываешься в это верить, ведь в русском, да и в другом, неголландском варианте, «чашка чая» — это пир под скромным заголовком. Впрочем, до Голландии еще далеко, приедем — увидим.

Когда, порядочно утомленные солнечным днем и хождением по древним булыжникам центра, надышавшиеся средневековьем, мы сели в автобус и тронулись дальше в Брюгге, все, видимо, хотели пить и завели вопрос о торговле пивом. Разговор с пива как-то незаметно съехал на более крепкие напитки. Месье Роже стал вспоминать случаи, когда бельгийцы пили русскую водку и что за этим следовало.

— Вот, в одном городе были ваши гости и привезли с собой русскую водку. И когда угостили всех... Так через час бургомистр танцевал рубашка на брюка, а эшевены (советники) лежали под столом. Потом их увозили на грузовиках. А когда выпил шофер автобуса и стал кричать: «Да здравствует Советский Союз!», хозяин на другой день его уволил.— (Вот так!) Роже улыбался.

Тем временем мы проехали городок Экло, где, как сказал встряхнувшийся гид, «очень много школа и... этих, по-вашему, техникумов, а также производство питания».

— Роже, скажите, пожалуйста, вот вы нас водите по церквам и соборам. Так хорошо все знаете и рассуждаете... А сами вы верующий?

Вопрос, что называется, с подкладкой.

Месье Роже внимателен и собран. Его не застанешь врасплох. На вопрос он ответил так:

— Я верующий. Но не по религии, а по философии.

Ах, как хорошо ответил. И добавил:

— Просто я свободомыслящий человек. У нас таких много...

— А как бельгийцы понимают счастье? — не отставала какая-то из наших просвещенных дам.

— Счастье? Это ведь не массовое понятие... Оно различно. Но в массовом — это иметь красивый уютный дом, хорошая жена, здоровье и работу.

С таким заключением было трудно спорить. В конце концов, и в восточной мудрости сказано что-то подобное. Там еще к атрибутам счастья добавлен конь. Счастье: «Это просторный дом, резвый конь и покорная жена». А вот работу бельгийцы тоже причисляют к счастью. Иметь работу! Тогда, в год нашей поездки, жестокий кризис лишь едва прослушивался в экономическом пульсе Бельгии, имеющей на сегодня чуть ли не самую тяжелую картину из всех стран Общего рынка. Тогда Европа и даже Америка еще кой-как справлялись с проблемой массовой безработицы, точнее, она не вставала во весь свой ужасный рост.

— А как насчет работы?

— Безработица есть, но в разных сферах. У нас много безработных со степенью: юристы, филологи, историки. И вот когда надо было строить казармы где-то в Арденнах (Роже сказал это так, как сказали бы у нас «на Чукотке»), то не могли найти желающий бельгийцев и выписывали иностранный рабочий: итальянцев, турок. И на подземный работа в шахтах работают больше не бельгийцы, хотя там высокий заработки. Очень тяжелый и опасный работа. Правда, теперь шахты закрываются... У нас нужда в нижнем и среднем звене: официанты, метрдотели, мойщики, уборщицы. Хороший метрдотель может зарабатывать больше профессор...

— И у нас тоже,— хмыкнул кто-то.

Полагаю, что сейчас и на эти должности в Бельгии трудно определиться. Очереди на бирже труда мы видели в Брюсселе. Очереди за работой! Для нас это было диковиной, дичью. Ведь и сейчас еще мы не разделались со взглядом на работу, так сказать, с позиций лодыря: «Она, работа, не волк... От работы кони дохнут... Пусть работает трактор, он железный». Здесь такой взгляд, может быть, и тоже кой-кто разделил бы, но жизнь неумолима, здесь вас не будут «устраивать на работу», «брать подписку», вразумлять, увещевать, здесь таким гуманизмом, похоже, не пахнет.

Город Брюгге происходит от трансформированной фамилии купца Ван дер Бюрге, у которого якобы собирались гости — купцы в давние времена — обсудить свои денежные дела. Это первая версия о названии. Вторая — проще, название от фламандского «брук» — мост.

Брюгге, как поведал нам месье Роже, едва только появились окраины, самый красивый город Фландрии. Это как бы живой динозавр средневековья, еще более, так сказать, «средневековый», чем Гент, по крайней мере по виду. Город был ухоженный, чистый, безлюдный. Пасмурно. Тихие каменные улицы даже не семнадцатого, не восемнадцатого века. Пруды с лебедями в тени многостолетних ив. Лебеди здесь ручные, их кормят и в общем-то не охраняют, видимо, в голову никому не придет убить, украсть и зажарить лебедя для своего новогодья. В Брюгге лебеди как бы на балансе магистрата, и число их всегда поддерживается на одном уровне — 400 штук. Особенно много лебедей (уток я просто не считаю, они везде) на так называемом «озере любви», кстати, возле женского монастыря. Монахинь не часто, но видишь на улицах бельгийских городов. В своих белоснежных крахмальных уборах, белых передниках на черном, они резко бросаются в глаза, и, в общем, это женщины совсем не старые, пригожие, с миловидными лицами. Иногда видишь монахинь на велосипедах. В Брюгге и в других городах есть еще монастыри-бегинажи, где просто доживают свой век пожилые и одинокие женщины, внесшие за содержание денежный вклад. Бегинаж отличается от монастыря отсутствием строгих норм монашеской жизни.

Пока автобус крутит по улицам Брюгге, наверное, самым кривым во всей Бельгии, а здесь в городах попадаются улицы еще и узкие настолько, что два пешехода могут разойтись в них только боком, а те, кто потучнее, должны разом выдохнуть и протискиваться, «ползти на выдохе», как говорят бесшабашные спелеологи, исследователи пещер. Гид говорит, однако, что самая узкая улица находится не в Брюгге, а в Льеже — самая узкая в Европе.

Мы уже как-то привыкли к утверждению, что в этой стране все самое-самое. Вот и Брюгге, оказывается, еще и Северная Венеция, так как стоит на воде, на каналах. Но мне известно, что такой же «Венецией» называются и Гент, и Стокгольм, и Амстердам... Сколько же еще

Венеций, северных и южных? А что касается узости улиц — наследие средневековья, когда город прятался за стены, тянулся ввысь и экономил на каждом метре площади,— то наиболее узкие улицы я видел, пожалуй, во Франции, в древнем городе Авиньоне, недалеко от вокзала. Улицы напоминали воистину щели, а в щелях, как известно, гнездится многое...

Но вернемся все-таки в Брюгге. В городе этом уже слышится дыхание соседней Голландии. Да голландцы и фламандцы, видимо, вообще искусственно разобщенная нация, оставшаяся в таком состоянии еще со времен войны с испанцами, прежде владевшими и Бельгией и Нидерландами на правах чуть ли не колоний. Близость Голландии — низменная равнина, изобилие воды, каналы, к несчастью, еще более зловонные, чем в Генте. Просто диву даешься, как можно жить буквально в этом канале, ибо стены иных домов стоят прямо в зелено-коричневой воде с запахом застоялого фекального раствора. Все это тайны Брюгге. От них приходится зажимать нос и ускорять шаги.

В Брюгге же попадаются совершенно голландские, четырехкрылые, мельницы, словно бы прибежали сюда из этой страны веков десять назад да так и остались тут. Зубчатые крыши домов слиты друг с другом, древние мостики арочной кладки, недоступной ни воде, ни времени, кажется, отражают в воде свою вечность, от времени становятся лишь прочнее.

Пока автобус под управлением гениального маэстро руля месье Леона пробивается к центру города, в салоне все чаще слышится:

— Эх, цыпленочка бы... А?

— Да не говорите, животы подвело.

— Все-таки без ужинов...

— Вы знаете, а без них лучше спится.

— Кто спит, тот обедает,— хотите сказать?

— Нет, а если бы сейчас шашлычок по-карски...

— Аристократизм! Шницель бы, котлету, и то славно.

— Нон компромисс! — хохочет кто-то, вспомнив надпись в витринах брюссельских заведений.

— А правда, поесть бы как-то... по-русски,— говорит жена, обычно сдержанная в смысле всякого злоупотребления, в том числе и в еде.

Впереди показываются башни кафедрального собора.

Это опять, конечно, Гранд-плас. И еще какая-то высоченная и словно бы мавританского стиля башня с черными стрельчатыми окнами. Автобус сворачивает в затейливо кривую улицу, и вот наше пристанище в Брюгге, отель с пышным, чрезмерным каким-то названием: «Гранд-отель дю Саблон»! Впрочем, «саблон», насколько я понимаю теперь французский, что-то вроде «песчаного карьера». Гранд-отель! Он отнюдь не высок, не велик — этажа три, ничего внушительного, кроме вывески.

Встречает сама хозяйка гостиницы, дама в возрасте, который назовем достойным. Одета в темное глухое платье. Все прилично, пристойно: на месте искусственная улыбка, быстрые распоряжения, исполнительный портье, и вот мы уже поднимаемся по ступеням, сплошь затянутым ковровым покрытием, ощущая под ногами что-то ветхое, гнущееся. Ассоциации с картиной «Завтрак аристократа». «Саблон» из старых отелей и, может быть, лет сто был для тихого Брюгге «гранд-отель». Теперь, конечно, более гордится вывеской. Нет супера, нет модерна, запах комиссионной лавки, и за все нужно четко платить. Даже за телевизор в холле. Платить, платить, ПЛАТИТЬ. Формула, может быть, и мудрая, и честная, но все-таки слишком назойливо она преследует нас, слишком постоянно во всем путешествии напоминает, чтоб не сказать угнетает.

Оглядываем номер, в котором суждено переночевать. Номер неплохой, с высоким потолком (в прошлом веке не экономили на высоте даже в Бельгии), обставлен не новой достойной мебелью. Центр — супружеское ложе со свежими крахмальными простынями. Что за границей на высоте — так это кровати. Отношение к ним такое же, как к обеденному столу, который сервируется с четким разделением ножей и вилок для рыбы, мяса, десерта. На несведущего во всей этой премудрости официанты поглядывают кто с ужасом, кто с презрением, как если бы кто-то хватал еду руками, а вытирался скатертью или рукавом. Нет кроватей с панцирными сетками, упаси бог, со скрипучими пружинами, на которых перемещаешься с грохотом далекого землетрясения. Образцовая (в меру) упругость не то поролоновых, не то каких-то неведомых еще покрытий. Подушки без куриного запаха, не толстые, но и не такие, что ночью двадцать раз перевернешь, пытаясь сделать толще.

Чистота. «Гранд-отель дю Саблон» ведется на отличном уровне, и хозяйка, в глухом темном платье, с ключами у пояса, напоминает персонажей андерсеновских или гофмановских сказок.

Обед не замедлился, и мы отчасти удовлетворили свой голод за счет хорошей фламандской пищи, ее я решительно предпочитаю валлонской. Нет ни сельдереевого супа, ни лукового супа, есть мясо и большой гарнир (на него здесь не скупятся). Изобилие воды со льдом. Хлеб по пайковой норме и умеренный десерт. Пол-яблока. Из-за стола встаешь с ощущением некоторой сытости, но сытости, так сказать, ненадолго и не в тягость. Все-таки в рубенсовские времена дело было, судя по кухне, получше. Обстановка обеденного зала та же изысканно-скромная. Кое-что в стиль, кое-что не в стиль, но «умеренность, порядочность — вот что дорого», как говаривал Остап Бендер. В общем, отель напоминает вдову, даму, одетую добротно, однако «не модерн», оглядев которую, понимаешь, что и дубленка ее уж не раз была в химчистке, и головной убор, и золото, а может быть, даже сорочки — все из комиссионного магазина. Я не смеюсь, нет, — просто отель очень подходит к Брюгге, что называется, «в цвет», подходит и вообще к Северному Западу, где копейку не бросают на ветер, а вещи ценят, кажется, гораздо больше их истинной стоимости. Дома я часто видел выставленные к помойным ящикам совсем добрые стулья, выброшенные диваны, не говорю уж о мебели чуть поломанной. Полагаю, что такая картина вызвала бы здесь тяжелое недоумение. Вещи должны жить долго. Их можно отреставрировать, переделать, но выбросить?..

Экскурсию по Брюгге я не стану описывать, ибо опять придется повторять то, что писал о Льеже, Брюсселе, Антверпене, Малине и Генте. Церквей и соборов здесь также много. Есть Божьей матери, и святой Вальпургии, и святой Анны, и святого Базиля, и святого Иерусалима — это не считая монастырей. Так же обильны музеи, есть консерватория, концертный зал, знаменитые замки, башни, парки, и все тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый века — сплошь средневековье. Но одну достопримечательность уж никак не обойдешь, не объедешь, тем более помещалась она почти рядом с отелем. Это музыкальная башня. Ежечасно с нее несется довольно приятная и долгая музыка,

колокольная машина играет целый концерт. Однако, прослушав концерт раз, два, три, еще и еще, с ужасом начинаешь думать: «Господи, этак ведь и с ума сойти можно, живя неподалеку». Несчастные люди. Привычка? Да нет, можно привыкнуть к шуму, не замечать уличного грохота, но заведенную раз и навсегда музыку будешь переносить как болезнь. При современном переизобилии всякой этой музыки: теле, радио, магнитофонов, люди и начинают болеть — стрессы, давление. Ах, как хочется тишины! А ее нет. Как хочется в тишине уснуть, или работать, или просто слушать ее, тишину, отдыхая душой. А тишины... «Жил-был худож-ник оди-ин, до-мик имел и холсты...» — это сверху. «Все могут ко-ро-ли, все мо-гут...» — это снизу. «Бу-бу», «бу-бу-бу» — это у соседей справа и слева. Припомнил, в одном городе в центре жилого района построили мемориал, где через каждые полчаса играла траурная музыка. Люди бежали из квартир. А еще есть цветомузыкальные фонтаны... А еще в одном городе некий Кулибин восстановил старинные башенные часы, и они...

Ах, как хотелось бы думать, что и время романтических домашних часов «с кукушкой» уже миновало. Ведь где-то все-таки производят, а значит, и покупают, и вешают на стену в бетонном гулком жилье, где соседи сразу на двух этажах маются от методичного «кукуканья». Пережил это сам, кукушка у соседей, к счастью, сломалась.

Вот такие мысли рождала музыкальная башня в Брюгге, в пятый раз уже играющая приятную колокольную симфонию, пока мы с женой с ужасом прикидывали, не на ту ли сторону выходит окно нашей комнаты в «Гранд-отеле». К счастью, добавлю, после двенадцати звон, кажется, выключают, но точно не утверждаю — ночью я спал, а окно оказалось на противоположную сторону.

Некогда Брюгге стоял на берегу моря, но за века море ушло, а не то сам материк Европы отъехал к востоку, и океанские штормы нарастили берег километрами песка. Теперь уже от побережья двадцать километров, хотя каналы к морю идут в разных направлениях, на них полно лодок, катеров, яхт, есть, разумеется, и ресторан на воде «Маяк» — нечто вроде мопассанов-

ского «лягушатника». Не описывая дотошно башни и соборы Брюгге, я хотел бы рассказать о его старозаветных живописных улочках с чистыми, полированными временем мостовыми, с дубами, каштанами и кленами, с плющом и мхом у старинных домов серо-желтого камня и кирпича. Дома эти непременно с башенками, флюгерами и каменными толстыми трубами, в которых коптят рыбу и окорока. Часто вдоль улиц идут канавы с зеленым ворсом подстриженной по скатам травы, здесь бродят утки, плавают лебеди. Мне думалось, именно здесь Ганс Христиан нашел сюжет для «Гадкого утенка», и для «Стойкого оловянного солдатика», и для «Дюймовочки».

Известно, что Андерсен жил в Генте и уж, конечно, бывал в Брюгге. Здесь так пахнет этими сказками, той простенькой дивной безмятежностью, которой веет и от самих сказок, вечностью, остановившимся временем под столь же вечными седыми к вечеру фламандскими небесами. Брюгге славится тишиной и безлюдьем. Именно тишиной, кроме музыкальной башни, он понравился мне больше Гента, где вечность и старина как бы выставлены напоказ, сбережены для бутафории. В Брюгге же старина живая, немузейная, она тихонько дышит, тихонько живет, не торопится на вечный покой и в экспонаты. Она, как бодрый, уверенный в своем несчетном будущем долгожитель, который, не мудрствуя и не огорчая душу заботами, живет, трудится, радуется бегущим дням,— так живут лишь в здоровой старости и в раннем детстве.

Обилие магазинов и магазинчиков на кривоколенных улицах также не надоедало. Они были здесь попроще, радушнее, что ли. Мы даже зашли в один из бесконечных в Бельгии обувных. Звякнул звоночек — оповеститель входной двери, и мы оказались перед четой пожилых супругов, он — постарше, она — помоложе, как видно, они совершенно не ждали никаких покупателей. Магазин казался на грани разорения. Хотя цены были, как говорят, божеские и вполне по нашим капиталам, жена все же никак не смогла подобрать сапоги. Все фасоны не желали застегиваться на ее не таких вроде бы и полных, но все-таки русских ногах, и надежда, засветившаяся было на лицах супругов, сменилась с трудом скрываемым сожалением. Милые нерасчетливые старики из Брюгге, не иначе как бес вас попутал открывать

тысячу сто первый обувной магазин в этой переполненной обувью стране. И товар здесь был как бы и новый, однако перележавший все сроки и оттого состарившийся без носки. Даже надевать и примеривать было боязно — вдруг лопнет!

В соседнем магазине торговали картинами, эстампами и всем потребным для живописи: кисти, краски, палитры, этюдники, зонты и мольберты. Но то ли уж очень мал спрос на творения современных Ван-Дейков, миновал золотой век Рубенса, то ли еще по какой причине, магазин был попросту и без всяких объяснений закрыт. Это, кстати, тоже свойство капиталистической системы: хочу — торгую, не хочу — дверь на клюшку, и баста. И никто не заставит, можете не стучать и не показывать на часы, рано заперли, мол. Обстоятельство огорчило. Я-то как раз хотел привезти домой из заграницы краски «Лефран», колонковые или щетинные кисти «Рембрандт», и вот на тебе: закрыто. И хоть бы написали: «Учет», «Обед», «Санитарный день», «Ушла на базу». Забегая вперед, скажу, что именно этими красками и кистями я обзавелся дома, в Свердловске, по милости нашего фонда художников. Ирония судьбы...

А за стеклами витрин в этом небольшом магазине-салоне сплошь была женщина, женщина, женщина. Во всех мыслимо-немыслимых ракурсах, поворотах, изгибах, позах и позитурах до ломаний под Пикассо, Брака, Кирико и еще под кого-то и зачем-то. Вот, например, женщина, словно сконструированная из кубиков, гаек и железок, как бы перерубленная пополам, с зубами на ухе, с глазами на животе и еще черт знает где.

— З з э б э в н о-о,— тянул я. А жена попросту хохотала. Судя же по замку на дверях, изобилие описанного «поп-арта» и сюрреализма особенным спросом не пользовалось, как не пользовались им и картины новейшего фотореализма, где с дотошным мастерством были написаны маслом в виде натюрмортов предметы домашнего обихода, и такие неожиданные, как клизмы, аптечные банки, посуда, порошки, облатки и тому подобное.

Закрыт был и следующий магазин. Какой-то безнадежностью веяло от него, от витрин, хотя в витринах лежали и висели меха и просто шкуры животных. Большинство было с астрономическими ценами. Лисы, норки, соболя, песцы, большая шкура матерого волка, явно российского,— какие волки в Бельгии! Тут их уже столе-

тия нет. Здесь они вымерли вместе с мамонтами. И была еще шкура-подделка, над которой мы долго смеялись. Вот, вообразите себе нечто крупнопятнистое и гладкошерстное, вроде шкуры теленка, однако выкроено на манер волчьей шкуры. Надпись гласила: «Кореянише вольф»! Корейский волк. Будучи несколько сведущим в биологии млекопитающих, и хищных в особенности, клятвенно подтверждаю, что такого волка нигде больше не водится, кроме витрины в Брюгге.

Зато этот «кореянише вольф» стал для нас любимой присказкой, которую вместе с «нон компромисс» мы вывезли из Бельгии.

Милая Бельгия, не сердись на нас. Мы очень полюбили тебя за эти короткие, бесконечно длинные дни. Мы пресытились впечатлениями, переполнились твоей стариной, музеями, магазинами, твоей неожиданностью и простотой. Но мы люди с юмором, не можем без него жить и надеемся, что он также и в равной степени свойство фламандцев и валлонов, и, может быть, они также расхохочутся, заглянув в витрину с волкотеленком. Нон компромисс!

Вечерний Брюгге, как ни странно, куда оживленнее дневного. К вечеру он словно бы проснулся. На центральной площади у музыкальной башни бойко торгуют мелочные лавчонки, газетные киоски, пивные и рестораны. Стулья и столики у многих вынесены на тротуар и лишь слегка ограждены. Пенится в узких бокалах, в ухватистых кружках темное и светлое пиво. Разносят кофе. Сидят со стаканчиком оранжада, который бы хлопнуть да и пойти восвояси. Но в чужой монастырь со своим уставом... Здесь так принято пить, экономно, по глоточку, не спеша. Обратил внимание, что у одного ресторанчика из таких «тротуарных» под тентами сидят за столиками одни старики и старухи пенсионного вида, иные моложавые, иные издержанные, но все бойкие, шумливые, как дети. Валлонское «уи, уи» перекрывается четким фламандским яканьем: Я! Я! Я! Похоже, резвится какая-то корпорация пенсионеров. У них здесь даже партии. В Бельгии, Голландии и вообще на всем Северном Западе помимо партий тьма и бездна всевозможных объединений и обществ. В кружки и союзы объединяются по принципу пола, возраста, верований,

исторического прошлого, допустим, ветераны войны, есть клубы по толщине кармана, благотворительности, коллекционерской и собирательской страсти, объединения хиппи, теперь еще панков, наркоманов и совсем уж непристойные, вроде клубов лесбиянок, сейчас этот вид эротической извращенности широко распространился, и совсем уж есть ни в какие ворота не лезущие «клубы любви» — подобие содома и гоморры, где «любовь» эта творится меж столиками и кружками.

Бойкие пенсионеры что-то пели и кричали, подымая стаканы. Трезвонила музыкальная башня, но уже в ближайшей кривой улице было безлюдье и тишина. Мы вернулись в отель и опять испытали искушение ужином. Решили попросту попить чайку. Сказано — сделано. И, спустившись в предбанник ресторана, мы заказали «тей», который мгновенно был нам подан бойким молодцем в серой ливрее.

Две аккуратненькие чашечки чуть больше кофейных. Два аккуратных кубичка сахара в обертках и такие же две крохотные «печенинки», скажем по-детски, в целлофане. Это был почти кукольный чай для Буратино и Мальвины, который мы, оглядевшись — вдруг подали по ошибке, а предназначался для каких-нибудь деток,— с недоумением выпили. Зато цена за чай оказалась грабительской: «Двадцать шесть франков, месье!» За чай с одним печеньем брали, как за нектар с амброзией.

— Знаешь,— сказал я, расплатившись,— дома я по таким ценам за вечер один выпиваю чаю на четвертную.

Жена печально кивнула.

— И еще, вот есть такая пословица: «Что нельзя исцелить, то надо терпеть». Кажется, она фламандская...

— А еще, раз уж ты перешел на пословицы,— сказала жена,— говорят: «Легкий кошелек — тяжелая ноша». Это тоже фламандская.

Так, посмеиваясь друг над другом, мы пошли к выходу.

На следующий день после завтрака мы покинули гостеприимный Брюгге. У автобуса нас провожала все та же андерсеновская хозяйка с ключами у пояса и пристойной пластмассовой улыбкой.

Глава X

ГОЛЛАНДИЯ — СТРАНА КОРОВ И ЦВЕТОВ

По дороге в Нидерланды. Родина Уленшпигеля. Морской паром и морская болезнь. Голландцы и бельгийцы. Что такое польдер. Из записной книжки. Роттердам — сомый современный город Нидерландов. Статуи и лозунги. Еще раз к вопросу о модернизме.

Путь вдоль берега моря лежал в Нидерланды. Мы прощались с Бельгией. Промелькнул старинный городок Дамме. Открыточный, пасторально-тихий и ухоженный. Неизбежная кирха, зеленые каналы, ивы, дома под черепичными крышами, серые небеса с разводами океанского ветра:

— Дамме — родина Уленшпигеля. Считается так,— месье Роже усмехался.— Хотя у нас, в Бельгии, роман об этом Уленшпигеле не слишком известен. Гораздо больше у вас, в России, и везде в мире. Как видите, пророков не признают в их дом...

— А здесь, вот вы видите, на побережье, очень модный, дорогой курорт на Северном море — Остенде. Здесь отдыхают коронованный особ и богаты американские старухи. На курорте запрещено радио. И также транзисторы. Ведь тишина — это богачество теперь, а также здоровье. И потому сюда много желаюшчий. Теперь на многих курортах начали запрещать радио и транзистор. Люди хотят тишины и платят за это. В свое время здесь проживал Ейнштейн. И он играл на скрипке как будто с бельгийской королева.

Остенде осенью не казался особенно привлекательным. Серое в прозелень море, пустой песчаный пляж. Бетонная линия не то мола, не то ограничителя для волн. По пустому пляжу шагает старуха, а за ней бегут четыре маленькие собачки. В горбоватой как будто дали Атлантики едва заметные дымки судов.

А вот и кончилась бельгийская земля. Теперь нам предстоит морской переезд через заливы в устье Шельды в Голландию, точнее, в Нидерланды, ведь Голландия — название одной из самых крупных провинций этой морской, водяной, молочной и весьма любопытной страны.

Автобус въехал на морской паром.

При слове «паром» вспоминается мне российская, а то и украинская глубинка и странное сооружение: плот не плот, платформа не платформа, но скорее все-таки плот, передвигающийся нескоро вдоль туго натянутого меж берегами троса и обычно переполненный людьми, живностью, иногда и телегами. Здесь же, у причала, стоял громадный океанский лайнер с открытой настежь кормой, в которую вели рельсы настоящей железной дороги, а по обочине вкатывали внутрь автобусы и мелкие индивидуальные машины. Такого гигантского судна я не видывал, к тому же корабль был многопалубный и, казалось, несокрушимо неподвижный. Но когда он отвалил от причала и потянул в океан, пол палубы медленно и ощутимо стал ходить под ногами какой-то китовой зыбью, и побледневшая жена сказала: «Ну, вот... этого еще не хватало...»

Я поспешил ее успокоить, сказал, что плаванье вряд ли будет больше часа, увел в среднюю часть судна и, усадив на скамью вроде тех, что были раньше в старых трамваях, стал показывать, называть идущие нам навстречу суда, буксиры, невероятно длинные танкеры, от которых веяло какой-то пустыней, и еще громадный красавец-лайнер вроде «Куин Элизабет», должно быть, он шел в Южную Америку, потому что был под бразильским флагом.

В морской болезни главное не паниковать ни в коем случае, и тогда она быстро отступает, а то и вовсе проходит, навсегда. Я, например, не плававший, кроме как на пассажирских катерах по Черному морю, однако с детства готовившийся к дальним плаваниям и океанским волнам, видимо, тогда и внушил себе иммунитет к морской болезни. Я напомнил жене, что она также должна быть закаленной к любой качке с пеленок — ведь родилась она в старой крестьянской семье, где детей, и ее тоже, качали, «мыгали» в зыбке — подобии корзины, которая за неимением пружин привязывалась к березовому бастрыгу-очепу. Удивительно, что этот экскурс в историю оказался самым важным средством в лечении морской болезни. Жена помаленьку начала улыбаться, дурнота прошла, и конец плавания мы провели, как заправские путешественники, на носу судна, где хватко ходил океанский ветер, даже свистело, качало здорово, но мы не хотели уходить, посматривая на

волны, на громадные суда-рудовозы, на необозримо тянувшиеся мимо японские танкеры.

Примерно через час мы и прибыли на голландский полуостров Вальхерен, в городок Флессинг. Вальхерен скорее похож на остров. И вообще все здешние острова, полуострова самой нижней части Голландии словно бы некогда оторвались от материка, поплыли (а так оно, видимо, и было) и теперь продолжают отплывать, но трудолюбивые голландцы хватают их, присоединяют друг к другу мостами и дамбами, точно пришивают обратно к континенту.

И опять без таможни, пользуясь только посредничеством месье Роже, мы уселись в почти родной «Мерседес» и покатили теперь по голландским дорогам, что отличаются от бельгийских разве только еще большей вылизанностью и прямизной. Что-что, а дороги на Северном Западе на зависть. Да и как быть им плохими при столь незначительных расстояниях?

И точно так же, как шоссе, мало чем отличался голландский пейзаж от едва покинутой нами бельгийской Фландрии. Те же аккуратненькие мызы, домики из красного кирпича с белой обводкой по окнам и с бордово-оранжевыми черепичными крышами. Те же окна в мансардах, затейливо выделанные, украшенные занавесочками и часто уставленные цветами. Окна, как можно заметить везде — в Люксембурге, в Бельгии и здесь, в Голландии,— вроде культа. Это витрина дома — так тщательно они выкрашены, со вкусом превращены в маленькие пейзажные оранжереи. В Голландии чаще в них стоят кактусы или другие экзотические растения.

Окна мансард. О них стоит сказать особо. Если в Бельгии все, что под крышей, используется на сто процентов, в Голландии, я убежден в этом, на все двести. Ни сантиметра без пользы — таков, кажется, девиз голландцев. Окна под крышами могут быть не только по фронтону, еще чаще тянутся вдоль боковой части мансарды, выступающей из стены некоей лоджией, застекленной верандой, эркером-балконом; есть и окна, глядящие в небо, в тучи пасмурной Атлантики, и это, пожалуй, очень здóрово для людей с душой художников. Не представляю только, как такие окна не промокают, видимо, сделаны с исключительно надежной гидроизоляцией.

Мансарды бельгийцев и голландцев как-то особенно

грели мою душу. Мне казалось, в них хорошо пишется. И я дал клятву — приеду домой, непременно построю мансарду на своей дачной крыше, мансарду с таким вот голландским окном, и буду там коротать дни на старости, если дожить до старости повезет. Вот ведь какие мечты! Кто-то и хмыкнет. У меня же от этих домиков с горбатыми крышами умилялась душа. И все припоминался и скандинавский донельзя Карлсон, и снова Андерсен, и еще какие-то писатели, художники ли, даже не пойму. Много ассоциативного всплывает в памяти, когда глядишь на старую эту, пасмурную, каменную и кирпичную чистенькую Европию, на городки-поселки, зелень мокрых, пасмурных тоже, полей, мельницы, кирхи, таверны с флюгерами и башни, слушающие вечность. Наверное, в них живут старые-старые совы.

То, что Нидерланды — страна, вечно воюющая с морем и дружащая с ним, было ясно здесь сразу по запаху океана, огромным облакам, влажному цвету неба и горизонта, казалось, что и страна плывет куда-то, плывет неостановимо. А вот пошел и самый большой мост в Европе. Морской мост между островами Норд Бевеланд и Схавен. Он называется Остершельденбрук (мост на восточной Шельде). Длина — пять километров! Проезд, разумеется, только платный. Плату взимает с водителей некто в мундире полицейского или таможенника прямо из стеклянной будки. Пять километров бетонной эстакады над зеленой морской синевой! Впечатление полета над морем на автобусе. И еще один мост, поменьше, Харлингвлитсбрук, соединяющий дорогу с искусственным островом Харлингвлит, построенным голландцами в устье Шельды. Здесь самые большие в мире шлюзы для проводки океанских судов. Один шлюз имеет длину более километра.

Гид повествует, указывая куда-то на запад, в безбрежный океан, что там, где это кажется невероятным, голландцы строят плотины между островами морского предустья Рейна, Мааса и Шельды. Гигантские дамбы соединят острова Западной Голландии и Зеландии, оградят страну от натиска океана и позволят получить огромные дополнительные площади земли за счет осушаемого дна. Земля — главная ценность в Нидерландах. Постройки дамб были начаты в пятьдесят четвертом году, должны быть закончены в восьмидесятых. Стоимость работ выражена в миллиардах гульденов.

— Оч-чень работящи народ! — с уважением говорит Роже.— Мы, бельгийцы, тоже умеем работать, но голландцы — лучше (самокритично, не правда ли?). Научила голландцев работать сама их трудная земля и борьба с морем. Нидерланды больше Бельгии, но много, много воды... Четырнадцать мильенов жителей — это четыреста человек на квадратный километр. Опять мировой рекорд. Тридцать процентов земли ниже уровня моря. Они сами говорят: «Бог создал мир, а голландец землю». Голландцы, в отличие от бельгийцев, коллективисты. Бельгийцы лучше живут индивидуально. Голландцы — коллективно. Это характер нации. Его нельзя разрушать, его надо беречь, как у дерево корня... Вот и в Бельгии и в Голландии у-ужасные налоги. Но в Бельгии женщины работают, а в Голландии больше занимаются домашним хозяйством и воспитанием детей. Они говорят: «Зачем я буду работать на Министерство финанции».

Месье Роже усмехнулся. Худенькое лицо, доброе, умное, всегда доброжелательное, с глазами, которые старый романист назвал бы проницательными, было серьезно. Вот достал свою фляжку — бутылку с кипяченой водой, отпил, аккуратно завинтил крышечку, опустил фляжку в карман и стряхнул капельку воды с пиджака.

— Из-за у-ужасных наводнений голландцы и стали строить дамбы. Когда застроят там,— махнул на запад,— у них будет много земли. А землю здесь ждут. Очень много желающих иметь землю. Стоят очередью по десять лет. В Бельгии — наоборот, молодежь бросает землю, уезжает в города. Не хочет — очень тяжелый труд крестьянский, фермер должен работать с зари до зари, и все сам. Нанимать — терять прибыль... Вот посмотрите, как раз ето осушаемая земля. Морское дно.

Мы ехали мимо громадного, уходящего за горизонт плоского и мокрого пространства — это была какая-то зелено-коричневая и местами черноватая грязевая пустыня, сплошь, однако, усеянная разнообразными камнями и булыжниками. Не верилось, что это обсыхающее морское дно со временем станет полем и местом для жизни. Камни же на нем оказались вовсе не камнями,— они двигались и были птицами, невероятно огромным скоплением разнообразных морских, речных и болотных птиц. Здесь были чайки, утки, но более всего кулики

всевозможных видов: от крупных и хорошо знакомых мне чибисов, куликов-сорок, кроншнепов до великого множества дупелей, бекасов, чернышей, перевозчиков и вообще куликов из породы улитов и песочников. Неудивительно, что я, в общем-то любитель птиц, сперва принял это невероятное их скопление за каменистую отмель.

На таких освобождающихся от воды илистых участках сперва сеют специальными машинами камыш и влаголюбивые травы для фермеров-скотоводов. В аренду идут огромные участки по 500 гектаров. Через пять лет земля становится плодородной и пригодной для обработки под посевы. Тогда ее делят на участки-польдеры, разделяют их каналами и продают желающим. Средний польдер 40 гектаров. Желающих иметь ферму, как я уже сказал, в Голландии с избытком. Причем, как и в Бельгии, преобладает семейная ферма, без наемных рабочих, но со всевозможными машинами и механизацией. Трактор и здесь, как говорится, «вытеснил кулака».

— Между бельгийцами и голландцами существует не то чтобы вражда,— усмехаясь, продолжал месье Роже,— а, говоря по-вашему, соревнование. И даже со взаимными обвинениями. Голландцы говорят, что бельгийцы лодыри. Бельгийцы говорят, что голландцы — скупердяи. Когда наша команда по футболу проигрывает голландцам, то в Бельгии национальный траур. Когда выигрывает — наоборот.

А за окном опять море, серое и синевато-зеленое с холодным оттенком. Сети, вытащенные для просушки, стаи чаек серебристо-белых и сизых, противно крикливый голос у них, как у простуженных ворон. А далее плоский берег, картофельное поле, одноэтажная ферма, кругом в цветах,— мечта Робинзона Крузо. И кажется, эта ферма одна на острове. Таких ферм-хуторов немало было у нас в Латвии и Эстонии.

— Если в Бельгии платят за все, у голландцев абсолютно за все,— продолжает Роже,— вот проезд по мосту — пятьдесят центов с человека. За клозет общественный, как в древнем Риме,— 25 центов. Но надо делать, как бельгийцы,— бросать монета и держать дверь, пока все пройдут по очередь,— шутит он.— Вообще, в нашем Бенилюксе любят юмор. Бельгийцы говорят, что Бенилюкс — это бен (кость) для бельгийцев и люкс — для голландцев. Обычно мы редко ездим

к ним отдыхать, а голландцы часто ездят в Бельгия и всегда говорят: хорошая страна, но жаль, что в ней не живут голландцы. Они очень хитры народ и стараются наживиться за счет наша Бельгия. Даже дамбы строят в устьях рек так, чтобы вода выносила земля и песок и осаживала его в Голландии. Очень хитры и работящи народ!— в голосе месье Роже искреннее восхищение.— Вот даже море... Как они вычерпывают? Строят дамбы и, когда прилив, закрывают, а когда отлив — открывают, и вода уходит. Очень хитры... В войну Голландия пострадала. Немцы взорвали дамбы, и треть страны была под водой. После войны пришлось им у-ужасно много работать. Все осушать... Здесь, где мы едем, было море. И вот, видите?

Мы ехали отличной синевато-серой, разлинованной белым пунктиром дорогой. Справа и слева тянулись каналы, доверху полные чистой, глубокой и как бы стоячей водой черного цвета. За каналом слева, так же разделенные полосками воды поуже и, видимо, не столь глубокой, были отменно зеленые, сочного, насыщенного цвета майской зелени убегающие вдаль пастбища либо посевы: картофель, свекла, лук, целое поле гладиолусов, опять картофель, но больше всего просто ярко зеленеющая трава и на ней коровы — пять, десять, пятнадцать, иногда до тридцати. Вместе с коровами пасутся какие-то особые, жирного вида овцы или свиньи, изредка табунок гнедых лошадей. Самые фермы были не по-бельгийски вдали от дороги, часто скрытые рощицей деревьев, или даже вообще домов не было видно, как видно не было и людей. Вот тебе и четыреста человек на квадратный километр! Где же люди-то? Ну, хоть пастухи, прохожие? Никого не было. И машины по дороге бежали редко. Пустота, тишина, зеленый цвет земли, серый и влажный у низкого неба. Это была страна коров, лошадей, овец и еще диких уток, которые стаями во множестве плавали в каналах. Канал похож на реку, только с очень ровными берегами, кое-где по берегу растет камыш, и стоят в нем неподвижные, внимательные или насупленные цапли, на противоположной стороне прямо на клочке пастбища-берега, на крестьянской то есть усадьбе, дикий лебедь сушит свои огромные крылья. Лебеди здесь другого вида, это европейский лебедь-шипун, в отличие от более распространенного у нас лебедя-кликуна. И хотя все эти птицы — лебеди, цапли, утки, ку-

лики — были явно не домашние, они не обращали никакого внимания на бегущие машины и занимались своим делом.

Я спросил месье Роже, есть ли в Нидерландах охота.

— Очень мало,— ответил он.— Только на кроликов и немного на птицу, осенью, на перелете. Здесь любят природа и животных, а охота считается варварство и баловство. Пустая растрата дорогое время... Но богатеющие люди на юге Голландии имеют поместья, и там олени. Но это не массово. Больше здесь рыбачат и занимаются хозяйством. Вообще, почвы в Голландии лучше, чем в Бельгии. Так считается. Потому что все лучше растет, особенно травы. Самы высокий урожай в Европе. Но, я думаю, урожай — это прежде всего руки, работа, уход и ум, а также удобрение и полив. Говорят: «Нет плохая земля, а есть плохой хозяев», и еще — это уже от скотоводства: «Где мало скота, там мало ума». Значит, мало думаешь. И это справедливо...

В одном безымянном поселке на берегу автобус остановился и мы вышли на голландскую землю. Скрипел под ногами песок с камешками и ракушечником. Неподалеку возвышался маяк. Дул сильный океанский ветер. Властный ветер. Было свежо, и как-то вольно-могуче дышалось, точно в тело вливалось здоровье. На небольшом возвышении стояла грубая бетонная скульптура — встретившиеся жители двух островов.

В своей записной книжке я позднее нашел: «Голландия пахнет рыбой, травой, коровами, молоком и дождем. Еще, наверное, трудолюбием. Природа здесь создает характер. Нет праздноболтающихся. Здоровый ветер. Здоровый воздух. При всем безлюдье, однако, чувствуешь, что люди где-то здесь, заняты делом».

«Трудностями жизни создаются трудолюбивые нации, для примера: вьетнамцы, японцы, голландцы, швейцарцы, бельгийцы. Может быть, голландцев надо ставить на первое место».

«Вот трактор на пологом откосе шоссе специальной фрезой-косилкой стрижет траву. Трава — это корм, а значит, ценность, которая не должна пропадать».

«Голландия встретила нас дождевой погодой. Дождь здесь, по словам месье Роже, идет две трети дней в году, а иногда превращается в бедствие. Голландцы говорят: если нет дождя — это все, что нужно».

«В Голландии, на островах, многие дома покрашены

в серый — или даже черный! — цвет, чего никогда не увидишь в Бельгии».

«Пейзаж Голландии, так сказать, мясной и молочный. Это как бы заповедник или огромная ферма домашнего скота под открытым небом».

«Голландия производит впечатление еще более свежее и чистое, чем Бельгия. Это страна как бы все время после дождя».

«На полосе, разделяющей шоссе, растут ромашки. Обрадовался им, как привету из нашей России».

Океан для Нидерландов — и горе и счастье. Не будь его, голландцы были бы, возможно, самой бедной нацией. Ведь океан — это прежде всего вода, дожди, свежий воздух и тепло. Океанская печка Гольфстрим греет страну, дарит ей безморозную зиму, беспрерывно растущие травы, гонит к берегу сельдь и угрей. Кстати, зимы в Голландии стали теперь много теплее, снег редок, редко замерзают каналы. Голландцы должны быть благодарны океану — он научил их и жить и плавать.

В островной части Голландии еще много старых, патриархальных порядков и нравов. Очевидно островитяне консервативнее жителей материка. Еще не редкость здесь старинная суконная одежда, своеобразные шляпы, по которым можно различить католиков и протестантов. «Раньше в Голландии протестантов было больше,— говорил Роже,— теперь больше католиков». Католицизм, очевидно, пластичнее, мощнее и предусмотрительнее ортодоксального протестантства. И это очень любопытно. Жизнь заставила даже такую, в принципе своем догматическую организацию, какой всегда была католическая церковь, лишенную ныне реальной и мощной власти, искать более гибкие формы воздействия на души мирян, и особенно молодые души. Вглядываясь в церковную жизнь Бельгии и Голландии, понимаешь, что церкви теперь не столько нужен орден иезуитов, сколько орден психологов, и она его создает. Ватикан напрасно считают где-то сборищем ветхих кардиналов и клерикалов-догматиков. По словам месье Роже, и в Голландии много католических школ.

На дорогах Голландии не заблудишься. Светло-синие щиты с белыми надписями и стрелками сообщают все, что надо знать водителю, автотуристу и путешест-

веннику. Нет нужды останавливаться и спрашивать, как проехать, тем более что спрашивать некого. По здешним дорогам только ездят, а не ходят. Покрытие шоссе не гладкое, а зернистое. Машин не густо, пожалуй, гораздо меньше, чем у нас. Роскошных же и огромных, вроде американских «линкольнов» и «кадиллаков», не видно совсем. Бегут навстречу и позади нас массовые скромненькие «рено», «ситроены» и «фольксвагены», реже «мерседесы», а также наши «Лады» и «Москвичи». Рядом с основной дорогой проложена дорожка для велосипедистов. Их здесь попадается больше, чем в Бельгии, и чувствуется, о них заботятся. Как знать, не будущее ли вообще всякого индивидуального транспорта за велосипедом? Стоит создать для него экономичный электро- или солнечный двигатель, и проблема будет решена. Роже сообщил, половина населения Нидерландов имеет велосипед, и поощрение этого вида транспорта выгодно: разгрузка магистралей, чистый воздух, польза для здоровья, а при здешних малых расстояниях, отличных особых дорогах и энергетическом кризисе — польза абсолютная.

Ратую за велосипед и у нас. За новые модели, улучшенные, ускоренные, с солнечным двигателем! Вот размечтался!

Едем по какой-то дамбе. Здесь их бесконечное множество. По ним названы города: Амстердам, Роттердам... Слева плещется море. Справа полувысохшая жижа, зверски вонючая. Так пахнет только тухлая рыба. Со временем здесь будет польдер, появятся пастбища, фермы и стада. В море слева на маленькой шаланде выбирают сеть, с криком вьется туча белых чаек. Гид сообщает, что раньше здесь ловили много рыбы, а теперь собирают устриц и мидий.

Мы приблизились к одному из крупных городов Голландии — Роттердаму.

Пригороды Роттердама уже не похожи на предместья бельгийских городов. Другая страна — иные обычаи. Пояс бельгийских вилл в значительной степени заменяют поселки из слитых друг с другом одноэтажных и двухэтажных кирпичных домов с одинаковыми остроконечными крышами. Эти кирпичные «гармошки», где в каждой отдельной секции живет семья, удивляют.

Коллективизм голландцев, оказывается, тоже с примесью индивидуализма. Впрочем, так, видимо, везде на Западе. Мелькают уже приевшиеся бензоколонки, целые поля сблокированных теплиц, здесь в них выращивают фрукты, овощи-«люкс» и цветы, цветы, цветы — разумеется, на экспорт. Автобус останавливается у стеклянной будки. Проезд платный! И ныряет в тоннель под рекой Маас. Тоннель длиннющий — около километра, от перепада давления и скорости закладывает уши. На поверхность выныриваем уже в самом городе.

Роттердам — крупный морской порт. В год принимает до 35 тысяч судов и 25 тысяч барж. Родина Эразма Роттердамского. Город был, говоря словами Роже, у-ужасно разрушен бомбардировкой немцев 14 мая 1940 года. Бомбардировка была актом варварства и запугивания. На почти беззащитный город сотнями валились пикировщики «люфтваффе» Германа Геринга, и от города остались лишь пылающие развалины. Уцелели только ратуша и собор. Роттердам, может быть, самый современный город Голландии, город, где меньше всего пахнет стариной и средневековьем,— ведь в основном он заново отстроен уже в послевоенное время. Фашистами было разрушено и сожжено 40 000 домов! Ныне ничто не напоминает об этой воистину каннибальской операции гитлеровцев. Новые улицы. Современное многоэтажье. Широкие проспекты. Лишь в центре стоит скульптура Цадкина «Разрушенный город». Нечто вроде железного остова человека с воздетыми руками и с дырой там, где должно быть сердце. Символика довольно простая, и скульптура эта, о которой так много шумят, не производит соответствующее шуму впечатление. Голландские города, а пожалуй и весь Северный Запад, особенно в скандинавской части, богаты скульптурой. Она разная, от средневековой и старого реализма до новейших модернистских «артов». Вот и здесь, в центральной части Роттердама, чуть не рядом помещались две скульптуры — подвешенная в воздухе и примкнутая к стене одного из многоэтажных зданий сетчатая конструкция: верша не верша, садок для рыбы или хозяйственная сетка — не поймешь, а в сквере на траве черная гладкая статуя грубо опримитивизированного мужчины с круглой головой, круглым туловищем и ногами до колен, как бы вросшими в газон.

Показывая на рыболовную вершу или, может быть,

скрученный остаток вольерной сетки, висевшей на стене, месье Роже объяснил нам, что это... улей?! Ну, пусть. Скульптуру можно было назвать как угодно, хоть дуршлаг... На черной же фигуре оскопленного скульптором мужчины кто-то из голландцев, видимо из чувства сострадания, пририсовал мелом все недостающее с большим знанием дела. На это хулиганство никто не обращал внимания. А мы удивлялись, куда смотрят городские власти или хоть полиция нравов, если она есть.

Обратили мы внимание и на то, что стены домов, каменные заборы, хозяйственные постройки вроде складов и пакгаузов (это уже у вокзала) сплошь исписаны мелом, краской и чем-то вроде дегтя. И лозунги подчас вгоняли в краску наших дам. «Свободу лесбосу! Да здравствуют лесбиянки!» Были и вполне социальные призывы: «Крепить мир! Нет бомбам!» и прочее.

На лозунги эти вроде бы тоже никто не обращал внимания. Это я отметил еще в Бельгии, в Льеже и в Брюсселе,— там ходили по тротуарам и в толпе люди со щитами на спине, с надписями на фанерных транспарантах, и на них тоже никто не таращился: протестуешь — и на здоровье. Протестуй, раз тебе хочется. Нам до тебя нет дела.

Здесь надписей было значительно больше. Иные я даже не рискую передать.

— О-о! Голландцы у-ужасно любят протестовать против всего! Это нация протестантов,— заметил наш гид.

Кто-то обеспокоенно спросил насчет секса.

— Ну, я объяснял уже, что в Голландии нет запретов ни на что. И даже я никак не могу привыкать. Голландцы же считают, что чем откровеннее поданы вопросы пола, тем меньше они волнуют, нет нездоровий интерес. Хотя с етим можно спорить. А то, что вы читали, что лесбийки требуют себе свобода, так она и не запрещена, а требуют, чтобы их брак, то есть брак женщина с женщина, официально признавался. Такой вопрос заносился в парламент и обсуждался в газета. Но был отвергнут. Вот они и борются,— усмехнулся Роже.

Я же подумал, что свобода без берегов в вопросах пола — это, вероятно, разрушение многотысячелетнего этического и нравственного канона. Не зря же человечество в муках и самоотвержении создавало и утверж-

дало этот канон, хотя во все века были уклонения в сторону патологии, но здоровое начало всегда преобладало над аномалией и пороком, иначе род людской неминуемо угас бы. Лесбийские страсти временами вспыхивали, и остров сей с древнейших времен недаром стал нарицательным, но Запад сегодня готов как будто уже узаконить то, что века оставалось запретом.

На сей раз нас ждал обед в весьма респектабельном отеле, где, как сказал месье Роже, проводятся многие международные форумы. Это был очень достойный обед, с хорошим мясом, обильным гарниром, в который, однако, включались и дары моря: какие-то моллюски, похожие на белые вареные бобы, мидии, креветки и что-то подобное. Была и сельдь под сахарным песком — блюдо невыносимое, вызывающее что-то вроде тошноты. Большинство оценили сладкую селедку так же. Но «западники», видимо через силу, все-таки восхищались, находили, что она бесподобна!

Затем был час свободного времени, который мы могли тратить по своему усмотрению, гуляя по Роттердаму. Город этот явно не напоминал старые фламандские города с их казалось бы неспешной старообрядной жизнью. Здесь жить торопились, гнали на перекладных, магазины торговали словно бы бойчее, велосипедисты катились непрерывным потоком, толпа на тротуарах перемещалась оживленнее, это был ритм жизни новой Европы, может быть, близкий к Америке. Состав населения семисоттысячного этого города также поражал очень пестрой смесью одежд и лиц. К светловолосым и обычным здесь рыжим голландцам и голландкам, не слишком дебелым (кстати, клятвенно свидетельствую, что самые дебелые, «рубенсовские» женщины живут отнюдь не во Фламандии и не в Голландии, а более всего в Киеве, Одессе, Риге и, конечно, матушке-Москве, словно бы заповеднике всех самых величавых и беломраморных красавиц), так вот, к рыжеволосым голландкам здесь, в Роттердаме, присоединилось множество экзотических и очень интересных женщин: индонезиек, мулаток, метисок. В Роттердаме отчетливо чувствуется, что Голландия века и века была морской и колониальной державой, владычествовала над Индонезией, Суринамом, торговала с Индией, Африкой и Америкой. И вот результат — великолепные типы уже смешанного населения, особенно женщины.

Очаровательная, в меру полная индонезийка-голландка вела за руку двух шоколадно-смуглых мальчишек, и надо было видеть, как шла! Как чудесно круглились ее упругие бедра под переливающейся зеленью ясного шелкового платья, какая нога возникала в его боковом разрезе, какая самоуверенная полуулыбка пряталась в раскрашенных по-восточному страстных глазах, какие невероятного совершенства крупные губы подчеркивали ее красоту и озадачивали встречных. «Вот это женщина...» — бормотал один наш изощренный любитель прекрасного пола, высохший уже от этого зноя, но, как видно, все еще снедаемый огнем дотлевающих страстей...

Роттер-дам — дамба на Ротте. Некогда здесь тоже было море, как сообщил месье Роже, и, заинтересованный этим сообщением, я зачерпнул в горсть почву где-то в истоптанном газоне. О, боже, что это была за земля, голландская почва! На моей ладони лежал черный от ила, а может и мазута, сыпучий песок вперемешку с морским окатанным камешником и кусочками перламутра от истлевших раковин. На нем и стоял Роттердам — город на песке.

Глядя на город и его жизнь, приходилось понимать, что если бельгийцы прирожденные торговцы, то голландцы — из торговцев торговцы. Здесь торговая жизнь была еще более напряженной, насыщенной, кипучей, предложение везде опережало и превышало спрос. Но если в бельгийской торговле содержалась как бы какая-то неторопливость, а то и покорность богу и судьбе: «Ну, не берут — что делать? Нет покупателя, где его взять?» — здесь торговали напористо, зазывно, стараясь во что бы то ни стало опорожнить твои карманы.

В районе центральных площадей было множество цветов: цветы на окнах, цветы в витринах, цветы в торговых палатках и просто на мостовой, на площади. Голландию с успехом можно назвать и страной цветов: тюльпанов, ирисов, гладиолусов, нарциссов, лилий, орхидей и так далее. В цветочных магазинах продавали не только живые цветы в букетах, например, очаровательные, обрызганные словно бы росой, красные, белые и кремовые розы, здесь продавались и тропические комнатные растения и, что более удивительно, растения искусственные, но подделанные так изумительно, что не хотелось верить в их безжизненность. Здесь можно было купить и ветви, и стебли, и цветущие экземпля-

ры — все искусственное, ложнопрекрасное, из какого-то пластика, так похожего на натуральную зелень. Этот пластик блестел от «росы» и словно бы благоухал.

Были в продаже и кактусы, суккуленты, которые мы особенно хотели посмотреть: мезембриатемумы, литопсы — живые камушки и рогато-колючие молочаи. Все это богатство вызывало жадные взоры мои и жены, ибо оба мы давно принадлежим к неисправимым любителям экзотики, и кактусов в частности, да что поделаешь: денег мало, а на провоз растений нужны какие-то там карантинные сертификаты, одним словом, не купили, не взяли, хотя и жалели потом.

Цены же в Роттердаме внушали уважение. Что же это такое? Ведь в Бельгии тот же товар чуть не вдвое дешевле. Надо же! Надо же! — ахали дамы, сокрушаясь, что не истратили драгоценные франки.

— О-о, да... Цена люкс! — подтвердил и месье Роже.— Я же вам говорил. У голландцев все дороже... Я здесь никогда не покупаю.

— А где же? В Бельгии?

— Нет...

— А где же все-таки??

— Покупать дешевле в провинция... Там цена ниже. Но я предпочитаю ездить за покупками в Англию. Ето близко. Товары в Англии я считаю дешевле и лучше. Вот и отсюда, из Роттердам, можно самолетом и поездом в любую страну. В Париж и Брусель поезда идут каждый два часа. Можно и в Москву. Есть поезда.

— Поездом? — сказала жена.— Поедем домой?! Я очень устала от этих соборов, магазинов, отелей, я так хотела бы сейчас покопаться в огороде, на даче, попить чаю с вареньем. Поедем? — она грустно улыбалась. А я понял, что она высказала и мои мысли.

Как всякий крупный город, Роттердам имеет большую картинную галерею, конечно, с картинами Рубенса, Рембрандта, Йорданса и прочих фламандцев и голландцев. Осмотр галереи, однако, занял минимальное время. Что поделаешь? Галопом по старым голландцам и фламандцам, почти рысью мимо Йорданса и Рубенса. Кто-то из «западников» крикнул, что здесь есть Модильяни и Сальвадор Дали. Ах! Ох! Что вы говорите?! О-о! Модильяни! Дали! О-о! Женщина-искусствоведка чуть ли не ломала руки, закатывала глаза.

Ничего не понимаю. Ведь вот в Антверпенском музее

мы видели одну из лучших картин Модильяни «Обнаженная», и никто не ахал. То ли знатоки не поняли, что это Модильяни. Хотя стиль, его манера, его краски, его узкобедерные, необыкновенно длиннющие женщины с прогнутыми, как у антилоп, шеями бросаются в глаза сразу, их видишь, не будучи специалистом. Но, кажется, важно прямо посмаковать, как же: «Модильяни! Модильяни! Ах, я безумно люблю Модильяни! А Дали? Где же Дали?»

Картин Модильяни мы, однако, не увидели. То ли не хватило времени, то ли просто не нашли, путаясь в многочисленных залах, таких же пустых, как и в Бельгии, однако охраняемых бдительными мужчинами-служителями. Вот уж воистину служители искусства.

Зато картины Дали увидели снова. Нагромождение кошмаров, каких-то вывернутых внутренностей — шизофренический бред на обычном для Дали желто-розовом фоне. Хотелось задать риторический вопрос: если верен постулат, что искусство всегда стремление к красоте, правде, к совершенствованию и утверждению этой правды и красоты, то что́ утверждает и совершенствует Дали?

Здесь была правда ужаса и торжествующего надругательства. Здесь художник, словно бы усмехаясь, подсовывал зрителю живописные помои, обглоданный бред. И если Дали художник прославленный, то известность его сплошь росла на эпатаже зрителя, и эпатаже назойливо-кошмарном, вывернутом внутренностями в лицо. Нате! Ешьте! Ужасайтесь — и хвалите! Ах, непознаваемо! О-о! Кка-кая глубина! И так далее...

Образец беглого разговора с одним ценителем.

— Неужели вам правда нравится?!

Снисходительный взгляд, в котором пропись: «Ну, вы же троглодит, невежда, вам не хватает культуры», и подчеркнуто вежливое пояснение:

— Но это же не реализм.

— Да, и это я знаю. Сюрреализм, причем тридцатых годов. Не так ли?

Взгляд несколько смягчается.

— Так вы знаете Дали?

— Насколько это возможно. Знаю и не принимаю абсолютно, как здоровый психически человек не может всерьез принимать сумасшедшего.

— Простите, но ведь здесь изображения интуитивного знания, сна, предчувствий.

— Тогда что такое бред?

— Это болезненное состояние!

— Во время сна, не так ли? Или болезни.

— Согласен.

— Так вот сейчас это и созерцаем, только поданное методом изобразительного искусства. То есть даже не бред, а ловкую подделку, конструкцию, если угодно, клише бредового состояния, сконструированного талантливым, это я не отрицаю, имитатором от искусства.

— Ну, об этом можно спорить.

— Да, можно...

Однако экскурсия кончается, и нас уже ждут.

Да, Дали сконцентрировал в себе все возможное от модернизма и вывихов всех эпох. Это эрудит. Ему годится все: от пещерного инфантильного примитива, через кошмары Босха — к изломам Пикассо и цветовому надругательству Матисса; загадки Кирико и Шагала, плоские муляжи Руссо — все есть, все в дело, приправим еще ребусами Кандинского, добавим, может, и многозначительность Делоне, и собственный, так сказать, желтый и розово-винный цвет гноя и сукровицы с выкладкой на этом фоне каких-то растекшихся муляжей, костей и жутких обрубков тел. Картина сварганена! Теперь заголовок потаинственней, потошнотворнее. Ну-ка? Да вот, пожалуйста: «Осеннее каннибальство»! Картина сия имеется в Лондоне, в галерее Тейт, но, вероятно, хватит о Дали...

Глава XI

ГААГА — САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД В МИРЕ

Фарфоровый Дельфт. Башмаки-кломпы. К вопросу о книге. Самая большая деревня. Мадуродам. Галерея Морицхейс. Пресыщение искусством. Дама, приятная во всех отношениях. Голландский Гарлем. Музей Франса Гальса. Поэт и пиво. Почему в Европе боятся японцев.

По пути от Роттердама до Гааги — расстояние невелико — сплошные поселки, пригородный ландшафт интенсивного хозяйствования и теплицы, теплицы. Как и в Бельгии, здесь выращивают овощи-«люкс», землянику, цветы, кактусы, декоративные тропические растения, орхидеи, а также виноград и цитрусовые. Цветы Голландия экспортирует с незапамятных времен, и прежде всего тюльпаны. Как странно, что тюльпан, цветок степей и гор, нашел здесь свою новую родину и пережил как бы эпоху Возрождения в тысячах сортов, новых окрасках и формах, какие не могла дать ему природа. На тюльпанах и розах, возможно, нагляднее всего видится, на что способен человек-творец, его ум, эстетические чувства и труд. Проезжая мимо тепличных полей, я вспомнил, что на аукционах тюльпанов, какие специально устраивались в Голландии, ценители платили тысячи гульденов за одну луковицу нового сорта, какой-нибудь черный тюльпан, который с незапамятных времен является фетишем цветоводов, равно как не поддающаяся воспроизведению голубая роза.

Помимо цветов Голландия экспортирует, конечно, и традиционные молочные продукты, масло, сыр, мясо, бекон и мало ли что еще из того, что производит ее высокопроизводительное сельское хозяйство и цепко следящая за мировой конъюнктурой промышленность.

Остановка на площади небольшого старинного городка. Это Дельфт — родина голландского фаянса и фарфора. Каменная площадь городка сегодня насыщена музыкой, уставлена пестрыми качелями-каруселями, всюду детский крик, шум и гам — справляется какой-то городской праздник, не исключено, что он связан с именем некоего святого и карусели крутятся на католические деньги.

Бьют барабаны. Дудят трубы. Хохочет детвора. Веселый город Дельфт. Здесь родился и жил великий голландский художник Вермеер Дельфтский. Я очень люблю его немногочисленные картины, чистые, ясные краски, спокойные лица женщин, одна из них, видимо постоянно позировавшая художнику и запечатленная им на нескольких полотнах, напоминает мне мою мать в молодости, а может быть, и ту, что родила ее,— здесь как-то неуместно звучало бы слово «бабушка».

Когда отойдешь от веселой центральной площади и стихнет ее шум, город откроется во всей своей истинной

тихой и пасмурной сути и сразу напомнит города Фламандии, тот же Гент или Брюгге, только Дельфт много меньше, компактнее. Те же узкие каменные улицы с чахлой травой меж булыжниками, остро-высокий шпиль собора, дома старинной архитектуры примерно семнадцатого и шестнадцатого веков, в которых и сейчас живут-поживают, не меняя их облика, а лишь приспосабливая средневековое жилье изнутри к потребностям нового времени. В Голландии нет «заповедников старины», в ней, старине, просто живут. Любовь к старине в сочетании с безмерной практичностью позволяет голландцам совмещать малосовместимое. Мне кажется, они и сейчас вполне могут варить варенье в кованом медном тазу трехвековой давности, помешивая ложкой, которой обедали двадцать поколений.

Ча́са хождения по центру хватило, чтобы осмотреть основные достопримечательности и магазины Дельфта, забитые главным образом знаменитым дельфтским фарфором и фаянсом. Фарфор этот, белый с голубыми и синими узорами и рисунками, отчасти напоминает китайский, особенно вазы. Изобилие изделий невероятное. В магазинах ни души. Правда, цены на все эти сервизы, чаши, бокалы, статуэтки и фарфоровые сувенирные башмаки-кломпы, что называется, соответствующие.

Кломпов особенно много. Эти башмаки некогда выделывались из дерева и были принадлежностью сугубо голландского быта, равно как в старой России лапти. Теперь эти деревенские башмаки-корабли — предмет туристского бизнеса. Есть и фарфоровые кломпы с росписью размером от наперстка до огромной галоши. И мы не утерпели, купили кломпы. Вот они: синее море, синяя мельница, синие тучки — сувенир из Голландии, из славного города, где жил Вермеер Дельфтский.

А еще зашли мы в книжный магазин, он был по соседству с фарфоровым. Изобилие книг как-то непривычно, несопоставимо с пустым пространством около них. Впечатление, что ходишь в библиотечном хранилище, куда доступ всем, кроме библиотекарей, воспрещен. Рядами на стеллажах, на стенных полках, в открытых витринах книги. Ходи и выбирай: искусство, путешествия, художественная литература...

Когда я заглянул в стеллажи с книгами о животных, разбежались глаза. Хотелось взять и то, и другое, и третье. Но как жаль — все не на моем родном языке. Долго

держал в руках цветной атлас «Бабочки мира». Прекрасная книга с яркими экзотическими мотыльками. Семейство папилио! Парусники и кавалеры! Павлиноглазки. Редкостные бабочки морфо из Бразилии с Амазонки и Ориноко. Птицекрылые бабочки с Малайского архипелага и островов Океании. Прекрасная книга, а главное, очень мне нужная. Где и когда я еще найду такую? Но — цена! Ставлю книгу на место. Сожалею и сейчас. Когда еще я поеду в этот Дельфт. Хотя уверен, книга стоит там и теперь, на длинном центральном стеллаже недалеко от входа.

— Гаагу,— говорит месье Роже,— называют самой большой деревня в мире.

Действительно, я, пожалуй, не припомню крупного города с почти шестисоттысячным населением, столь зеленого, малоэтажного, укрытого этой зеленью, садами и парками и прорезающими город садовыми бульварами. Куда ни глянь, везде кроны деревьев: дубы, платаны, клены, каштаны — царство зелени, еще нигде не желающей желтеть. В Гааге не так уж много каналов, или они тоже спрятаны в зелени, не бросаются в глаза, как в каменных городах Фландрии. Скорее всего, эта столица Нидерландов напоминает бесконечное ухоженное предместье, хотя, разумеется, есть и центр, площадь, и ратуша, и дворец королевы Юлианы, охраняемый гвардейцами в опереточных ярких мундирах и мохнатых медвежьих шапках.

Нидерланды, как и Бельгия,— конституционная парламентарная монархия-королевство. И хотя над страной главенствует пожилая королева Юлиана — образова́ннейшая женщина, как с великим почтением назвал ее месье Роже,— фактически власть находится в руках правительства и парламента. Со школьной скамьи нам внушалось, что в таких странах, как Англия, Нидерланды, королева царствует, но не управляет. Подавалось это утверждение примерно как вариант сказки о «Золотом петушке». Но так ли это? Становясь взрослее и просвещеннее, вглядываясь в жизнь зарубежных королевств, невольно приходишь к мнению, которое прекрасно сформулировано у нашего талантливого автора книг об Англии и Японии В. Овчинникова (смотрите его книги «Ветка сакуры» или «Корни дуба»). Овчинни-

ков очень ясно показывает, что и в парламентарной форме королеве принадлежит значительная роль. Будучи посвященной абсолютно во все внутренние и внешние дела страны (для чего, например, английской королеве ежедневно, где бы она ни находилась, доставляются так называемые «красные портфели» со всеми новостями и секретными бумагами), являясь как бы самым почетным и независящим от выборов, несменяемым и постоянным членом кабинета министров, обладая правом «предостеречь и предупредить», колоссальными наследственными, дворовыми и междворовыми связями и, наконец, традиционным королевским статусом, короной и атрибутикой власти в любых глазах от простолюдина до премьера,— королева может очень многое и в политической жизни страны, возможно, порой играет роль ферзя, если прибегнуть к шахматной терминологии.

— Гаага — город чиновников и пенсионеров,— говорит месье Роже,— кто раньше жил в голландской Индонезия... Люди с капиталом поселялись сюда. Здесь есть очень богатеющие, очень фешенебельные кварталы. Каждый здесь живет по его средствам... Есть, конечно, и кварталы мусорные, грязные. Но в основном это очень чистый город. Голландия, кстати, всегда славилась чистотой. Но ето до последних лет. В последние лета что-то случилось, и в городах стало полно мусора, и только поселки на море еще чисты... Ето все молодежь. Она не хочет ничего признавать. Ужасны паденья нравы... Нет авторитеты. А про ети хиппи — не говорю. Ето вандалы... А еще наркомания и секс...

Вечерело. Разнесло тучи. Красная и все-таки осенняя заря стояла над этим зеленым паркоподобным городом. Даже и гостиница, где мы остановились на ночлег, называлась «Парк-отель», на улице Молинстраат. Никак не могу привыкнуть к голландскому языку. Думал, похож на немецкий — в произношении мало сходства, и на английский не похож тоже, нечто среднее. Вот улица по-немецки «штрассе», по-английски «стрит», а по-голландски — «страат».

На другой день,— а он выдался солнечным, жарким, веселым, словно бы совсем лето,— мы знакомимся с достопримечательностями Гааги.

Для начала — Мадуродам — игрушечная Голландия.

Нет путеводителя или туристского проспекта по Голландии, где бы его не рекламировали как восьмое чудо света. Мадуродам — это Голландия в миниатюре, Мадуродам — это возможность побыть Гулливером, Мадуродам — это фантастично и увлекательно, здесь взрослые становятся детьми. Услышав фамилию Мадуро, я конечно, спросил, какое отношение она имеет к острову недалеко от Явы или Суматры (не помню точно) и не те ли это Мадуро, что стали миллионерами за счет Индонезии и Гвианы, когда эти страны еще именовались «голландскими».

— О-о! Да! Да! Богатеющие люди! — подтвердил с почтением гид. И пояснил, что игрушечный город Мадуродам создан как памятник одному из членов семьи мультимиллионеров — молодому офицеру, погибшему во второй мировой войне.

Можно было ожидать, что такое увековечение памяти — дело святое и уж, конечно, бесплатное, коль рассчитано главным образом на юных посетителей и гостей столицы. Ничего подобного. У входа с мемориальной доской, где сказано о жизни и гибели молодого офицера Мадуро, железные двери, далее ряды касс под крышей и рослые служители в формах, напоминающие таможенников и полисменов. Четкий контроль оплаты, четкая проверка билетов. А городок обнесен высокой решетчатой изгородью, вдоль которой также прогуливается бдительная стража, следит, чтобы какой-нибудь бойкий пацан не перемахнул через забор.

Идем по дорожкам, созерцая, конечно, не всю Голландию, но какую-то ее часть, воспроизведенную с уменьшением в одну тысячную. Игрушечные замки, соборы со шпилями до колена, игрушечные фермы, поля, каналы, мельницы и дороги. Бегут автомобильчики, электропоезда, пасутся коровы на пастбищах с носовой платок. Есть даже аэропорт, где выруливают на взлетную полосу иностранные лайнеры (советских, конечно, нет). Все имеется в этой стране: дамбы, каналы, деревья — все, кроме радушия. Везде видишь пристальный взгляд служителя — как бы кто не украл домик, не стащил куколку, самолет, не сломал бы, боже упаси, какую-нибудь подробность, игрушку. Мы обошли этот Мадуродам, дивясь, как это можно еще и зарабатывать на памяти того же молодого офицера, погибшего — не припомню точно, но, кажется, в концлагере. В концлагере!

«Оч-чень богатеющие люди!» — хотелось иронически повторить.

Мы покинули Мадуродам с тягостным впечатлением околпаченного рекламой зрителя.

Путеводитель по Гааге предлагает все виды развлечений: вы можете посмотреть порт и покататься по морю, вас ждет модный курорт Швенингем, где имеются пляжи: бесплатный, платный и нудистский, отдельно от прочих, где туристы, мужчины и женщины, могут загорать в чем мать родила. В Гааге, разумеется, и множество музеев, в том числе музей костюмов, музей почты, кукол, автомобилей, яхт; есть панорама, зоосад, аквариум, экзотические рестораны, вроде ресторана «Батавия» с индонезийской кухней, и прочая, и прочая — все не опишешь.

Мы же должны были посетить дом Морица — Морицхейс, то есть королевскую картинную галерею. Дом этот, а точнее, дворец в стиле ренессанс был построен в первой половине семнадцатого века для принца Иоганна-Морица, родственника голландских правителей штатгальтеров, бывшего когда-то губернатором в Бразилии. Впоследствии квадратное здание дворца на берегу тихого чистого водоема стало хранилищем картин, причем подбор их связан с величайшими именами корифеев голландской живописи. Здесь есть полотна Рембрандта, Вермеера Дельфтского, Рогира ван дер Вейдена, Рубенса, Йорданса, Франса Гальса.

Рембрандт представлен в галерее портретами, картиной «Перенесение во храм», картинами «Давид и Саул», «Два негра», «Гомер» и огромной, но не сказать чтобы приятной, картиной «Анатомия доктора Тульпа». Не знаю, что вдохновляло в данном случае великого художника, но труп написан действительно трупом, от него словно струится запах. Такие картины удивляют, хотя искусствоведы готовы защищать их якобы эстетические достоинства. Я же в данном случае выражаю чисто зрительское ощущение.

Рубенс представлен здесь портретами обеих жен, картиной «Земной рай», которую он писал совместно с Яном Брейгелем. Йорданс — широко известным полотном «Поклонение пастухов», Франс Гальс — несколькими прекрасными портретами. А Ян Вермеер Дельфтский тремя картинами. Это «Девушка с жемчужной серьгой» (надо видеть, как написана и девушка и жемчужина:

это две жемчужины!), легкий, почти акварельный «Вид города Дельфта» и картина в классическом стиле «Диана и нимфы». Последняя как-то нехарактерна ни по теме, ни по исполнению для Вермеера.

Морицхейс мы смотрели недолго. Пресыщенные искусством, едва не устроили бунт, громко требуя возвращения на свежий воздух. И если уж быть справедливым, протест был обоснован. Как бы ни была прекрасна живопись, велики и славны ее имена, мы были близки к отупению. Мозг, по-видимому, имеет информационные и зрительские пределы и сейчас требовал разрядки и отдыха. Вместо красоты, застывшей в широких золоченых рамах, хотелось просто смотреть на прекрасный парк возле музея, на переливающуюся под ветерком и живо отраженную в пруду красоту старых дубов, каштанов и лип. Позднее лето догорало и грустило в их кронах, и, выбравшись из музея, мы с наслаждением посидели на какой-то каменной скамье,— просто напитывались голландским воздухом, шумом деревьев, их запахом, тонко растворенным в чистом парковом воздухе этого безмятежного города.

Впереди нас ждал Биненхоф, где, как вещал путеводитель, помимо залов палат (сената и палаты депутатов) есть рыцарский зал, в нем королева и князья клянутся перед парламентом исполнять принятые им законы.

И сегодня же мы выезжаем в конечный пункт нашего путешествия: во вторую (или первую?) столицу Нидерландов — славный город Амстердам, самый большой город страны. В Амстердаме мы должны прожить три дня с выездами в провинциальные города Алкмар и Зандам, в рыбачьи поселки. Из Амстердама мы полетим домой, в Союз, в Россию! Многие уже порядочно наскучались, а мы, кажется, в особенности. Тоска особенно долит вечерами, когда укладываешься спать в новой, незнакомой гостинице и вспоминаешь дом, всех домашних, даже кота. Вспоминаем вместе, а если я один, то стараюсь не напоминать жене — она переносит разлуку с домом еще тяжелее. Да. Хочется домой. Хочется, и не радует уже никакая новизна. Ничего не радует. Дома сейчас осень. В огороде на даче не копана картошка... Отцветают розы... Ох, домой надо. ДОМОЙ...

После обеда в ресторане «Гауде Ховт» снова садимся в свой бело-синий автобус. Месье Леон флегматично

докуривает сигарету, месье Роже занимает свое кресло у передней двери, осведомляется о самочувствии.

— О-о! Великолепно!

— Сказочно! Изумительно!

— Надоело... Сколько можно галерей, соборов...

— Домой хочется...

— А я не тороплюсь в свое Медведково.

— Пивка бы по-русски! А то что это? Бутылка называется! На один глоток!

— И па магазинам ни пахадили как следует... Саборы, саборы...

— Да-а... У нас пиво в Сандунах... Да хоть бы и на Калининском...

— Товарищи, все ли здесь? Считаю по головам. Раз, два... четыре.

— Шафиги нет!

— Ха-ха! Опять...

— И этого Гриши, ну, из Казани...

— Господи, какие несобранные! Ужас! Паехали, чиво там! Семеро адного не ждут!

— Что вы? Что вы?! Мы же не дома...

— Безобразие, так подводят группу!

— Да паехали, пускай их остаются!

— Х-ха-ха-ха!

— Вон они! Вон! Бегут!

— Безобразие!!

Появляются возмутители спокойствия. Бегали за покупками. У поэта Гриши золотой чайный сервиз! Гриша ликует: «Очень дешево!» Гриша практичен, он не тратит денег по мелочам. Успел даже, естественно тоже «очень дешево», купить магнитофон «Филипс». И теперь Гриша очень горд и соблазняет других членов группы.

— Товарищи! Все? Раз, два, три... Пять... Не пересаживайтесь, пожалуйста... Двенадцать... Шестнадцать... Двадцать один... Ну, все. У-ух... Поехали!

Руководителя у нас зовут Владимир Ильич. С руководителем нам повезло. Спокойный. Уверенный. Бывалый человек. Нигде не теряется. Не давит на психику. Не повышает голоса. Полный демократизм и доверие. Вот и сейчас на опоздавших только взглянул, хорошо так посмотрел — поняли, до следующей отлучки... Люди эти вроде трудноисправимых. Мы все признаем авторитет Владимира Ильича. Все ему беспрекословно подчи-

няемся, и разношерстную нашу (прошу прощения за грубость) группу он объединяет как некий многополюсный магнит.

Напомню, что в нашей группе среди прочих оказалась женщина, которая является как бы сквозным персонажем во всех абсолютно поездках и, наверное, во всех группах,— это женщина, которой надо все время что-то объяснять или помогать. Фиксирую внимание читателей на том особом сорте людей (это могут быть и мужчины), которые словно с пеленок считают, что кто-то обязательно должен им помогать, вести за руку, оказывать содействие и предпочтение, словом, вы поняли, какой тип людей автор имеет в виду. Из женщин это обычно дамы возраста вечной весны, к тому же считающие себя очень красивыми, ну, во всяком случае привлекательными и юными. В дорогу они берут с собой два гигантских чемодана с нарядами, полагая, что за границей надо одеваться с зарубежно-киношной грацией, и уже в Шереметьево начинают беспомощно озираться: «Но кто ж мне поможет? Ах, вы? Пожалуйста, вот эти чемоданы. Я не в силах...» И так всю поездку. Все путешествие у них в услугах «некто» с доброй душой, а то и два-три таких «некто», которых дама эксплуатирует без зазрения совести.

Тем временем автобус мчал нас по сырой и зеленой Голландии, в окно пахло дождем, набежавшей тучей, тяжелым небом, что как-то внезапно сменило ликующий день. Ну и погода в здешних местах! Опять на болотно-ярких выгонах паслись самостоятельные и независимые коровы, в канавах между усадьбами полоскались утки, или они летели куда-то, быстро дробя воздух крыльями, рождая охотничьи воспоминания и сцены, будили в памяти российские просторы и болота. Тургенев вспоминался. «Записки охотника». «Льгов». Вот такие же утки, вытянув шеи, несутся к неведомому озеру, а внизу перелески, дали... Но тотчас заоконный ландшафт глушил эти широкие воспоминания. Здесь не было леса, не было словно и далей. Короткая перспектива упиралась в домики ферм, а то было и так, что дорога шла как бы в лотке, а выше и рядом — удивительно, как он не переливался сюда,— стоял канал с черно-стальной опасной водой. Тогда становилось жутковато ясно, что ты в Голландии, что воды здесь едва ли не больше, чем земли, что все пронизано, прососано этой водой, что она не

только благо и богатство, но и бедствие. «Нидер — ланды»,— рассеянно сказала вслух жена.

— Их еще можно было назвать Зеленой страной, но тогда бы это была Грюнландия, а она уже есть...— откликнулся я.

— Да, все-таки удивительная страна. Такое безлюдье, коровы, утки и цветы. А я почему-то ждала, читала, что тут будут все мельницы, мельницы... Где же они?

Мельниц действительно не было, а если и попадались, то не чаще, чем в соседней Фламандии. Я знал, что голландские мельницы не столько мелют зерно, сколько выполняют другую механическую работу: качают воду, дают электроэнергию, приводят в движение машины и тому подобное. Одно время в Голландии мельницы начали сносить. Энергия нефти и газа вытесняла четырехкрылое, допотопного вида чудо. Ныне интерес к мельницам снова пробудился. В семидесятых годах поднялись цены на нефть, и мельницы снова ожили вместе с расцветом велосипеда.

Пока я раздумывал о проблемах мировой энергетики, мы прибыли в город Гарлем, или Харлем (так, видимо, ближе к истинному произношению). Гарлем — буду его называть все-таки как пишут обычно — древняя бывшая столица Голландского графства и, конечно, как водится, со всеми атрибутами этой старины: ратушей, собором, площадью, торговыми улицами. Собор, помнится, опять святого Бавона. Все это мы осматривали уже мимоходом, что поделаешь — времени нет, да и святых Бавонов повидали с лихвой, а вот музей Франса Гальса уже не пробежишь. Он не слишком велик, но богат по количеству работ великого живописца и портретиста. Более всего впечатляют большие картины — групповые портреты, которые были характерны для XVII—XVIII веков и, может быть, вообще времени без фотографов. Эти картины живописцам заказывали знатные и даже не слишком богатые горожане, что называется, «в складчину». Может быть, в групповом портрете отразились и присущий голландцам коллективизм и практицизм. И вот появились портреты гильдейского руководства, портреты офицеров стрелковых соединений, портреты самих стрелков. В XVI и XVII веках города оборонялись собственными силами и средствами, для чего в них создавались роты и полки непременно с име-

нем какого-нибудь святого-покровителя. В Гарлеме были две таких роты — святого Георгия и святого Адриана. И вот мы видим в зале даже несколько картин Гальса, где изображены эти давно ушедшие стрелки и офицеры. Громадная картина «Банкет офицеров роты святого Георгия», 1616 год! Застолье, где все пирующие как бы вдруг обернулись и посмотрели в глаза великого живописца, и великая волшебная кисть мастера остановила мгновение, оставила нам навечно облик и внутренний мир каждого из сидящих за столом и тех, кто стоит около него. Об одной этой картине можно было бы написать поучительную книгу. А в музее есть еще и «Банкет офицеров роты святого Адриана», и просто «Пирующие стрелки», и «Регентши богадельни», и гигантский групповой портрет выстроенных в два ряда стрелков роты святого Георгия. Конечно, групповые портреты — живопись на любителя и знатока, на них долго не остановишься, тем более что времени в обрез, но в музее Гальса при общем и, пожалуй, разительном превосходстве его кисти и работ, развешанных в разных залах, было много и другой традиционно голландской живописи менее знаменитых мастеров. Лодки. Гавани. Бурное море и неспокойные небеса. Чистые старые городки, улицы, площади. Жанровые сцены, и даже весьма фривольные, в духе «веселой старой Голландии». Ну, например, картина живописца Корнелиуса Гарлемского, где распутного вида монах держит за грудь молодую монашку. Многие картины музея Гальса представляют просто историческую и чуть ли не археологическую ценность, ибо изображают древние города Голландии в их первозданном виде, в них живет история, дышит многотрудная судьба Нидерландского королевства.

Время не давало возможности долго бродить по залам, а желание запечатлеть старый город выгнало нас на его узкие и довольно прямые улицы с домами невысокой старинной застройки. Нынешний Гарлем производил не слишком приятное впечатление: даже днем улицы рядом с центральной, где шла торговля, были глухо безлюдны, пыльные стекла, облупившиеся стены, дома, отвернувшиеся от улицы и словно совсем мертвые, необитаемые. Недаром, наверное, голландцы назвали Гарлемом и ту часть нынешнего Нью-Йорка, где живет негритянская беднота. Гарлем и есть Гарлем. В центральной же части града, где, повторю, магазины были

словно разноцветные бусы на шнурке, запомнился мне почему-то магазин обоев и обойных материалов. Чего только не было в этом однокомнатном магазине! Товары не вмещались в него и были разложены на стеллажах прямо на улице, стояли и висели в широком окне. Обои всех расцветок и рисунков, багеты, рейки, цветное покрытие для полов, линкруст для обивки стен, мастики, лаки, малярные кисти и шпатели,— здесь было все для отделки любой квартиры, хоть бы и дворца. Не было только ни одного покупателя, и мрачный молодой хозяин сидел у дверей на раскладном стульчике, без большого интереса поглядывал на нас.

Мы покинули город Гарлем с его музеем, старой большой богадельней, каналами, заросшими ряской, и улицами времен если не Ветхого, то все-таки и не Нового завета.

Теперь впереди нас ждал Амстердам.

— Голландцы живут очень расчетливой, но и очень трудовой жизнь,— говорил месье Роже.— На такой земля создать столько богатство — это подвиг. Но за ето часто голландцев не любят. Человек вообще так устроен, что он не любит, когда у кого-то лучше живется. Это есть зависть. Ему подвержен все. Вот генеральный секретарь НАТО Лунс перед заседанием как-то шутил, думая, что его микрофон отключен, он сказал, что «из всех криков животных голландский язык самый гуманны...». Хо-хо... Но голландцы — народ необидчивый. Они знают себе цена... Лучше их работают в мире, наверное, только японцы. Японская конкуренция стала у-ужасно опасной. Японская сталь дешевле нашей, японские мотоциклы побеждают Европа, электроника вот-вот побьет даже «Филипс». А «Филипс» понятие всемирно известное. Мы оч-чень боимся от японцев...

В словах месье Роже было немало правды. Принципы формирования японского национального характера в значительной мере совпадали с формированием этого характера у голландцев и бельгийцев. Бедные ископаемыми недра, борьба с океаном (в Японии еще и с землетрясениями), большое население, тощая земля, которую надо сделать рождающей и плодородной... Хочешь не хочешь, в таких условиях крутись, думай, добивайся, чтобы плоды твоего хозяйства, изделия промышленности были конкурентоспособными. Не выжил — тебя ждет финансовая, а с нею часто и физическая гибель. Здесь

природа не дает человеку займов, здесь не выедешь на ней, как на неком всевыносящем коне.

— Месье Роже, расскажите, пожалуйста, что-нибудь парадоксальное из бельгийской или голландской жизни,— чей-то вопрос.

Роже усмехается.

— Парадоксов у нас так много, что, если я начну рассказывать, хватит на все путешествие. Ну, вот, например, в Голландии есть турма, построенная куполом, как цирк... А у нас, в Бельгия, так же и в Дания, есть налог на собак. Он зависит от величины собаки и ее породы. Минимальны налог 1500 франки, максимальны 5 тисачий. Поскольку собаки измеряются в высоту, то бельгийцы стали разводить собаки, которые растут в длину, например, таксы...

Глава XII

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД ГОЛЛАНДИИ

Амстердам — дамба на Амстель. Сколько в мире Венеций? «Спасибо за обед для бездомных кошек и собак». Рейксмюсеум. Магазины секса. Цензура по-голландски.

В шесть часов вечера мы прибыли в Амстердам. Перевод названия города: дамба на реке Амстель. В пригороде снова исписанные краской стены, причем надписи совсем устарелые — против войны во Вьетнаме, против фашистской Италии. Похоже — надписи на стенах здесь берегут как национальную святыню или памятник прошлому.

Теперь нас привезли на окраину города, неблизко от центра. Отель многоэтажный, современной постройки серый прямоугольник без затей, со странным названием на крыше: «Каза-400». Суть названия я, к сожалению, не выяснил, и это мучает меня и сейчас. Впрочем, пусть так и будет: «Каза» и «Каза», только вот почему 400?

Номер на седьмом (то бишь восьмом!) этаже открывал панораму Амстердама, а поскольку, пока мы ехали, гид называл нам некоторые архитектурные памятники

и достопримечательности, я сразу сориентировался в планировке города. Старая часть его, та, что примыкает к морю, спланирована подковообразно, причем роль «подков», выходящих концами к морю, играют каналы. Это своеобразные водяные улицы Амстердама. Мне было известно, что город воздвигался на сваях, подобие тому, как строился Петербург, что в Амстердаме более трехсот каналов и тысяча мостов, что, по крайней мере, центральная подковообразная часть города фактически состоит из островов, так как каналы пересекают ее и в меридиональном направлении, отчего план города напоминает паутину, как бы рассеченную пополам, где роль нитей отводится этим водным улицам. Если уж искать сравнение с Венецией, то Амстердам приближается к ней, хотя, я боюсь, как бы не обиделись Стокгольм, Копенгаген, Роттердам или Брюгге. Более новая южная часть Амстердама стоит уже и на более надежной тверди. Каналов здесь меньше, но они длиннее, прямолинейнее и напоминают дороги. Сама же река Амстель, впадающая в город, имеет странную форму, явно исправленную трудом человеческих рук. На подходе к городу она широка, в городе постепенно суживается, а в старой части как бы исчезает в подковообразных каналах. Эти старые каналы носят пышные названия. Императорский, канал Принцесс (не скажешь ведь принцесский), есть и канал Буржуазный. Амстердам насчитывает около восьмисот тысяч населения и является административной столицей Нидерландов. Ориентироваться в городе хорошо позволяют башни и вообще высокие строения. Вот из окна нашего номера было видно колокольню древней церкви святого Николая, башню старой биржи в самом центре города. В сумерках город казался необъятным и таинственным — чудовищное сплетение человеческого труда, как бы застывшей воли, и думалось, сколько миллионов людей, сколько поколений целеустремленно трудились здесь, чтобы обжить эту нелегкую землю, возвести жилье, дворцы, соборы и церкви, провести метрополитен, обустроить все эти каналы, берега, причалы и построить все крепко, недоступно, казалось бы, для разрушающего действия времени, воды и других мощных стихий. Кажется, только так, вдумываясь и вглядываясь в результаты труда, можешь понять великую мощь человека.

Вечер у нас, как всегда, был свободен от ужина и

от экскурсий. Мы вышли погулять с намерением выбраться куда-то ближе к центру, но оказалось, что до центра пешком, видимо, очень далеко, а группа наша, как обычно, расточилась, исчезла, как дым. Наторелые, искушенные уже умчались куда-то в поисках развлечений, скептики сидели в номерах или в холле, где можно было, конечно, за плату смотреть телевизор. Семейные пары, очевидно, расположились на отдых, и мы были, как всегда почти, предоставлены сами себе, на что особенно не обижались, так как привыкли полагаться на свои силы. Отель «Каза-400» расположен действительно в захолустье. Мимо шли лишь бетонные мосты и какие-то не слишком оживленные дороги, далее улицы с немыми строениями, в другую сторону подобие бараков, населенных иностранными рабочими, там жили негры, пакистанцы, арабы, турки, слышалось пение транзисторов и крик многочисленных детей. Покружив в окрестностях отеля часа полтора, мы вернулись к гостинице, сожалея, что вечер в общем-то пропал, ничего не увидели, ничего не узнали, потратили драгоценное время на прогулки, как мы обычно ходим около дома по вечерам. Возле входа в отель, а также ресторан, я обратил внимание на железные ящички-урны с надписями. На одной было привычное: «Папир». В такие во всем Северном Западе бросают ненужную бумагу, другой ящик был с надписью: «Для бездомных кошек и собак. Благодарим за помощь!» Вот это уж было совсем хорошо. Сюда доброхоты и просто внимательные люди могли положить (и клали) недоеденную котлету, пирожок, куриную косточку и мало ли что еще, что есть в обиходе у приезжающих. На другой день я расспросил гида о назначении этих ящиков, получил весьма подробную информацию. Оказывается, в Амстердаме и в других городах Голландии бездомных собак и кошек, если они здоровые, отлавливают и не уничтожают, не отправляют на живодерню. Такие кошки и собаки живут в приютах для бездомных животных. В Амстердаме есть три баржи, одна для кошек и две для собак, где за бездомными животными ухаживают добровольцы из числа пенсионеров, любителей животных. Здесь же владельцы потерявшихся могут обнаружить своих питомцев и взять обратно. А корм для животных собирают в таких вот ящиках и ежедневно увозят,— заняты этим делом тоже доброхоты. По-моему, это очень гуманное

решение сложной в моральном и нравственном отношении проблемы общения человека с животными, которое не худо бы перенять и нам. Вспомните: душа ноет, когда видишь несчастное, потерявшееся и потерянное животное, когда представишь его дальнейшую судьбу, а чем помочь — разве что взять домой, как добрый клоун из «Каштанки»? Но всех дома не пригреешь...

К отелю потихоньку стекается наша группа. Отрадно слышать русскую речь на чужой земле, отрадно видеть знакомые лица. Вот наш мужественный руководитель Владимир Ильич с супругой, вот большой поэт в паре с поэтом поменьше, вот и «западники» в кожанках оживленно обсуждают впечатления от витрин и реклам дансингов, а вот и «молодожены», утомленные, едва влачат ноги. «Молодоженам», наверное, труднее всех — так велики нагрузки этого путешествия, пусть и не свадебного. Живешь в бешеном, непривычном ритме, усваиваешь за день то, что в ином случае усваивал бы месяцами, усталый мозг отказывается впитывать информацию и впечатления, а мы еще пишем, фотографируем, стараемся ухватить суть этой жизни.

Красивая индонезийка-портье со знойной улыбкой вручает ключ с надписью «КАЗА-400».

Гостиница новая, номер уютный, привычно современный, точно в нашей «России», а добрый час пытаюсь заснуть — никак не удается. Поток впечатлений продолжает прокручиваться в голове. Картины Голландии путаются с картинами Бельгии, возникают какие-то отдельные фрагменты: то телевизионная башня в Роттердаме, некоторое подобие Останкинской, то офицеры на групповом портрете Гальса, то вода каналов, засеянная утками (почему-то здесь больше всего селезней, очень нарядных по сравнению со скромными самками. Соотношение мужчин к дамам в утином роде примерно десять к одной. Что, если бы у людей было так же? Ужасно, не правда ли? А утки живут, не жалуются). Вот подобная чушь-чепуха лезет в голову, как навязчивый мотив, и не можешь уснуть, хотя гостиница тоже не спит, несмотря на поздний час: где-то назойливо играет музыка — уж не Гриша ли пробует свой новый «Филипс»? — очень на него похоже; слышатся явно возбужденные хмелем мужские голоса, не знаю, есть ли в Голландии хотя бы подобие сухого закона, как в Бельгии, а где-то наверху, сбоку — гостиница-то бетонная,

современная, и все слышно — женский голосок умоляет: «Нон! Нон!» Активная публика — туристы на этом Северном Западе... Голосок женщины похож на голос горничной-коридорной, может, я ошибаюсь. Наконец засыпаю, и так крепко, что едва просыпаюсь от телефонного звонка: «Месье?!» Так здесь приглашают к завтраку. Но с чего они решили, что мы французы?

Завтрак в отеле «Каза-400» выше всяких похвал. Булочки словно только что из печи, свежее масло, сыр, конфитюр, кофе и чай по выбору. Таков постоянный европейский завтрак. Нет овсяной каши, нет яичницы с беконом — так, говорят, кормят в Англии, там еще и чай ранний подается чуть ли не в постель, а здесь, в Голландии, все скромнее, похвальная умеренность.

Заканчиваем завтрак, по кусочку булочки предусмотрительно откладываем на вечер. У меня еще ломтик сыру остался. Отрезан он так тонко, что через него можно смотреть и видеть. Так в Голландии режут, стругают сыр везде. Кстати, о сыре. Он здесь точно такой же, какой мы едим дома, не лучше и не хуже, лишь нарезан тоньше. Всякие рассказы о том, что вот-де пробовал сыр в самой Голландии — так это не сыр, нектар, амброзия, пища богов,— обычное туристское вранье. Уж в чем, в чем — в сырах я понимаю толк и не хуже любого дегустатора по крошке могу назвать любой вид и сорт. Сыр моя любимая еда, без него я не живу и, признаюсь, страдал в поездке от слишком экономных порций сего продукта, особенно в Голландии.

— Куплю вечером здесь молока,— говорю жене,— и мы с тобой поужинаем.

Она согласно кивает. Оба мы за эти неполные две недели стали стройнее и моложе, приедем домой — не узнают...

Пока Владимир Ильич считает собравшихся по головам, пока ждем опаздывающую Шафигу и ту даму, что постоянно нуждается в помощи, пока наши трубочники важно дымят у входа в отель, фотографируются во вдохновенных и величавых позах, месье Роже объявляет программу на сегодня. Конечно, снова музеи-галереи. Музей национального искусства — Рейксмюсеум со старыми голландцами, музей Ван Гога, дом Рембрандта, центральная площадь и тому подобное.

Музеев в Амстердаме около сорока, и каких только нет. Здесь и музей кино, и музей библии, и музей аэронавтики, и музей театра, геологии, зоологии, музей восковых манекенов мадам Тюссо, и так далее, и так далее. Есть здесь известный на всю Европу зоопарк, есть множество памятников архитектуры и старого зодчества, королевский дворец, Южная церковь, Северная церковь, монастырь-бегинаж (вроде пансионата для старых богатых грешниц), есть древняя синагога, старинные мельницы, древнейшие мосты — всего не перечислишь...

Рейксмюсеум — длинное красно-кирпичное здание на берегу канала. Три этажа. Башни и башенки у входа. Постройка девятнадцатого века, но очень органично вписывающаяся в облик города, хотя Амстердам в общем разностилен и не слишком оригинален по архитектурной панораме, в нем нет того, что есть, скажем, в Генте, Париже, Брюсселе и даже в новом по архитектуре Роттердаме. В перечисленных городах имеется общий объединяющий стиль и тон. Амстердам если объединяет, то поразительное разностилье, словно каждый строился здесь на свой страх, риск и карман. В сущности, так оно, наверное, и было. Но вернемся в музей, войдем в его обширные залы, пройдем длинными и как будто галерейными переходами. Здесь собрано изобилие живописи, скульптуры и графики, однако не идущее в глубокую древность. Самый дальний рубеж представленной здесь живописи — это пятнадцатый век. В основу музейного фонда легли коллекции правителей старых Нидерландов — штатгальтеров, позднее дополненные уже целенаправленным собирательством попечителей музея. В Голландии, Бельгии, вообще на Северном Западе при музеях существуют обычно группы содействия, или общества друзей музея: это самые разнообразные ценители и коллекционеры, богатые меценаты и просто, скажем так, фанатики-собиратели и знатоки. Роль таких обществ друзей музея трудно переоценить. Это они ищут для музея шедевры, организуют покупки, складчины и тому подобное. Они же часто завещают музеям свои собрания и картины. Дары музеям очень распространены, и притом увековечиваются обязательно записью в каталогах и в самом музее, на стене рядом с картиной. Память дарителя и завещателя, таким образом, нетленна. И не это ли обстоятельство поощряет владельцев художественных ценностей не скупиться на дары.

О коллекции Рейксмюсеума, возможно, надо писать отдельную книгу или хотя бы большую главу. Но, не располагая уровнем знаний искусствоведа и знатока, я ограничусь лишь перечислением имен и сюжетов, быть может, задержусь у самых известных картин, ведь время не ждет и за полуторачасовую экскурсию, как ни сильсь, не охватишь глубинную часть живописного собрания.

В Рейксмюсеуме представлены главным образом голландские художники XVI и XVII веков и уже в меньшей степени фламандцы того же периода, а также итальянцы и испанцы. Есть, например, в собрании музея «Распятие» Эль Греко, «Портрет дона Рамона Ситуэ» Гойи, портреты кисти Ван-Дейка. Но главное собрание — мастера из северных провинций, то есть нынешних Нидерландов.

И конечно же, несравненный Рембрандт.

Вдумчивые глаза на портретах Гальса. Они словно преследуют вас. Вот блестящий портрет супружеской четы. Скорее всего, это молодожены. Юная жена-девочка в белом чепце и супруг, явно довольный своим счастьем. А вот тот же Гальс, и совсем другое изображение. Веселый пьяница. Бесшабашный собутыльник. Все-все рассказала, раскрыла без меры проницательная кисть: пьяную удаль, веселый нрав, небогатую жизнь под девизом: «Завей горе веревочкой!» Не похож на две названные картины третий портрет кисти Гальса «Маритге Фоогт» — чопорная умная дама, сидящая в кресле с Библией на коленях,— образец заказного парадного жанра.

Якоб ван Рёйсдал. Старая, старая Голландия. Руины замков. Мельницы. Дубы. Океанские облака. Рыбные лавки. Шумные застолья. Мрачные, сырые города, штормы — вот тематика его картин, а также Яна ван Гойена, Хендрика Аверкампа, Питера Артсена. Религиозные темы полотен Луки Лейденского, чем-то напоминающие палитру Босха и картины Ван Эйков. Великолепный портрет «Святой Марии Магдалины» — работа Яна Скорела. Могучая красавица с кубком на коленях на фоне условно-традиционного пейзажа с далями и дубом. Ян Скорел был одновременно блестящим художником, просвещенным путешественником, знатоком и ценителем искусства (он был, например, хранителем античных коллекций при дворе римского папы), как

повествуется о нем в путеводителе по музею. А в книге К. Егоровой «Музеи Голландии» о Яне Скореле сказано просто: «Он был духовным лицом (каноником собора в Утрехте) и прославленным художником. Благочестие нисколько не мешало ему писать святых со своей возлюбленной Агаты ван Схонховен. С нее была написана и принадлежащая Рейксмюсеуму «Святая Мария Магдалина». Книгу Егоровой, небольшую, но талантливо написанную, я прочел едва ли не за десять лет до посещения Амстердама, и все-таки она помогла мне найти в залах «изюминки», хотя бы портрет вот этой Магдалины, в которую и сегодня можно влюбиться. Духовник понимал толк в женской красоте, впрочем, Ян Скорел был, видимо, больше художником, чем пастырем.

С холстов глядит вся многотрудная история страны. В музее множество групповых и одиночных портретов: бюргеры, торговцы, вельможи с двумя подбородками и надменным взглядом, властные женщины — вот, к примеру, портрет Марии Генриэтты Стюарт, достойной представительницы древнего королевского рода. Немалое количество натюрмортов с традиционным виноградом, кубками, столовым серебром, битой дичью, но все-таки везде преобладает пейзаж. Часто видишь на стенах и типичные голландские марины с кораблями, штормовыми облаками, классические лунные ночи и как бы покинутые даже призраками старые мельницы.

Время не позволяет разгуляться по музею, время торопит, и я все ищу своего любимого Вермеера Дельфтского, дольше положенного торчу перед картинами Рембрандта, хотя, вопреки молве, отдал бы предпочтение первому мастеру по виртуозности кисти, чистоте красок. Знаю, что в музее должно быть четыре работы Вермеера, и это богатство, ибо художник из Дельфта был не плодовит, картин его сохранилось немного. Вот наконец нашел и самую известную: «Служанка, наливающая молоко» — удивительно чистая, гармонично яркая и в то же время уравновешенная по цвету картина. Статная голландка наливает на кухне молоко из глиняного кувшина. Вроде бы что особенного? Но как можно в локальной сцене отразить живой женский образ, спокойствие, тишину, чистоту, а вместе с тем оставить как бы растворенное окно в домашнюю суть той жизни, что текла триста лет назад. Столь же прекрасны и другие: «Читающая женщина», «Письмо», «Улочка в Дельф-

те» — все они принадлежат к мировым шедеврам и неоднократно репродуцировались.

Картин Рембрандта в Рейксмюсеуме не слишком много, как можно было бы ожидать, ведь этот пророк от живописи десятилетия жил и творил здесь, в Амстердаме. Я назову лишь те полотна, которые видел в экспозиции, и прежде всего известнейший «Ночной дозор» — огромное полотно, где нечто вроде развеселого пьяного шествия движется по ночной улице с барабанами, криками, воинственными жестами, хмельными лицами. Вот уж действительно «дозор». Рембрандт всегда умел подметить ироническую сторону жизни, как всякий великий художник, он проницателен, он проникает в глубину и не может не назвать смешное — смешным, глупое — глупым, а подлое — подлым. Недаром ходит в искусствоведении версия, что заказчики не приняли картину, оскорбившись карикатурным, так им казалось, ее смыслом. Вот здесь-то и видишь несходство между двумя мастерами, творившими примерно в одно время,— фламандцем Рубенсом и голландцем Рембрандтом. Рубенс мог, что называется, покривить кистью в угоду заказчику — Рембрандт не делал этого никогда. Может быть, здесь лежит разгадка несходства и судеб художников. Чтобы не быть голословным, достаточно остановиться у полотна «Синдики цеха суконщиков». Какие житейски умудренные хитрецы, сребролюбцы-скопидомы, чванные дельцы — хозяева жизни и просто ограниченные бюргеры глядят на вас с полотна через трехсотлетнее время! Нет, Рембрандт не умел кривить своей кистью... В музее имеются также картины Рембрандта на библейские мотивы: «Отречение святого Петра», «Еврейская невеста», «Иосиф рассказывает сны», из ранних работ художника — «Пророчица Анна».

В изображении обнаженного женского тела голландцы, пожалуй, уступают фламандцам, и в частности Йордансу и Рубенсу, живопись их более натуралистична, в картинах чаще дышит чисто сексуальное восприятие женщины, и не отсюда ли берет исток и начало голландская свобода нравов и далее пресловутая «сексуальная революция», свершившаяся на Западе.

Обо всем этом вспоминаешь невольно, когда, выйдя из музея, в нескольких кварталах от него натыкаешься на целую улицу так называемых «магазинов секса», где лишний раз можно убедиться, что интимная сторона

человеческих отношений превращена промышленностью особого рода просто в товар, на первых порах, возможно, ходкий и пользующийся спросом.

Впоследствии мне довольно много пришлось ездить по Европе, но нигде я не видел такой обнаженности безнравственного, если не запретного, как в Голландии, и в частности в Амстердаме. Витрины магазинов под разными названиями вроде «Порноссимо», «Климакс», «Сексомания» недвусмысленно рекламируют свой товар — резиновые и пластиковые части мужского и женского тела, которые и у первобытных народов все-таки принято прикрывать хотя бы обрывком шкуры, здесь видишь в витринах своего рода «электротовары» для побуждения угасающей плоти, женщин-кукол в полный рост и разных габаритов, и все это в сопровождении глянцевой многокрасочности стеллажей от пола до потолка, где чувственная сторона отношений мужчины и женщины отражена без всякого зазрения совести в отличных по качеству цветных журналах, рекламирующих и прославляющих отнюдь не любовь,— если бы хоть так. Где там любовь, какая любовь! Здесь в лицо дышит именно разврат, извращения мыслимые и немыслимые: бери, смотри, читай, учись, пробуй, если не пробовал,— и плати, плати, плати...

Холодный цинизм этих магазинов с их пособиями по растлению тела и души видеолентами и секс-техникой настолько ошарашивает своей обнаженностью, что и взрослый, зрелый человек как-то стесняется смотреть сии витрины, здесь хочется пройти побыстрее. Припоминается мне в этом случае цитата из предисловия к книге японского писателя Кэндзабуро Оэ: «Самый страшный грех — неощущение греха. Наверно, в такие моменты кончались цивилизации, когда люди не ведали, что творили, переставали замечать, что совершают недопустимое, неприличествующее человеку».

Справедливости ради скажу, что и секс-магазины так же пусты, как многие обычные, никто не торчит у витрин, в кинотеатры «Нон стоп!» не увидишь очередей. Здоровое человеческое начало отвергает все эти выворачивания наизнанку, эротоманы же здесь, по-видимому, так же редки, как везде, или, пресытившись по уши, просто ничего уже не ищут. Да и что искать, если любой порок, будь то гомосексуализм, скотоложество и даже растление малолетних, здесь не под замком.

Замечу, автор никогда не хотел быть «стражем морали» в вопросах пола. Всегда боролся с не в меру ретивыми редакторами, когда его старались урезать, сократить, не позволить называть вещи своими именами. Физическая любовь, в конце концов, столь же свята и необходима человеку, как хлеб, вода, совесть, мужская рука испокон века тянулась к женщине, губы к губам, грудь к груди. С чьей-то дурной трусости или перестраховки мы докатились до помещения картин тех мастеров, что воспевали женское тело, в запасники, в фильмах любовь подаем как беганье с дурным хохотом вокруг берез, редко увидишь на выставках «ню», «купальщицу», упаси боже «Венеру в бане»! И горько горюют художники, горюют и зрители, и это уже оборотная сторона явления, когда, заботясь о нравственной чистоте, впадаем в никому не нужное пуританство...

Глава XIII

ПОЧТИ ЦЕЛИКОМ ПОСВЯЩЕННАЯ ВАН ГОГУ

Музей Ван Гога. Размышления о судьбе художника. Импрессионизм и постимпрессионизм. Этажи музея. Доктор Гаше в прошлом и настоящем. Две оценки творчества. Дом Рембрандта. Рембрандт и Рубенс. Ночной Амстердам. Комиссар Мегрэ. Дорогое молоко.

А сегодня мы идем в музей Ван Гога. Он тоже в центре.

Модерновое здание. Позади великолепный, живописный, ухоженный по-голландски парк. Музей — одна из главных достопримечательностей Амстердама. Действительно, это самый красивый музей живописи, по крайней мере, из тех, какие мне довелось видеть. Большинство музеев-галерей — это чаще всего бывшие дворцы властителей и вельмож, ставшие галереями по случаю, таковы Лувр, Эрмитаж, Русский музей, многие из посещенных нами музеев Бельгии. Музей Ван Гога специально построен для экспозиции его живописи! Три этажа! Про-

стор. Светящиеся потолки, откуда льется естественный свет. Широкие окна в упомянутый парк... Запоздалый дар памяти великого голландца, «дьявола» живописи, одержимого, разрушавшего все каноны и нормы, имя которого до сих пор тревожит умы критиков, биографов, искусствоведов, поэтов, эссеистов, романистов, снобов от искусства, взыскующих града и шарма.

Человечество любит пышно награждать своих гениев после исхода. Гений ли? Не выяснено и теперь. Мнения противоположны. Копья ломаются. А ну, если не гений, если просто человек, боровшийся кистью с кошмарами больного сознания, страдавший, быть может, как никто, в моменты просветления духа, самоучка, новатор часто лишь по незнанию элементарных учебно-художественных прописей, изломанный болезнями физически и духовно, однако с треском сжигавший свою жизнь, как свечу с двух концов? Безусловно, Ван Гог одна из самых фантастических фигур постимпрессионизма, хотя последнему не занимать стать фанатиков и мучеников, одержимых и бесноватых, мастеров, подмастерьев и просто нахалов, эпатировавших публику во имя маниакальной страсти к известности. Здесь все темно: как отделить страсть к известности от страсти к живописи, сосущее душу художника желание порыва в новые измерения от мелкой страстишки к обогащению, к славе, к положению в мире искусства, а значит, и в обществе? Все сплетено, все цепляется друг за друга. Нет художника без честолюбия, а честолюбие, бывает, родит художника.

Нет, я ни в чем не виню живописца, который, может быть, первым осуществил девиз: как хочу — так и пишу! Пишу, как вижу, как могу, как требует душа! Плюю на каноны, на авторитеты, на критику! Пишу солнце, звезды, ветер! И, вдохновляемая этим ветром, бешеная кисть плясала по холстам, оставив миру цветистые, поющие, как птицы на заре, звенящие красками или рыдающие техническим несовершенством картины. Ван Гог — беспощадная правда жизни. Ван Гог — музыка цвета. Ван Гог — и единственное в мире слияние души с цветом и стилем картин. Это стоны немощи и крики радости, озарения, выплеснутые с помощью красок на холст. Убогие «Едоки картофеля», похожие на уродов. Пейзажи средней и южной полосы Франции. Пьяные проститутки с потерянными взглядами, города и сады, переполненные солнцем. Ван Гог и какие-то зауряд-

ные людишки: почтари, лавочники, санитары больниц,— неуклюжие цветы в грубых кувшинах жизни. Ван Гог — и собственные его автопортреты, где несчастными и дикими глазами то кричит измаявшийся, изуверившийся в себе, в искусстве, в возможностях живописи художник, то смотрит голодом обритый каторжанин от искусства, то прячется от себя душевнобольной, что отрезал собственное ухо, то просто нестерпимо глядит, словно ждет помощи, несчастный человек,— не дождавшись ничего, он выстрелит себе в грудь и в живот, не в силах продолжать более эту пытку-жизнь.

При всей торопливой неуемности его картин, детской наивности стиля, инфантильной пляске штрихов и цвета, все время видишь художника, который рвался за пределы формы, цвета, традиций и, обжигаясь, как бабочка об огонь, падал с опаленными крыльями, чтобы снова неистово стремиться к огню. Современники рассказывают, Ван Гог писал ночные этюды, заткнув за тулью шляпы горящие свечи.

Ван Гог, быть может, сконцентрированно выразил в своей жизни идею Художника, которая растворена в мире и лишь в редких случаях, сублимируясь и сгущаясь, как галактический квазар, являет миру образ и образец отрешенного, гонимого, осмеиваемого, непризнанного, больного, искалеченного обстоятельствами и собственным темпераментом художника из тех, что сотрясают и двигают мир искусства, и, может быть, не только искусства.

Импрессионистов и тех, кто шел за ними, невозможно понять без Франции, а таких, как Ван Гог и Гоген, еще и без Прованса. Судьба дала мне возможность видеть их картины во многих музеях мира, я видел их в парижских музеях, был и в Провансе, был и в Арле, где художник провел, может быть, самый значительный и самый трагический период своей жизни. Именно здесь, в Арле, городке с застывшей историей, с древним римским колизеем, с обрушенными арками античных форумов и театров, с домами, где дышит мавританская сущность Средиземноморья, где вершины крыш словно излучают вечный тоскливый зной, а в водостоках цветет ярко-желтый мох, где небо удивительно сине нездешней, восточной синевой,— Ван Гог открывается вдруг как воистину гениальный художник. Без него будто нет Прованса, как нет Прованса без чрезмерно

цветущего желтого дрока, запаха лаванды и меловых холмов, открытых индигово-синему морю.

Может быть, поэтому с особым волнением вошли мы в просторный холл музея Ван Гога. На первом этаже сподвижники и современники художника, школа импрессионизма и постимпрессионизма: Моне, Мане, Ренуар, Писарро, Дега, Берта Моризо, художники помельче. Я смотрел, переходя от полотна к полотну. И невольно думалось: о, время, никого, ничего же ты не щадишь, и особенно достается от тебя живописцам, все другие виды искусства как бы самовозрождающийся феникс,— книгу можно переиздать, переписать, на худой конец, музыка живет в нотах, скульптура выдерживает тысячелетия, архитектура — тоже. И только живопись вступает в неравную схватку со временем. Здесь, на первом этаже, явно видишь эту борьбу. Обладая некоторым опытом изобразительного искусства, я видел, как состарились картины, как поблек, ослаб, истощился некогда сильный тон и цвет.

— И это Ренуар? Не может быть! Я знаю Ренуара — кудесник цвета... У нас, в Пушкинском... возьмите...— возмущался кто-то.

— А это Дега? Нет, нет...

Изучая жизнь и работы Ренуара вот уже добрых три десятилетия с дотошностью фанатика, я лишь мог бы подтвердить — картины подлинные. Они, конечно, прошли атрибуцию, но бесспорна манера письма, фактура, тональность, краски. Не надо и подписи, хотя подпись на месте. Погас только цвет. Импрессионисты, мастера цвета! Вас-то как раз и не пощадило время. Больнее всего бьет оно яркий, играющий праздником, колоратурный цвет и тон живописи. Что Ренуар, что Дега? Картинам все-таки лет по сто. А ведь известно — еще наши современники раскрыв рот дивились сиянию картин Репина, полыханию красок Малявина и Коровина. Это был, казалось, нескончаемый весенний день русской живописи. Но уже через десятилетия картины жухли, гасли, утрачивали цветение, как утрачивают румянец юные девушки, превращаясь постепенно в увядающих женщин. Не избежали участи сей и Ренуар, и даже вечно «колдовавший» над цветом и светом Дега. Техника живописи, старые мастера предупреждали: пишите прочными красками, избегайте непроверенных ошеломляющих смесей, используйте облагороженные

временем масла и смолы. Куда там! Импрессионисты мчались за славой с кистью в руках. Некогда было думать о вечности. И пожалуй, именно Ван Гог, писавший большей частью пастозно, грубо, основными тонами и в один сеанс — «а-ля прима», да в чем-то подобный ему Сезанн избежали ударов времени, пострадали меньше всех. Здесь это было видно наглядно и четко.

На втором этаже полотна самого Ван Гога. Вот начальные: «Дом», «Раскрытая книга» — ранний реализм. Пейзажи Голландии. Натюрморты с апельсинами. Книги. Лодки. Солнце вечером. Он один из немногих, кто отважно писал солнце.

Тут же экскурсия школьниц. Девочки возраста девятиклассниц, хорошенькие, ясноглазые, в тоненьких маечках, неизбежных джинсах. Слушают гида, сидя на полу по-турецки,— картина несколько необычная для нас, но, видимо, постоянная здесь.

Ван Гог. «Весенний пейзаж». «Турок в феске». «Цветы». «Пейзаж в Провансе». Ах, как цветет на картине ярко-яично-желтый дрок! «Свободная интерпретация на евангельские мотивы». «Поселок».

Всего в зале, точнее, на этаже картин семьдесят. Очень просторно. Это немногочисленная часть из написанного Ван Гогом за короткую, как вспышка, жизнь. Тридцать семь лет. Что за роковая цифра?! И поэт наш великий тоже ведь в тридцать семь... Картины Ван Гога теперь разлетелись по всему миру, осели в музеях, в коллекциях знатоков и просто собирателей — теперь они возрастающая ценность, за них платят на аукционах миллионы...

Третий этаж — графика Ван Гога. Рисунки. Гравюры. Офорты. Снова школьники, возрастом поменьше, сидят кружком на полу. Мужчина-учитель сидит с ними, ведет рассказ. Иные мальчишки встают, подходят к картинам.

— Подальше! Без пальцев! — предупреждает учитель.

Картины и графика расположены в музее по периодам жизни Ван Гога: Антверпен — 1885—1886 гг., Париж — 1886—1888 гг., Арль — 1889 г. и Сен-Реми — 1889—1890 гг. В Сен-Реми написаны последние работы. К сожалению, лучшие из них рассеялись по частным

собраниям. Как пригодилось бы в экспозиции эти, итоговые. Сейчас они хранятся в музее импрессионистов в Париже: «Церковь в Овере», живая и жуткая, как плачущая старуха, или второй портрет доктора Гаше, с безумными голубыми глазами.

Некто вроде Саваофа, в черных одеждах, неторопливо двигаясь, бродит по залам, смотрит картины. Меньше всего здесь надо удивляться одеяниям публики: кто во что горазд — таков принцип Северного Запада. Здесь на улицах можно встретить и Христа, и Магомета, и любого римского императора.

Спускаемся по широким лестницам. Какой прекрасный вид из музея! Старый парк. Величавые, склоненные к югу деревья. Кора покрыта декоративным прелестно зеленым мхом, яркие, в сочный тон лужайки, вода с голубыми кусками неба. Ах, какой парк, какой музей! В вестибюле книги с репродукциями картин Ван Гога, образцы прикованы к прилавку цепями. В этом есть неплохой образ...

Наверное, закон подлости преследует многих, но более прочих он преследует художников. Просто не верится, что этому живописцу, вечно мечтавшему о лишнем гроше (читайте письма Ван Гога), продававшему свои картины чуть не даром доброхотам и друзьям, сводившему концы с концами лишь с помощью бескорыстного брата Тео, этому узнику жалких отелей, меблирашек и заведений для излечения, самоубийце и мученику, воздвигнут вот этот дворец стекла, бетона и мрамора, окруженный чудо-парком. Дворец, где светятся потолки, где полы устланы бесшумовым ковровым покрытием, где стоят в униформах служители и хранители, а в окнах открываются великолепные пейзажи,— и все ему, не дождавшемуся ничего, кроме одинокого отчаяния да лечения у полубезумного доктора Гаше, чей портрет с веточкой колокольчатой наперстянки успел он дважды написать незадолго до выстрела в живот.

Доктор Гаше. Его характерный облик чахлого, как бы испитого испанского вельможи (первый портрет находится в частном собрании в Нью-Йорке, второй, как я уже сказал, в Луврском отделе музея импрессионистов) был мне давно знаком и не удержусь, расскажу о том подробнее. Лет тридцать назад я попал в больницу с разлитым гангренозным аппендицитом, едва выжил и вот, после долгой операции, вынужденный несколь-

ко суток лежать только на спине, измученный и болью и больницей, в которой я никогда раньше не бывал, я получил нечто вроде нервного стресса, не мог спать несколько ночей и в конце концов пожаловался палатному хирургу, молодому парню,— воплощенному здоровью в белоснежном халате. Здоровье это, брезгливо глядя на меня (а может, мне так показалось), обещало прислать врача. Действительно поутру, после еще одной бессонной ночи, у моей постели оказался некто, то есть доктор-невропатолог, сухонький и тщедушный, с бородкой эспаньолкой и печальными, куда-то вдаль и сквозь меня устремленными глазами. «Господи, да это же вылитый доктор Гаше»,— про себя подумал я, а приглядевшись к нему, решил, что это сумасшедший. Доктор печально выслушал меня, мои жалобы, задумался о чем-то, как видно, не имеющем отношения ко мне. Доктор все словно прислушивался к каким-то внутренним своим мелодиям, потом, пробудившись, рассеянно назвал не помню какие таблетки и ушел так же тихо, как возник.

Я поостерегся пить таблетки странного доктора и всю ночь вспоминал бедного Ван Гога. Не везло ему на докторов. Открытие же все-таки успокоило и рассмешило меня, под утро я крепко уснул, потом быстро пошел на поправку, дня через три сбежал из больницы, держась за стены, добрел до трамвая и через месяц был здоров. О двойнике Гаше я как-то забыл, пока не встретил доктора на улице,— теперь это был уже настоящий сумасшедший, его водила за руку девочка, может быть внучка, и он покорно и молча следовал за ней.

Мы уходили из музея Ван Гога. Но долго еще его картины преследовали нас. Небольшие по формату, яркие, с оранжевым солнцем в виде яичного первожелтка, с наивной штриховкой зеленым и синим — они были талантливы, чертовски талантливы. В них жила сила скрученной, а то и пульсирующей пружины, каких-то запредельных остановившихся танцев цвета. Они неподвижно танцевали, без звука кричали — свойство, которое я обнаружил позднее только у одного еще художника, норвежца Мунка, но о Мунке, будет черед, расскажу во второй книге, когда переберусь с читателем в Осло.

У крыльца на фоне вывески фотографировались желающие приобщиться. Предоставляю читателю возможность точно определить, кто и как расценил творчество Ван Гога.

— Сказочно! Великолепно! Неподражаемо! Уникально!

— Ну, что? Мазня. Стряпня какая-то. Инфантилизм.

— Мой сын — пять лет уже — гораздо лучше рисует...

— Да, музей прекрасный.

— Конечно, но не стоило терять так много времени. Ведь магазины закрываются в шесть. Ах, что это? Остановились часы? Но кто же мне поможет? Мужчины, который час?

Но все равно приходилось еще ждать, вы уже знаете кого. Вот появились, слава богу. И последним спускается с крыльца крупный поэт с небольшой сыроватой копией с картины. Копии здесь производят каким-то сложным фотоспособом с любого полотна в присутствии заказчика. Торжественно демонстрируя ее всем, поэт важно и озабоченно говорил, обращаясь как бы к себе и ко всем: «Довезу ли?» И качал головой.

На этот раз уже месье Роже смотрит на часы и говорит: «Теперь еще один музей. Дом Рембрандта».

Крики ужаса (в основном женщины): «Как! Ах! Еще?!»

— Но это же Рем-брандт, поймите,— пытается урезонить возмущенных поэт рангом поменьше.

— Да... Да... Я так люблю Рембрандта.

— А это долго? — мучительный вопрос, обращенный к гиду.

— Не-ет. Это очень близкой, и я не уверен еще, открыт ли музей. Там был ремонт или обмена экспозиций.

Вздох облегчения. Все охотнее идут к автобусу.

Ну и плотность программы! За великими величайшие. Я стараюсь удержаться на стезе добродетели, но и сам грешен — пресытился.

Дом Рембрандта поблизости от какого-то канала, у границ бывшего еврейского квартала, был куплен художником в 1639 году. Он прожил в нем двадцать лет. В 1658 году дом и имущество Рембрандта были проданы за долги, и на старости лет великий живописец вынужден был скитаться по временным пристанищам. Рембрандт и Рубенс — имена эти часто стоят рядом. Два великих художника с мировой славой, картины которых

на вес золота, а жизнь запечатлена во многих биографиях, исследованиях и романах. Они имели много общего в судьбе, но немало и различий. Рубенс, баловень Фортуны, неутомимый работник, создатель фирмы со множеством учеников, умевший тонко польстить вкусу заказчиков, и неукротимый, непредсказуемый в творениях Рембрандт. Мастер своеобразного, благороднейшего «рубенсовского» колорита и мастер золотого света и теней. Тот и другой отдали немалую дань библейским сюжетам, но при всей глубине обоих мастеров Рембрандт неожиданней, своеобразней. Это талант как бы дикий, не идущий на компромисс со своей совестью, совестью художника, это отмечают многие исследователи. Оба прожили бурную жизнь, оба имели двух жен, красоту которых воспели в образах богинь и красавиц. И если о женах Рубенса сказано довольно много, то читатель, конечно, знает по репродукциям, маркам, а может быть, и подлинникам и страстно любимую первую жену Рембрандта Саскию, которую он писал, как и Рубенс свою, даже по памяти, после ее исхода, и его вторую жену, которой мы обязаны «Данаей» и «Вирсавией». Оба художника оставили немало автопортретов. Оба были неуемно работящи, но, в отличие от Рубенса, Рембрандт работал большей частью без помощников до конца своих дней, и это в лучшую сторону сказалось на его картинах.

Высокий и, если я не ошибаюсь, трехэтажный дом художника на перекрестке площади и канала был действительно закрыт. Месье Роже рассказал нам, что дом Рембрандта постигла та же судьба, что и дом Рубенса, он переходил из рук в руки, перестраивался, был разрушен и только теперь восстановлен в первоначальном виде, и в нем нет подлинных вещей художника, мебель воссоздана лишь в стиле эпохи, картин нет, а только немногие гравюры и автопортрет Рембрандта. Печальная история, которую человечество повторяет и повторяет. Но воистину права некая пропись, где сказано: «Не бывает пророков без чести, разве только в доме своем и от ближних своих». И ближние эти, хватаясь за голову спустя столетия, начинают любовно, по крохам собирать следы жизни гения, строить ему дворцы и петь дифирамбы. Какой поздней бывает благодарность...

Мне хотелось бы привести о Рембрандте высказывание исследователя и поэта Эмиля Верхарна: «Рембрандт

мог родиться где угодно и когда угодно. Возможно, конечно, что в другое время он не изобразил бы своего «Ночного дозора», что в его произведениях было бы меньше бургомистров и синдиков, но сущность его искусства осталась бы той же. С удивительным чисто детским пылом он рисовал бы самого себя и своих близких и в трогательном мире легенд и священных писаний собирал бы слезы и красоту страданий.

Для своего времени он совершил работу Данте (XIII век), работу Шекспира (XVI век), а иногда он заставляет вспомнить о пророках. Он стоит на тех высотах, которые господствуют над вершинами, расами и странами. Нельзя сказать, откуда он происходит, так как его родина весь мир».

«Наднациональность» любого гения общеизвестна. Однако, принимая в принципе сказанное, можно и не согласиться с Верхарном. Рембрандт (а может быть, и Ван Гог!), наверно, не случайно родился голландцем, родился для того, чтобы выразить стихийный протест всему тому, что копила голландская скупость, фарисейская добропорядочность бюргерства, закрытая глухота жизни голландского мещанства и купечества. Вспомним также и то, что голландец — «протестант» по натуре, и тот исторический факт, что в Нидерландах, а не где-то в другой стране, произошла первая буржуазная революция. Великий голландец Рембрандт был, как и Ван Гог, революционером в живописи, и современники не поняли его — как часто он был и гонимым и хулимым. Верхарн прав, когда пишет далее: «Голландия XVII века была далека от Рембрандта. Она его не поняла, не поддержала и не прославила. За исключением нескольких учеников и друзей художник никого не собрал вокруг себя».

Не собрал он и нас. Едва выяснилось, что музей закрыт, добрая половина группы ринулась за угол, на «блошиный» рынок, и вскоре многие вернулись обратно крайне довольные щегольскими, подозрительно красивыми часами, которые они купили там «безумно дешево».

Все остальные, кто не ходил на «блошиный», побродили в окрестностях дома Рембрандта, постояли на мосту у канала, забитого лодками, яхтами, яхточками и даже баржами. На воде плавали апельсинные корки и обертки от сигарет.

Месье Роже по этому поводу рассказал историю, что

где-то в Амстердаме, на канале, живет на старой барже американец хиппи, у которого шесть жен. Никого это здесь не касается. Голландцы отличаются удивительной терпимостью к любой экстравагантности, и это роднит их с англичанами. Живите как хотите, с женой, без жены, с десятью женами, как тот хиппи, провозглашайте что вам захочется, но не вздумайте всерьез нарушать веками сложившийся уклад, лучше бы сказать, кирпичную кладку голландской жизни, тут вы сразу расшибете себе лоб. Так примерно можно понять эту устойчивую, безлюдно тихую вроде бы страну.

Совершенно разбитые, мы вернулись в гостиницу «Каза» и решили отдохнуть. Однако лежать на кровати долго, зная, что ты в Голландии, в Амстердаме, что еще полтора дня, и мы, быть может, навсегда уедем из этой страны, из этого города, не повидав его как следует, было невыносимо. Еще один вечер бродить в окрестностях гостиницы? Но мы и вчера с лихвой осмотрели всю эту окраину, да и бродить в темноте по безлюдным незнакомым улицам не дело.

— А поедем в центр? К вокзалу. Ну который называется у них «стадион»?

— А как? — оживилась жена.

— На автобусе. Тут ходит автобус до центра.

— Незнакомый город... Мы без языка. Ничего не знаем... Вот если бы с кем-то?

Посоветовавшись, мы решили искать попутчиков для путешествия в центр. Вышли в коридор, спустились в вестибюль. Но никого не нашли.

— А... Поедем одни,— храбро решил я,— никуда мы не денемся. Автобус ходит. Поехали.

На автобусной остановке мы, правда, встретили двух наших «западников», что, куря трубки, обсуждали вечерний поход. Сначала я увидел в их взорах испуг: «Вдруг привяжется сейчас эта парочка, возись с ними...» Но когда я расспросил лишь о маршруте, друзья успокоились и пояснили мне, что на щитке, который висел у столба и был двуцветный — белый и черный, на белом написан номер дневного автобуса, а на черном — ночного. Автобусы здесь ходят и ночью, хотя и не часто. Ведь все западные города живут еще довольно интенсивной ночной жизнью, по крайней мере, центры разного рода увеселений.

— Ты видишь,— ободрил я жену.— Есть даже ночной автобус.

И мы поехали в центр Амстердама смотреть если не ночную, то хотя бы вечернюю жизнь.

Автобус, в котором шофер продавал входящим билеты, доставил нас в центр, к вокзалу, где оба наших попутчика стремительно испарились, и мы потихоньку пошли по самой освещенной и людной магистрали. Ночной Амстердам чем-то напоминал ночной Брюссель. Те же анфилады открытых ресторанчиков, кафе, игорных залов, разного рода секс-шоу, где желающим дается возможность смотреть индивидуально фильмы в проекторах-автоматах, для чего в щель, как в копилку, бросается десятицентовая монета, и на маленьком экранчике, вроде тех, что были у первых телевизоров, развертывается сексуальное действо. Сюжеты у каждого экрана обозначены примерно цветной открыткой. Пересказывать их не берусь. Действие останавливается на самом «интересном» месте, и надо снова бросать монету.

В других «шоу» зал разделен на кабины, где фильмы можно смотреть индивидуально или вдвоем с подругой. В третьих реклама обещает сразу шесть фильмов «порно» и, разумеется, «нон стоп» — без остановки. Секс. Секс. Секс. На нем словно помешалась эта улица.

Впрочем, есть и заведения другого рода. Здесь щелкают какие-то сложные автоматы, можешь выиграть, так сказать, кучу денег. Только пробуй. Бросай гульдены. Авось повезет.

Есть заведения, где грохочут выстрелы, слышатся пулеметные очереди и вой падающих «сбитых» самолетов. Пожалуйста, заходи, плати, и на экране будет падать сбитый тобой самолет. Будут падать солдаты, которых ты метко сразил. Тебе опасности никакой — только плати.

Рекламы фильмов на щитах тоже преимущественно двух, уже отмеченных мною типов: либо лобзающиеся пары, либо уж стрельба, пальба, ножи и пистолеты, полумаски бандитов и шляпы ковбоев.

Улицы центра Амстердама в общем однообразны, равно как их начинка: небольшие кафе, разная кухня — европейская, китайская, восточная. Есть ресторанчики «дары моря» — раки, крабы, устрицы, огромные лангусты ползают в подобии аквариумов с океанской водой, лежат меж камней полосато-коричневые мрачные омары,

может быть, вытирая гигантскими клешнями невидимые миру слезы. От даров моря тянет непривычным духом, отчасти сходным с запахом отхожего места. Черно-коричневые створки устриц и мидий неприглядными кучами лежат на лотках. Их колют каким-то топориком и кладут на тающий, текущий водой лед. Из ресторанчиков несется негромкая музыка. Льется пиво из щелкающих никелированных машин. Толпа на тротуаре разнообразна: туристы, завсегдатаи, иностранные рабочие, черные парни — арабы, негры, пакистанцы. Вечером их добрая половина — видать, некуда деться. Женщины — какими-то робкими стайками, разумеется, кроме профессионалок и жриц любви,— те тут, точно рыбы в воде, в своей стихии. Вдоль тротуаров бесконечной вереницей припаркованные машины. Кое-где играет огнями реклама. Она не такая уж буйная, как где-то в городах Америки или в Токио на Гинзе. Старая Европа поскромнее бушующей безумной новой жизни на заокеанском континенте.

От центральной магистрали в стороны расходятся улицы-щели, пожалуй, еще более узкие и черные, чем виденные нами в Брюсселе. Идти туда вовсе не хочется, но любопытство! Решаем свернуть.

В незнакомом городе, да еще ночью, невольно оглядываешься. Обозреваю тыл и легко различаю провожатого. Пожилой респектабельный мужчина с усиками — этакий «комиссар Мегрэ» — держится на почтительном расстоянии, идет за нами.

— Знаешь,— говорю жене,— какой-то вроде хвост за нами.

— Какой?

— Вроде «Мегрэ», с усиками.

— Да брось, ты уже начинаешь чудить,— говорит она,— мало ли кто куда идет...

Я готов согласиться. Пусть будет так. Так даже лучше. В самом деле, наверное, воображение разыгралось. Незнакомый город. Вечер. То, се... Мало ли кто куда идет.

Чтоб окончательно отделаться от «Мегрэ», мы свернули еще в какую-то малоосвещенную улицу. Тускло светились тут оранжевые фонари, освещали витрины с фотографиями секс-див и профессионалок — все было даже дешевле и грязнее, чем подобное же в Брюсселе. Из каких-то подвальчиков неслась наружу ритмичная

музыка вперемешку с женскими всхлипами и стонами, и все это было «нон стоп», чем дальше, тем глуше и пошлее.

— Полный назад! — дружно решили мы. Хватит с нас этой «экзотики».

— Здесь и людей-то нет,— сказала жена,— какие-то тени.

Люди, конечно, были, но скорее действительно походили на черные силуэты в красном свете фонарей и витрин. Это было еще, по-видимому, не самое дно амстердамской жизни, дном был припортовый район, куда мы и не подумали бы идти. Это были, наверное, подступы к нему, говоря морским языком, пелагиаль. Возможно, жителя Амстердама, привычного ко всему у себя дома, описанная улица не удивила бы ничем и наши опасения показались бы ему смешными, но мы постарались как можно скорее покинуть узкую «страат» и вернулись на относительно широкий и нормально освещенный проспект. Здесь мы сразу почувствовали себя спокойней и храбрее, смеялись над собой, такие, мол, отважные бродяги. Однако оглядываться потихоньку я и здесь не перестал и скоро заметил «комиссара Мегрэ», он следовал за нами лишь на более почтительном отдалении, хотя, по всем данным, ему полагалось давно пройти мимо. «Мегрэ» был одет в коричнево-серый, цвета мокрого песка, костюм, был без шляпы, об усах я уже упомянул. В общем, шпик был типичный, хорошо различимый и на дальнем расстоянии.

— Надел бы еще гороховое пальто! — сказал я.

— О ком ты? — обеспокоилась супруга.

— Да вот опять он идет за нами, этот «комиссар».

— В самом деле?

— Удостоверься. Только поосторожнее, не надо его пугать...

— О, господи... Демократия.

— Да. Демократия. Как сказал один заврайоно, демократия не хаос, а порядок.

— Тебе все смешно, а мне вот не очень.

— Что же делать в данной ситуации? Пусть идет. Так даже лучше. Мы в полной безопасности. Может, они заботятся, чтоб на советских туристов никто не напал.

— Знаешь, пойдем-ка домой. Пока еще не поздно. Кто знает, ходят ли еще те рекламные ночные автобусы.

А вдруг — нет? Да и наелась я досыта этой вечерней жизни. Все как везде...

— Пожалуй...

— Поедем. Выспимся. Отдохнем...

Когда жена начинает говорить об отдыхе, я понимаю, что она уже валится с ног. И мы двинули к этому «стадиону», то бишь к вокзалу, где находились посадочные площадки на автобусы. Наш номер, кажется девятнадцатый (это я сейчас пишу, сомневаюсь, а тогда помнил накрепко), был обозначен на щите. Народу на этой остановке чуть, на других куда больше. И вот что интересно: автобусы, подходя к посадочным площадкам, часто меняют номера, то есть маршрут. Я видел, как водитель девятнадцатого (мы уж было обрадовались — сейчас поедем!) покрутил какую-то штуку над кабиной, сменил номер на тридцать второй и поехал к другой площадке, где стояла уже густая толпа. Вот тебе на! Может быть, и мудро, и где-то стоит перенять, но мы таким образом обрекались на дальнейшее ожидание. Наконец, после получасового, наверное, перерыва, когда и на нашей площадке скопились ожидающие, подошел заветный девятнадцатый. Мы неторопливо сели, купив билеты у водителя. Последним в автобус вошел «комиссар Мегрэ» и скромно поместился на дальнем сиденье. Теперь даже в тускловатом свете салона я рассмотрел его получше. Усталый пожилой человек, лет около пятидесяти, с желтым лицом курильщика и печеночника, грубоватые морщины-засечины на щеках, какие бывают у людей, всю жизнь занимающихся суровым, не слишком приятным делом, и у людей, несомненно, военных, хотя бы в прошлом носивших курсантский мундир, а ныне привыкших приказывать и подчиняться, словом, шпик старой закваски, подумывающий уже о пенсии и равнодушно выполняющий свое порученное кем-то дело. На сто процентов он был уверен, что слежка эта ни к чему, никому не нужна, ведется для «порядка» и перестраховки, но служба есть служба. За остановку от нашего отеля «Мегрэ» встал и вышел. Провожать до отеля было бы слишком грубой работой.

Если бы не это, в общем, предполагаемое, но все же достаточно противное сопровождение, мы были довольны своим путешествием. Вдвоем побывали в центре Амстердама, посмотрели его «нахтлебен», вечернюю жизнь, благополучно вернулись в номер.

— У нас осталась булочка от завтрака и вторая от обеда, сейчас я пойду вниз, в ресторан, куплю тебе молока, а себе пива, и мы поужинаем, ну, по-амстердамски...

— Иди,— безропотно согласилась жена.

Я спустился по лестнице в цокольный этаж, который и здесь не называют первым. В ресторане уже собирались гасить огни — посетителей нет,— и ко мне подошел метрдотель — парень, похожий на самый отличный шведский манекен, какие выставляют в конфекционах — магазинах дорогого платья. Господи боже! Надо же иметь такой цвет волос, глаз, ланит, этакое цветущее здоровье! Картинка! Выслушав мое сбивчивое: «Мильх, бите...», «Э-э, мелк» — это уже по-голландски, парень начал мне что-то быстро объяснять, так что я ровным счетом ничего не понял. Тогда он стал повторять мне только одно слово, которое, в общем, было мне знакомо: «Тойер, тойер!» Как же переводится? Ах ты память... Знакомое слово, очень, что-то такое простое... И пока я краснел-вспоминал, парень по-русски сказал: «До-ро-го». Ну, конечно, «тойер» — значит «дорогой». Тут вдруг мизерное знание языка будто вернулось ко мне. «Вас костет?» («Что стоит?») — «Семь гульденов»,— ответил этот чудесный говорящий манекен. Семь гульденов за бутылку молока? В Голландии? Где, по-видимому, текут молочные реки? Ведь это же два рубля десять копеек. За бутылку молока, пусть в ресторане, но, милые, родные, нельзя же так! Я поблагодарил за предупреждение, пожелал ему доброй ночи и отправился восвояси, вверх по лестнице, прихватив по пути две жестянки пива в автомате. Этим мы и поужинали, причем непьющая моя жена даже слегка охмелела и сказала, что пиво ей понравилось, хорошее, а главное, не горькое.

Глава XIV

«ПОДЛИННО ВЕЛИКОМУ НИЧТО НЕ МАЛО»

У-ужасные налоги. Рыбачий поселок. Пивные кружки. Алкмар — родина сыра. Под уровнем моря. Славный город Зандам. Дом Петра, его история и посетители. Отчего подчас зависит судьба войны.

Предпоследний день нашего путешествия. Сегодня мы совершаем поездку в голландскую провинцию, на побережье моря, а также в города Волендам, Эдам, Алкмар и Зандам, где работал почти триста лет назад на кораблестроительной верфи «герр Питер», плотник зандамский, а точнее, Петр I, государь император и самодержец всея Великия и Малыя и Белыя Руси...

Поехали в голландскую глубинку не все — немногочисленные наши «западники» отказались наотрез, некоторые дамы оставались тоже из боязни не посетить те или иные магазины, и хотя месье Роже, прижимая руку к груди, уверял, что времени на магазины хватит, его не слушали. Отправились поределой группой, зато каждый мог развалиться по-барски на двух сиденьях.

Месье Роже рассказывает о бельгийском и голландском налогообложении. Оказывается, бельгийские налоги — у-ужаснее голландских, хотя думалось, наоборот. Нередок, допустим, сорокапроцентный налог, прогрессивно возрастающий с ростом прибылей. Вроде бы справедливо — больше зарабатываешь, больше и платишь. Ежегодно жители подают декларации о доходах в «Министерство финанции» и платят налог. Укрывательство доходов, естественно, преследуется законом. Но вот прибыль ничем не ограничена: сумеешь нажить миллион — наживай.

Тем временем мы уже подъезжаем к рыбачьему поселку на берегу моря. Поселок кажется совершенно новым, однако скорее это просто умение голландцев в образцовом порядке поддерживать свое жилье. Ведь голландская чистота, опрятность, чистоплотность известны издавна. Кто-то мне рассказывал даже, что в Голландию запрещен въезд людям с больными и невставленными зубами. Какой глупости только не наслуша-

ешься! Есть у них время — глядеть иностранцам в зубы. Дома̀ в поселке в основном одинаковые, краснокирпичные, окна с белой обводкой, с белыми занавесочками, газоны выстрижены, чистый асфальт. Сюда еще не докатилась мусорная волна «культуры» хиппи, а проще говоря, разгильдяйства, подонства и распущенности. Мы ходили по поселку, постоянно обоняя запах моря: океанского рассола, гниющих водорослей, сырых сетей, рыб. Везде слышалось хриплое карканье чаек, их оголтелый бесконечный гвалт. Дома̀ все-таки удручали однообразной сутью — широкое окно в нижнем этаже, два вверху, в мансарде, острый конек, черепичная крыша, и еще такой же дом, и еще, и еще, и еще... На берегу лодки, сети, моторки в небольшой уютной гавани. Кругом ни души, ни одного празднобалтающегося человека, не видно даже детей — все люди, видимо, при деле: в школе, в море, на промысле или дома чинят-вяжут сети, заняты хозяйством. Заходим в небольшой магазинчик что-нибудь купить на память. Неприветливая с виду молодуха-хозяйка равнодушно смотрит на нас. Вы не покупатели, ходите от нечего делать, убирай потом за вами — читается во взоре. Ищем, что купить как сувенир, но все или «тойер», или уж откровенное барахло.

— А знаешь, давай купим вон эти пивные кружки с деревянными ручками? — предложила жена.— На них и пейзаж традиционный, и написано «Голландия», и, главное, дешево.

Купили. Каменная торговка сонно сдала сдачу, ничего не выразилось на ее пустынном лице. «Разные и при капитализме бывают продавщицы»,— подумал я, вспоминая девушку из люксембургского аббатства Клерво.

Потом мы стояли на берегу, слушали голоса чаек и плеск волн. В общем, без дела тут скука. Тут или как все живи, лови рыбу, чини сети, смоли лодки, обихаживай жилье, люби толстую жену, или, как говорится, уматывай отсюда, человеку из других категорий-измерений здесь жить и быть тускло.

Месье Роже рассказывал: «Каналы и зимой теперь мало замерзают. Климат становится теплее. Раньше зимы были суровые, и вся Голландия становилась на коньки. Теперь же и снег редко держится подолгу, не то что мороз. Очевидное потепление от хозяйственный человек...»

Но потепление, по крайней мере для Голландии, имеет и свою положительную сторону, скот почти круглый год пасется без стойлового периода, а травка зеленеет, хоть солнышко и не блестит. Не во всякое рождество даже снег.

Поражаешься, как мало здесь грачей и ворон, совсем нет сорок. Зато чаек, чаек! Видел не раз такую картину: трактор пашет, а за полосой черной земли клубится туча белых и сизых птиц.

Городок Волендам (опять какая-то дамба!). Четырнадцать тысяч жителей. Волендам похож на все мелкие города Голландии: чистота, опрятность, кирпичные домики под черепицей, лавки сувениров, ухоженные мостовые.

Проезжаем новое, отвоеванное у моря пространство — пустыня зелено-коричневой грязи — будущий польдер, а вдали уже маячит другой маленький городок.

— Эдам — производство питания,— сообщает Роже. Здесь производится сыр. А в следующем городе — Алкмаре — центр продажи питания, то есть сыров.

Алкмар — старый город, видавший еще испанское иго. Здесь же зародилось и восстание против испанцев. (В Голландии имеется ходячая пословица: «Все начинается в Алкмаре».) Шестьдесят тысяч жителей. Архитектура староголландская, однообразно-разнообразная. То серии домов-четырехэтажек с балкончиками, то дома в три этажа. Здесь очень любят флаги, их множество, самых разных стран, нет только нашего, советского. В центре Алкмара — церковь девятнадцатого века, искусно подделанная под старину и очень красивая. Есть даже Дворец правосудия с башней, есть и старинная церковь святого Лаврентия, пятнадцатого века. Алкмар — рынок сыра. Ярмарка сыра. Его праздник и торжество. Сыру здесь поклоняются. Он кормилец. На площади перед церковью традиционное соревнование: погрузка и переноска сыров. Парни-рабочие, в белых одеждах и широкополых голландских шляпах, в горячем поту таскают груды круглых желтых сыров, грузят в машины. Судействует представительный бюргер с жирным лицом рембрандтовского синдика. Вокруг площадки нетесно стоят зрители. Вообще, зевак в Голландии мало, праздношатающихся тоже. Организовать людей в будни на потеху-зрелище, очевидно, нелегко. Смысл же сырного праздника, конечно, в первую очередь коммерче-

ский. О сыре я уже говорил — он так же может быть символом Голландии, как корова, канал, утка, мельница, зеленая трава. Но едят сыр в Голландии явно в обратных пропорциях к его изобилию. Впрочем, на Северном Западе почти везде любые продукты ценятся, дòроги. Их не бросают под ноги, не переводят зря, не оставляют, поковыряв вилкой, на тарелке. Рыться в еде, оставлять кучи объедков, куски недоеденного хлеба считается в высшей степени неприличным, допустим, так же, как сморкаться в скатерть, рыгать, класть ноги на стол. Алкмар мы покинули, не попробовав сыра. На улицах здесь его не раздают. Мы лишь побродили по центру, купили ярких открыток в мелочной лавке и погрузились в автобус, чтобы следовать в конечный пункт нашего путешествия город Зандам, а уехали мы уже далеко, по голландским расстояниям,— километров за сто.

Пока автобус мчит нас к Зандаму, месье Роже сообщает, что мы едем «под уровнем моря». Даже страшновато становится, и, глянув в окно, видишь, в самом деле под уровнем, если сбоку в дамбах, выше дороги, канал. У дороги же растут мелкие деревца, дубняк, орешник, по другую сторону пейзаж наподобие нашего торфяника, аккуратно разлинованного канавами. Летают утки, чибисы машут короткими тупыми крыльями, проволока на столбиках возвещает, что владение неприкосновенно. И безлюдье, безлюдье. За сто с лишним километров дороги ни одного пешехода. Зато коровы, лошади, свиньи, овцы, мелкие, особой породы серые гуси пасутся на зеленых выгонах, сменяя в пейзаже друг друга. Главный ландшафтообразующий, что ли, скот все-таки коровы, и коровы одинаковой коричневато-бурой масти. Об удойности их не распространяюсь, сие не входит в программу путешествия, скажу только: буренок, дающих по десять литров, голландец держать не будет, даже просто не сможет — он разорится.

Дикий животный мир Голландии одновременно велик и однообразен. В топких и опасно глубоких каналах снуют утки, плавают черные лысухи, бегают по водяным листьям курочки-камышницы, не редок дикий лебедь, часто видишь цаплю, есть и аисты, во всяком случае я видел их огромные гнезда-шапки прямо на крышах. Но гид говорит, что аистов стало гораздо меньше, причины общие: чрезмерное хозяйствование, уничтожение диких болот и пустошей с лягушками, ужами, другой болот-

ной живностью, электролинии, где аисты гибнут чаще всего, и, конечно же, гербициды, инсектициды... Исчезает аист — птица счастья и благополучия, исчезает...

Город Зандам — крупный промышленный центр. И во времена Петра, то есть в конце семнадцатого — начале восемнадцатого веков, здесь было крупнейшее строительство морских судов. Работало свыше семисот мельниц — единственных двигателей того времени. Мельницы есть и сейчас, работающие. Для непривычного человека они выглядят неожиданно и странно, ведь мельница будто бы живет сама по себе, своей никому не доступной странной жизнью.

Если немецкое «занд» означает — песок, то голландское Зандам будет нечто вроде «песчаной» дамбы. С виду город скучный — общая эта особенность почти всех промышленных городов. Верфи, кирпичные однообразные дома, кое-где неизбежные башни, на них золоченый петух вместо флюгера. На небольшой каменной площади не слишком помпезный памятник Петру I. Склоненный Петр тешет топором балку на носу лодки. У памятника играют дети. Привычное уже голландское равнодушие: никто ни на кого не пялится, никто никому не мешает. Катят себе мимо памятника велосипедисты, идут негритянки, провинциально одетые женщины с закутанными лицами. Голландки кажутся более замкнутыми, чем бельгийки. А знаменитый «голландский» цвет лица у них, якобы всегда розовый и свежий от вечных дождей и влажности, я как-то не заметил. Всякие есть женщины, как и везде: свежие и увялые, молодые и старые, красивые и так себе... Надо быть к тому же знатоком женщин и голландок, а я, к сожалению, таковым не являюсь, просто, может быть, не успел понять.

Слева от памятника большой канал, черные бараки на его берегу, дома с примитивной рекламой на другой стороне. Была, говорят, такая реклама пиджаков в старом Петербурге: «Берлинский портной Бураков из Парижа». Тут тоже рекламируют пиджаки компании «Сигма контина». А это, видимо, таверна «Мост Беатрисы», еще дальше кафе «Вильгельм Второй». О, Голландия! Какому Вильгельму посвящено это кафе? Ведь вполне возможно, что последнему немецкому кайзеру Вильгельму II, который, как известно, будучи свергнутым с престола, бежал в Голландию, жил здесь как частное лицо и незадолго до своего исхода благословлял Гитле-

ра, развязавшего вторую мировую войну. Вывеска наводит на сомнения, хотя я знаю, что был и король Нидерландов Вильгельм II.

Дом, где жил Петр, несомненно, главная достопримечательность Зандама, по крайней мере для нас, россиян. И мы подходим к нему с вполне понятным волнением. Сколько было читано, представляемо. Тотчас вспоминаются толстовский Петр, Алексашка Меншиков, вся та эпоха, известная мне как историку по многим источникам — Соловьеву, Ключевскому... Целая полоса новой истории России поворачивалась, изменялась здесь, в скромном ветхом домишке недалеко от верфи. Здесь жил Петр! Все, кто хоть сколько-нибудь интересовались личностью Петра, знают, что этот воистину великан-преобразователь, стремясь к ускоренному развитию страны, к ломке обветшалого наследства «толстозадой боярщины и неспешного благолепия», еще в 1697 году лично знакомился со странами Западной Европы и особенно интересовался Голландией — первоклассной морской державой. Голландские мастера на русской службе много поведали любознательному молодому царю о своей стране, и вот он прибыл лично убедиться, что и как здесь строят. «Урядник» Петр Михайлов поселился в доме кузнеца Гаррита Киста 19 августа 1697 года. Кист в свое время работал в Московии, строил «потешные» первые ботики, но, стосковавшись по родине, уехал домой. Видимо хорошо зная Киста, Петр поселился у него, некоторое время сохраняя призрачное инкогнито, когда начал свою работу плотником на верфи Лайнаса Рогге. Петр делал простую плотницкую работу, однако интересовался и общим судостроением, вникая во всевозможные мелочи. Человек он был энергичный, дотошный, смелый и, самое главное, неуемно работящий. Во время второго посещения Зандама в мае 1698 года Петр снова жил у Киста. Посетил он Зандам и в третий раз, уже через двадцать лет, в 1717 году, со свитой и женой Екатериной, как известно, сопровождавшей императора во всех походах, даже военных.

Дальнейшая судьба дома Киста была сложной. В 1818 году его купил король Нидерландов Вильгельм I и подарил праправнучке Петра русской великой княгине Анне Павловне (дочери Павла I), которая в 1816 году была выдана в Нидерланды замуж за престолонаследника, то есть будущего короля Вильгельма II. Отсюда

тянется нить и к царствующей королеве Юлиане, следовательно, дальней родственнице дома Романовых, а значит, и Петра.

В дальнейшем дом снова переходил в разные руки, пока не стал собственностью русских царей, и не кто иной, как Николай II распорядился возвести над ветшающим домом каменное строение, которое предохраняло от непогоды. Дом Киста очень стар, перекошен, кривые полы, окна и потолки. Внутри он низкий и напоминает убогую крестьянскую избу: прихожая (она же и кухня) и «горница», скажем так, обозначая вторую комнату, чистую и побольше. В прихожей, рядом с печью, подобие открытого чулана-ящика, темное помещение без двери. В этом ящике, возможно лишь полусидя, и спал Петр. Как помещался в нем гигант двухметрового роста, понять трудно. Отказываешься верить. Недаром существует предание, что Наполеон Бонапарт, приехав в захваченную французами Голландию, побывал в Зандаме и, обозревая «спальню» Петра, изрек: «Подлинно великому ничто не мало!» В этой комнате-прихожей с низким прогнутым потолком побывал в 1814 году, после разгрома Наполеона, Александр I, собственноручно вложивший памятную плитку над челом печи-камина. Был и уже тяжело больной Александр III, в 1885 году. Все обшитые деревом стены комнаты исписаны, изрезаны, кто только не оставил здесь свой автограф.

Кстати, незадолго до войны с Россией Наполеон просил руки все той же великой княгини Анны Павловны и получил решительный отказ. Думается при этом: а что, если бы он получил согласие? Стань Анна Павловна женой Наполеона, может быть, не было б войны 1812 года, пожара Москвы, Бородина, кутузовских побед и сама судьба мятежного императора получила бы иное завершение... Неисповедимы пути истории, думаю я, осматривая мрачноватое полутемное жилье кузнеца Гаррита Киста.

Сейчас его хранителями являются две женщины, мать и дочь, по выговору хохлушки из какой-то западной части Украины, бойкие, словоохотливые, услужливые, хитрые. Они же торгуют сувенирными открытками с видами дома и внутреннего убранства. На вопрос, как они здесь оказались, старшая как-то ловко выкрутилась с улыбками. Скорее всего, эта женщина попала сюда в период войны и оккупации Украины. Дочь же, конеч-

но, родилась здесь и очень плохо говорит по-русски, почти ничего не понимает из сказанного. Такова судьба домика Гаррита Киста, имя которого сохранила история.

Глава XV

ДОМОЙ!! ДОМОЙ!!

Прощальный банкет. Роже поет. Голландские сапоги. Цветочный рынок. Почему я не привез кокосовую пальму. Самая голландская погода. Самолет Аэрофлота — это уже Родина.

Мы возвращаемся в Амстердам. После обеда у нас законное время для посещения магазинов. Должны же мы, наконец, оставить голландцам их зелено-голубые гульдены. Мы все еще, по крайней мере я и жена, страшно богатые люди. Банкноты с изображением Рембрандта тяготят наши карманы. Мы никак не можем пристроить их к делу, потому что хорошие вещи на них не купишь (для этого их слишком мало), а для покупки на них сувенирного хлама не стоит ездить в Голландию.

За обедом (он же был одновременно и прощальным ужином, и банкетом) по традиции всех путешественников были вручены памятные подарки гиду и шоферу, произнесены прочувствованные речи — мы в самом деле были очень благодарны и нашему доброму всезнающему месье Роже, и шоферу, «заслуженному артисту» месье Леону, ведь в его руках буквально была вся наша жизнь в эти дни, и наше здоровье, и наше благополучие, и он справился со своими обязанностями блестяще. Это был шофер экстра-класса! Вообще, вспоминая теперь многие поездки, прихожу к выводу, что фирма «Вирц» — лучшая фирма по обслуживанию туристов, а месье Роже и месье Леон — лучшие гид и шофер, с какими доводилось нам ездить.

Месье Роже, выпив рюмочку русской водки, ее у нас хранили для прощального банкета особо проверенные люди, в числе которых были и мы, раскраснелся и даже спел нам бельгийскую песенку о девушках-монашках, которым худо живется без милого дружка. В песне был повторяющийся припев-рефрен, который гид исполнял

с особым подъемом, так что даже мы, не знающие французского языка, чувствовали, что именно в припеве и содержится вся соль и смысл песенки. Так оно и оказалось, когда гид перевел нам содержание песни и припева. Припев был: «Но, впрочем... Но, впрочем...» И можно было догадаться, что монашки народ хитрый и умеют как-то выходить из положения. Веселый получился у нас банкет, слетела первичная, что была в начале путешествия, отчужденность, все как-то уравнялись, сплотились, объединились мыслью о скором возвращении домой, и не разобрать уже было, кто теперь тут «западники», кто «славянофилы», что «скептики» и кто «молодожены», да простятся мне эти, конечно, шутейные категории, просто за столом были мы, российские и советские люди, разные, непохожие, но и объединенные этой нашенской непохожестью, и даже большой поэт пил сейчас наравне с поэтом менее крупным, и лицо у него было обыкновенное, без величаво-медлительной вдохновенности. Веселый получился у нас банкет. Мы с женой до самого конца путешествия помимо общественной водки возили еще две бутылки своей. Поскольку сами мы люди непьющие, по крайней мере на выезде, мы презентовали одну бутылку месье Роже, другую хотели вручить шоферу, но месье Леон только что отказался от подобного сюрприза — видимо, был непьющий и к тому же при исполнении обязанностей. На столе водки было даже с излишком. И тогда я решил: увезем эту бутылку домой как сувенир, благополучно пропутешествовавший с нами по всему Бенилюксу. Дома мы наградили водку золотистой наклейкой с изображением гербов бельгийских городов и, наконец, распили за процветание нашей Родины с друзьями, неожиданно нагрянувшими к нам. Свидетельствую, что русская водка, побывавшая в Люксембурге, Бельгии и Голландии, гораздо вкуснее той, что не путешествовала,— попробуйте и убедитесь сами.

После прощального обеда мы поехали в город, то бишь в центр Амстердама, где торговые улицы лучами сходятся к главной площади. Не раздумывая здесь долго, решили в первом же большом обувном магазине купить женские сапоги, и не какие-нибудь там дерьмо-барахло, а добротные, модные ботфорты, на вот таких отличных каблуках, знай наших! Такие сапоги стояли в витринах. Жена, осматривая их, краснела: «Как это со шпорами?! Да мне в них будет неудобно. Что люди

подумают?!» — «Пусть думают...» — «Нет, шпоры я, конечно, сниму, хотя они и красивые...» — «Купим к ним лошадь!» — «Всегда ты смеешься».

Убедил женщину, мы зашли в магазин. И тотчас, улыбаясь нам, как родным, навстречу поспешила миловидная девушка-продавщица в розовом свободном платье, в какие здесь одеты многие.

— Что угодно господам?

— Э-э... Бите...

Но бойкая девушка уже отлично поняла, что требуется. Она усадила жену в низенькое кресло и принялась примерять ей сапоги, ползая буквально на коленках. «Нет, эти не подходят госпоже, сейчас я подам другие. Момент...» — щебетала она. И вот уже так же старательно примеряются другие сапоги. А в глазах готовность подать и третьи, и четвертые...

Тут я заметил, что за хлопочущей продавщицей приглядывает еще молодец в строгом костюме с галстуком-бабочкой, готовый также предупредить малейшее наше желание. По-видимому, по незнанию мы влетели в магазин высокого класса. Заметив мой пристальный взгляд и по-своему его истолковав, этот то ли завотделом, то ли хозяин изобразил на лице все возможное внимание и отвесил полупоклон, в котором было почтение ко мне, к моей супруге и к моему бумажнику. Как тут было не взять сапоги! А они и в самом деле замечательные.

Я как можно небрежнее расплатился за покупку. Нас проводили до дверей, очаровательно улыбаясь. Все были счастливы: молодой хозяин, получивший доход, продавщичка, упрочившая свое положение, я сам, ощутивший себя чуть не благодетелем, и супруга, что приобрела эти экстра-сапоги. Были счастливы, наверное, и гульдены, вернувшиеся из карманов чужестранца в свою стихию. Впрочем, стоп. «У меня есть еще гульденов двадцать»,— сказал я, обшаривая свои многочисленные карманы. Что же делать? Пойти в кино? На них можно купить только полтора билета... Ладно, пойдем погуляем. Кстати, здесь, говорили, где-то поблизости должен быть знаменитый цветочный рынок.

Рынок этот мы нашли довольно скоро. Он располагался на берегу канала. Длинная полоса киосков, лавок, лавчонок и павильонов, а в них и перед ними цветы, цветы, цветы... Главным образом это были осенние георгины, гладиолусы, розы, астры и хризантемы. Были и

бог весть еще какие, которых я и не знал. Были и тропические растения: орхидеи, бромелии, но все не так пышно-обширно, как мне рассказывали и как я предполагал. Кактусы (а меня интересовали больше всего они) тоже имелись, но обычные, малоинтересных на вкус знатока видов, и мы с достоинством убедились, что могли бы показать голландцам много интересного из своей домашней коллекции. Об этом я сказал жене с гордостью, а сам подумал, что вот едешь за тридевять земель, ждешь-поджидаешь: уж там-то, конечно, увижу, не то что дома! А на поверку оказывается — ничего особенного. Так уж, видно, устроен человек — всегда жаждет чего-то необычного. Да и трудно ныне удивить российского садовода. Слава богу, у нас теперь и садов, и цветов. Даже не в таком уж южном Свердловске. Летом — завались тюльпанов, пионов, осенью — тех же георгинов и гладиолусов.

Не обрадовал нас амстердамский цветочный рынок. Единственная была в нем соблазнительная вещь — кокосовые орехи в картонных коробках с целлофановыми «окнами». Вещь замечательная, особенно в перспективе: привезти орех, посадить, вырастить кокосовую пальму. Ну, такую, знаете, как на океанических островах. Чудо! В воображении моем уже все было готово: синий океан, желтый берег и красавица эта пальма, листьями которой играет пассат. Орехи были явно не для еды, а для того, чтобы вырастить такую пальму, потому что из каждого сбоку, через трещину торчал острый зеленый язычок — росток.

— Возьмем?!!

— А таможня? — некстати вспомнил я. Перед поездкой нас пугали на собрании: то нельзя, это — нельзя. Растения — нельзя, семена — нельзя, журналы мод, если там обнаженные женщины, нельзя...— Вот и отберут наш кокос за здорово живешь. На него, поди-ка, еще карантинное свидетельство нужно, а где я его возьму? В общем, на̀ свои гульдены...

— А куда же их девать?

— Ну, пропьем на пиве...

И орех остался в Амстердаме. Мы — без кокосовой пальмы. А на таможне нас даже и не досматривали.

На этом и закончилась наша экскурсия по Амстердаму, да, пожалуй, и путешествие по Голландии. На

площади ждали автобус и месье Роже, как всегда, улыбчивый, обходительный и предупредительный.

На другое утро была самая голландская погода. Дул сырой ветер. Небо шевелилось мелким серым дождем. Асфальт у гостиницы был темен. Добровольцы из общества помощи бездомным животным забирали из ящиков даяния доброхотов.

Мы вышли после завтрака еще немного побродить под дождем по гостеприимной голландской земле, подышать очень свежим океанским воздухом. Дождь здесь пахнет не таким родным, как у нас в России.

Окрепшие, поджарые, довольные стекались к автобусу все наши товарищи и новые друзья. Сегодня никто не опаздывал и не терялся. С шутками-прибаутками грузим чемоданы. Проверяем, все ли с собой.

Над Амстердамом, цепляясь за крыши, напарываясь на башни, плыли, плыли серые темные облака. И как-то вдруг почувствовалось, что и здесь сентябрь, осень. А осенью пора улетать на свою теплую землю, в Россию, в Союз, по которому все мы порядочно наскучались. Да и устали мы от этого Запада, устали быть в гостях, быть не самими собой.

Усаживаемся в автобус. Срочно обсуждается вопрос:

— Какая это погода? Летная? Нелетная? — Последнее со страхом.

— Да ведь важно взлететь...

— Ну, да-а, а садиться не надо?

— В Москве, я убежден, погода летная.

— Осень же...

— Ничего. Я тоже убеждена, сядем...

Но дальше было все как в сказке. Автобус стремительно помчал нас в аэропорт, мелькала за окном пригородная Голландия. Причалы, вышки, склады, нефтяные баки, пояс крепких маленьких домиков с белой обводкой окон, чистыми занавесочками и цветами.

И вот, после долгого ожидания, после того как бдительная голландская полиция даже ощупала нас перед посадкой — нет ли у кого пистолета или бомбы,— мы уже на клочке родной земли, в самолете ИЛ-62. Слышим родную речь, видим улыбающихся стюардесс-москвичек, и сразу спадает словно какая-то невидимая тяжесть, которую мы привычно — а куда денешься? — носили все эти дни. Мы дома, почти дома.

Книга вторая

Путешествие в три королевства

КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ

Глава I

Аэродром Каструп. Запахи датской земли. Размышление о предместье и датчанах. Гостиница «Авеню». Бутербродный обед в рогатом ресторане. Березы в кадушках. Мясная лавка и другие магазины. Отношение к вещам. Госпожа Маргарет. Датские подпольщики. Фонтан Гефион и Русалочка. Пиво «Карлсберг» и церковь, которую строили шесть каменщиков. Хиппиленд. Прием в Обществе датско-советской дружбы. Отношение к фирме «Северное перо».

Самолет, наш огромный ИЛ-62, еще плавно катится по ровной датской земле. За окном яркая зелень летного поля, над которым вьются чайки. Ощущение странное: только что под нами стальной, дымноватой и как бы копченой рябью ходила-стелилась бесконечная Атлантика, океан, самолет качало, шли под крыло пасмурные слои северных облаков, и казалось, долго еще не предвидится никакой земли. Но для небольшой страны, видимо, расточительно тратить драгоценную землю на громадные пространства аэродромов, и потому здесь самолеты заходят на посадку с моря. Кроме того, не поручусь, что на летном поле, разумеется между полосами, что-то не посеяно или не посажено. Земля не должна пустовать, она обязана быть родилицей (или роженицей?), а уж кормилицей — обязательно. В Голландии, Бельгии, Дании это прагматическое понимание земли доведено до высшей степени.

Вот она — Дания! Ветер с океана треплет волосы, закидывает на плечо галстук. Пахнет морем. Кричат чайки. Остро-свежо зеленеет трава. А пасмурное небо кажется очень высоким и только что прописанным мокрой, непросохшей акварелью.

ДАНИЯ. Да ты точно такая, как я и представлял по книгам, по сказкам, по принцу Гамлету, и в то же время

в тебе есть элемент неожиданного открытия, непредсказуемости, как бывает всегда даже в новом месте, не только в новой стране. Вот хотя бы этот высокий сырой небосклон и серебряные на сером влажные тучи, ветер с морской солью, в тон всему глаза первых встречных датчан и зеленые очи москвичек-стюардесс, провожающие нас.

Дания. Приветливые старички таможенники, с улыбкой принимающие наши паспорта и декларации. Старички в сине-зеленой форме таможни, с выпуклыми ромбиками на погонах, но до того нестрашные, несуровые, ненасупленные, не картинно-льдисто-вежливые, как часто бывает,— что сразу теплеет на душе. Театр начинается с вешалки, страна с таможни. Никто не впивается взглядом, сверяя твою личность с документом, не лязгают железом турникеты, не бахают штампы. Все тихо, почтительно, деловито, с улыбкой... Идем мимо всяких досмотров, закрывается дверь таможни. Нас ждет автобус и представитель Интуриста, который быстренько окидывает взглядом всех, точно считает по головам. Все ли здесь? Все. В автобусе вместо гида — огромный мужчина, этакий рыжий кит или краб, если только киты и крабы попадаются рыжие. У кита короткая стрижка, китовые усы, выпуклые глаза разъехались далеко врозь и хотят бежать еще дальше с малинового лица, столь характерного для людей с оранжевыми волосами. Выясняется: в нашем понимании замдиректора туристской фирмы, временно исполняет обязанности гида, точнее, гидессы, с которой мы еще встретимся в гостинице. Кит говорит на удивительном англо-датско-польско-русском языке. Про себя решаю, вероятно, он выходец из Польши. Очень оживлен, очень громок, но понять хотя бы половину сказанного можно, тем более что сопровождающая нас от Интуриста леди ленивенько переводит фразы с английского.

Дороги из аэропортов, наверное, одинаковы во всем мире. Они самые ухоженные, напоказ и на чистоту, на отделанность и благоустройство. Дания не исключение. Все так и блестит и блещет, насколько может блестеть под пасмурным небом, редким дождем и серым ветром, сгибающим вершины-кроны каштанов, буков и дубов, платанов и ореховых деревьев. Все это на обочинах, быстро мчится рядом с нами. Замечаю, что зелень здесь отнюдь не северная, скорее, южная, но ведь это и не

природный, натуральный лес. Таких, думается, уже нигде не сохранилось на Северном Западе, как вымерли здесь давным-давно волки, медведи, лоси, филины, перевелись коренные «тутошние» звери и даже насекомые, а лес, конечно, саженый, деяние руки человека, равно как здешняя фауна, за исключением, может быть, птиц и беспозвоночных она тоже рукотворная: олени, лани, муфлоны, кабаны...

Долго рассуждать о лесах и животных не приходится, ибо мы уже в пригороде Копенгагена. Земля здесь ухожена и заселена в течение тысячелетий. Знаю, например, что археологи нашли поселения Хомо сапиенс — Человека разумного древностью в пять тысяч лет, а ведь тут еще жил человек неандертальский. Рукотворная природа, однако, не глядится слишком очеловеченной. Ведь ее творили поколениями и тысячелетиями, вот почему дубы лет по двести, такие же буки и клены глядятся выросшими вольно и самодавно. Они живут скупыми соками песчаной и глинистой датской земли — тот же самый немецкий «лэм» или русский суглинок,— но радение к ним и любовь поколений даруют им редкостное долголетие. Я знаю, что в Копенгагенском королевском парке до сих пор живет дуплистый дуб, подаривший Андерсену сюжет для сказки «Огниво», и надеюсь поглядеть на этот дуб. Вдруг и меня он одарит какой-нибудь исповедью. Как знать. А в этой древней стране, где будто бы и небеса и деревья дышат тайнами и сказками, как крыши башен и шпили домов и церквей, может быть, и объявится снова ведьма, желающая достать волшебное средство, а я, пожалуй, соглашусь спуститься в то дупло, как андерсеновский солдат. Сказки ведь повторяются. Сказки подсказывает жизнь. Все это приходило на ум, пока глядел на приближающийся город, на бегущий назад и мимо пояс вилл. Черепичные крыши краснели в мокрой зелени, и мокрые цветы приветствовали нас из каменных рабаток.

Мой уже достаточно искушенный в индивидуальной застройке глаз отмечал, что дома в Дании не столь разнообразны, не так выхолены, раскрашены, как в Бельгии, где дому и домовому молятся на коленях с кистью и щеткой в руках. В предместьях Копенгагена преобладал, если можно так назвать, деловой стиль виллы, усадьбы, газона, декоративной каменной стенки — все прочно, тщательно, хорошо подогнано, зелень

подстрижена, деревья напоены влагой. Что же надо еще? Не так ярки, не веселятся краски фасадов? Не столь разнообразны лоджии, эркеры, балкончики, вставки-фронтоны? Нет наружных лестниц и галерей? Но у каждой страны свой нрав и вкус, и чем дальше на север — спокойнее, как бы немногословнее, а строения отражают характер нации, как костюм суть хозяина. Даже окна в Дании смотрят не так, как в Голландии, в Голландии не так, как в Бельгии, в Бельгии не так, как в Люксембурге. Датское окно напоминает спокойно-пристальный взгляд рыбака, заметившего в океанской дали рябь рыбьего косяка или стадо китов. Может быть, и не так все, но почему-то такая ассоциация рождалась, ведь и коренного жителя этой страны, полуостровом и островами вдающейся в океан, я очень искренне представлял непременно моряком-китобоем, непременно в зюйдвестке, непромокаемом плаще, морских сапогах, видел его красное, обгорелое, овеянное всеми ветрами лицо, непременно с голубыми, ближе к полированной стали, глазами в рыжих ресницах. Разве не прав? Заранее извиняюсь перед датчанами, но ведь в чем-то и прав, наверное,— есть этот датский тип, характерный для островного и побережного народа, есть у мужчин, есть у женщин. О женщинах будет еще черед сказать. Напомню, что и русских за рубежами весьма часто представляют этакими иванушками, нос крючком кверху, стрижка под горшок, рубаха с петухами, в руках балалайка или матрешка — непонятный предмет для сомнительной гордости.

В Дании, говорит гид, нынче типичное прохладное, дождевое лето. Из-за этого меньше туристов, пустуют пляжи и недобирают клиентов гостиницы. Июль на всем Северном Западе месяц отпусков, затишья деловой жизни, зато самый ходовый и горячий месяц у владельцев отелей, кемпингов и разного рода увеселительных заведений,— успевай поворачивайся, делай свой гешефт.

В Копенгагене мы оказываемся как-то внезапно, и он сразу покоряет меня стабильной простотой и тишиной, а лучше бы сказать, бессуетностью. Он глядится городом девятнадцатого века (откуда я знаю, какие тогда были города?), но все-таки отлично понимаю, что простота и несуетность почти двухмиллионного, самого большого в Скандинавии града — мнимая, я лишь охотно верю в нее, потому что всегда кажется, что есть и

должны быть такие города, где легко пишется, если жить на нешумной улице в скромном отеле, вроде «Авеню», где мы и выгрузились для четырехдневного жительства.

«Авеню» — отель среднего разряда. Это не огромная супермодерн «Скандинавия», мимо которой мы проезжали, но и не «Серебристый лебедь», где весь штат состоит из хозяина и хозяйки. В то же время «Авеню» гостиница самая типичная для Северного Запада, таких здесь большинство. Все спокойно, тихо, достойно, не крикливо, но и не отстало от жизни. Прохладный холл с мягкой мебелью, полированными в матовый глянец низкими столами, в хрустальной вазе алые губы свежих роз, скамьи-банкетки обтянуты новым сукном. Предупредительный портье с улыбкой-стандарт. Бесплатные проспекты-путеводители по Копенгагену на английском, французском, немецком и японском языках, где повествуется, что можно посетить и посмотреть в городе за неделю. Наш номер на втором, а по-здешнему, первом этаже и тоже спокойный, удобный, сероватые обои в неясную клетку, двойная кровать, ничего лишнего, но и нет запаха комиссионного магазина, противных замытых пятен, прабабушкиных комодов-скрибанов. Ванная так и вообще блеск, пол и потолок в ней отделаны каким-то оригинального вида пластиком с золотыми крапинками, вкатанными или вплавленными в его поверхность. Краны и раковины в ванной модерн, не скоро поймешь, как они действуют, а напоминают творения скульпторов-абстракционистов. Следует признать, сантехника здесь на высоте, над ней думают, постоянно улучшают внешний вид и конструкцию так, чтоб она не текла, при малом объеме давала иллюзию водопада, не трубила дикими голосами, не пела полночным дьяволом, отпускала воду экономно, была приятна на взгляд и на ощупь. Дальше я еще скажу об этом оборудовании, когда переедем в Швецию. Я лишь подумал, что в сантехнике скульптурный модерн, пожалуй, наиболее уместен, ибо эти краны и раковины вполне можно было бы демонстрировать где-нибудь на выставке модного поп-арта.

Было около двенадцати часов по датскому времени — разница с Москвой на два часа, со Свердловском на четыре, и свердловчане, то есть я и супруга, изрядно проголодались, в четыре у нас как раз обед. Датчане же,

выяснилось, смотрят на обед иначе, он у них вечером, а в полдень нечто вроде английского ленча, который мы окрестили по-своему — «завтракообед». Совершался он в ресторанчике неподалеку от «Авеню». И ресторанчик был также из средних, с наличием чего-то общего для многих таких заведений. Общее было: полутьма, приглушенный свет, витражи-виньетки на окнах, достойный коричневый цвет мебели и обоев, крахмальные скатерти и салфетки, но кроме перечисленного и обычного он имел свою достопримечательность. Достопримечательность ресторанов — приманка для клиентов, и вот одни ресторанчики имеют экзотическую кухню, другие коллекции оружия, картин, каких-нибудь старинных предметов, карт, морских снастей и моделей парусников, собраний кактусов и тропических растений, мало ли еще чего,— все идет в ход. Достопримечательность данного в том, что он был весь (ей-богу, в е с ь!) увешан рогами и рожками оленей и косуль — так что просто не верилось, откуда в маленькой, сплошь возделанной Дании такое изобилие пусть даже б ы в ш е й дичи. Неужто леса здесь начинены, нашпигованы рогатым зверьем? Дома у нас тоже были рожки косули, но одни-единственные. Помнится, отец убил на облавной охоте самца-рогача и привез этот трофей, которым очень гордился, вделал в медальон орехового дерева, не переставал любоваться. Урал, естественно, не Дания, лесов-просторов не занимать, все неоглядно, словно бы и не мерено, а вот косуль в изобилии давно нет. Откуда же здесь скальпы сотен животных? Выяснять, что и как, я не стал, вдруг и здесь косуля теперь такая же редкость, как на моей родине. К тому же такие вопросы при изобилии рогов и рожек на стене могут показаться нескромными.

А вот датский «завтракообед» я хотел бы описать с точностью.

Он был вполне д а т с к и й, не похожий ни на какие столы.

На зеленых капустных листьях, аккуратно постеленных на тарелочки, лежали странные полусалаты, полузакуски или как бы начинка для разнообразных пирожков, которые кондитер раздумал печь. Или заготовки для бутербродов? Тут были отменно, с бритвенной точностью, нарезанные крутые яйца, розовая ветчина, сыр, плавленый сыр, кубички мяса, палевые червячки-креветки, жареная камбала без костей, селедка со сладкой

горчицей, селедка с сахаром и еще какие-то гастрономические чудеса. Все достойно. Всего понемногу, все свежее, но... непривычно. Непонятно. Русские глаза ищут хлеб. Где хлеб? Его явно мало. Военная, скупая «пайка». А мне, водохлебу, еще очень хочется пить, воды же, кофе, чаю к «завтракообеду» не положено. Чай-кофе здесь пьют утром. Крохотная бутылочка оранжада или пива, на выбор, меня не устраивает так же, как лилипутское угощение Лемюэля Гулливера.

После трапезы ощущение достойного голода, себя чувствуешь бедным кастильским идальго, ковыряющим в зубах натощак. У меня же почему-то ассоциация еще такая. Вот мое детство, подружка Верка, с которой мы играем «в дом», а в доме «обед» на кукольных тарелках, на листиках подорожника накрошена всякая всячина: морковь, ботва, зелень одуванчиков, грибы-поганки, кусочки глины. Сидим, обедаем... То есть подносим ко рту эти яства, и положено по правилам игры еще произнести нечто вроде «ням-ням-ням», а есть хочется по-настоящему, очень хочется есть в детстве...

На выходе из рогатого ресторана все оценивают датский ленч по-разному: одни хвалят, глаза выкатывают от восторга, другие хмыкают, третьи помалкивают, кривя щеку, четвертые закуривают. Табак, как известно, заглушает голод. В общем же «завтракообед», как в сказке: «по усам текло, а в рот не попало». Но, наверное, хватит распространяться о еде. Еда не культ,— перефразируя известного ильфовского героя, ведь мы приехали в Данию не обедать, или, вернее, не столько обедать, сколько смотреть, а для внимательного человека любопытного здесь много. Ну, вот, скажем, по обе стороны от входа в ресторан, в кадушках, растут две березы, самые обыкновенные, если угодно, русские, только здесь они гостьи или пленницы — не поймешь, тощенькие, худенькие, с чахлыми веточками и листвой, и невольно вспомнишь, какие они белотелые, матушки, у нас дома, на своей березовой родине. Есть, связанное с этим, и еще одно воспоминание. В Брюсселе, на площади у самой ратуши (или это было в Амстердаме? Память не может подсказать), я видел согбенную молодую березу, прикованную к земле чугунной цепью. Понять символику и смысл было трудно. Дерево в цепях? Да еще береза? На досуге я раздумывал, гадал так и сяк... Не нашлось другого объяснения, кроме, что вдруг

эта береза уже убегала или рвалась все время куда-то в свои края (она и вершиной глядела на северо-восток), и вот поймали, вернули, приковали цепью. А она томится, клонится, как рабыня, и тоскует. Мнятся-снятся ей вольные леса, иное, более высокое небо, птичьи стаи, крылатая синь. Береза в цепях похожа на скованную женщину. Это уж так, мелькнувшее...

Для внимательного человека вот и еще одна деталь. Занавеси на датских окнах. Здесь они сделаны по-особому. Нигде ранее не встречал. Занавеска в окне висит ажурным полукругом, в виде... Ну, допустим, нижней женской юбки, если представить, что женщина наклонилась и что-то ищет на земле. Ничего больше, уважаемые редакторы...

После сытного обеда полагается отдых. Но мы как-то не чувствуем необходимости в нем и решаем потратить время на двухчасовую прогулку по самодеятельному маршруту, то есть по принципу «куда глаза глядят». Принцип подкрепляем на всякий случай картой Копенгагена — есть в путеводителе-проспекте. Мы взяли его в холле у портье. Язык — немецкий. Кое-как его знаем оба и вот уже идем, сверяясь с названиями улиц. Все прекрасно. Улицы в Копенгагене точно соответствуют плану, хотя и не слишком прямые. А достопримечательности? Но я уж сказал, что для жадного глаза они на каждом шагу. Вот, допустим, в двух шагах от гостиницы мясная лавка. На вывеске-фронтоне скульптурные головы быков, на славу вызолоченные вместе с рогами. Толстые, огромного роста женщины в белых балахонах до земли разгружают машину-холодильник, носят в лавку накрытые марлей противни. При близком рассмотрении великанши оказались мужчинами, сбивали с толку халат-платье и белые колпаки. Шла обычная приемка товара, который, судя по витрине, был на высоте. Я не люблю мяса, во всяком случае не испытываю никаких гастрономических, тем более эстетических чувств при виде ободранных стылых мясных туш, иногда они бывают просто ужасны, наваленные в кузов машины или глядящие жуткими мертвыми глазами из витрины «Даров природы». Мясо ем, но всякий раз чувствую угрызение, хоть бы на дальнем плане, которое гонишь логикой — ели до тебя и после будут, а какой-нибудь живой добродушный теленок, бывает все-таки, стоит в глазах, когда вспомнишь, как тянется он к тебе за пучком

травки, просто погладить. Глядит: «Эх вы...» Так вот, отвлекаясь от размышления, все-таки скажу, мясное изобилие цвело тут во всех видах этих филе, окороков, вырезок, рулетов, копченостей и колбас, так что витрина вполне напоминала творения старых мастеров-фламандцев, умевших до страсти плотоядно написать все земное (и мясное), чувственное богатство жизни, хотя согласимся, что слово «жизнь» имеет в данном случае лишь абстрактную символику.

Идя дальше, мы рассуждали, что очереди в лавку никакой не было, никто не хватал колбасу целыми батонами, мясо стягами, ветчину — окороками. Отсюда мораль, что либо все это весьма не дешево и побуждает к умеренности в потреблении, либо в Дании множество вегетарианцев, к которым мы не раз безуспешно пытались себя причислить. Минувший «завтракообед» убеждал, пожалуй, в первом предположении.

Дальше был магазин инструментов. «Боже правый!» — старомодно хотелось воскликнуть мне. Каких только инструментов — слесарных, столярных, плотничных, малярных, садовых — не было тут, не размещалось в витринах, стеллажах, по стенам и — даже! — на потолке. В Дании умеют ценить место под крышей. Здесь редко увидишь магазин на полкилометра, а чудовищ типа наших ГУМов, ЦУМов как будто нет совсем. Если гигантизм магазинов, может быть, и оправдан в самом центре столиц, то как горько бывает видеть, когда в новом магазине, именно таком, на тысячи квадратных метров, нетесно разогнана всякая мура, отделы дублируют один и тот же товар, ну, скажем, женские чулки или духи, хрусталь или фарфор. Все это называется расточительством. И мелькнула у меня горькая мысль: от невиданного, немерянного богатства строим мы километровые универмаги, тратим деньги, энергию, время, создаем излишние рабочие места. Капитализму такое не под силу. Капитал, создавший лишний магазин, давно бы вылетел в трубу. Законы экономики здесь не пахнут гуманностью, и плакать над разорившимся никто не будет, тем более садить на государственную дотацию.

Описывать без конца датские магазины нет смысла. Они такие же, как везде на Северном Западе, торгуют всем, что можно измыслить, что требует спрос и даже спрос, скажем так, извращенный. Но вот попался нам

магазин весьма характерный, о котором стоит сказать. Это «Подержанные вещи». Нет, не комиссионный, как у нас, куда берут теперь только добро и дефицит, где приемщики напоминают чванных принцев (принцесс) и злых волшебников. В копенгагенском магазине подержанных вещей продавалось все, вплоть до старых кастрюль, запаянных медных тазов, дверных ручек прошлого века, тут было и столовое серебро по сходной цене и какая-нибудь бронзовая ступка, кофейная мельничка, которой пользовались четыре поколения. Вещь создана. Она должна жить долго. Служить и служить человеку. В нее вложены труд, металл, дерево, время, энергия. Может, и не скоро сыщется покупатель на старый медный таз, похожий на церковную купель. Но, как знать,— глядишь, и найдется. К тому же время не только старит, обесценивает вещи, оно, как ни странно, может увеличивать их стоимость. Об этом в Дании (только ли в ней!) хорошо помнят. Для примера: на Монпарнасе, в Париже, в самом фешенебельно-богемном квартале, рядом с огромной башней-модерн черного стекла, змеисто отражающей лак и никель мчащихся авто, а ночью огни, наподобие какого-то блудного сияния,— есть ресторан, где мне довелось не однажды обедать. Ресторан трехзальный, два нижних этажа — обычный, скажем так, суперлюкс, а верхний большой мансардный зал представляет собой нечто вроде темной стилизованной конюшни или старинной таверны. Над столами тянутся древние коричневые балки, словно бы коновязи, изъеденные червем, изгрызенные лошадьми, висят старые-престарые лампы с оббитыми абажурами, по стенам развешаны сбруя, медные лохани, одежда не нашего времени, старинные желтые фотографии полузабытых актеров немого кино. Обслуживают здесь не хуже, чем внизу, под тарелками фирменные тисненые салфетки, отличные блюда, хорошее вино, а интерьер... Интерьер создан, очевидно, при помощи таких вот лавок, где хранят, покупают все, все, все. Вдруг понадобится, хотя бы для фильма?

Чтобы закончить о копенгагенских торговых заведениях, опишу еще одно, тоже любопытное и характерное, тоже с товарами даже на потолке. Представьте себе книжно-журнальный киоск, увеличенный до размеров средней жилой комнаты. В этой комнате есть все, что требуется, как говорят, постоянно и на ходу. Газеты,

журналы (скажем откровенно, и не только приличные), книги из разряда «чтиво», романы с продолжением, которые за три дня творил ранний Сименон, комиксы, переживающие, должно быть, период упадка, таблетки от головной боли, аспирин, сигареты, табак, жвачка, шоколад, пиво (баночное и недорогое, дорогое — в ресторанах). Что еще? Всякого рода справочники и проспекты, сувениры, открытки, дешевые электронные часы, авторучки, брелоки... Магазин торгует бойко, стоит на бойком месте, на углу, на перекрестке. Не захочешь, да зайдешь. Место для торговли здесь ценят особенно. Место — это деньги, успех. Торгуют до глубокой ночи, когда все другие магазины давно закрыты.

Магазины секса, которые оказались дальше, описывать не стоит, они, наверное, во всем подобны голландским, но сошлюсь на объявление в путеводителе по Копенгагену. В фирменной рамочке с черным силуэтом рогатого дьявола, крадущегося куда-то на коровьих копытах и с трезубцем на плече, было написано буквально следующее: «Если вас не удовлетворили рядовые магазины секса, то заходите к нам, в наш магазин по адресу...» Далее адрес и телефон сего сверхвертепа, если верить вкрадчивой рекламе. Что ни говори, заманивать покупателя в Копенгагене умеют.

Побродив по близлежащим улицам, мы вернулись к отелю «Авеню», где ждала нас и медленно стекающуюся группу (не одни мы жертвовали двухчасовым отдыхом) гидесса по Копенгагену фрау (по-датски «фру») Грета, она же Марго, Маргарет, как дама представилась нам. В обличии и речи фру Греты (или Маргарет) без большого таланта прорицателя можно было угадать женщину русского происхождения, наверное, из дворянско-купеческого сословия,— скорее последнее, чем первое,— из того слоя россиян, что покинули Родину в юности, вместе с родителями, и теперь осели по всему свету, натурализовались, насколько это возможно и где возможно, в том числе и в Дании. В отличие от многих русских даже второго, третьего поколения, живущих за границей и все-таки тянущихся к России, как тянется к свету и солнышку растение, пересаженное с вольного места в горшок и поставленное на чьем-то окне, эта мадам с первых слов заявила, что она датчанка, Данию любит, так сказать, б е з у м н о, и хотя она понимала, русское происхождение никак не скрыть, на вопрос лю-

бопытствующих, кто она и откуда, отвечала уклончиво и договорилась до того, что лишь ребенком «проезжала по России и по Сибири». Ну, что ж... Человек, усиленно подчеркивающий свою национальность, всегда вызывает сомнение. Так истинно русскому не придет в голову доказывать, что он русский и что бабушка у него была русская, шведу, что он швед, поляку — поляк, а датчанину, что он датчанин. Мадам же Грета почти каждую фразу начинала словами: «У нас, в Дании...» Или: «Мы, датчане...»

Почему сразу мы, я и жена, вспомнили доброго, мудрого и обходительнейшего месье Роже, как выгодно он отличался от этой властной, категоричной дамы, столь назойливо открещивающейся от своей пусть уже прародины. Может быть, фру Грета и неплохой гид, знает свое дело, объясняет все напористо и заученно, однако, мне думается, гид должен быть еще человеком, и человеком тактичным. Гидесса же вызвала у всех нас улыбку, с ходу заявив, что зовут ее точно так же, как датскую королеву. Меня, например, тоже зовут, как звали даже двух русских императоров, что же дальше... А дальше все мы очень скоро поняли, что в рассказах и пояснениях нашей гидессы гораздо больше, скажем так, амбиции, чем амуниции.

«Нас, датчан, пять с половиной миллионов, и все мы хотим хорошо жить... Хорошая жизнь это прежде всего, как говорят французы, домик, садик, гараж и собака». Все такое прочее дальше с непрерывным «Мы — датчане», «У нас — датчан...».

В группе мадам Грета выделила двух-трех человек, как бы достойных ее внимания, и обращалась обычно и преимущественно только к ним. В число их она безошибочно включила нашего руководителя, гидшу Интуриста, особу, занятую, кажется, более всего мыслями о красе своих ногтей, и еще кого-то, одетого с заграннично-киношной грацией и претензией. Остальные, более скромные, замечались ею, но так, как замечают нечто неизбежное, полудосадное, не имеющее как бы законных прав на равенство и тем более на приближение хоть сколько-нибудь к социальному уровню гидессы. Меня, например, одетого в плебейский некожаный пиджак, да еще с моим нефотогеничным лицом и лесным загаром,

она принимала, по-видимому, за путешествующего шофера или грузчика и определила мне раз и навсегда последнюю ступеньку в своей табели людской иерархии. Когда я осмеливался что-то спросить или уточнить, дополнить (делал я это лишь для жены) — зря, что ли, годами корпел над историей, литературой да и географией Северного Запада — (дополнять же гидов при всей вашей осведомленности считается ненужным),— мадам Грета смотрела на меня так, как смотрят, допустим, на неожиданно заговорившую лошадь, и, понимая, что лошадь-то говорит по-человечески, все-таки отказывалась верить ушам и глазам. Я смирился с отведенной мне ступенью, хотя жену возмущала моя покладистость и, может быть, справедливо.

Тем временем автобус, которым управлял некто с апостольской лысиной и бородой, похожий, впрочем, также на цыгана-гитариста из театра «Ромен», оказалось, что шофера и зовут по-апостольски, Павел, катился по копенгагенским улицам, довольно прямым, в отличие от многих городов Северного Запада. Я же, глядя на библейскую внешность шофера и на то, как он, вжимая лысину в плечи, закрыв бородой баранку, крутит ее, а завершив разворот, удовлетворенно оглядывается, все думал, вдруг шофер бросит руль и, удальски схватив неизвестно откуда взявшуюся гитару, крикнет нам: «Эй, чавала!» И пустится в пляс.

Я сказал об этом жене, и она тихо кисла от смеха.

Копенгаген в общем-то типичный город Северного Запада. Город глядел на нас подстриженным и ухоженным уютом парков, прудами в величавом обрамлении старых ив и серебряных тополей, утками и лебедями в каналах, пешими и конными монументами, главами церквей, одна из которых имела витую колокольню, наподобие толстого старинного штопора, с позолоченным шаром чуть ниже острия, ввинченного в серое копенгагенское небо. Церковь сия, как гласил путеводитель и твердо следующий ему гид, была воздвигнута в 1682 году.

Наконец мы выехали в центр Копенгагена, на площадь, по бокам украшенную тремя башнями под свинцово-голубыми кровлями. Здесь находятся ратуша, здание фолькетинга — однопалатного датского парламента — и прочие учреждения подобного рода, все это украшенное световой рекламой, а башни, разумеется, флюгерами. Фру Грета заметила, что площадь ратуши очень

красива ночью, но нам она понравилась и днем. На всей почти территории площади, кроме, скажем языком нашего ГАИ, проезжей части, в павильончиках и киосках торговали пивом, прохладительными напитками, сосисками, разной закусочной снедью, которой заправляются на ходу или для короткого отдыха под цветными тентами-зонтами, у мраморных столиков, где обслуживают дюжие молодцы-официанты. Площадь была живая, лишенная нарочитой парадности и помпезности, она, вероятно, отражала деловой стиль жизни датчан. Погуляв по ней и объехав ее, мы отправились дальше и, огибая пустое здание фолькетинга (парламент был распущен на летние каникулы), увидели на его ступеньках какую-то семью — муж, жена и двое ребят — все они усердно ели бананы и махали нам.

Автобус вывез нас на другую площадь, королевскую, где снова мы вышли погулять и полюбоваться гвардейцами в мохнатых медвежьих шапках, синих мундирах и голубых штанах с белыми лампасами. Форма их, красивая, хотя и несколько опереточная,— дань традиции, равно как и опереточной была и островерхая, узенькая будка-шкаф у ворот дворца, куда гвардеец мог спрятаться на случай непогоды. Гвардейцы, молодые бравые ребята, по-видимому, весьма привыкли к зевакам, к любопытствующим, потому что шагали себе прогулочным шагом взад и вперед у открытых ворот, не обращая на нас никакого внимания. Площадь образуют пять зданий, принадлежащих королевской семье. Все это сообщила нам мадам Грета, не преминув подчеркнуть, что ее тезке, королеве, 39 лет, что сейчас королева отдыхает, замок пуст и открыт для экскурсий.

— Коронаций у нас не бывает,— продолжала мадам Грета.— Когда король умирает, имя нового провозглашается с балкона вот этого дворца. Все это делается для удешевления, ибо коронация — дорогое мероприятие.

Мне хотелось узнать о движении Сопротивления, которое было в оккупированной фашистами Дании. Но гидесса старательно уклонилась от вопроса. Я уже сказал, что по социальной иерархии она отвела мне невысокую ступень. Мне же пришлось взять роль гида и рассказать группе заинтересованных, что Дания все годы сопротивлялась оккупации, рабочий Копенгаген даже объявил всеобщую забастовку в знак протеста против комендантского часа. В условиях фашистского режима,

под дулами пулеметов и танков, он добился отмены этой акции,— случай невиданный для оккупированной страны. В Копенгагене и других городах Дании была создана подпольная армия сопротивления под командованием «генерала Иохансена». Мало кто знал, что Иохансен, «генерал», за подписью которого выходили листовки, был простым рабочим газового завода, бежал из концлагеря, куда его заключило профашистское правительство, продавшее Данию немцам. Бежав из концлагеря, Свен Вагнер, так звали «генерала», организовал сеть подпольных групп и взорвал в ответ на фашистские репрессии огромный судостроительный завод «Бурмейстер и Вайн». После войны генералу-подпольщику буржуазное правительство Дании вынуждено было присвоить воинское звание подполковника.

Пока я рассказывал о всеобщей забастовке в Копенгагене в день святого Ханса, то есть 24 июня 1944 г., о баррикадах в городе, остановившихся трамваях и угрозах оккупантов, не справившихся с непокорными датчанами, автобус свернул с городских улиц и покатил к приморскому парку, где, как было мне давно известно, находятся две скульптурных знаменитости Копенгагена, известные всему миру.

Мы подходим к первой. Шумит вода, в лицо сеет водяную пыль. Четыре гигантских бронзовых быка, склонив могучие мокрые шеи, влекут плуг, которым пашет воду монументально-прекрасная в плотской мощи бронзовая женщина. Летит из-под лемеха клубящаяся вода. Дрожит над фонтаном розово-синяя радуга. В пене брызг свирепые быки готовы сокрушить все в своем неостановимом движении. Вот он, фонтан Гефион, о котором я столько читал, видел его в репродукциях и фильмах. Теперь водяной ветер брызжет мне в лицо, и я вспоминаю строки из древних скандинавских саг, из «Старшей Эдды...».

Когда волшебница из рода богов Асов Гефион (по некоторым источникам, Гифеон и Гифеона) пришла в землю древней Швеции, она так пленила доброго и мудрого шведского короля Гюльфе своим пением и игрой на арфе, что растроганный и влюбленный Гюльфе спросил волшебницу, что она желает получить в подарок? Лукавая Гефион попросила земли. Тогда щедрый король ска-

зал, что даст ей земли столько, сколько вспашет четверка быков за один день и ночь. И волшебница, обратив в быков четверых своих сыновей, прижитых от великана, за одну ночь отпахала от Швеции громадный остров Зеландию, а в борозде родился пролив Зунд (Эресунн), и поныне отделяющий Данию от Швеции.

Так повествует древний скандинавский миф. В общем-то в любом мифе содержится зерно истины. Да, когда-то могучие силы Земли оторвали этот остров от материка, и народный эпос лишь облек геологическую быль в сказочный образ. На острове Зеландия возник Копенгаген в начале второго тысячелетия, возникло и Датское королевство, включавшее, если верить древним хроникам, в свои владения земли в Англии, часть Германии, всю Норвегию, Швецию и Финляндию. Фактически это была вся Скандинавия под датским мечом. Громадное королевство. Оно охватывало, следовательно, почти весь Северный Запад. И остатки этой объединенности мы чувствуем и сейчас — и в жизни, и в символике гербов и флагов скандинавских стран. Впрочем, Датское королевство и сейчас огромная страна. Вы не забыли, что в ее состав входит Гренландия, не так давно, правда, добившаяся некоторой автономии. В общем, как там ни суди, волшебница Гефион оказалась прародительницей страны, а значит, и Копенгагена,— вот почему с таким интересом разглядывали мы чудо-фонтан. Мой упрямый фотоаппарат «Зенит-снайпер», как всегда почти, отказал именно здесь, и я до сих пор сожалею, что не смог заснять фонтан Гефион во всем его великолепии. Впрочем, возможно, что это и сама волшебница не захотела позировать. Гефион ведь была очень своенравна, как все красивые женщины.

Отдохнув у фонтана, мы отправились дальше по усыпанному овальным морским окатышем берегу Зунда. Шли еще к одной достопримечательности Копенгагена и Дании — скульптуре Русалочка. Вот она, эта зеленоватая бронзовая девушка с рыбьим хвостом, поджав колени, сидит на камне недалеко от берега. Русалочка печальна, и о ее печали сложил всем известную сказку Ганс Христиан Андерсен. История же скульптуры куда более прозаична. Известно, что датский пивной фабрикант, глава фирмы Карлсберг, так восхитился красотой одной из балерин Королевской оперы, что заказал скульптору Эриксену ее статую. Деньги делают все. Скульптура

была создана. В 1913 году Карлсберг подарил ее городу. Первоначально статуя предназначалась для королевского парка, но целомудренный король (или королева) сочли, что обнаженная женщина в парке будет не совсем уместна. И вот Русалочка села на камне-скале недалеко от старой крепости и живет здесь уже семьдесят с лишним лет. Геннадий Фиш, автор талантливой книги «Скандинавия в трех лицах», сообщал там, что в пятидесятые годы еще жила в копенгагенском доме для престарелых сама балерина, служившая моделью скульптору Эриксену.

Русалочка столь же характерна для Копенгагена, как Эйфелева башня для Парижа, а Манекен пис для Брюсселя. Этой удивительно небольшой скульптурой город и Дания гордятся. Изображение Русалочки видишь всюду: на вазах, настенных тарелках, фарфоре, ее уменьшенные копии есть во всех магазинах сувениров. Да, непредсказуема судьба творений человеческих рук. И наверное, стоит ли напоминать, что на Русалочку совершалось покушение. Неизвестный злоумышленник отпилил у нее голову и похитил. Но скульпторы восстановили бронзовое чудо так, что шов даже не заметен. Русалочка по-прежнему осталась сидеть на камне-скале у берега приморского парка.

Мы бродили по кромке залива Зунд, любовались морской гладью и далью, крупной серо-зеленой галькой на дне. Вода здесь чистая, нежно-изумрудного и аквамаринового оттенка, волны плещут едва-едва, по проливу скользят, лучше бы сказать, парят нарядные белокрылые яхты. А на противоположной стороне чуть видны фиолетово-синие берега Швеции. Да, приличную борозду пропахала богоравная Гефион на своих быках-сыновьях...

Обратно автобус еще долго везет нас улицами Копенгагена. Мелькают названия проспектов и площадей. Апостол Павел неутомимо крутит баранку.

— Дом, где жил Андерсен,— показывает мадам Грета.

А я вспоминаю, что видел подобный дом на берегу канала в Брюгге. Там тоже жил Андерсен.

— А это еще один дом, где он жил...

— Здание биржи. Здесь делают деньги!

— Статуя короля Кристиана. Это основатель Дании.

Это наш Рамзес второй! — с гордостью сообщает мадам.

Причем тут Рамзес, египетский фараон-завоеватель, непонятно. Если говорить о былой силе Дании, то она наибольшую степень могущества имела при короле Кнуде I, когда в состав Дании входили Англия и Норвегия. В правление же Маргариты Датской под властью Дании по Кальмарской унии объединялись Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия.

Дальше следовал пивоваренный завод «Карлсберг»,— также своего рода достопримечательность Дании, претендующая как будто на мировое господство. Ее рекламу видишь на стенках хоккейных кортов, на футбольных полях, на дорогах многих европейских стран. «Карлсберг», «Карлсберг», «Карлсберг»! «Лучшее в мире пиво!» Правда, такое утверждение я слыхал и не только из уст фру Греты. «Лучшим в мире» пивом хвастают и другие фирмы в Бельгии, Голландии, Швеции. Иногда мне даже хочется спросить, а какое же «лучше лучшего»? В Дании конкурируют два пивных великана — «Карлсберг» и «Туборг». Пиво всех мастей, темное, рыжее, блондинистое, всех градусов, от почти безалкогольного до чуть ли не двадцатипятиградусного, если верить рекламе, и всякой консистенции — от весьма плотного, сытного до такого, что кажется пожиже воды. Прибавьте сюда раззолоченные упаковки, этикетки, наклейки. Усиленную пропаганду. Рекламу. На рекламу на Западе не скупятся. Она дает деньги. Она позволяет манипулировать сознанием покупателя. Начни, к примеру, долдонить, что данная вещь лучшая из лучших, пусть даже при среднем качестве, и постепенно внедрится уже что-то похожее на убежденность. А если еще раззолотить? Привесить золоченый ярлык? Один мой знакомый из породы завзятых шутников смешал обычное пиво с шампанским и чуть ли не с одеколоном, угощал друзей, уверял, что это «Чешское пльзенское». Знатоки возводили глаза к небу. Цокали, подтверждали. Шутник-хозяин хохотал, держась за живот. Потом хохотали все вместе. Реклама! Она ведь может быть и очень тонкой. К примеру, знаю, что старший Карлсберг, основатель фирмы, скупал произведения искусства, главным образом подлинники античной скульптуры, римские копии, построил галерею для этого собрания — глиптотеку, о

которой еще будет сказано подробнее, знаю, что и сейчас фирма «Карлсберг» поощряет искусство, выделяя датским писателям и художникам денежные субсидии. Конкурент «Туборг» старается не отставать, отдает (или взымает?) некую толику с каждой бутылки на развитие науки. Не правда ли, это трогательно? Соединение приятного с полезным и даже с возвышенным!! Итак, пейте пиво «Карлсберг» или «Туборг» — вы передовой человек, вы способствуете процветанию... Страны или пивоваров, это уже, как говорится, другой вопрос.

Опять дом, где жил Андерсен.

Вопрос из глубины автобуса:

— Скажите, пожалуйста, что, он так часто менял квартиры?

Реплики из тех же глубин:

— Бегал от долгов.

— Не от долгов, а от кредиторов.

— Полно, он был богатый человек.

— На сказках не разбогатеешь. Мне вот за книжку в полтора листа заплатили, смех сказать...

— Но ведь вы не Андерсен...

— Пишите толще...

— Ха-ха.

Повторный вопрос:

— Но почему же он все-таки так часто...

— Бегал от жены.

— Ну, знаете, всему есть приличие...

Ответ мадам Греты:

— Он был холостой и менял место жительства.

— Все правильно,— слышится из глубины.— Датская пословица говорит: «Холостяк тот, кто каждый день приходит на службу иной дорогой...»

Общий смех.

Фру Грета, кажется, не понимает юмора. Лицо ее серьезно. Я бы сказал, величественно. Ей бы очень подошла корона.

— Вот национальный банк Дании. Здесь печатают наши деньги...— в голосе уважение.

Мне думается, что деньги печатают не в банках, в банках их хранят и считают, но я не решаюсь противоречить гидессе.

Датские деньги — с изображениями великих датчан.

Астроном Тихо Браге, скульптор Торвальдсен, Андерсен (все-таки сильно сомневаюсь, что он был богачом, а вот обогатил весь мир, это уж точно). Здание банка украшено гренландским мрамором. Бетон. Стекло. Внушительный вид. Деньги любят солидность. Здесь они живут.

— А вот это магазин «Норд» — самый большой в Копенгагене. По фасаду магазина флаги многих стран мира.

Далее перед нами огромная, своеобразная для своих чудовищных размеров церковь Грундвиг — постройка нынешнего века.

Здесь мы выходим из автобуса, пора поразмяться и потрогать архитектурное диво из светло-желтого, неярких тонов датского кирпича. Такая здесь глина. Фру сообщает, что церковь строил архитектор Енсен Клинт, а работали всего шесть мастеров-каменщиков с 1921 по 40-й год. Деньги на строительство собирал народ. Не отсюда ли вообще пошло слово «со-бор»? Простенькая догадка, а вот не приходила в голову. Архитектор не дожил до завершения постройки, умер в 1933 году. Прах его захоронен в стенах желто-серого датского кирпича. Здесь уложено три миллиона кирпичей. Дело отца продолжил сын, украшали собор и ставили внутреннее убранство внуки.

Церковь внушительна, особенно своей высотой и какой-то предельной отточенностью, иначе не скажешь, кирпичной кладки. Глядишь, трогаешь эти кирпичи и думаешь: «Да, умеют работать датские мастера. Руки у них золотые». Мадам Грета сообщает, что в постройке нет железных деталей.

Ну, церковь это памятник Богу, Труду, Мастерству, Народной щедрости, так или иначе она украшает Копенгаген, а вот мы проезжаем мимо другого «памятника». Длинные, похожие на бараки или казармы дома. Кирпичная стена. Ворота без створок. И все это: крыши, стена, ворота измазаны, исписаны мелом и красками и испакощены рисунками. «Хиппиленд!» — читаю я повторяющуюся надпись. Страна хиппи. У ворот казарм (они здесь и были в прошлом) на берегу канала с грязной водой тощие, долговолосые фигуры. Парни, девчонки в драных юбках, в заношенных джинсах, майках. Неизбежные сигареты, тупые, бездумные взгляды, запущенность, порок, лень, болезни — все это видишь, как отпечатанное, на лицах обитателей «страны».

— Хиппи теперь непопулярны,— говорит мадам.— Потому что у нас, в Дании, любят работать, а они бездельники. Но из казарм их никто не может выгнать.

Хиппи, панки, еще какие-то фигурно стриженные личности с глазами параноиков и наркоманов,— не есть ли некое извращенное забулдыжничество, да еще подаваемое как социальный протест? С ним сталкиваешься везде и всюду по берегу Атлантики, и диву можно только даться, когда и дома, в России, видишь подчас недорослей и недоумков, старательно копирующих иноземную дурь. А дурь эта липкая и заразная, из нее, как из волшебного семени (посеянного отнюдь не добрым волшебником), растут разгильдяйство, грязь, лень, всякого рода подонство. Конец же всегда один — жесткая скамья за переборкой, отделяющей от зала. И что-то хотел бы, да не видел я средь подобной братии ни патриотов, ни подвижников, ни просто нормальных, порядочных людей. Семя злого волшебника дает ядовитые и чахлые всходы.

Вечером мы были в доме Общества датско-советской дружбы. Нас принимали активисты Общества. Датские коммунисты. Водили по трехэтажному прекрасному зданию, знакомили с библиотекой. Семь тысяч томов русской литературы. Теперь к ним прибавились и три моих книги, которые я выслал новым друзьям, вернувшись домой. Радушные датчане угощали пивом и бутербродами, легким сухим вином. Произносились тосты и речи. И даже я не удержался, сказав, что вырос на андерсеновских сказках и «каплях датского короля», которыми меня поили во время бесконечных детских простуд. И по сей день я помню лакричный вкус и терпкий запах этого странного средства, лекарства тех лет, когда главным считался аспирин, а красный стрептоцид уже был средством чудодейственным.

Застолье вскоре стало непринужденным, простецки веселым. Датская речь мешалась с русской, мимика с жестами. Уже обходились без переводчиков. «Не надо переводчика,— сказал Остап.— Я уже как-то стал понимать по-бенгальски»,— припомнилась классическая фраза из «Золотого теленка». Хотя переводчик у нас был на этот раз свой и великолепный — доктор филологических наук Людмила Брауде успевала переводить и на датский и на русский. Вечер завершил концерт датских комсомольцев, задушевно исполнивших датские и русские народные песни и мелодии.

Поздно вернулись мы в отель «Авеню». Мы буквально валились с ног — так устали за этот долгий-предолгий день. Теперь не было, наверное, ничего лучше датской кровати... Кстати уж о кроватях. В справочнике «Весь Копенгаген на этой неделе» им уделено большое внимание. Оказывается, датчане держат мировое первенство по комфорту «предметов для сна». Кровати, матрацы, перины, подушки — все здесь ЛЮКС! Датчанин не экономит на сне. «Мы любим хорошо поспать! — вещает фирма «Нордфедер» — «Северное перо».— Отделения в 17 странах мира!» И тут же фото. Очень славная девушка розовым утром, сидя на кровати, плетет утреннюю косу, бретелька голубой рубашки съехала на нежное плечико. Реклама!

И мы воздали должное датской постели и фирме «Северное перо».

Глава II

Великие датчане. Гимн корове. Размышление о велосипедистах. Дания сельская и фешенебельная. Замок Гамлета, где Гамлета не было. Датские животные. Фредериксборг — город в городе. Поющие старики. «Тиволи» и Вестерброгаде. Ночной Копенгаген.

«Копенгаген — это не Дания»,— говорят сами датчане, хотя в городе с предместьями живет едва ли не треть жителей страны. Все знаменитые датские писатели, художники, артисты, ученые жили или живут здесь, в Копенгагене. Андерсен. Торвальдсен. Нильс Бор. Известный всем в нашей стране художник-юморист Херлуф Бидструп, правда, переселившийся из города в предместье. Предместья теперь престижнее центров с их суетой, дурным воздухом, шумом, опасностями в вечернее и ночное время. В предместья переселяются, пожалуй, повсюду, кроме моей страны, где в городах центр считается удобнее и престижнее и объявление «Окраины не предлагать» выглядит чем-то само собой разумеющимся. Итак, Копенгаген — не Дания, но все-таки ее сердцевина, столица, мозг, духовное начало и средоточие ее

национальной гордости. В то же время утверждение содержит и значительную часть истины,— ведь главное, что составляет суть датской экономики, а, следовательно, и жизни,— сельское хозяйство, мясное и молочное, отчасти и зерновое, ибо, согласитесь, хлеб даже при умеренно-датском его потреблении пекут из муки, а пиво, хоть «Карлсберг», хоть «Туборг», варят из ячменя. Три миллиона голов крупного рогатого скота и восемь миллионов свиней в Дании приходится на пять с небольшим миллионов населения. Такая «плотность» скота на душу проживающих, скажем так, весьма внушительна. К тому надо прибавить, что датские коровы знаменитой красной породы имеют отличные показатели по жирности и надою молока. Худую скотинку держать здесь просто не получится, с такими коровами вылетишь в трубу. Закон капитализма жесток, может быть, он заимствован у природы. В природе выживают сильнейшие, в сельском хозяйстве — самые оборотистые и работоспособные. Думай, крутись, напрягай все силы, вставай с зарей, ложись затемно... А потому на коров здесь молятся,— они символ успеха, богатства и могущества нации, главную долю экспорта составляют молочные и мясные продукты. Коровам ставят памятники, рекордисток по удою и жирности молока продают за баснословные деньги. Выставки скота устраивают и в самом Копенгагене, на окраине, куда съезжаются сотни тысяч датчан. Средний надой датских коров — от четырех с половиной до пяти тысяч литров в год. Коровы-рекордистки красной породы дают до 14 тысяч килограммов молока и, как следствие, 700 килограммов великолепного, душистого, благоухающего лугами датского масла. Жирность молока колеблется от 4,5 до 7 процентов! Как тут не поставишь монумент! Как не согласишься, не помню уж с чьим смелым утверждением, что молочная корова всегда будет ценнее для человечества, чем реактивный истребитель.

Добрая, усердная рогатая красавица вместе с белой беконной датской свиньей, без преувеличения, поят и кормят страну. Свыше 20 процентов говядины, свинины, масла, сыра, молока идет в страны Общего рынка, и в первую очередь в Англию. В Англию испокон века, так что британские снобы высокомерно именуют Данию английской молочнотоварной фермой...

Обо всем этом мы рассуждали, пока ждали автобус, обмениваясь мнениями, чем торгует Дания, на что живет,

ведь лесов, нефти, руд, угля, золота и тому подобных природных богатств у нее нет или почти нет, земля в первозданном виде малоплодородна, как везде на Северном Западе,— песок, подзол, глина, камешник, подчас и вообще трудно понять, что такое, как, скажем, в Голландии. Но именно эти обстоятельства учили датского крестьянина (и только ли датского) изворачиваться в своем хозяйстве, ценить каждый клочок почвы, всякий клок сена, работать над улучшением плодородия земли и скота, точно так же, как города изощрялись в ремесле, торговле, а с развитием техники и в машиностроении. Благо еще под боком был кормилец-океан с его китами, сельдью, треской, лососем и угрем.

Толковали мы о хозяйстве Дании у входа в отель, прогуливаясь и вдыхая утренне свежий, особенный здесь ветер. Он несет запахи безмерных водных пространств. Он наполнен чистотой, влагой и кислородом, не задымлен и не отравлен промышленным чадом. Погода была, наверное, типичная для взморья: ветер, широкие влажные облака, находящие пеленой с голубым и сереющим к дали исподом, редкое, вымытое как бы солнце, капля-другая дождя и опять ветер, солнце и облака, непугливо сулящие спокойный дождь. Я люблю и дома такую погоду. Она как-то умиротворяет, выглаживает душу. Копенгагенское утро было в разгаре, и мимо отеля мчался поток авто, а параллельно ему и рядом с ним по особой, более узкой дорожке, асфальтовой полосе, сверкал спицами непрерывный живой строй велосипедистов (и велосипедисток). Еще путешествуя по Бельгии, а особенно по Голландии, мы привыкли к виду множества велосипедов, но здесь, в Дании, было их еще больше, казалось — весь Копенгаген сел на велосипед и куда-то мчится с ровной, отмеренной скоростью. Ехали девушки, женщины, парни, почтенные служащие, мчались старухи, как-то напоминающие существ на метле, катили целомудренные монахини в черных платьях, в белых крахмальных уборах с непредсказуемыми углами, многодетные матери спешили сразу с двумя, тремя детьми на багажнике и в какой-то корзинке у руля, крутили педали почтенные старцы — их было меньше всего. Старики — народ хрупкий. Больше запомнились монахини, глядя на которых, всегда думаешь, как им, бедным, горько, безрадостно, наверное, живется, хотя бесовские мысли, навеянные чтением, может быть, Дидро, убеждают в обратном, и

еще запоминались старухи, потому что представить у нас бабушку лет семидесяти верхом на двухколесном коне просто немыслимо. Велосипед у нас вообще словно бы потихоньку вымирает,— возьму даже период собственной юности, сороковые — пятидесятые годы, когда тульских и пензенских машин при всей их тогдашней дороговизне и престижности было на улицах куда больше и сам я часто ездил на велосипеде в школу, по магазинам и на работу. Думается, что у нас велосипедистов в городах вытесняют трамвай, автобус, троллейбус, метро — все виды общественного транспорта, развитые куда сильнее, чем на Западе, к тому же и очень дешевые. Они удобны и для бабушек, которые влезают подчас в трамвай, а хотелось бы сказать, вламываются с непредсказуемой силой, сходной с движением некоторых толстокожих, сминая все на своем пути, удавливая и властно озираясь в поисках свободного места. И худо бывает тому, кто не успел или промедлил место уступить. Для датчанки-пенсионерки трамвай и автобус весьма дороги, автомобиль требует дорожающего бензина. И вот бабушка пересела на велосипед. У причины есть следствие. У нас понятие «старуха», просто «женщина пожилого возраста» как-то всегда почти сопрягается с тучностью, неповоротливостью, одышкой — всеми дополнительными бедствиями старости. В Копенгагене редко-редко увидишь толстую старуху, все больше этакие невесомые добрые феи мчались мимо, хотя признаюсь, иногда казалось, что вместо феи жмет на педали, выставив острый подбородок, фурия, у которой велосипед уподобился метле.

А вот появилась с улыбками громкая, властная фру Грета. Подкатил автобус. Усаживаемся, разбираем места. Они в автобусах обычно з а к р е п л я ю т с я, так сказать, с первой посадки. Более опытные и бывалые захватывают места впереди и получше, с лучшим обзором, на передних сиденьях меньше укачивает, малоопытные, скромные и новички получают места похуже, где больше трясет. Есть еще редкая категория людей, которые не могут себе позволить зайти куда бы то ни было, не пропустив вперед себя всех. Этим редким... Я хотел заметить, в жизни им всегда приходится стоять и нести на себе бóльшие нагрузки, но так как в автобусах места рассчитаны на всех и ухабы на здешних дорогах и качка понятие условное — все, в общем, довольны. Ухоженность

дорог обратно пропорциональна их длине. А расстояния здесь не российские.

Мы едем сегодня на прогулку по сельской Дании (та, что не Копенгаген) в городок Эльсинор, осматривать старый королевский замок Кронборг.

Пока мелькают уже словно бы привычные дома и улицы Копенгагена, приведу кое-что взятое на ходу из записной книжки. Все записи, как говорится, «с пылу, с жару» и передают впечатления наиболее непосредственно и точно.

«Огромные толстые каштаны. Королевская библиотека. Здесь, как всюду на Северном Западе, все королевское. Королевский ресторан. Королевский мост. Парк. Королевский датский фарфор-порцелан. «По разрешению королевского датского двора». Или вот реклама фирмы мехов: «А. С. Банг — меха. Поставляет меховые изделия для королевского датского двора с 1817 года. Имя, которое сделало датские меха всемирно известными». Мне, россиянину из края соболя, куницы, выдры, горностая и других ценно-бесценных пушных зверей, хочется только улыбнуться. Фирма «Банг» наверняка без них не обходится».

«Огромные тумбы. Это причалы. Два века назад здесь было море, и тумбы сохранились. Теперь в них цветы».

«Клетки для мусора».

«Мадам Грета сказала, что у этой улицы-канала имеется две стороны: приличная и неприличная».

И еще:

«Этот старинный склад переделан под гостиницу. Очень дорого, но очень популярно... Здесь недавно были туалеты, а теперь сувениры...»

«Площадь Черчилля».

«Дания состоит из песка и глины»,— снова мадам Грета.

«Омар Хайям в своих рубаи говорит, что и мы состоим из того же,— заметил я. Грета не поняла».

«Стоимость среднего дома один миллион крон!»

Грета сказала: «С 7 до 14 лет у нас принудительное обучение».

«В Дании есть церковный налог. Платят его 95 % населения (очевидно, по желанию). Но верующих мало»,— изречение мадам Греты.

«Более съедобные коровы»,— тоже Грета.

Пока просматривал записную книжку, припомнил, что

замок Кронборг, он же и крепость, находится на берегу пролива Зунд. Именуется часто замком принца Гамлета. Общеизвестно, что никакой Гамлет никогда не жил в этом замке. Да он (замок) и построен в более позднее время, чем описано Шекспиром. Но все-таки Кронборг традиционно считается гамлетовским. В день святого Иохансена (а по-русски Ивана Купалы) здесь, во дворе замка, как в неком театре на открытом воздухе, дается представление по пьесе Шекспира при огромном стечении жителей Эльсинора и, конечно же, туристов. Часто приезжают знаменитые актеры. Словом, это своего рода Шекспировский праздник на датской земле, который вошел в традиции.

В подземельях замка, по народным преданиям, спит богатырь Хольгер. Хольгер пробуждается лишь тогда, когда всей Дании грозит опасность. Это как бы кочующее предание о народном защитнике, олицетворении силы народа в трудный час, а Хольгер — датский Илья Муромец. Теперь в подвалах замка есть и скульптура спящего богатыря.

Это были мои теоретические представления о Кронборге, по дороге к которому, ведущей вдоль взморья, катил наш автобус.

Справа море в серебряных блестках, в малахитовой глади волн, кажется, что это плещет, играет сельдь, слева — Датская Ривьера. Взморье застроено. Дорогие виллы. Многие с гербами, с девизами на фронтонах. К сожалению, из-за скорости не мог прочесть и перевести. Но что-то такое, вроде прописей: «Труд кормит, а лень портит». «Дорогие виллы «богатеющих» людей»,— вспоминаются мне слова месье Роже.

Справа пляжи, зеленые полянки с травой и серыми камнями-голышами овальной формы, над которыми веками трудилось море.

— Купаться до девяти утра можно бесплатно, с девяти — за плату,— вещает гид.— Надевай халат и беги через дорогу.

— У нас, в Дании, это самое дорогое место. Первый человек поселился здесь пять тысяч лет.

— Копенгаген можно сравнить с ладонью. Это центр и пять выходов из него, все соединенные кольцевой дорогой.

— Дания — деревенская страна. У нас все могут поехать в деревню. Смотреть коров. А также отправляем

туда детей. Детей из городских семей хозяйка берет к себе в семью бесплатно.

«Вот уж пропаганда, так пропаганда»,— думаю, глядя на широкое, красное, часто моргающее лицо гидессы.

— У нас каждый пятый человек имеет яхту, как и автомобиль.

Восклицания легковерных.

— У нас дети должны уметь управлять яхтой и автомобилем.

Действительно, у причалов полно лодок, яликов, шлюпок-моторок, есть и парусные, но ведь понятие «яхта» в таком случае довольно растяжимое.

Сегодня на Датской Ривьере солнечно. Облака снесло, и солнце щедро купает свои лучи в чистой, зеленоватой, ближе к изумруду, холодной воде Зунда. На той стороне ясно видно шведский берег. Постройки. Это Сконе, самая плодородная часть Скандинавии — житница Швеции.

— Мы против шведов воевали более ста лет,— говорит мадам Грета.— И когда Швеция отделилась, король велел заколотить окошки в замке Кронборг на ту сторону, где шведы.

«Что ж,— думаю,— одни цари «прорубали окна», другие заколачивали. Но все-таки более правы оказывались в конце концов те, что прорубали. Заколачивание окон всегда вело к лишней темноте для собственной страны».

Меж тем Ривьера кончилась и пейзаж пошел совсем сельский: поля, пригорки, дубы, буки, мелкие перелесочки. Чем не родная Россия? Похоже. Похоже... Особенно на Россию срединную, холмистую. Но Россия эта как бы уменьшена в десяток раз и вся изрезана дорожками, пересекающими этот ландшафт. Есть и дорожки для велосипедистов. И опять во многих местах эта не свойственная нашей России проволока на столбиках. Частные владения. Пешеходов нет. Пусто так же, как в Голландии. Белые, явно домашние гуси летят кормиться на море, вьются над полями ласточки, как у нас, в Зауралье. Я все жду, не увижу ли где аиста? Люблю аистов, но в Дании они, видимо, повывелись, они и в более низинной Голландии теперь — редкость. Мало их стало в Прибалтике, в Белоруссии. Исчезает «черногуз», гордая и мирная птица с обликом заколдованного, сказочного Халифа. Гибнет на проволоках высоковольтных линий с непродуманно близко поставленными перекладинами, гиб-

нет от гербицидов, от осушения болот и, может быть, вообще от наступающей людской суеты, шума и тревоги. Ведь и сам человек страдает от этого, животные же платят жизнью.

— Фру Грета! — прошу гидессу как можно культурнее и даже по-датски, язык близок немецкому, и сориентироваться нетрудно.— Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о природе Дании, о животных...

Опять взгляд в мою сторону с тем удивлением, с каким смотрят на заговорившую лошадь. На сей раз она говорит по-датски, но долг гида перевешивает:

— Наша страна состоит из пятисот островов,— заученно откликается мадам, конечно, без большой охоты. Мой вопрос словно непредвиденное нахальство.— Одиннадцать процентов земли у нас покрыто лесами.

— А животные, звери? Дие тиере?

— Животных мало... Лисица... Мм... Крыса... Редко ядовитые змеи.

— Да-а. Говорят, что человек постепенно истребит все редкое и нежизнеспособное,— включается кто-то из группы с большим апломбом в голосе.— Останется крыса, ворона, таракан...

— А из людей — подлецы! — ядовито замечает кто-то еще.

Хохот.

Неожиданно завязывается спор. Мадам Грета с удивлением и непониманием смотрит на шумных русских. До сих пор она, кажется, отказывала нам, пусть не всем, в элементарных мыслительных способностях. «Неужели они все-таки люди?» — тайная мысль, и конечно, не публикуемая, далеко спрятанная, мелькает вдруг на лице этой баронессы и тут же гаснет. Нет, нет, не может быть! Они же из Совдепии. Варвары, которым приходится служить... Ну, что ж...

— А почему бы Дании со Швецией не построить мост? Здесь так близко,— спрашивает кто-то из дам.

— Зачем? — говорит мадам Грета.— Мы ездим в Швецию на пароме, без визы, и если у вас датский вид (непонятно, что имелось тут, старомодно-дореволюционное название паспорта в России «вид на жительство» или внешность датчанина), то вас никто не задержит. Мост хотели строить, но не договорились, шведы хотели, чтоб мы, а мы, чтоб шведы.

— Почему бы не пополам? — спрашивает моя жена.

— Зачем? Мы в Европу попадем и без моста, а они — нет...

Категорично и ясно.

Замок Кронборг в Эльсиноре был почти точно такой, каким я его представлял. Кирпичные темные стены, ров с зеленой, мутной водой, равелин над берегом с пушками в сторону Швеции. Внутри высокие, сумрачно просторные залы с каменными полами и дубовыми потолками. Дуб морен временем, а может, взят из морских глубин. Тканые гобелены по стенам заменяют исторические картины.

Теперь из записной книжки, так сказать, живые впечатления от Кронборга.

«Потолки в залах из прямоугольных громадных бревен, метров по двадцать длиной. Где брали такие дубы?»

«Бронзовые светильники в нишах».

«Стены — два с половиной метра в толщину. Как следствие — монастырские окна с решетками во двор».

«Дверь в королевскую спальню черного дерева, резная. Резьбой был покрыт и потолок. Теперь она снята. Камины из серого гранита в торцовых частях комнат».

«Малый банкетный зал. Камин. Резные деревянные сундуки и опять гобелены 6 или 7 в ряд. Гобелены ткали во Фландрии, и примерно такие же я видел там в старинных графских замках. Главные сюжеты: охота и пиры».

«Королевская спальня. Кровать под крышей-балдахином. Спальни коронованных особ тогда почему-то делились на парадные, что называется, напоказ, и более скромные, обычные. Утешает, что датчане спали все-таки лежа, а не сидя, как фламандцы и голландцы».

«Круглый зал, весь увешанный гобеленами со сценами охоты на оленей».

«Замыкает обзор королевская капелла-церковь. Она, пожалуй, наиболее вписывается в стены этого мрачноватого замка».

«Фонтанчик посреди каменного внутреннего двора. Крючья для дичи по стенам. Тогда в Дании еще были, очевидно, не только «лисица и крыса».

Покинули замок, пройдя через мост и еще какие-то древнего вида мостики, за которыми датская провинциальная пастораль: ивы с чеканной серебряной листвой,

домики с черепичной крышей, уютненькими окнами, широкобедрые женщины, утки в прудочках и канавах. Облака точно на расписном датском фарфоре... Старый Эльсинор. Старая, вечная Дания. Северный Запад.

— Теперь вы убедились, что Гамлет даже никогда ногу свою в Кронберг не ставил,— сказала фру Грета.

— И даже — Шекспир! — добавил кто-то.

— И Шекспир.

Маленький Эльсинор производит какое-то скорее голландское впечатление. Здесь кроме туристских отелей и таверен есть пивоварни и судостроение. Противовесом к тихому виду городка было неожиданное обилие автомашин. Иные ехали с включенными фарами (днем!).

Осведомляемся у гидессы, почему такое расточительство?

— А-а... Это, конечно, шведы,— машет Грета.— У них очень много денег — и вот ездят с включенными фарами, для безопасности...

Из Эльсинора путь наш в обратную сторону, но другой дорогой, через Фредериксборг — город, примыкающий к Копенгагену. Да что там примыкающий, если он фактически в н у т р и Копенгагена. Город в городе. Однако все еще имеет автономию — самостоятельность и самоуправление. Что ж... «Чудеса рассеяны повсюду»,— вспоминается крыловская фраза. Есть они и в моем Свердловске, где город Верхняя Пышма давно уж ничем почти от столицы Урала не отделен, давно слился с ним, но есть, конечно, где-то рядом два дома, один из которых в Свердловске, а другой в Верхней Пышме. Да что там, в одном американском журнале видел я как-то снимок жилого дома, половина которого находится в США, а вторая часть — в Канаде. Как делят там гражданство, где проходит граница — не знаю.

Фредериксборг — скорее город-парк, голубые, приятной глади озера окружают его центр. По берегам ветер шевелит склоненные андерсеновские ивы. Прямо из воды на дальнем берегу встают кирпичные стены прежнего королевского охотничьего замка. Он и дал название Фредериксборгу. Замок гораздо более поздней постройки и потому не выглядит таким мрачно-древним, как Кронборг, где шаги Гамлета и тени королей в зубчатых коронах все-таки чудятся. Дворец в виде краснокирпичного

четырехугольника-каре венчают по углам башни с острыми шпилями. Плещет в цоколь фундамента голубая вода. Замок словно плывет, ясно отражаясь в ней. Башни смотрят в белое небо. Опять вспоминается мне Ганс-Христиан. Всюду в Дании он преследует вас. Так и видится худой, голенастый, высокий, в потертом камзоле, узковатое лицо, внимательные глаза вспыльчивого добряка. Андерсен. В королевском парке он сидит у бульвара, где играют дети, иные на его высветленном до золота бронзовом колене. Я уже писал про семисотлетний андерсеновский дуб с дуплом, про башни с часами на главной площади и башню с фигурой девушки, появляющейся там перед штормовой погодой,— словно из его сказок. А здесь, в Фредериксборге, родился «Гадкий утенок». Где-то здесь, в лопухах у фермы, вывелся он, чтобы, претерпев все невзгоды, обернуться прекрасным лебедем и облететь весь мир. Лебеди в Копенгагене и Фредериксборге не редкость. Им перестаешь вроде бы удивляться, но восхищение птицей остается. Оно выше привычки. Глядя на лебедей, следя за ними внимательно, всегда придешь к благоговейному восхищению перед творящей рукой природы. Как могла создать она такое диво изысканной точности, белизны и грации да еще пустить его по воде, дивясь словно бы своему труду в зеркальном отражении.

Есть такие прекрасные лица,
Что дивлюсь я, взирая на них.
Как такое могло сотвориться
Из обычных молекул земных? —

пишет поэт [1].

Да, природе можно дивиться. Гей вы, художники, далеко вам, в лучшем случае вы копиисты, только самым великим дается приближение к ее нетленному творческому началу!

Замок Фредериксборг из охотничьей резиденции королей превратился, по словам фру Греты, «в наш Эрмитаж». Эрмитаж не Эрмитаж, но факт, что он владеет порядочным собранием живописи и скульптуры, описать которое я, к сожалению, не успел по вине обыкновенной человеческой усталости. Экскурсия по залам Фредериксборга была столь стремительной, что я просто положил блокнот в карман, чтобы не искушать себя и не пытать-

[1] Из стихов В. Шефнера.

ся объять необъятное. Я предпочел просто задержаться у иных полотен великих мастеров прошлого, не пытаясь о них рассказывать.

Духовная пища в конце концов всегда заставляет вспомнить о материальной. Это отражалось на всех лицах, не исключая фру Маргарет. И мы пообедали в очень приличном, ухоженном кафе на открытом воздухе, все теми же датскими бутербродами, скупо запивая их кто глоточками пива «Карлсберг», кто пепси, а кто оранжем. Лепта, которую мы внесли в фонд датского искусства и карман Карлсберга, была невелика, и русская душа этим возмущалась. Но вокруг было слишком много интересного, чтобы долго грустить о малом пивном пайке. За соседними столами, сдвинутыми в одно длинное застолье, сидело странное сообщество, человек тридцать стариков и старух глубокого пенсионного возраста. Самым младшим из них было, наверное, лет по семьдесят, старшим — все девяносто. Старики были так громки, оживленны и бойки, что вспоминалась присказка о втором детстве. В возглавии этого стола был некто, еще более бойкий, в черном одеянии пастора. Оказалось, и в самом деле — пастор из Англии, путешествующий на досуге со своими великовозрастными прихожанами. Так же, как и мы, они ели бутерброды и жареную камбалу, а потом, сложив салфетки, громогласным хором запели какой-то библейский гимн, не то псалом-благодарение, а пастор дирижировал стоя. Картина в общем умильная или умилительная — вот это сочетание жирненького наставника пастора и хором поющих старцев с лицами больше всего напоминающими поющих петухов или индюшек, если индюшки умеют петь. Она же, картина, напомнила мне известное творение Йорданса «О чем свистят молодые, о том поют старики». Картина есть в Эрмитаже.

Жареная камбала была обложена палевыми червячками креветок, столь похожими на личинок жуков-дровосеков, которые, бывает, выпадывают из расколотых поленьев, что моя брезгливая супруга не рискнула их есть.

— Что вы не едите креветок? — осведомился ее сосед слева в пиджаке-модерн, наш руководитель и опекун, отличный человек.

— Да я их боюсь! Я к ним не притронусь..

— Давайте их сюда! — деловито сказал он.— Я ужасно люблю эту пакость.

Мы как-то совсем незаметно вернулись из Фредериксборга в Копенгаген, а вечером отправились в «Тиволи». «Тиволи» — так называют знаменитый копенгагенский луна-парк (а по-нашему, «парк культуры и отдыха»), гордящийся своей древностью, хотя древность, конечно, относительная, просто разве для сравнения с более молодыми заведениями такого рода, рожденными индустрией отдыха. Все-таки этому «Тиволи» 137 лет! В рекламе — все мыслимые удовольствия: качели-карусели, эстрады, театры, игральные автоматы, кафе, развлечения на воде (в «Тиволи» есть микроозерко и какие-то небольшие каналы). Есть даже своя «Гвардия Тиволи» в живописных красных колетах и медвежьих шапках, одетая по фасону гвардейцев из охраны на королевской площади, лишь мундиры и брюки иного цвета. Парк,— мы обошли его весь,— в общем, не велик и давно стал тесен для людного Копенгагена и тысяч туристов. Посещаемость его приличная и даже с лихвой, иные места и площадки напоминают толкучий рынок, слышится разноязыкая речь, крики, смех, кругом оживление, мы даже не рассчитывали на то, что копенгагенцы столь общительны, но постепенно, вдумавшись в жизнь этого большого города, пришли к убеждению, что в маленькой стране, в условиях, где все или все почти — частное, где не отправишься на электричке на свежий воздух и ветер, в леса и поля, куда глаза глядят, и не станешь палить костров в любом месте, где тебе покажется удобнее, в таких условиях для простого, небогатого горожанина — служащего, рабочего, лавочника — некуда податься после тяжелого трудового дня, когда душа ищет отдыха, воздуха, развлечений, разрядки для нервов. А все это (кроме, пожалуй, воздуха) можно найти в «Тиволи». Влечет туда также и потребность в общении, проблема тяжелая и все тяжелеющая с течением времени. Горожанин молча страдает в своем одиночестве. Современный человек (и не только в Дании), оснащенный квартирой, телевизором, газетами, радио-музыкальной техникой, все более превращается в подобие благоустроенного моллюска, тихо живущего в своей раковине, а то и в рака-отшельника. Но если для моллюска природа определила какие-то законы жизни, для человека, испокон и миллионы лет жившего обществом, подобная ситуация оказалась одновременно и тягостной. И вот он выход: «Иду в «Тиволи»! В «Тиволи», чтобы в обществе себе подобных одиночеств почувство-

вать некое расслабляющее тело и душу освобождение, пусть иллюзию избавления от одиночества, хотя бы иллюзию... Иллюзия и надежда — две опоры одиночества, его костыли.

«Тиволи» — парк платный, и я уж не помню, сколько стоит билет. Парк обнесен высоким забором, и, глядя на этот забор, я вспомнил в общем-то забавный эксперимент в моем родном городе. Есть в нем не один парк, но тот, что был в центре Свердловска, а еще раньше — Екатеринбурга, называется исстари Сад имени Вайнера. Также просто: «Вайнера». «Пойдем в «Вайнера» — была ходовая фраза, понятная всем свердловчанам и до войны, и после нее (а сад-парк не закрывался и в суровые военные годы). Здесь были ухоженные песчаные дорожки, беседочки, скамьи и скамейки, летняя эстрада, танцплощадка, огороженная особой изгородью из штакетника, и сам сад напоминал этот копенгагенский «Тиволи», разве что был поменьше. Так вот, пока сад был огорожен, продавались входные билеты и была плата за вход на танцверанду, где резво дудели трубы и бухали в барабаны эстрадники, в сад не было отбоя. Туда шли млад и стар, хотя младше шестнадцати по вечерам не пускали, а преклонные люди не ходили сами. Помню, как мы, великовозрастные дураки-акселераты, пробирались в сад, как могли, лезли через забор, драли штаны и локти о колючку, нам хотелось быть взрослыми, ходить по дорожкам, глядя, как более старшие счастливцы выбирают приценивающимся взглядом гуляющих вроде бы скромниц с тихой улыбкой на крашеных губах, подстерегающих на свой вкус желанного добра молодца. Ах, как хотелось быть взрослым, когда глядел за решетчатую ограду веранды, под звуки вальсов там вращалась, кружилась толпа счастливцев, взметывались и опадали зазывные юбочки модниц. Парк жил, парк процветал, парк давал пищу любви и знакомствам. И вдруг кто-то щедрый решил сделать его бесплатным. Сказано — принято! Снесли заборы, отменили билеты (кроме танцев), и сразу зачахла, потускнела посещаемость — вроде бы все должно было стать наоборот?! Сняли ограждение с танцулек...— и на них не стали ходить. Парк зачах, превратился в пустое, выморочное место, и одни тополя и липы да нехарактерные для Свердловска старые дубы горюют о былом веселье и живой жизни, так кипевшей некогда под их кронами. Вот что такое человек и его

непредсказуемые прихоти. Пожалуй, и с «Тиволи» дело будет обстоять так же, убери изгороди, отмени плату — не пойдут.

Видимо, учитывая такой нюанс, администрация или акционерное общество, владеющее «Тиволи», явно не собирается сносить входные турникеты, билетные будки и высокие заборы, которые, пожалуй, не перемахнешь, как бывало в том саду. Администрация «Тиволи», похоже, изо всех сил старается завлечь, привлечь посетителей, в первую очередь, конечно, туристов. К «Тиволи» жителей Копенгагена приучают (или даже приручают?) исподволь, с детского сада, утром и днем он бесплатный, парк для детей, здесь есть даже няни, присматривающие за детьми. А для взрослых надо создавать не только развлечения, их надо залучать, эпатировать, удивлять! И вот то садовники «Тиволи» создадут «самую громадную в мире клумбу», то пекари испекут «самый большой в мире торт, размером с комнату» или батон, длиною в пожарный рукав. Надо! Избалован зрелищами нынешний горожанин. И потому давно забыт завет древнего мудреца: «Лучшее — мера». Теперь везде другой завет, обозначу его так: «Лучшее — выше меры!» Может быть, сегодня это лозунг всей ускоряющейся планетной жизни. Лучшее — это сверх, это люкс, супер, модерн, ультракласс,— как еще? Вот примеры: цирк демонстрирует невиданные фокусы, звери уже действуют, как люди, а иные — говорят! Супердивы демонстрируют леденящие кровь формы, супермены-культуристы — ужасающие бицепсы. Все это так или иначе отражается на сценах и аренах «Тиволи», хотя иное на уровне прежней доброй, старой балаганщины с петрушками.

Пробыли в парке допоздна, пропустив через себя какой-то спортфестиваль, потом опереточное шоу, театр пантомимы, затем...— впрочем, голова и так гудела от всего этого светопреставления, фейерверков, мельтешащей толпы,— видимо, и не только у нас, ибо вскоре наша рассеявшаяся по саду группа начала выбираться к центральному входу, а далее с облегчающим душу чувством мы покинули «Тиволи», вышли на достаточно шумливую, но все-таки не такую переполненную Вестерброгаде — улицу, где, судя по анонсам путеводителя, сосредоточены многие копенгагенские вертепы, «нахтклубы», «дома свиданий», «сауны», «ателье» и все такое прочее, освещенное тревожным светом красных фонарей. Вспомнились

вкрадчивые надписи реклам путеводителя: «Зачем в Копенгагене развлекаться в одиночку, если Вы можете нам позвонить?», «Вступайте в жизнь в ночном клубе! Самые холодные напитки и самые горячие танцы!». В объявлениях и рекламах чаще всего один адрес: Вестерброгаде. Вестерброгаде — улица длинная, идя ею, можно забрести очень далеко, в кварталы, где ночами гулять уж никак не рекомендуется. К тому же я часто вспоминаю мудрую восточную пословицу. Она гласит: «Любящий гулять по ночам когда-нибудь встретит черта!» Я напомнил ее жене и спутникам, и мы благоразумно свернули кратчайшей дорогой к дому, то есть к отелю «Авеню», расположенному кварталах в пяти от «Тиволи».

Ночной Копенгаген похож на другие ночные города Северного Запада, но как-то спокойнее, пристойнее, и я бы сказал так: старшиннее. В нем, правда, есть нечто от старого Питера или Екатеринбурга, если забыть и отбросить эти Вестер- и Истерброгаде с их подозрительным кипением. По бульварам и вдоль улиц горят спокойные огни. Тихо. Пустынно. Розово-ровный июльский закат тлеет в неподвижной воде прудов, осененных темными к ночи, плотными силуэтами деревьев. Провинциально и природно крякают где-то утки. Свистят их крылья. Утки любят летать на ночной заре. Редко проносятся машины. Редки велосипедисты. Их пора отошла. И дома уже погружены в ранний копенгагенский сон. Похоже, здесь рано ложатся и рано встают,— залог здоровой жизни, к которой мы, гуляющие и путешественники, все никак не можем привыкнуть. Вот, бредем (именно бредем), тащимся к отелю, перегружены впечатлением, усталостью, бесконечным этим днем, а еще успеваем, превозмогая усталость, любоваться ночными красками зари на крышах и на прудовой воде.

У невысокого парапета набережной, а не то плотины стоит чей-то дамский велосипед. Владелицы не видать. Вспоминаем, что мимо этого велосипеда шли вчера, проходили и сегодня. Что это? Забывчивость? Велосипед сломан? Не похоже. Вроде бы совсем целый. Идем дальше, удивляясь датским обычаям. Ведь и в соседней Голландии велосипеды на стоянках замыкают на особый замок или пристегивают на цепочку, вроде собачьей, к железной штанге.

Впрочем, где-то здесь же я видел утром молоко и булочки в целлофановом пакете у дверей выходящего на

улицу дома. Любопытный обычай. Велосипед же стоял на том же месте в третий и в четвертый день нашего пребывания в Копенгагене.

Глава III

Новое копенгагенское утро. Кое-что о мусоре и людях. День музеев. Кто же в Дании король? Музей Торвальдсена. Три грации. Два взгляда на творчество. Что такое глиптотека. Встреча с Помпеем, Агриппиной и Веспасианом. Еще один музей. Довольно искусства!

Копенгагенская погода может озадачить любого предсказателя. По вчерашней заре ждался теплый, безоблачный день, а сегодня с утра было хмуро, прохладно, дул ветер, почти осенний, сметая с тротуаров потоки бумажек, сигаретные пачки, окурки, клочья целлофана, которыми был замусорен центр города после воскресенья. Два желтых трудолюбивых уборщика (не знаю, как точно назвать машину,— нечто среднее между катком для выглаживания асфальта и мини-трактором) резво бегали, крутили щетками, собирая весь этот хлам. Честно говоря, ждал от копенгагенцев большей чистоты и опрятности. Вспоминался такой же замусоренный в центре Амстердам. Но, как с ужасом говорят старожилы, теперь по всей Скандинавии, в столицах и крупных городах, такая вот засоренность, виной новые нравы молодежи, распущенность хиппи, студентов, приезжих рабочих и туристов, которые считают чуть ли не модой и правилом швырять на улицу все, что ненадобно, плевать где попало, щеголять в драных одеждах, играть в юродов, босяков, бродяг и развратников, я бы подчеркнул, именно чаще — и г р а т ь. Не довольствуясь новеньким одеянием с новенькими заплатами, постепенно переходят уже и на старое, заношенное тряпье, тертые кофтенки, жамканые юбки. Однако, как думается, даже игра в богему, в разнузданность — опасная игра. Никто не предскажет, сколь быстро она, превращаясь во вседозволенность, отравляет юную душу ядом порочности и просто житейской грязи. Почему то, что веками и тысячелетиями считалось

меж людьми нищетой и неряшливостью, стало вдруг модой? Не духовное ли обнищание проглядывает из всей этой ветоши, следы которой тщательно убирают сейчас две оранжево-желтые машины?

Не хотелось бы мне, гуляя по Копенгагену,— встали опять пораньше и не выспались, конечно, однако надо успеть до завтрака использовать пару свободных часов,— не хотелось бы мне заниматься обличительством, становиться в позу моралиста, осуждая чужой быт, его издержки. Можно ведь и по-иному посмотреть на все эти тертые джинсы. Простота в одежде — вещь неплохая, даже необходимая. Рядиться в тысячные наряды, обвешиваться золотом — не другая ли сторона одной медали? Помнится, в свое время видел дома в Свердловске очереди за... з о л о т о м! Чуть свет у ювелирных магазинов уже крутились бойкие бабы, девушки, похожие на дочек купчих, бедные золотозубые цыганки — кипела мода и спрос на все, что из золота. Покупали, скупали, обвешивались, иные на манер новогодней елки. Мало одной цепочки, надевали две-три, кольца, перстни, подвески, серьги. Куда можно еще? Жаль, в носу не носят, не принято, а рискнула бы какая-нибудь посмелее, последовали бы... Что не вмещалось, клали в шкатулки. Одна моя знакомая сообщила с гордостью, что ее дочери молодой супруг уже «столько золота накупил!».

В тертых ли штанах, в майке с надписью «Кот-бродяга», в золотом ли чванстве — везде проглядывает тусклый глаз мещанина, безразличный ко всему, кроме собственной персоны. Может быть, и не согласитесь, а все-таки подумайте на досуге... А нам пора в гостиницу,— уже далеко ушагали. Оживают улицы, густеет поток велосипедистов, уплотняется, набирает силу, все больше катится желтых, красных, зеленых и голубых авто. Открываются продуктовые магазины и лавки. Вот, например, небольшая, меньше любого нашего магазинчика, фруктовая. Ящики-лотки громоздятся прямо на тротуар, и чего только нет: спелые-переспелые сливы, зеленые и фиолетовые, с голубой патиной, клубника красная и такая же лиловая. Что за ягода? Наподобие огромной ежевики? Южные фрукты — бананы, апельсины, грейпфруты, персики, ананасы — благоухают тропическим летним полднем. Все высшего сорта, качества. Здесь умеют показывать товар лицом. Цены, скажем так, средние, не слишком дешево и не очень дорого. Такие цены англича-

не называют резонными. Покупателей — чуть, можно сказать, и совсем нет. Берем кулек огромных слив цвета глубокой морской воды, а меня мучает мысль: если нет покупателей, куда денут всю эту скоропортящуюся натюрмортную прелесть? Не могу ответить. Скажу только — торговать в убыток здесь не станут, любые продукты ценят и, значит, куда-нибудь пристроят на переработку, иначе лавочник — в данном случае отменно здоровая, розовая, как эти фрукты, датчанка — не стала бы так приветливо улыбаться. Пожалуй, она лучшая реклама своей лавки и лотков...

Заглядываться на женщин мне никак не положено. Жена и так ухмыляется со значением. Мы возвращаемся в гостиницу как раз к завтраку.

Датский завтрак ничем не отличен от завтраков, которыми потчуют приезжих во всех гостиницах Северного Запада. Его называют европейским, или еще континентальным (англичане, потому что Англия, по их мнению, не Европа и завтрак у них другой). Мы же питались европейским завтраком по всему побережью от Франции до Швеции и находим, что он довольно удачный, хотя попроще русского, подчас смахивающего на обед. К кофе булочка-стандарт, воздушная и хрустящая, еще кусок того длинного батона, что пекут километрами, режут брусками наискось, сахар экономными кубичками — из одного нашего четыре датских,— не объедайтесь сахаром, вредно. Масло, запечатанное в фольговую четвертушку, ложка клубничного (сливового) конфитюра в фольговой баночке. Это все. Редко и, наверное, уж от щедрости, сыр или колбаса, нарезанные с пергаментной прозрачностью. Питайтесь. Не полнейте. «Не делайте из еды культа»,— как опять же говаривал Остап Бендер.

С завтраком наша группа справляется быстро, кроме всегда опаздывающих, никогда не спешащих. Они есть и здесь, они есть в любом, видимо, людском обществе, а может быть, и не только в людском... В данной поездке это почтенная пара: он голубоглазый, всему радующийся, взирающий на мир с младенческой улыбкой поэта, она,— о, эти вечные противоположности супругов! — ворчливая, ничем не довольная бабушка, которая все-таки считает себя молодой женщиной и повелительницей. Обозначим ее довольно сложным именем Серафима Кон-

дратьевна. С Серафимой Кондратьевной кроме мужа нянчатся все, она помимо медлительности объединила в себе талант женщины, которой нужно всегда помогать и все объяснять. Нужно, например, объяснять, что молоко дают коровы, а коровы его делают из травы, которая растет на лугу, где коровы эти пасутся. Ей нужно двадцать раз повторить, что Дания — королевство, но правит им не король, а королева... Очевидно, такая истина до сознания Серафимы Кондратьевны никак не доходит, потому что она в двадцать первый раз спрашивает у фру Маргарет:

— А кто же в Дании король?

Мадам Грета (она, кстати, чем-то схожа с Серафимой Кондратьевной и оттого, видимо, чувствует к ней некоторое расположение) терпеливо объясняет.

— Да... Да...— кивает Серафима Кондратьевна головой в серых кудрях,— лицо у нее несколько негроидное,— чтобы через некоторое время, обращаясь к супругу, со счастливой улыбкой глядящему в стекло автобуса, спросить:

— Послушай, а кто же все-таки в Дании король?

— Симочка... М-м... Ну-у-у... Спросим потом еще...

Вот эту Серафиму Кондратьевну мы и ждем сейчас. И наконец она появляется под всеобщий вздох облегчения, голубиную улыбку супруга и суровое лицо нашего предводителя.

Сегодня у нас день музеев. Едем в центр Копенгагена, где неподалеку от королевского дворца Кристианборг расположен музей самого знаменитого датского скульптора Бертеля Торвальдсена. Имя такое же знаменитое на весь мир, как имена Родена, Кановы, Микеланджело, знакомое даже тому, кто не видел ни одной его работы. Ах, Торвальдсен! О-о, Торвальдсен!! Так уж устроены человек и человечество. Стереотип мышления связан с повторяемостью чего бы то ни было. Убежден, что, если начать утверждать, что дважды два — пять, повторять абсурдную формулу бесконечно, найдутся и верующие.

Торвальдсен-скульптор имеет более чем странную судьбу, впрочем, характерную для целого ряда скульпторов и архитекторов, которые, родившись в одной стране, всю жизнь прожили в другой или в других и возвра-

щались уже на крыльях славы преклонными стариками. Так и Торвальдсен, родившись в Дании в 1770 году, уже двадцатисемилетним на академическую стипендию уехал в Рим и там превратился в скульптора с мировым именем. Нет отбоя от заказов знатнейших людей. Торвальдсену позируют коронованные особы, князья и графы, богатые патриции. Сорок лет Торвальдсен живет в Риме и лишь в 1838 году на фрегате «Рота» торжественно возвращается на родину в Копенгаген, встреченный, как говорится, с колокольным звоном, национальный герой, увенчанный наградами и почестями.

Работает скульптор и по приезде. А умирает в разгар строительства музея его имени, внезапно, во время спектакля в Королевской опере 24 марта 1844 года.

Музей Торвальдсена открылся четырьмя годами позже кончины скульптора.

Еще живя в Риме, Торвальдсен подарил часть своих работ, моделей и копий, а также коллекции живописи и античной скульптуры городу Копенгагену, оговорив подарки желанием создать музей. Передал и значительные средства на строительство здания. Король пожертвовал под музей участок земли вблизи дворца.

И вот мы стоим возле длинного здания, похожего отчасти на некий античный павильон или храм на манер Парфенона, отчасти на известное нам здание московского Манежа, отличающееся лишь меньшими размерами и стенами, снаружи расписанными фресками, сходными с настенной живописью древних египтян. Конечно, это стилизация. Ибо на стенах изображены моменты жизни и деятельности скульптора. Вот, допустим, момент его возвращения на родину, триумф и тому подобное. Музей построен по проекту архитектора Биндесбелля. Высказывая личное мнение, я не признал бы творение блестящим, талант архитектора оказался неадекватным таланту скульптора. И здание так же не вписывается в центр Копенгагена, как белая, азиатско-индийского вида и словно бы пародия на Тадж Махал церковь на Монмартре в панораму Парижа.

Но, как там ни суди, в музее рядом с дворцом Кристианборг собрано-сосредоточено многое из того, что сделано Торвальдсеном. Здесь имеются точные гипсовые модели и копии работ, рассеянных по всему миру. Скульптор, живущий за границей, так или иначе становится поставщиком многих иностранных заказчиков. Не стану

упоминать сходную судьбу шведа Карла Миллеса, норвежца Вигеланна — о них придет черед рассказать, упомяну наших российских Коненкова и Эрьзю. Всем известно, что Коненков долгое время жил и творил в Соединенных Штатах, Эрьзя колесил по белу свету, пока не добрался до Аргентины и там приобрел уже мировую славу, творя свои скульптуры пророков и олицетворения человеческих страстей из аргентинского квебрахового дерева. Оба вернулись на родину признанными мастерами. Оба привезли многие работы, а Эрьзя даже все лучшее, что он, живя скромно, не отдавал в чужие руки ни за какие деньги. Разная была лишь судьба. Коненков, увенчанный всеми лаврами, и Эрьзя, удостоившийся лишь скромной мастерской и посмертного уже признания... Но вернемся к Торвальдсену, вернее, к музею, перед входом-порталом которого мы стоим, предварительно обойдя его кругом, полюбовавшись старинными строениями, дворцом королей, каналами, которые превращают эту часть Копенгагена как бы в остров, со всех сторон отделенный водой и соединенный с центром улицами-мостами.

«Когда в 1848 году музей был открыт, он воспринимался прежде всего как памятник известнейшему скульптору. Тогда же была заложена и необычайная традиция: открыть свободный доступ в музей всем слоям населения, включая и самые низшие. В первые несколько недель после открытия музея его посещало до 1500 человек в день — цифра до тех пор неслыханная. Позднее значение музея расширилось. Теперь это не только уникальный памятник великому датскому скульптору, но и свидетельство целой эпохи в истории искусства римского классицизма и романтизма» — так повествует о музее путеводитель.

Но мы пойдем по музею самостоятельно и отметим все, что наиболее достойно внимания.

Отмечу, что «монументов» Торвальдсена, по крайней мере в музее, немного. Лучший из них действительно колосс — статуя Геракла. Великий греческий герой-полубог стоит во весь гигантский рост в лестничном проеме первого и второго этажа с палицей в руках и шкурой немейского льва. Впечатление потрясающее. Статуя действительно монумент мужскому могуществу и силе. Сопоставима, на мой взгляд, лишь со статуей Давида, созданной Микеланджело.

Господи боже мой! Как велик, как прекрасен человек! Сколько красоты в его теле, сколько ума и мужества во взгляде, и сколько надо таланта и терпения, чтобы изваять подобное диво!

«В каждой глыбе мрамора спрятана прекрасная статуя, надо лишь уметь извлечь ее оттуда»,— приходит на ум чья-то насмешливая пропись. А Геракл живее живого. И вообще я убежден, что подлинно гениальные творения оживают, живут и живы, как миф о Пигмалионе и Галатее. Подлинно великие творения — не холодный мрамор и не бесчувственный гранит. Они живут, дышат, мыслят, гордятся своей красотой и чувствами, которые излучают или олицетворяют. Подумайте и убедитесь, что все эти Ники Самофракийские, Лаокооны, Афины, Венеры, Библейские пророки, Зевсы, Аполлоны, Посейдоны — боги, герои и дьяволы — живы и жизнь им дала человеческая рука, подобная руке Торвальдсена. Но даже и такой руке успех дается не часто.

Кроме крупных скульптур вестибюля — статуи Николая Коперника, Юзефа Понятовского, Шиллера — прочие работы Торвальдсена действительно небольшие и размещены в зальцах с полуцилиндрическим потолком. Зальцы тянутся длинной анфиладой, в каждом одна статуя или скульптурная группа, повторенная в мотивах барельефов на желтоватого цвета стенах. Боги и богини, античные и, так сказать, земнородные, следуют словно нескончаемой чередой. Ганимед, Амур и Психея, Венера с яблоком, Ясон, Геба... А «боги» земные представлены бюстами и статуями,— здесь видишь и датского герцога Христиана, и русского императора Александра I, и княгиню Марию Федоровну Барятинскую...

Путеводитель по музею рассказывает, что Торвальдсену так понравилась собственная работа (М. Ф. Барятинская),— чем не сюжет для пьесы Шоу или не повторение уже упомянутого мифа о Пигмалионе, а может быть, о Нарциссе, влюбившемся в собственное отражение,— что скульптор не пожелал отдать ее заказчикам. Чувство сие, думается, знакомо всем истинным художникам, ведь рожденное им творение, проходя через все муки, мучения собственной мнимой беспомощности и озарения создателя, через счастье достижения удачи и, осмелимся сказать, о б л а д а н и я созданным, так закрепляется в сознании р о д и т е л ь с к и м инстинктом, что передать это творение в чужие руки, пусть заказчика, равносиль-

но ощущению продажи близких, равно для художника осознанию мучительной потери, часто преследующей его до конца дней. Известно, например, что Дега, бывало, «нагло» забирал обратно уже проданные работы, возвращал деньги или уносил картину «для поправок», «замены рамы» и т. п., не решаясь с ней расстаться. Все это, мне думается, качество истинного художника.

Торвальдсен не отдал Марию Барятинскую! Лишь после его кончины, по иску наследников и решению суда, им была передана точная копия, созданная учеником Торвальдсена (находится в музее им. Пушкина, оригинал же стоит в Копенгагене).

Поскольку все-таки скульптор не мог слишком капризничать и волей-неволей продавал заказанные работы, в залах музея стоит много гипсовых моделей, как сказано в путеводителе, без уточнения, копии это с оригиналов или первичные гипсовые отливки, которые скульптор, как это говорится, «переводил в материал», то есть в более долговременную и ценную бронзу, камень, в данном случае чаще всего каррарский мрамор, в граните и тем более «в дереве» скульптор как будто не работал. Подлинники скульптур Торвальдсена рассеяны по всему миру, находятся в музеях, в частных собраниях, стоят в городах. Но и модели весьма ценны, ибо по ним не раз восстанавливались скульптуры, утраченные или разрушенные. Так, статуя Николая Коперника, установленная в Варшаве в 1830 году, во время минувшей войны была взорвана фашистами, точно так же, как памятник Юзефу Понятовскому. В 1950 и 1952 годах обе статуи встали на свои места, воссозданные по моделям музея. Статую Понятовского Копенгагенская коммуна передала Варшаве в дар.

Торвальдсен не был католиком, однако это не помешало ему работать над статуей святого Петра для памятного мавзолея папы Пия VII, скульптор создал также монументы Христа, Иоанна Крестителя и двенадцати апостолов для копенгагенского собора Пресвятой Девы. Модели этих скульптур есть в музее. Надо ли упоминать, что Торвальдсен был автором целой серии скульптур по заказам русской знати. Это и «Ганимед с орлом», и «Геба», и «Бахус», и «Венера с Аполлоном», упомянутые мной бюсты графинь, княгинь и царей. В 1829 году он был избран академиком русской академии художеств. Связи Торвальдсена с российскими художниками, скульп-

торами, жившими в Италии, были очень прочными и дружескими. Другом его был художник Иванов.

Разумеется, гигантский объем заказов не мог быть воплощен без помощи многочисленных помощников и учеников. Здесь Торвальдсен шел путем Рубенса, возглавляя целую цеховую мастерскую. Нередко лишь подпись венчала работы, созданные под его наблюдением. Искусство требует жертв, а заказ, как правило, редко согласуется с желанием художника, вот почему многие творения не покажутся равноценными по вдохновению. Иные скульптуры Торвальдсена и мне показались чересчур изысканными, чересчур обточенными старательной рукой, где-то было уж слишком от шаблонного классицизма, чересчур от канонов античности. Но я и не претендую на критику, «исправление» мнения о творчестве великого датчанина. Я помню, что еще мальчиком, не ведая об имени создателя, любовался его «Тремя грациями» в репродукциях старой «Нивы». Может быть, это были первые, потрясшие меня, как откровение, перлы женской наготы (и красоты!). И не от них ли начинался, открывался вход в прекрасный и горестный мир ЖЕНЩИНЫ, ИСКУССТВА и ЛЮБВИ — понятия неразделимы,— так восхищающий (и гнетущий) меня до сих пор. ТРИ ГРАЦИИ. Женщины с одинаковыми лицами, но в трех разных поворотах юных и совершенных тел. Не меня одного вы сводили с ума... От древнейших времен, от пещерных Венер, созданных безвестными мастерами, от античных женщин, изваянных еще с линиями амфор, до римских копий не сохранившихся этих дриад и плеяд, от граций Боттичелли до граций Майоля и современных мастеров не было художника, кто не коснулся бы этой вечной темы. И, если уж честно, я огорчился, увидев «Трех граций»,— нет не здесь, не в музее,— а на, не помню уж какого достоинства, датской кредитке.

В комнатах верхнего этажа, окна которых смотрят на канал с зеленой водой, развешаны картины из коллекции Торвальдсена. Авторы их — современники скульптора. Темы разные, от бытовых сцен и ландшафтов до античных мотивов. Вот имена художников, как это удалось записать: Даль, Иосиф Кох, Рейнгардт, Басси, Леопольд Роберт, Веллер, Фальц, художники группы «назареяне», подражавшие Рафаэлю и стилю раннего Возрождения.

В комнатах другой стороны экспонирована часть незавершенных работ скульптора, а также собрание грече-

ских ваз, мраморных римских копий, этрусской бронзы, гемм, монет римского и византийского периодов.

В полуподвальной части музея есть комната, где в застекленных витринах лежат вещи Торвальдсена. Придворный мундир, бархатный берет, цилиндр, треуголки, ордена, трость. Инструменты скульптора. Здесь же можно заказать и купить копии скульптур в натуральную величину. В вестибюле продаются каталоги, открытки, репродукции, книги о Торвальдсене и музее. Здесь это правило. При желании вы можете унести с собой, так сказать, «весь музей», разумеется, для этого нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Из музея вышли как бы оглушенные этим обилием скульптуры, чистой, тонкой, изящной, отлично отмоделированной и переведенной в гипс и мрамор... И все-таки академическая направленность творчества Торвальдсена, кроме шедевров, о которых упоминал, как-то не задела моего сердца. Пытался свериться с впечатлениями других, оказалось — тоже... Но тотчас нашлись и рьяные защитники, тезисы которых не стану приводить. Но главное: все подано в обличительной манере, с негодованием во взорах. Да, не умеем мы спорить, русские люди. А спорить об искусстве в особенности. Как-то уж привился, прижился, что ли, у нас такой взгляд, что кто-то, имярек, знает все точно и непререкаемо. Он, этот, имярек, непогрешим. Его мнение никто не смеет оспаривать, и ты либо соглашайся обязательно, либо молчи — вот это и есть дискуссия об искусстве по-расейски. Подчиняясь своему правилу, я и не стал спорить о достоинствах и недостатках творчества Торвальдсена.

В автопортрете Бертеля Торвальдсена, где он, подобно античному герою, в какой-то короткой тунике, однако со скульптурным молотком-бучардой в одной руке и резцом-скарпелем (не скальпелем!) в другой, стоит, опираясь на небольшую статую, сказано многое. Ведь опирается-то он на статую богини Надежды! «На бога надейся, а сам не плошай» — такова примерно мораль. Вот только Надежде как-то не повезло в сей скульптурной композиции, очень она мала, а ведь подчас она не столько опора, сколько единственная опора и радость в творчестве художника.

Мадам Грета распространялась главным образом не о Торвальдсене и творчестве его, а о том, как прини-

мали скульптора короли. Мне запомнилась еще такая фраза нашего гида:

«Он был красивый мужчина. Он не был женат, но была любовь и дети».

Боюсь, что читатель уже утомлен музеями, но что поделаешь, коль время пребывания в столице Датского королевства спрессовано, как уплотняющаяся звездная материя. Здесь, кажется, наяву воплощается гениальная теория относительности Эйнштейна. Вмещаешь пространство и информацию в часовые, минутные, даже секундные отрезки времени. Едва освободившись от впечатлений серо-желтого музея Торвальдсена, отложив их в памяти подальше и очистив площадь для приема новой духовной пищи, мы двинулись на этот раз пешочком к главной достопримечательности среди датских собраний предметов искусства — глиптотеке.

Новая глиптотека Карлсберга — так именуют ее в справочниках, может быть, потому, что собрание скульптуры, и довольно приличное, имеется в Национальной галерее. Кроме того, в Европе есть еще одна большая глиптотека в Мюнхене. В отличие от картинных галерей это собрание преимущественно скульптуры. Я уже писал, что Карлсберги утоляют в Дании жажду не только телесную, но и духовную. Часть прибылей (а может быть, и сверхприбылей) от пива позволяет фирме и сегодня меценатствовать, но первым датским меценатом был, несомненно, Карлсберг-старший. По-видимому, он был на самом деле любителем и ценителем скульптуры. Не жалел средств на покупку античных подлинников и копий, часто уникально неповторимых. Дело отца продолжал сын. Собрание росло. Для него потребовалось специальное здание, которое и было построено. Новые сотни тысяч крон тратятся на приобретение предметов искусства. Впрочем, часто покупка картин, статуй, предметов прикладного порядка — самая надежная форма вложения капитала, в данном случае нажитого на пивной пене. Карлсберги, вероятно, кроме любви к мраморной и бронзовой пластике считали, что не зря тратят свои прибыли. Подлинная античность не становится дешевле, от времени она приобретает понятие «бесценная». Сколько, к примеру, теперь может стоить подлинная статуя Афродиты? Покупали Карлсберги и произведения известных современных им скульпторов. Искусство и пиво! Пиво и искусство!..

Здание глиптотеки весьма оригинально, ибо помимо залов и помещений обычного вида имеет в центре нечто вроде зимнего сада или оранжереи. В высокой круглой ротонде росли большие пальмы, огромные филодендроны-монстеры, журчал фонтан, в бассейне плавали тропические рыбки и прямо в воде лежала статуя огромной женщины, как бы облепленной маленькими человечками,— олицетворение богини Геи. Помнится, что-то подобное я видел в репродукциях, только там скульптура обозначала великую реку Нил. Как ни странно, ротонда с пальмами, бромелиями, лианами, папирусами очень удачно оживляет строгие собрания беломраморной и гранитной скульптуры. В залах много скульптурных изображений обнаженных женщин: торсы, бюсты, фигуры с гипертрофированными формами, классицизм, реализм, натурализм, все школы, кроме, пожалуй, поп-арта, в девятнадцатом веке его просто не было. Запомнились работы Герхарда Хеннинга, Сабве. Целый зал беломраморных и прекрасных женщин Эрихау. Всего не перечислишь.

Но глиптотека славится собранием именно подлинной античной древности. И вот эта древность перед нами: каменные саркофаги, надгробия, куски колонн и фризов, бронза таинственных этрусков, мечи, щиты, копья, утварь, солонки, просто словно бы камни, от которых веет сквозь тлен древностью, тьмой веков, историей ушедшего, а некогда богатого и чувственного мира. Безносые лики древних женщин с остановившимися глазами. Они как бы видят будущее, их каменные губы хранят жуткие улыбки всеведения. Да, в глиптотеке собрано время, хранится история. Она многое может рассказать еще, как непрочитанные до сих пор письмена этрусков. Переходя из зала в зал, теряешься в обилии знакомого и незнакомого, потому что коллекции глиптотеки требуют специальных знаний и более толкового гида, чем фру Маргарет. В глиптотеке она предпочитает помалкивать. Я же, в прошлом учитель истории, встретился в глиптотеке со многими известными мне личностями, людьми далеких времен.

Ну, вот, к примеру, голова императора Веспасиана. Одно из самых замечательных его изображений, дошедшее до нас в подлиннике. Неизвестный скульптор, по всему видно, хорошо знал нрав императора, не терпевшего никаких украшательств, льстивых возвышений с

помощью скульптурного резца, и он изобразил римского владыку хитрым, умным, знающим цену жизни и людям скептиком. Таким глядит Веспасиан из дали веков. Один из немногих императоров, благополучно доживший до старости. Простолюдин, бывший воин и полководец, торговец мулами, осторожный и расчетливый политик — все в этом лице отражено, вплоть до скупости.

А вот и другой знакомец! Маленькая мраморная головка. Юноша с характерной римской челочкой. Правильные черты лица портят только оттопыренные уши вразлет (они были, кажется, у всех императоров из рода Юлиев — Клавдиев). Тонкие губы. Нет, совсем не паймальчик, как видится сперва,— таким был страшный самодур, чудовище, как звали его при жизни,— император Калигула. Мало в чем уступал деспоту Нерону. «Пусть ненавидят, лишь бы боялись!» — вот дошедший до нас девиз.

«Зависти и злобы в нем было не меньше, чем гордыни и свирепости. Он враждовал едва ли не со всеми поколениями рода человеческого. Он помышлял даже уничтожить поэмы Гомера»,— вспоминаю слова древнего историка.

Калигула. Это он хотел назначить свою лошадь консулом!

«Не было на свете худшего раба и худшего господина»,— пишет тот же Светоний.

А в мраморном личике, если приглядеться, и впрямь затаилась садистская, сумасшедшая злость. Злоба ко всему на свете, кроме собственной персоны,— высшее проявление эгоцентризма.

— Какая красивая женщина! — восклицает одна из моих спутниц, они ходят со мной, ибо в глиптотеке мало-помалу фру Маргарет благосклонно уступила мне часть своего величия, хотя я должен чувствовать, что это сделано на самое незначительное время и за стенами глиптотеки будет безжалостно отобрано.

Да, и эта женщина — мраморный бюст со сложной прической, правильным лицом и точеной шеей, несколько напоминающей, впрочем, изгиб змеи,— мне хорошо знакома. Я даже чувствую словно трепет скульптора, которому она позировала. Куда денешь эти несносные императрицыны уши. Да, это римская императрица Агриппина-младшая, четвертая, после Мессалины, жена престарелого прелюбодея императора Клавдия, мать Неро-

на, женщина, отравившая своего мужа, а убитая по приказу собственного сына.

Фру Маргарет говорит, что Карлсберги подарили глиптотеку Копенгагену, что фирма теперь «народное предприятие», где «все имеют доход и очень высокая зарплата». Фру Маргарет честно отрабатывает свой хлеб, а если господа Карлсберги и подарили глиптотеку, они ведь, по сути, вернули датскому народу то, что взяли у него, и, наверное, счет оплачен еще далеко не полностью.

В глиптотеке запрещено фотографировать. Или за право надо платить? Вопрос я не выяснил, ибо, когда мы посмотрели еще собрание картин в Национальной галерее и вышли на воздух к автобусу, ощущение было такое, что не все, а многие, и я в том числе, «просто сбъелись искусством» и больше уж не в силах посетить ни одного музея. В голове был полный сумбур, скульптуры Торвальдсена мешались с бюстами глиптотеки, а те в свою очередь с экспонатами Национальной галереи.

В последней мне все-таки запомнилась известнейшая картина Йорданса «Сюзанна и старцы». Залы галереи не менее богаты, чем знаменитые собрания в столицах стран Северного Запада. Здесь есть многие прекрасные картины и скульптуры. Но галерею стоит описывать отдельно, после большой вдумчивой экскурсии, а не того галопа, которым мы, скажем так, промчались по ее залам — программа оказалась слишком плотной. Да еще неожиданно вошел в память яркий зеленый газон перед зданием галереи. На нем тоже размещались как бы растущие из него бронзовые фигуры скульптур. Запомнилась причудливая уродина «Тень» — нечто вроде иссохшего духа или демона, простертого над землей. Я не записал и не выяснил имя скульптора. Но манера напоминала шведа Карла Миллеса или его школу, идущую от Родена.

Другую половину дня мы потратили на поиски сувенира из Копенгагена. Что можно было купить на память? Вспоминались рекламные призывы:

«Если вам нужно сделать серьезные покупки, не забудьте посетить «Норд» — самый большой магазин в Скандинавии». Или вот еще:

«Если у вас изощренный вкус и если вы знаете, чего

вам хочется, но не знаете, где это найти, приходите к Георгу Енсену. Столовое серебро. Бижутерия. Часы. Фигурный фарфор. В подарочных коробках платья, свитеры, галстуки от всемирно известных фирм, таких, как Феррагано, Гитчи, Роберто, Албанес. Это будет ваша лучшая покупка в Европе!» Ну, что еще? Золотые часы «Наутилус» фирмы «Оле Матиссен»? Песцовую доху фирмы «Банг», переливающуюся всеми оттенками лунного меха? Тогда, может быть, русскую водку «Смирновъ» в хрустальном графине с двуглавыми орлами и печатями. Русскую водку из Дании? Но и этот «Смирновъ» стоил выше наших соединенных валютных возможностей. К тому же надо было что-то датское, именно датское. Фигурный фарфор-порцелан в магазине — здании 17 века — также стоил, говоря словами москвичей, «безумно» дорого. Посетить «уникальное собрание отборных галстуков из Италии, Франции, Англии»? Во-первых, и галстуки тут не дешевы, и во-вторых, надо что-то датское. И вот наконец мы сошлись во мнении, купили в магазине напротив «Тиволи», на порочной улице Вестерброгаде, пепельницу в виде хрустального диска. В этот сверкающий диск хитрые датчане как-то вмонтировали черные и светлые полосы, играющие светом, стоило только диск повернуть.

И вот, истратив наконец все датские кроны, гуляем в последний раз по уже знакомому Копенгагену. Город дышит вечерней грустью и одиночеством. Он всегда веселится только в центре да на тех самых Вестер-, Истерброгаде. В других улицах даже не слишком поздно он глух, пуст и тих. В домах уже не горит свет. Датчане рано ложатся спать. А слоняться по улицам здесь, как видно, не заведено. Удивительная пустыня. Нигде ни души. Вспоминается аналогия. Как-то вот так же, вечером, мы с женой гуляли парижскими улицами недалеко от Больших бульваров, так же дивясь их нежилому виду. Мы даже обрадовались, когда из подворотни мрачного глухого дома вышла на улицу женщина в чем-то черном, вроде накидки с капюшоном, и с черным стриженым пуделем на ременном поводке. Все-таки еще один человек среди этих каменных пустынь. Но, поравнявшись с женщиной, вдруг увидели, что это ведьма, самая настоящая, точно из сказок Гауфа или Гофмана, страшная, клыкастая и седая, с жутким безумным взором, которым она окатила нас, что-то ворча про себя.

«Как хорошо, что я не знаю по-французски»,— подумалось мне. Встреча была не из приятных. И здесь, в Копенгагене, улицы были без пешеходов, редко горели огни, матово светилось гаснущее небо, глохла какая-то особая, городская тишина. Мы постояли на плотине пруда, где все еще ждал владелицу дамский велосипед, и вернулись в гостиницу «Авеню». Завтра утром мы улетали в Норвегию.

Однажды, читая книгу Сомерсета Моэма «Подводя итоги», средь прочих созвучных душе мест я нашел вот такое откровение:

«Осматривать достопримечательности не по мне. Столько восторгов уже потрачено на всемирно известные памятники искусства и красоты природы, что я, увидев их воочию, почти не способен восторгаться. Меня всегда пленяли картины попроще: деревянный дом на сваях, приютившийся среди фруктовых деревьев, маленькая круглая бухта, осененная кокосовыми пальмами, бамбуковая роща у дороги..»

Моэм строг и категоричен. Но и не присоединяясь к его звучному имени, я мог бы подтвердить, что обычно известные в теории или по фото-кино достопримечательности как-то никли, словно линяли в моем восприятии, когда я видел их «де факто», в натуре. Они как бы теряли туманный покров отдаленности, непостижимой таинственности. Была ли это Эйфелева башня, Джоконда или Давид, «Даная» или «Вирсавия»,— все равно. Гораздо острее воспринимал я произведения не восхваленные и не прославленные, вот даже в глиптотеке более всего мне пришлись по душе неожиданно прекрасные беломраморные женщины Герхарда Хеннинга и Эрихау.

Также и Копенгаген вошел в мою душу путешественника и ненасытного собирателя всевозможных впечатлений не столько фонтаном Гефион, музеем Торвальдсена или глиптотекой, сколько его старыми улицами, копотью столетий на черепичных крышах с поэтическими чердаками, датским небом, улыбающимся сквозь радостные слезы дождя, то облачно бегущим куда-то, то задумчиво серым. Больше прославленных отелей «люкс» пришлись по душе маленькие ресторанчики без музыки и таверны в портовой стороне, аптеки с зеленым крестом,

вывески булочных и мясных лавок, так напоминающие блоковский Питер («И золотится крендель булочной...»), вода каналов, схожих с амстердамскими, при ее летней зелени она здесь все-таки чистая, как чисты и поросли кувшинками небольшие копенгагенские пруды-озерки, где плавают выводки лебедей, полощутся утки с пушистыми взъерошенными утятами, точь-в-точь клочьями живого желто-коричневого и как бы растительного пуха. И глядя на эти кувшинки, не раз гнал я, быть может, детскую, ирреальную мысль, что вот тут, меж этих кувшинок-нимфей, живет где-то прелестная Дюймовочка. А мысль все эта возвращалась ко мне.

И почему больше любой статуи мне запомнилось вольное лицо рыжей молодой датчанки из веселых девиц, которая возле отеля с хохотом отвергала домогательства пьяненького парня, успевая одновременно подмигивать нам. Так они и удалились — она, хохоча и вырываясь, он, преследуя ее на не слишком твердых ногах. Почему запомнилась другая простенькая женщина в малиновом платке, повязанная им так, как у нас повязываются девушки-малярки, или еще датчанка, что везла в соломенной плетеной корзине на колесиках целый выводок белоголовых ребят?

Истинная Дания все больше открывалась мне не одними ее достопримечательностями, к которым ведут и везут туристов, даже не столицей, а всей страной из этих пятисот зеленых островов,— эта Зеландия (морская страна или земля) с ее нелегкой жизнью, скудной почвой, войной и дружбой с океаном, изгородями вокруг ферм, которые экономичные датчане делают из круглых жердей, однако распиливая их вдоль, так что из одной жерди получается две, и окрашивая их в белый цвет.

Дания — это сочные, как яичный желток, насыщенного цвета поля рапса, ухоженная, без соринки пшеница, тяжеловесный усатый ячмень, которому еще предстоит перебродить в чанах соперничающих пивных фирм, это пропахшие рыбой суденышки, высыпающие в вельботы и лодки ворохи океанского серебра, это коровы со статью и взглядом знатных матрон и это спокойный достойный народ, неторопливо и основательно кладущий кирпичики в тысячелетнюю историю своей повседневной жизни.

Шесть каменщиков, что в неустанных трудах возвели к небу гигантский собор... Один человек, сказками за-

воевавший весь мир... О, какой прекрасный, великий завоеватель! Физик, что подкопался под самое ядро невидимого и, с ужасом поняв разрушительную силу этого нечто, предупредивший мир: «Не вздумайте обратить эту силу против себя!» — все это была Дания, которую через день мы покидали сереньким мокрым утром.

НОРВЕГИЯ — СЕВЕРНОЕ КОРОЛЕВСТВО

Огромный «Боинг», как летающий ящер-птеродактиль, опустился на аэродром в Осло, за полчаса, кажется, перенес нас в новое королевство. Здесь все было новое начиная с флага на флагштоке. Датский белый крест на красном фоне сменился норвежским, синим на красном. У всех скандинавов флаги, осененные крестом, но разного цвета и на разном фоне.

Дания с прилета пахнет стариной, старыми замками, тихими прудами, уютными городками, сказками, черепичными крышами, где бродит ночами волшебник Оле Лукойе. Дания пахнет гусиным пером, утренним кофе в толстых чашках, рыжим волосом горбоносых женщин и традициями неторопливой жизни.

Норвегия — это воздух и свет. Словно бы какой-то северный и снежный свет (пусть дело было в июле), но освежающий и широкий, когда хочется радостно вздохнуть всей грудью, выдохнуть, зажмуриться и засмеяться! Да, Норвегия — северная страна. Это понимаешь сразу. Здесь все резче, холоднее, свежее и просторнее прямо с выхода на трап самолета и до въезда в предместья ее столицы. И еще здесь пахнет близостью России, шумят сосны, растут березы, на голубом камне Скандинавии стоят деревянные дома, которых мы давно не видели, кочуя по Северному Западу.

Норд. Норвегия. Норманны. Норвежские лыжи, свитеры, шапочки, коньки. Фритьоф Нансен. Северный полюс. Амундсен. Арктика и Антарктида. Роальд Амундсен, которого еще в моем детстве все считали ну абсолютно своим, нашим, как бы русским героем. В моем городе есть привычная всем улица Амундсена, и все жители ее, по-моему, никогда не задумываются, норвежец

он или русский. Просто наш, родной Амундсен. Так же, как Тур Хейердал, как Бенгт Даниэльссон. Да разве других великих норвежцев не знают у нас? Ибсен. Григ. Вигеланн... Надо ли продолжать?

Я много читал и слышал о норвежском мужестве, норвежской доброте, норвежской выдержке, норвежской простоте, норвежском немногословии, хотя последнее более приписывают финнам, эстонцам, литовцам, латышам и русским поморам. Бродят по берегу Балтики и Беломорья ходячие анекдоты, каждый народ считает их своими. Ну, например, два брата рыбаки-норвежцы решили взять к себе в лодку рулевого. «Хансен — хороший рулевой»,— сказал младший брат. Старший кивнул. Пошли к Хансену, спросили: «Пойдешь рулевым?» — «Хорошо»,— согласился Хансен. Задумались. «Говорлив?» — сказал младший брат. Старший кивнул.

Не хотелось бы мне уподобляться тому рулевому, но ведь о Норвегии и ее столице все равно не скажешь в двух словах, пока автобус мчит нас по лесной и словно бы гористой, как будто уральской дороге.

Гид по Осло — женщина, прилично говорящая по-русски, с некоторым даже русским областным акцентом, так говорят на Псковщине. Может быть, она из тех, кто еще в детстве, в годы немецкой оккупации, оказались здесь.

Нет, это не фру Грета с ее самодержавным величием — ничего похожего. Невысокая скромная женщина лет сорока пяти, никакой амбиции, сплошная добросовестность. Зовут гида — Фанни. Хотя нам с женой все время казалось, что у Фанни гораздо более русское и простое имя, вроде Маши, Катерины. Прошу прощения, если ошибся. Фанни не подчеркивала и своей норвежской принадлежности, не в пример гидессе из Копенгагена.

На прощание мадам Грета, узнав, что мы летим в Осло, заявила, как всегда, без апелляций:

— В Осло? Зачем? Что там хорошего? Это — деревня. Мы, датчане, туда не ездим.

Новый гид вез нас точно по путеводителю, который госпожа Фанни вручила каждому вместе с проспектом Осло и картой города. Женщина эта со своим робким взглядом, заученной речью казалась донельзя боящейся потерять работу и потому старалась изо всех сил выглядеть умной и знающей. Но эффект — возьмем негодное

слово в прозе — получался иногда обратный, такой, как, скажем, у самоварных дел мастера, берущегося объяснять устройство атомного реактора, или у школьного завхоза, которого на время зачислили доцентом. Все объяснения и пояснения Фанни были на каком-то промежуточном уровне между текстом путеводителя и собственным пониманием вопроса. Словом, для туриста, едущего просто поглазеть, побездельничать, отдохнуть в путешествии, сказанного гидом было вполне достаточно. Для обширного же и, главное, эстетического восприятия возможностей гида не хватало, и опять я благодарил судьбу и себя за усердие, с которым перед поездкой много читал о Норвегии. Старался заочно представить ее облик и облик Осло, о котором просмотрел все, что мог найти, вплоть до подшивок «Вокруг света». Должен заметить — изучение страны до поездки в нее очень полезно во всех смыслах: обогащаешься знаниями, материалом для ассоциаций, знаешь, что в первую очередь стоит посмотреть, и обретаешь лишнюю радость от встреч с этим желанным, убеждаешься, что действительность часто прозаичнее мечты (изредка наоборот!), выглядишь более-менее просвещенным на фоне массы (выставляться при этом ни в коем случае нельзя!) и наконец ясно понимаешь, что ничего-то ты, в сущности, не знал, так, крохи, а вот, если удастся поехать вновь, тогда, конечно, увидишь-поймешь в три раза больше.

Как было объявлено в программе, госпожа Фанни сначала повезла нас на лыжный трамплин на окраине Осло. Я и до сих пор не могу понять зачем. Если б еще зимой! Наверное, программа и составлена была для зимних впечатлений. Трамплин был как трамплин. Ярко окрашенный, высокий, летом, естественно, не работал. Был очень схож с трамплином в окрестностях Свердловска, и в такой же гористой местности. Скалы, под ними котлован. Два оранжевых экскаватора, должно быть, грузят камень.

— Это трамплин. Здесь сделано много рекордов. Мировых. Сейчас он закрыт,— объяснила фрау Фанни. А я почему-то вспомнил Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч». «А вот это моя контора,— сказал мне вдруг господин Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик: — Хотите зайти?» — «Извольте».— «Она теперь упразднена»,— заметил он, слезая (с телеги),— а все

посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат.

Единственное благо от поездки на трамплин было в том, что автобус поднялся еще выше по горному склону и мы постояли высоко на скальном обрыве, ну, точь-в-точь таком же, как под Свердловском, заросшем невысоким, коряво-корзучим, ярко-зеленым сосняком, и смотрели на панораму Осло, цветную, наверное, благодаря морскому заливу Осло-фиорду и нежно-голубому небу, лишь чуть приглушенную летней дымкой и пронизанную как бы лучами прохладного северного солнца. Если камень, серый в голубизну, в древних трещинах и прозелени мхов, был, как на Урале, сам Осло не напоминал Свердловск. Был меньше, может быть, покомпактнее, без заводской дали, столь характерной для столицы Урала, и казался, конечно благодаря морю, более теплым и южным; так оно в сущности и было.

Вниз, к Осло, автобус катился, сдерживая скорость. На обочинах шоссе стояли дома, обшитые досками и еще скупее на краски, чем в Дании, тем более в Бельгии. Архитектура жилья напоминала мне снова, что она по характеру и складу творящего ее народа. Она была немногословная, без больших затей и оригинальничанья.

— В Норвегии много снега,— опять, наверное в точности следуя зимней программе путеводителя, поясняла нам Фанни.— Здесь говорят (она не сказала «у нас»), норвежцы рождаются с лыжами на ногах.

— Я слышал «с коньками»!

— Да, может быть, и с коньками...

— С лыжами и коньками!

— Скажите, пожалуйста, а кто в Норвегии король?

— Король в Норвегии Улаф.

— Вот видишь,— говорит Серафима Кондратьевна мужу,— в Норвегии есть король. В Дании я так и не могла добиться.

С трудом удерживаюсь от хохота. Вижу слезы на глазах жены. Ей это дается еще труднее.

Серафима Кондратьевна несносна. При выдаче валюты получилось так, что нам пришлась одна лишняя датская крона, а им, супругам, недодали, с условием, что я крону верну, как только разменяю деньги. Уже через час в наш номер раздался осторожный стук. Пришел муж Серафимы Кондратьевны выяснить, не отдам

ли я долг. На лице его была та вечная боязнь, которая владеет кредиторами, но была и непреклонность, которую ничем не убедить. Очевидно, посовещавшись, супруги решили: крону они не получат, а это ведь целых десять копеек, притом ВАЛЮТОЙ! Что мне было делать? Под смех жены я помчался к портье (все это было в первый день нашего пребывания в Дании). И добрый господин, на мою сбивчивую просьбу разменять десять крон, тотчас с улыбкой выдал мне десяток никелевых монеток, одну из которых я вручил мужу Серафимы Кондратьевны, спустившемуся за мной и стоявшему на страже за моей спиной. Я вручил ему драгоценную крону, которую он принял с благостной улыбкой голубя, наконец-то нашедшего потерянное зерно, и отправился к супруге, я уверен, от нее получил он приказ вытрясти из меня крону любой ценой. И он с честью исполнил этот приказ.

Мы между тем ехали к Осло, получая от гида такую информацию: Норвегия — страна фиордов. Осло — столица. В общем, Волга впадает в Каспийское море...

Поневоле пришлось быть гидом для своей жены, тихонько, вполголоса, чтобы не обидеть Фанни, чтоб не лезть в глаза группе. Еще чего подумают. Москвичи — народ насмешливый, уверенный на сто процентов в своем столичном превосходстве,— лучшие это скрывают, худшие — подчеркивают (уж не обижайтесь, дорогие), впрочем, все это мелочи, на них не стоит обращать внимания. Еще бабушка, в золотом моем детстве, заметив некоторую мою непримиримость, говаривала: «Прощать людям надо, батюшко».— «Зачем, если обижают?» — «А ты не обидься, ты их пойми». Где мне тогда было до бабушкиной мудрости, и сейчас, видно, до нее не возвысился.

Глава IV

Посещение мемориала. Музей Сопротивления. Парк Вигеланна. Ратуша и ее символика. Гостиница «Сити». Вечерние впечатления.

Первым, с кем мы встретились по дороге в Осло, был наш советский солдат. В каске, в шинели, с автома-

том. Он стоял на пьедестале у скромного памятника павшим и расстрелянным фашистами борцам Сопротивления и норвежским партизанам, в чьих рядах сражалось немало наших воинов, бежавших из немецкого плена.

«Норвегия благодарит вас!» — было начертано на постаменте.

И мы, выйдя из автобуса, и обрадованные нежданной встречей, и опечаленные, стояли у монумента, склонив головы, потому что память войны свята и редко кто из нас, людей военного поколения, не пережил ее как самую тяжкую годину. Сорок лет прошло, но война все еще дышит, напоминает гранитными и мраморными монументами, стенами в оспинах пуль, нежданными взрывами притаившихся мин, дурацким ревом молодых фашиствующих ослов, не ведающих, что такое война, безвестными холмиками отмеченная по всей Европе.

Рассказываю жене, что неподалеку от этого монумента был концлагерь, здесь гитлеровцы и правительство профашиста Квислинга держали шесть тысяч норвежцев, тех, кто был опасен режиму, кто пытался бороться, шел на неравную схватку со всеми этими полицаями, гестаповцами, доносчиками и предателями родной земли, кто ложью и рабством покупал себе видимость свободы и благоденствия. Сопротивление — это, наверное, лучшее, что есть у каждого народа. Сопротивление фашизму.

Из всех скандинавских стран материкового побережья одна Швеция в годы войны не воевала, Норвегия же сопротивлялась, как могла. И вот мы уже стоим у входа в музей Сопротивления, что расположен в подвалах старой крепости Акерсхус. И здесь, у крепости, стоит памятник жертвам фашизма. В музей ведут каменные ступени. Тускловато горит электричество. Пахнет тленом веков, казематами и бомбоубежищами. Еще одно напоминание о минувшем, еще одно место, где словно бы прячется война. Проходя узкими залами музея, как бы листаешь ее страницы. Планшеты с картами, оружие, винтовки, составленные в пирамиды, колючка концлагерей, горящие города, черные «юнкерсы»-пикировщики, перекошенные лики маньяков Гитлера, Геринга, Геббельса, подслеповатый омерзительный Гиммлер, бывший владелец птицефермы, садист и палач,

ряды концлагерных блоков. Святые имена тех, кто боролся за свободу Норвегии. Три пластины с дырками от пуль при расстреле. Сверху три портрета убитых. Камера-одиночка, где можно увидеть сидящих заключенного и стражника, охраняющего выход.

Музей Сопротивления невелик, но дает жесткую и правдивую картину минувшего.

Ловлю себя на том, что долго быть в этом подземелье невозможно. Там слишком тягостно пахнет войной.

А наверху сияет разгулявшийся день. Светлое норвежское небо, белое норвежское солнце, норвежский ветер, дующий с фиорда. Да, это очень хорошо, что на земле мир, что так спокойно светит солнце, легко дышится и все мы свободные люди, если не считать некоторой скованности программой, от которой ни на йоту не отступает наш гид Фанни.

— Сейчас поедем смотреть парк Вигеланда,— возвещает она, и все покорно следуют к автобусу. Народ мы дисциплинированный.

В России имя скульптора Вигеланда (в русской транскрипции — Вигеланн) как-то мало известно. Спроси любого непосвященного, непричастного к искусству, к скульптуре,— задумается. Иное дело — Торвальдсен! Но малая известность скульптора-норвежца еще не свидетельство его малой талантливости. Автобус останавливается перед высокой чугунной решеткой, на манер ограды Летнего сада в Ленинграде. Широкие триумфальные ворота — и сразу просторная перспектива парка Вигеллана, уставленного монументальной скульптурой из бронзы и гранита,— все, созданное руками Титана, иначе не скажешь,— так велико число статуй, так поражают они моделировкой, неожиданностью замысла и воплощения. «Северный Роден»,— часто называют Вигеллана. Но, поскольку мне посчастливилось бывать и в музее-усадьбе Родена в Париже, недалеко от Дома инвалидов, где сидит на высоком постаменте, возвышаясь над стеной ограды, бессмертный Мыслитель, я могу засвидетельствовать, что если сходство и есть, оно лишь как олицетворение мастерства ученика, в чем-то и превосходящего своего учителя! Да не в том ли и смысл истинного ученичества — поднять знамя УЧИТЕЛЯ, нести его дальше и выше? Бронзовая галерея скульптур по обе стороны от центральной дорожки (не то слово, надо бы сказать проспекта) парка. Каменные

парапеты, и на них, одна за другой, мощные фигуры обнаженных людей. Женщины с детьми. Играющие подростки. Мужчина и женщина, обнявшиеся и протянувшие друг другу руки. Целующиеся. Борющиеся. И даже верхом друг на друге! Все человеческие чувства. Радость... Страсть... Торжество сближения и узнавания... Дружба... Любовь... Материнство и Отцовство... Каждой своей скульптурой и группой автор внятно говорит: Люди! Цените жизнь! Тянитесь друг к другу! Играйте! Пойте! Дружите! Любите! Наслаждайтесь близостью! БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ... Более гуманистичной скульптуры в столь ясном, доступном выражении я не видел никогда. Она проста, она чужда академизму, в ней не дышит холодный канон старой классики. Живая скульптура — так можно сказать. И все это создал один человек, в юности,— так уж словно водится,— гонимый, непризнаваемый, скитавшийся по чердакам и подвалам. Жил в Дании, ездил в Италию, учился и в Париже, у самого Родена. А Роден умел узнавать талант учеников! У сурового, взбалмошного, подчас вздорного в суждениях скульптора их было мало, но все без исключения впоследствии великие и прославленные. Роден создал школу. А создатели школ и направлений всегда были величайшими гениями рода человеческого. Это аксиома.

Вигеланн вернулся в Осло, богатый одним талантом, верой в себя, терпением и мастерством. Его не встречали, как триумфатора. Не гремели оркестры, не били в литавры. Скульптор добился лишь одного — сумел заключить договор с городским магистратом на мастерскую и материал, на оплату нескольких помощников. За это все свои творения он передавал общине столицы. Тут, можно сказать, в парке, Вигеланн и прожил оставшуюся жизнь. Прожил в неустанном труде, создав почти за сорокалетний период сотни скульптур, целые ансамбли, установленные главным образом здесь, во Фрогнерпарке, под светло-голубым норвежским небом.

За аллеей бронзовых фигур громадный каскадный фонтан, весь в причудливых изваяниях сплетенных и разобщенных бронзовых тел. Рождение... Молодость... Старость... Исход... И снова рождение! Цепь жизни — таков круг образов фонтана. Хлещут струи хрустальной воды в бронзовые тела старцев, старух, юношей и детей, малахитом отливает мокрая патина, и кажется, кипит не

вода, а жизнь. Бьет, пенится бесконечными потоками. И нет ей конца... Жизнь — и только жизнь!

А далее, на возвышении за фонтаном, вокруг странной стелы громадного, уходящего в небо столпа из свитых человеческих тел стоят уже не бронзовые, а гранитные скульптурные группы — выразители все той же преемственной идеи вечной жизни. Материнство. Младенчество. Юность. Зрелость. Старость.

В энциклопедическом словаре сказано, что работы Вигеланна «отмечены сочетанием натурализма, символики и эротики с реалистической трактовкой образов». Думаю, искусствовед, составитель справки для словаря, не был в Осло и не видел ансамблей Вигеланна. Иначе рука не написала бы столь холодно-казенные строки. Конечно, я не специалист, изощренный в теоретизировании. Передаю лишь свои впечатления. И пусть рассудят нас очевидцы. Никакой «эротики», лезущей в глаза, я не мог усмотреть, не заметил в массивах бронзовых и гранитных скульптур. Да, здесь были сплошь обнаженные девушки, женщины, юноши, мужчины и даже старцы и старухи. Да вот, например, в ансамбле у «Столпа жизни» мощная и прекрасная в своей мощи-полноте женщина-мать. И представьте себе! Она стоит на четвереньках! А на спине у матери, у этой «лошадки», держась за ее косы, как за уздечку, сидят улыбающиеся от счастья ее дети, мальчик и девочка, и тоже голенькие, обнаженные. Нигде еще не видел я столь прекрасно выраженной идеи материнства, как в этой стоящей на четвереньках гранитной женщине. При нужде и остром желании здесь можно сыскать и эротику, как сыскал ее, кажется, кто-то из группы, фотографируясь на фоне огромного гранитного зада. Но ведь, согласитесь, упомянутое стремление увековечиться никак не говорит о непорядочности скульптора, а напоминает мне шутейный рисунок всем известного датчанина Херлуфа Бидструпа, где мраморная Венера закатывает пощечину чересчур любопытному ценителю искусства.

Да, Вигеланн смелый художник и недаром учился у Родена, вольно перешагивавшего пороги так называемых приличий. Это Роден мог изобразить женщину с раздвинутыми ногами и чем-то похожим на цветок розы там, где обычно античные мастера изображали прикрывающую руку. Но глядя на скульптуры Родена, я не

нахожу, что роденовское изображение более натуралистично, чем, скажем, уже упоминавшийся мной Давид, мужская сущность которого создана не менее любовно и прекрасно, чем всякая другая часть изваяния. Великие мастера напоминают нам лишь великую гуманистическую истину: все прекрасно в человеке, душа и тело. Все должно быть прекрасно. Нет стыдных частей в человеческой наготе. «Стыдными» их сделали людское ханжество и глупость.

А завершает ансамбль парка Вигеланна скульптура «Кольцо жизни».

Бронзовое кольцо жизни из трех сплетенных тел: женщина, ребенок, мужчина (или начните как угодно). Кольцо возвышается на высоком гранитном постаменте.

Известно, что Вигеланн оставил в завещании объяснение всех значений своей скульптурной символики, но указал срок (кажется, столетний) для его прочтения.

Не прогадала городская община Осло от союза со скульптором. Она была даже скупа, ведь оплачивала лишь камень, бронзу и подмастерьев. А чтобы заработать на жизнь, Вигеланн писал заказные портреты. Вот так...

Парк Вигеланна показался мне лучшим скульптурным ансамблем, какой когда-либо доводилось видеть. Здесь дышит жизнь. Все полно ее движением, исполнено благородства, и благородства особенного, земного, гуманистического и земнородного. В то же время, когда смотришь на завершающее ансамбль «Кольцо жизни» на фоне светлого северного неба, нежно-нежно-голубого, как глаза здешних девушек, видишь сквозь кольцо счастливые далекие облака,— думается, что вся скульптура исполнена высшей духовности, той, что объединяет жизнь земную с жизнью небесной, а лучше сказать, вселенской, чтоб автора не обвинили в признании теологии.

Мы собрались у дальнего конца парка, поджидали отставших. Экспозиция парка велика и торжественна. В ней множество сюжетов для съемки, и даже мы с женой, старавшиеся никогда не отставать, работая двумя фотоаппаратами, едва успевали за госпожой Фанни,— так быстро вела она авангардную часть группы, которая состояла главным образом из путешественников, не слишком интересующихся искусством и Вигеланном, но

обеспокоенных вопросом, сумеют ли они сегодня походить по магазинам. Что делать, писать надо правду, правду и только правду, даже не кладя руку на Библию. Главным образом для этой части группы Фанни объясняла теперь, какова стоимость жизни в Норвегии, какие взимаются налоги. Оказалось, что средняя зарплата рабочих и служащих 70.000 крон в год, но до 40 % этой суммы уходит на разного рода налоги. Налоги прогрессивные, то есть увеличивающиеся с увеличением доходов. Тем не менее капиталисты не плачут,— ведь при любом налоге прибыль не ограничена. Из нее всегда остается немалая сумма, так сказать, «на бедность». Фанни сказала, что в Норвегии теперь бесплатное медицинское обслуживание, распространяющееся и на туристов. Так же и с элементарным образованием. Однако сказанное не исключает обслуживания платного, платных пансионов, больниц и тому подобного, где за деньги и учат и лечат, по-видимому, лучше.

Какая-то девушка с газонокосилкой обрабатывала неподалеку от нас лужайки под деревьями. Трудилась на совесть, старалась изо всех сил и, видно, была довольна работой. Фрау Фанни заметила, что работу в Норвегии ценят все, какая бы она ни была. Сказанное, конечно, опять не новость, и я уже писал, что на Западе работу, наличие ее, включают в понятие *счастье*, а поскольку потерять счастье легко, а обрести трудно, здесь никто не станет понукать, уговаривать нерадивых, их не станут воспитывать и стыдить — их просто тут же уволят.

Если в Голландии преобладает всюду зеленый цвет, в Дании сельской, как мне показалось,— желтый из-за полей цветущего рапса, то Норвегия, пожалуй, страна с преобладанием синего. Синее море, фиолетовые фиорды, серо-голубые скалы и валуны, бледно-голубые небеса, индиговые горы и дали. Все это в сочетании с нордическим, северным названием страны и с тем, что в памяти ассоциативно всегда держатся норвежские снега, лыжи (в Осло есть музей лыж!), коньки, знаменитые конькобежцы, норвежские свитеры и шапочки, норвежская зима — все создает для страны единый колорит в холодных тонах. Вот ее краски: Лазурь железная и оловянная. Церулеум. Ультрамарин. Хром. И кобальт

всех оттенков, да еще белила, так расположил бы краски на палитре Норвегии ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК. И тот же ХУДОЖНИК писал бы Голландию Изумрудной зеленой, Волконскоитом, Хромом и Стронциановой, а в Бельгии брал бы на кисти яркий и теплый Крон. Только в Дании ОН призадумался бы. Там все основательно и неброско. Может быть, благородный серый с Коричневым марсом, Умброй и Сиеной? Нет, Он не забыл бы и про яичный желток рапсовых датских полей. Почему я представил все это за того ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА, который писал кистями Рубенсов, Ван-Эйков, Босхов, Рембрандтов, Йордансов? К Норвегии больше подошла бы, наверное, кисть, которую Он вкладывал в руки американца Рокуэлла Кента.

Просто у меня есть вечное стремление находить цветовую гамму или общий колорит всего увиденного, будь то слово, предмет, лицо, явление, город, страна. И вот норвежский город Осло показался мне голубым на фоне темного в синеву фиорда, контрастом к которому были два ярких, красных кирпича, поставленных торчком и соединенных такой же краснокирпичной перемычкой. Мы ехали в центр города, где и стояла на берегу фиорда-залива ратуша,— вот это, только что названное творение из яркого кирпича. В отличие от других стран Северного Запада Норвегия сравнительно поздно получила полную независимость, освободившись в 1905 году от унии со Швецией, избрав своего короля и выбрав самостоятельный путь развития. И старый город Христиания превратился в новый, столичный Осло, знамением которого и стала новая ратуша, олицетворяющая как бы новую историю древней страны. По проектам архитекторов Арнеберга и Поульсона здание возводили в тридцатые годы нынешнего столетия. Архитекторы отошли от привычного средневекового канона городских магистратов, в то же время, как ни поверни, ратуша смотрится и словно бы двухбашенным древнескандинавским (или норманнским) замком. Других строений она не напоминает и полностью самобытна. Даже Осло теперь, по крайней мере для меня, это прежде всего его двубашенная ратуша, с часами, украшенными знаками зодиака.

Справа и слева к башням примыкают крытые одноэтажные галереи, по-видимому, служебных помещений. Стены галерей украшены деревянной скульптурой на

темы древних скандинавских саг. Боги, герои и героини норвежского эпоса изваяны под примитивную народную скульптуру. Вот, например, воинственный бог Тор на своей колеснице, запряженной козлами (скандинавский вариант славянского Перуна или Ильи-громовержца). Здесь Тор похож на разудалого русского мужичка в рубахе с опояской, в тиковых полосатых портках, в красных сапожках. Замечаю, что на рогах козлов грозного бога удобно устроил гнездо городской голубь, и даже хорошо видно сидящую там птицу, ее оранжевый философский глаз, устремленный как бы в никуда и внутрь, весь сосредоточенный на проблеме рождения жизни. Символика Тора и Голубя получается замечательная и поучительная.

Забыл добавить, что посредине парадной лестницы, ведущей в центр ратуши, уступами сбегает вода — нечто вроде каскадного фонтана-водопада, символизирующего, наверное, бесконечное течение и обновление жизни, а также и природу страны, богатой ручьями и порожистыми речками с пятнистой форелью.

О природе Норвегии был бы особый сказ, я с ней достаточно хорошо знаком в теории, по географическим книгам, но здесь написано лишь то, что довелось видеть собственными глазами, и я никогда не стану отступать от правила.

Из ратуши выходят невесты с женихами и свидетелями. Норвежские нравы, по-видимому, просты, не по-российски свободны. Одна невеста курит, светлое полупрозрачное платье надето на ней без некоторых предметов нижнего белья, что, скажем прямо, ошарашивает нашу публику, особенно дам. Девушки и многие женщины на Северном Западе, кажется, давно уже упразднили бюстгальтеры, а встретить летом на улице, в любом месте человека в трусах, в майке, в окромсанных джинсах можно сплошь и рядом. Думается, что дальше такая мода приведет к одеяниям некоторых племен из бассейна Амазонки. Пляжный наряд сегодня носит здесь не обязательно фрондирующая молодежь, попадаются идущие босиком и словно бы нестриженые с рождения, похожие на йогов, на странствующих факиров. Вообще впечатление, что норвежская мода ведет тенденцию к упрощению, упразднению, удешевлению и укорачиванию туалета. Платья из марлеподобной ткани, кофточки из бязи «дешевле некуда», иногда уже вместо кофточки

бюстгальтер, какие-нибудь балахоны и штаны такого же сорта, на ногах самая грошовая обувка: спортивки, босоножки. Бедность, известно, не порок, но здесь как-то из понятия этого вычиталось иногда понятие порядочности или скромности. Да и многие из тех, кто так одевается, вовсе не бедны. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, и я, естественно, не говорю о норвежцах сплошь, а лишь о той части, что бросилась в глаза своей, наверное, нарочитой расхристанностью.

В ратушу входишь, попадая сразу в огромный зал наподобие спортивного. Высокий пустой холл, с каменным, мозаичным и словно в косую клетку шлифованным полом, с громадными, во все стены, картинами-панно. Центральная, та, что перед входом, исполнена своеобразной символики — трех- или четырехступенчатое восхождение человечества (и Норвегии) от дикости к цивилизации, от рабства перед силами природы к освобождению и совершенству. Нижний ярус панно — хаос природных сил, борение стихий, света и тьмы, выше — изображен примитивный труд, освоение земли на первичном уровне, третий ярус — человек, преобразовавший землю, в центре его монументальные фигуры, мужчина и женщина, соединенные руками стоящего меж ними ребенка. Красивые, ясноглазые, здоровые и улыбчивые люди. Такие, каких мечта всегда селит в будущем, а писатели-фантасты называют физико-химическими или астрономическими именами Эрг, Вольт, Аэлита... Над ними (фигурами) четвертый ярус — небо со звездами и облаками — голубая и розовая мечта человечества, светлое будущее страны.

Картина в верхних частях с преобладанием упомянутых розово-сиреневых, белых и ярких красок очень впечатляюща. Но на нее, кроме туристов, никто не смотрит, не обращает ни малейшего внимания. У входящих в ратушу свои дела, и дела-то важные. В основном идут женихи в черных костюмах и невесты в белом. Им не до фресок. Дамы наши внимательно оглядывают одну невесту, которая, по-видимому, на последнем месяце беременности. Белое платье не вяжется с ее фигурой, чувствуешь, не легко ей взбираться по узкой боковой лестнице на второй этаж, где и производится бракосочетание. «Невеста-то с приданым!» — ехидничает кто-то. Я же думаю, что чужая жизнь — потемки, и какое кому дело, когда оформлять брачные документы. И в данном

случае как раз все законно. К тому же в Скандинавии иные взгляды на добрачную жизнь молодых. Здесь никто не удивится, если девушка и парень годами живут, как муж и жена, прежде чем оформят свои отношения по всем правилам. Не знаю, есть ли здесь брак по контракту, где стороны договариваются оформить свой союз на какой-то срок, по истечении которого брак автоматически расторгается или продлевается по желанию, но знаю, что есть шестимесячный развод, во время которого бывшие супруги могут подумать, взвесить, покусать себе локти, почесать затылок и, убедившись, что разводились зря, радостно дождавшись конца этого долгого срока, снова стать мужем и женой. Правило, пожалуй, неглупое.

Под лестницами на боковых стенах зала также картины-панно. Они узкие, длинные, изображают сцены оккупации Норвегии и борьбы за ее освобождение от фашистов. Маршируют стальноголовые колонны. С тревогой прислушиваются женщины. Врываются в квартиры гестаповцы. Совещаются подпольщики. Идут уличные бои. И вот оно — ОСВОБОЖДЕНИЕ, вся его радость и счастье.

Позади нас, над входом, еще одна картина славит народный труд. Здесь изображены все основные виды труда в Норвегии, их прелести. Вот лесорубы с пилами, моряки, рыбаки, пахари, рабочие, ремесленники, писатель Иенс Бьерре — рыжий, горбоносый, в распахнутом пальто. В общем, никто тут не забыт и ничто не забыто.

А мы поднимаемся вверх вдоль стены по правой лестнице и попадаем, так сказать, в предбанник мэрии. На стенах здесь висят тускловатые, под старину, гобелены, изображают основание Осло Христианом IV Суровым. Так сказала нам Фанни. Знаю, что этот суровый Христиан был женат на внучке древнерусского Киевского князя Владимира Красное Солнышко. Меня давно мучает вопрос,— не рыжий ли он был. А уж Христиан-то, судя по гобелену, явно рыжий.

В двери, где совершается бракосочетание, мы не пошли. В конце концов, везде оно примерно одинаково, да я и описывал этот обряд в главах о Бельгии. Экскурсия наша продолжается в зал Сената, скромный, добротный, где кресла расположены удобным полукругом, а перед ними сплошные дубовые столы-пюпитры. Чувствуется, вся обстановка создана для дела, деловых обсуждений,

чужда парадности. Парад в делах норвежцы не терпят.

А далее снова высокий пустой зал. Зал свободы. Вероятно, служит для приемов и тому подобного. Снова картины-панно, символика их: Природа. Город. Человек. Левая картина представляет город как бы в разрезе. Улицы. Комнаты. Городские сцены. Сцены частной жизни. Другая картина — символика улья и людей-пчел, так сказать, вылетающих на природу «за взятком». И, наконец, еще одна картина изображает все, что человек берет у природы и что она щедро или нехотя ему отдает: лес, плоды земли, домашние и дикие животные, птицы и тому подобное. Создатель картины художник Уле Стошайн. Так назвала его Фанни. И хотя я без лишнего восторга воспринимаю настенные росписи и фресковую живопись, могу подтвердить, что художник не лишен таланта.

От другой стороны здания ратуши, куда мы выходим, очень близко до набережной бухты Осло-фиорда. Здесь все забито парусными лодками, яхтами, моторками, яликами и шлюпками. Я не знаю, сколько плавучих средств в пересчете на каждого норвежца, но, видимо, очень много. Море, лодку, парус здесь любят, кажется, больше, чем где-либо на Северном Западе (пусть не обижаются на меня бельгийцы, голландцы, датчане и шведы), ведь побережье Норвегии — древняя родина норманнов-викингов, мореходов и пиратов, некогда державных владетелей чуть не всего побережья Атлантики, и не только побережья. О викингах, их челнах и делах еще придет черед сказать. Мы же, утомленные сверхплотной норвежской программой, с удовольствием побродили по набережной близ ратуши. Тут были разбиты яркие цветники, плескали фонтаны, стояли статуи, очень похожие на работы Вигеланна (скорее всего, так оно и было),— обнаженные женщины. Если судить по скульптурам, в Норвегии очень любят женщину, чтут ее замечательную красоту, особенно в могучих, все выносящих формах.

Теперь наш путь лежит вдоль главной улицы Осло и соседних улиц, обсаженных старыми липами и вязами, в гостиницу. Проезжаем мимо зеленого здания, где вручаются Нобелевские премии мира. Нобелевские премии по литературе и науке присуждает Швеция, но премия мира — привилегия Норвегии. В том году премия в Осло вручалась лицам скандальной известности — израиль-

скому премьеру Бегину и египетскому президенту Садату. Неисповедимы пути норвежского Нобелевского комитета. Дом же, если смотреть внимательно, невзрачен: три этажа с фасадной стороны, два сбоку, ибо дом упирается цоколем в скалистое возвышение — особенность, характерная для многих городов Скандинавии. Скалы здесь вторгаются в застройку (или она в скалы), ледниковые валуны, бывает, лежат в скверах, выпирают из газонов, ничуть не нарушая их ухоженности, а, возможно, добавляя газону нечто прелестно дикое. Здесь только никто не пишет на камнях. Вспомнил к этому случаю, что в моем городе, в районе новой застройки, лежал, а может, и сейчас он там, вот такой же, будто скандинавский, валун, но с надписью краской: «Жителям на память от Радченко». Иногда думал, вот бы найти шутника, поблагодарить...

Наконец-то мы прибыли в гостиницу, как пишут, «усталые, но довольные». Я бы добавил еще — и голодные. Гостиница называется «Сити». Она в старом центре Осло, недалеко от вокзала. Не блещет модерном, старенькая, но уютно, опрятно. А на втором этаже в обеденном зальце нас даже ждал обед при свечах, хоть был еще ясный день и свечи бледно горели на длинном общем столе для парада.

Вечером мы бродили по Осло и, скажу по чести, были несколько напуганы обилием пьяных и пьяненьких, каких-то весьма агрессивно настроенных парней, которые шатались по улицам, орали, горланили песни, приставали к прохожим. Подходили еще какие-то люди навеселе, что-то спрашивали. От них я отделывался немецкой фразой: «Ихь ферштее нихт!» (Я не понимаю!) Вслед летело «Бош!» Но на этом все и кончалось. А «боши», то есть я и супруга, продолжали прогулку.

Пьяницы были нам не в диковинку. Тогда еще с ними дома, в России, все как-то церемонились, старались вразумить. Здесь же как будто не ведется антиалкогольной пропаганды,— один из аборигенов лежал в луже у здания универмага, а другой, пошатываясь, мочился на витрину какой-то лавки. Обращало внимание большое наличие в городе явно не норвежцев, кто они были: турки, арабы, пакистанцы — не знаю, но многие из них торговали, предлагали какое-то барахло,

шары, картинки, сумки, часы. Вся эта малозаконопослушная публика казалась какой-то чрезмерно возбужденной и даже опасной. Она посмеивалась даже над редкими и необычайно лояльными к ней полицейскими. Иные орали парням в фуражках и униформах: «Эй, полицист!» Свистели.

Жизнь путешественника или даже организованного туриста хороша лишь тем, что он постоянно видит новое. Новое! Новое! Новое! Невиданное! И это новое заставляет его идти дальше, смотреть зорче, запоминать, впитывать впечатления, наблюдения и ассоциации, искать и находить в этом занятии большую усладу. Но особенно остро воспринимаешь все, когда живешь по программе, времени в обрез и меньше того, тогда ценишь всякую минуту и, может, следуя теории относительности, растягиваешь время, тогда минута становится часом, а сутки подобием маленькой вечности. В Осло мы были три дня (трое суток), и все они были заполнены передвижением по городу и окрестностям на автобусе, но главным образом пешком. Вообще, лично я предпочитаю последний способ передвижения каким угодно. Я обошел бы, кажется, пешочком весь мир, останавливаясь и теряя шляпу перед его чудесами, да заходя в обувные магазины, чтоб сменить изношенные туфли. Путешествуя пешком, видишь-ощущаешь-осязаешь и обоняешь в сто раз больше, чем мчась, допустим, на самой современной машине, где мелькание увиденного количества ничем не заменит основательное пешеходное качество. И в Осло кроме обязательных поездок мы предпочитали ходить пешком, говорю «мы», потому что жена, может быть и не разделяя моих взглядов, все-таки верно следовала за мной.

Норвежская жизнь за эти долго-короткие дни показалась нам, по крайней мере в столице, какой-то неупорядоченно разбитной, думаю, что это было внешнее ее проявление и впечатление. Чтобы судить точнее, надо жить здесь долго или быть норвежцем. Но ведь говорят также, что «со стороны виднее». Итак, жизнь шла. Магазины торговали, работа двигалась своим чередом, но все-таки это не была та дотошно целенаправленная, ускоренно, а лучше бы сказать, пришпоренно кипучая жизнь-торговля, какую видишь в Бельгии или в

Голландии, отчасти и в Дании. Может быть, сказывалось здесь то обстоятельство, что Норвегия гораздо обширнее и малолюднее стран Северного Запада. При населении всего в 4 миллиона она имеет площадь 324 тысячи кв. км. Здесь еще можно пожить и за счет кладовых природы, чего никак не позволишь себе в Бельгии, Голландии, Дании. Лес, просторная земля, гидроэнергия, ископаемые, рыба, теперь еще нефть на морском шельфе сделали Норвегию одной из самых богатых по жизненному уровню, хотя пальма первенства всегда, словно по традиции, была за Швецией. И то, что жизнь норвежца, по-видимому, менее омрачена заботами и неуверенностью, чем жизнь датчанина или бельгийца, отражается, ну, хоть в том же пьянстве, с которым встречаешься в Осло на каждом шагу вечером. Пьянство же, на мой взгляд, следствие отнюдь не тягостной жизни. Преимущество стран с так называемым «сухим» или, скажем, «полусухим» законом бросается в глаза, хоть я далек от мысли обвинять весь норвежский народ — трудолюбивый, степенный и храбрый.

В отеле «Сити» жизнь шла по иным канонам. Кормили здесь без датской скупости, с хорошим закусочным столом. Заведовал всей благодатью степенный седой норвежец в очках, похожий одновременно на доброго доктора и тихого помешанного. Он всегда улыбался робко и словно бы виновато. Смотрел на шумных русских по-отечески и, вероятно, допускаю, приходил в ужас от аппетита, с которым мы сметали блюда за блюдом, подававшиеся на длинный наш, как бы для монастырских трапез, стол бойким парнишкой-подростком и такой же девчонкой, может, племянниками или внуками этого норвежца. Было им лет по пятнадцати.

Кстати, о подростках. Во всех странах Северного Запада они подрабатывают в каникулярное время, а иные и просто трудятся лет с четырнадцати, помогая родителям сводить концы с концами. Про детей фермеров не говорю,— те в работе с пеленок. Взгляд на ранний труд как нечто ужасное или позорное здесь не привит, и я не вижу ничего страшного в том, если б и у нас желающему работать подростку-акселерату давалась бы возможность начать свой стаж лет с четырнадцати, при соответственно уменьшенном рабочем дне. Больно видеть, а особенно ныне, в жилых районах мающихся бездельем, не знающих куда податься парней и девчонок.

Безделье часто и ведет к хулиганству, вандализму в подъездах и мало ли еще к чему, что найдет и придумает молодой праздный ум, по образному выражению англичан — мастерская дьявола. Мы почему-то привыкли к мнению, что если подросток трудится, то это чуть ли не эксплуатация, а если лоботрясничает и хулиганит, так вроде бы это и положено! Он же еще несовершеннолетний! Ему можно все. В крайнем случае мера спасения от всех напастей будто бы клуб. Нет клуба — и дурит подросток, а будет клуб — и все станет хорошо. Но и там, где есть эта панацея от всех болезней, вроде бы мало что меняется. Ну, собираются, конструируют орущую цветомузыку, ансамбль создают, который все больше в западную пошлятину втягивается... Играют в игрушки детки в сажень ростом, ковыряют для «цветомузыки» стекла в светофорах, режут, видать, с той же целью телефонные трубки. Странно, что на родине Макаренко и Сухомлинского все никак не изжит пока взгляд на труд подростков, как нечто тяжкое и угнетающее, портящее жизнь молодого человека. Вот дискотека — это да! Только ею и должен увлекаться этот человек.

Мысли такие невольно приходили, когда смотрел на бойко снующих ребят с подносами, ребят ничем не напоминавших мне Ваньку Жукова. Были живые, ясноглазые, яснозубые, озорные, успевали меж делом дать друг другу тумака, высунуть язык, а нам подмигивали. Подростки как подростки. Во всем мире они одинаковы. С виду эти не походили на норвежцев, а скорее напоминали жителей Сицилии.

Глава V

Снова музеи. Челны викингов. Нансен и «Фрам». «Ра» и «Кон-Тики», музей народного зодчества. Конькобежка Сони Хэнни. Эдвард Мунк.

Когда поутру фрау Фанни своим беспристрастным голосом зачитала программу на день, раздался жалобный групповой вопль, сходный со стоном. Да где же все это

осилить? Столько музеев! А магазины? Однако Фанни была непреклонна. «Ничего не могу сделать... Ничем не могу помочь»,— было на ее лице. Норвежский гид честно зарабатывал свой хлеб.

День воскресный. Тепло. Солнечно. Осло пуст. Мы едем за город вдоль побережья. Тянутся справа и слева от дороги знакомые, чуть не сказал уральские, пейзажи. Холмы, перелески, луга, поляны, кое-где выступы сглаженных временем и древним оледенением скал. Проезжаем мимо королевских владений. Королевская ферма. Король в Норвегии на досуге занимается сельским хозяйством, на ферме продуктивный молочный скот, племенные лошади. Фанни говорит, что норвежский король, видимо, как все норвежцы, любит спорт, яхтсмен, а в 30-е годы брал призы на трамплине. Знаю, что Улаф V вступил на престол в 1957 г. В войну жил в эмиграции в Великобритании, руководил силами норвежского Сопротивления. Его предшественник Хокон VII был известным археологом.

Белая вилла вдали. Усадьба короля. Зеленые привольные луга с перелесками вокруг. Поют жаворонки.

— А в Дании мы никак не могли узнать, кто же там король,— говорит Серафима Кондратьевна.

С королей как-то неожиданно разговор переходит на викингов. Викинги — слово производное от вик — залив, фиорд, то есть жившие в заливах. Они же норманны, варяги... При слове «викинг» так и рисуется беловолосый, сероглазый богатырь, бесстрашный, могучий, сорвиголова, владевший и мечом, и веслом, и секирой, хоть во многом, наверное, представление явно идеальное, приукрашенное, создано по фильмам, по книгам. А скорей всего, викинги — обычные люди, вся жизнь которых шла рядом с морем, средь скудной скалистой земли, жизнь нелегкая, полная борьбы за существование, с морем, голодом, хищным зверем, другими племенами, шедшими к морю. Как тут не станешь выносливым и бесстрашным. Природа и суть боевой жизни жестоко губили все хилое. Может, и не от добра ходили викинги в походы за удачей. Постепенно мешались с другими народами, брали их женщин. Растворилась норманнская кровь в крови датчан, белгов, саксов, эстов, литовцев, финнов, русичей. С варягами славяне воевали, с варягами и братались. Ходили вместе путем «из варяг в греки». Шли столетия. Тысячелетия. И вот уже викинги —

далекое предание, как бы вымершее племя. Но памятники его — огромные челны, что порой находят в заиленных морских прибережьях или в курганах, где хоронили норманны своих королей и королев вместе с челнами,— рассказывают многое об исчезнувшем народе.

Музей норманнских челнов — сводчатое здание, где под белым монастырского вида полукруглым потолком стоят две гигантские черные ладьи со вздыбленными высокими носами. Дубовый киль одной лодки из сплошного дерева, двадцать четыре метра в длину. Таких дубов уже не сыщешь ныне. Украшали землю в века мамонтов. В челне была погребена норманнская королева вместе со служанками и всем необходимым для долгого плавания в потусторонний мир. Не забыли даже кадушки с водой. Челн найден (раскопан) в 1904 году. Подарен городу Осло шведом, владельцем участка. Черная смоленая громадина с такими же огромными веслами из тесаных бревен. Весла и назывались «потесями». Что за великаны их ворочали? — приходит неизбежная мысль. Второй челн несколько меньше — двадцать два метра! Конечно, в сравнении с океаном и это скорлупки. Но ведь теперь известно, что на таком судне люди, не зная компаса, не зная пространства, ждущего их, пересекали океан, задолго до Колумба были в Америке. Это уж доказано, и не раз. Впрочем, подвигами мореплавателей-викингов сегодня не удивишь. Атлантику, океан, теперь пересекают в одиночку на крохотных парусниках, яхтах, шлюпках, плотах, резиновых лодках и даже — был случай — на байдарке! Но викинги были первыми. Звездное небо было их картой. Отвага и страсть к приключениям — компасом. Так люди узнавали и открывали Землю.

Осматриваем вещи викингов, предметы быта. Телеги с деревянными колесами из шести частей. Деревянные ведра. Сундуки. Сани. Оружие. Игрушки детей и произведения древних скульпторов.

В музее челнов оживает прошлое. Бредит, брезжит, быть может, генетическая память. С волнением хожу вдоль смоленых боков гигантских стругов. Знакомы словно их лебединые очертания. Эти высокие носы! Эти весла! Какие волны их качали! Какое небо было над ними....

Под Осло в один ряд целый комплекс музеев. В со-

седнем помещении со стеклянной крышей, похожем на геометрическую призму, стоит легендарный «Фрам» — судно Фритьофа Нансена, Роальда Амундсена и Отто Свердрупа. Это на нем бесстрашный человек ринулся на покорение Ледовитого океана. Дрейфовал от Новосибирских островов до Шпицбергена. На нем Свердруп ходил к Канадскому побережью, а Роальд Амундсен плыл к Антарктиде. «Фрам» поставлен на вечное хранение. Тропа к нему не зарастает. С волнением поднимаемся на палубу. С волнением вступаем в каюты, спускаемся в трюм. «Фрам» — прекрасен! Он — мечта путешественника о далеких плаваниях. Невелик. Уютен. Есть даже пианино и бильярд! На одной из стен висит скрипка Нансена. И оживает, шевелится здесь, дышит вся история сурового мореплавания, узнавания Земли. Здесь, стоя в каюте или на палубе, чувствуешь себя как на ее вещественном клочке. Магеллан, Колумб, Кук, Крузенштерн, Беллинсгаузен — вспоминаются имена других великих, открывавших еще неведомую Планету. Вспоминаю и свои наивные детские впечатления, как после Жюля Верна, его романов. Вот бы мне такой «Дункан» или «Фрам»! Я объехал бы всю Землю! Все ее материки! Все ее великие океаны, моря, острова. И возможно, привез бы из плаваний для людей самые чудесные книги! О детские, юношеские и взрослые мечты! На палубе «Фрама» они не кажутся несбыточными.

С носовой части судно напоминает странное лицо человека. Окна клюз-саков похожи на глаза, и железными слезами вытекают из них цепи якорей. «Фрам» окрашен в три цвета: серый — надводная часть, черный — подводная и красный (обшит листами меди) — балластная. Перед килем судна стоит огромное чучело полярного овцебыка. Здесь же чучело любимой белой собачки Нансена. В киосках у судна бойко торгуют сувенирами. Купили и мы маленького тюленя, сделанного из натуральной нерпичьей шкуры.

Да, норвежцы чтут память своих великих путешественников,— в этом убеждаешься, когда переходишь в другое здание-ангар формы модерн. Здесь находятся папирусная лодка «Ра» и бальсовый плот «Кон-Тики».

Фанни сказала, что лодка «папиросная». «Ра» как-то не произвел на нас потрясающего впечатления. Сама

лодка напоминала какую-то невероятной величины египетского вида корзину или кошелку из как бы соломенных жгутов и веревок. Снасти-такелаж, парус — все было словно бы невсамделишное, даже опереточное. А вот «Кон-Тики» — бальсовый плот — был внушителен. В нем и с ним вместе как будто жило здесь чудо странствий по южным морям, океанские дали словно всплывали вместе с ним, с ветрами и течениями, которые качали и несли этот плот отважных. Было в нем, впрочем, что-то и от картины Жерико «Плот медузы», которую видел я в Лувре. Так вот ты каков, «Кон-Тики». Серые бревна. Желтая бамбуковая хижина крыта банановыми листьями. Кокосовые веревки. Плетенная из циновок палуба. Чучело альбатроса, парящее вверху. В музее можно спуститься и «под воду» — осмотреть плот снизу. Здесь представлен подводный мир, стебли водорослей седовато-зелены, огромная китовая акула в сопровождении золотых макрелей и полосатых рыб-лоцманов плывет к вам.

Днище «Кон-Тики» словно покрыто мхом, или так кажется от иллюзий зеленого света.

«Из всех памятников — храмов, соборов, дворцов, галерей — эти музеи судов запоминаются больше всего» — такую запись сделала моя супруга, и, соглашаясь с ней, я и решил воспроизвести эти слова из ее блокнота.

Уже говорил, что оба мы в путешествиях беспрерывно работаем,— надо успеть записать впечатления, яркие фразы гида, ассоциации, информацию, ощущения. Иногда сфотографировать на пленку или словом. «У путешественника нет памяти»,— сказал кто-то. Очень правильно сказал. Забывается почти все, казалось бы, и незабываемое. Остается в осадке очень мало, так себе, какая-то жалкая полуявь, полувоспоминания.

Но работа наша — руки отваливаются от этого беспредельного черкания каракулями — частенько вызывает иронию других членов нашего коллектива. Во взглядах, в улыбках ясненько так написано: гляди-ка, пишут чего-то там, кропают, п р о в и н ц и я. Пишут... Кому? К чему это? Ха-ха...

Ну, ладно, мы не обидчивы. Тем более что и обижаться не стоит. К сожалению, большая часть путешествующих туристами напоминает мне людей, которых кормят с ложки. «Ну-ка, попробуйте вот это? Вкусно?» «А еще ложечку, то бишь галерею? Вкусно?» Ну, вот и хорошо.

Вот и еще скушайте ложечку. Ешьте, ешьте. А вот еще один музей.

Боюсь я, что не так ли кормлю и читателя, как кормили нас в Осло... Вслед за «Фрамом» и «Кон-Тики» был музей народного зодчества. О нем я не стану распространяться, тем более что многое подобное есть и у нас, разные заповедники северной старины, вроде Кижей, где собраны на зеленых лужайках, перевезены, смонтированы старинные деревянные строения: церкви, часовни, мельницы, поморские дома с клетями и подклетями — собрано седое время. Нечто подобное видели мы на лужайках под Осло. Иные строения были с берестяной кровлей, крыты дерном. Бревна невероятных размеров. Мысль: как их поднимали, накатывали? На деревянной церкви с крестом изображения химер и драконов («Для отпугивания злых духов»,— сообщает фрау Фанни).

В просторных, словно бы поморских, домах непомерной ширины тесаные половицы или просто полы сделаны из колотых бревен. На притолоке вырезаны имена всех живших тут. На дерновой крыше хоть коси: бело цветет таволга-лабазник, малиновый иван-чай, ромашки, желтый козлобородник. Знакомая картина. Здесь старая Норвегия ничем не отличается от северной поморской Руси, от Вятской губернии в глубине России.

В музей Сони Хэнни мы поехали уже к вечеру. Сони Хэнни — знаменитая норвежская конькобежка, фигуристка и кинозвезда. Сейчас это имя, особенно за пределами Норвегии, уже менее известно, но мы, поколение, чья юность пришлась на те «сороковые роковые», хорошо помним эту норвежскую Соню по голливудскому фильму «Серенада солнечной долины». Что за «серенада»? Ну, комедия, мелодрама, пасторалька в типичном американском стиле, а как помнится до сих пор! Помнится. И все благодаря этой Хэнни. Вот она порхает по экрану, недоступный улыбчивый цветок из мира грез, режиссерских выдумок, опереточных трагедий и счастья с б ы в ш е й с я любви. Сколько лет прошло? А в памяти улыбки Сони Хэнни. Теперь мы едем в ее музей или, точнее, Центр искусств, основанный Хэнни и ее мужем Нильсом Онстадом в 1961 году. На строительство дома, где находятся коллекции картин, студия

молодых художников-авангардистов, залы наград, призов и подарков, полученных Хэнни-конькобежкой, супруги пожертвовали 7 миллионов крон — самый большой частный вклад в истории Норвегии,— так сказано в одном из проспектов по музею. Центр искусств расположен в 12 километрах от Осло, на берегу фиорда в живописной местности. Кажется, супруги предусмотрели все для того, чтобы ценители искусства почаще заглядывали сюда. Прекрасное белое одноэтажне здание формы модерн стоит, если можно так сказать, на лоне природы. Парк. Близость фиорда. Ресторан и гриль-бар. Бетон. Алюминий. Стекло. Здесь есть место для выступлений актеров, театральных представлений, кино. Пять больших залов под одной крышей демонстрируют около 250 картин главным образом художников-модернистов разных направлений. Это Мунк, Боннар, Ян Грис, Виллон, Пикассо и Меро. Особо представлены молодые художники послевоенного периода Базен, Манесье, Хортунг, Салаж.

Живопись-модерн как-то мало привлекла наше внимание. Может быть, надо быть ее исключительным знатоком и ценителем, чтобы восхититься этими красочными пятнами, полюсами и штрихами, фигурами, отчасти напоминающими рисунки больных детей, разного рода монстрами, которых творит не знающая (да и не желающая знать) никаких правил-канонов кисть живописца. Выскажусь откровенно, я видел очень много всевозможного модерна в живописи, графике, в скульптуре, видел не только в Осло, но в Брюсселе, Амстердаме, Гааге, Антверпене, в Париже — в музеях импрессионизма и постимпрессионизма. Наконец, в Центре современного искусства имени Помпиду, где на четырех этажах громадного здания, напоминающего заводской цех, собрано множество «артов» всех направлений,— и все-таки не сумел полюбить то, что трудно назвать истинным искусством, зовущим к размышлению, дающим истинное эстетическое наслаждение от общения с ним. То же примерно можно сказать и о коллекции модернистских творений в Центре искусств. Они не взволновали моей души, как не волнуют ее, скажу по чести, и картины с экскаваторами, домнами и самосвалами на переднем плане, которые сплошь видишь на иных наших выставках изобразительного искусства. Суть искусства — человек. Истина, которую не надо заменять изображениями

уродов и монстров, равно как тщательно выписанными орудиями труда.

Мы смотрели в музее Хэнни собрание серебра, кубков, хрусталя, медалей — ее призов и наград в полированных, роскошных витринах. А я думал — вот где встретились... Разве мечталось тогда о путешествиях, о той же Норвегии, где я сейчас нахожусь. А все помню, в темном зрительном зале сидели, улыбались ответно улыбкам девушки с экрана. Мрачные, стриженые подростки, ждущие любви, может быть, вот такой же солнечной, что осветит их жизнь, жизнь по карточкам, жизнь в телогрейках и башмаках на деревянной подошве. Как давно это было. А было...

Судя по музею, Сони Хэнни прожила счастливую жизнь, очень счастливую, чего не скажешь о другом норвежце Эдварде Мунке — художнике, в музей которого фрау Фанни привозила нас незадолго до закрытия.

Пылал за Осло яркий скандинавский закат. Трехслойное небо светилось чистыми основными тонами: желтый, красный, синий. И, подсвеченные закатом, фиолетово-лиловые тучи стояли на горизонте над всем, что далеко, там, на севере, может быть, в Лапландии. Эти резкие краски словно напоминали жизнь-бытие художника, полубезумца, искателя запредельного. Все его картины как бы воплощение момента, мгновения, нюанса, крика боли, ужаса, отчаяния, переплавленные штрихом и цветом.

— Мунк — это норвежский импрессионист,— пояснила фрау Фанни.— Как Ван Гог.

Мне приходится истолковывать точнее. Ни Ван Гог, ни Мунк в прямом смысле не были импрессионистами. Ван Гог уже пережил первичную скандальную славу импрессионизма и ушел дальше в ту страну, которую искусствоведы именуют постимпрессионизмом. Что касается Мунка, то он, конечно, представитель экспрессионизма,— движение в живописи, и не только в ней одной, идущее к еще большей выразительности и сведению образа к шаржу, линии к штриху, цвета — к крику. Судьбы Мунка и Ван Гога отчасти перекликаются. Оба жили на грани душевных болезней, оба новаторы, оба непризнанные (по крайней мере так можно сказать про Ван Гога и раннего Мунка), оба обогатили мировое искусство сотнями шедевров. В отличие от голландского ху-

дожника Мунк жил долго (1863—1944) и еще успел увидеть зарю своей славы.

Фанни сообщает, что одна из картин Мунка недавно продана в Лондоне на аукционе за миллион фунтов.

И вот мы стоим перед музеем Мунка. Одноэтажное белое здание по масштабам уступает музею Ван Гога в Амстердаме, но тоже имеет светлые просторные залы, где картины живописца и его графика представлены самым большим собранием в мире. Залы музея похожи на длинные прямоугольники. Светлые стены отделаны пластиком. На них картины. Странные, подчас вызывающие,— Мунк не шел ни на какие компромиссы с живописным каноном,— писал как хотел, как видел, как переживал. В рамах словно бы не красочные полотна, а некие болезненные цветки, воспаленные, рыдающие, кричащие (одна, очень известная, так и называется «Крик»,— добавлю от себя,— это крик ужаса). Иные картины светло-прозрачны, как сны или миражи, другие — торжественно вдохновенны, как слезы радости и просветления, но чаще мрачные, жуткого вида полотна, точно подвалы с людьми-привидениями. Болезненные фантазии. Страхи. Персонажи колдовского эпоса. И сами названия картин: «Вампир», «Больная»... Истерически искаженные, переполненные страхами лица и тела. Мунк умел соединить линию и цвет, передать экспрессию чувства, состояние искаженным образом и цветным воплем. Мунк — живописец. Мунк — график. Но — равноталантливый! Вот это уж подлинная радость в искусстве. Не поймешь и не скажешь, в чем он сильнее.

Женщины Мунка потрясают скорее не живописью, а каким-то простейшим и часто плотским выражением лица и тела. Чувствуется, художник и любит, и ненавидит ЖЕНЩИНУ. Много натерпелся от нее, не может простить, как не может и не любоваться ее вечной красотой — природой. Вот знаменитая «Мадонна» Мунка — женщина, более похожая на привидение. Внизу, сбоку, жалкий, высосанный, будто комар, скорчившийся не то скелет, не то уродец. Или этот ужасный розово-воспаленный «Крик»! От людей по мосту бежит прочь некто с разинутым ртом. Далее женщина с крыльями летучей мыши — ведьма или дьяволица. «Автопортрет» — лицо с явными признаками постоянной душевной муки. Ничем не похоже на Ван Гога в его автопортретах, но много общего в выражении. Или «Доктор Якобсен». Этакое

воплощение врачебного бездушия и закаменелости. Вспомним, что и Ван Гог писал своих докторов. О его докторе Гаше, два идентичных портрета которого хранятся один в Лувре, а другой в частном собрании в Америке, я уже говорил. Может быть, Мунку больше везло на докторов,— он прожил восемьдесят один год! Художник жил главным образом в Асгарстренде — небольшом городе недалеко от Осло, где купил дом в 1897 году и прожил в нем почти полстолетия, до смерти в 1944 году. Асгарстренд мало изменился, с тех пор как там жил Мунк. Дом его сохраняется. А по завещанию художника городу Осло перешла громадная коллекция его произведений: около 1100 картин, 4500 рисунков и 18 тысяч графических работ. Это был вклад, достойный гражданина своей страны.

Город Осло построил музей Мунка, открывшийся в 1963 году, к столетию художника. Здесь постоянная экспозиция, фонды, имеется также зал, где демонстрируют фильмы, читают лекции. Мунк по праву считается главным представителем экспрессионизма в Скандинавии. Музей очень прост, чист, залит светом. Картины размещены нетесно. На ковровом покрытии пола кучками сидят школьники-посетители. Посидеть можно и на скамьях-банкетках, кое-где поставленных в зале.

Непривычного созерцателя живопись Мунка возмущает. Многие пожимают плечами. Дамы кривят губки. Знатоки и фанатики сияют. Разговор примерно такой: «Что это? Одни уроды?» — «Страсти-мордасти».— «А вот, вы только посмотрите! Обнаженная девочка школьного возраста! Видите?» — «Да, нимфетка».— «Почти по Набокову. Вы читали «Лолиту»?» — «Не читала, но знаю, что безобразие этот ваш Набоков».— «Да почему мой?» — «Вообще ничего не могу понять в этой живописи. Ну, ярко, ну — цвет?» — «Вот именно — цвет! Это великий художник!» — «Революция в искусстве!» — «Коллекция уродов?» — «Хм-хм...» — «И сюда водят школьников?» — «А что плохого?» — «Живопись надо учить понимать с детства!» — «Норвегия страна без предрассудков»,— «А посмотрите, вон там обнаженные мужчина и женщина и, вы знаете, надпись «В лес».— «Да, это ужасно...» — «Да что ужасного? Что за глупости...» — «Ну, знаете...»

Фанни поясняет, что художник один и тот же сюжет рисовал много раз.

Верно. По альбомам Мунка, я знаю по меньшей мере три-четыре вот этих композиции с названием «В лес». Здесь как раз фигуры мужчины и женщины прекрасны, и сам лес перед ними, как очарованная страна. Лес всегда был прибежищем тайны. В лес и в леса уходили не только влюбленные. Там отдыхает душа, возвращается мир и спокойствие, там слетает суетная шелуха бытия, по-иному измеряются страсти и страстишки. Человек перед лесом, разумеется думающий человек, стоит как перед высшей совестью, красотой и правдой — ПЕРЕД ИСТИНОЙ! И здесь, мне кажется, такая мысль. Две фигуры стоят перед синим лесом, как на молитве. Трудно понять художника. Проще всего сделать большие глаза, охаять, отплюнуться, не дать себе времени подумать, рубить сплеча.

Серафима Кондратьевна старается отвести мужа подальше от соблазнов. Ее лицо выражает непреклонность. Скорее к выходу.

А мне вспоминается по этому поводу смешная история. Как-то давно мы с женой — я еще очень молодой и она очень молодая — поехали за город, на станцию Хрустальная, побродить по лесу, поискать грибов, подышать воздухом и просто насладиться летним днем в лесу, самим лесом. Может быть, мы были вот такой иллюстрацией к картине «В лес». Радостные,— чем не дети,— вышли из электрички. Сейчас в лес. Вот он, перед нами. Стоим. Уже обоняем его сладкий цветочный запах... Обнял жену за теплое девичье плечо. От нее тоже пахнет лесом.

Позади голос, вот как у этой Серафимы Кондратьевны. Почему и вспомнилось-то!

— Скажите, вы идете на канал?

Оборачиваюсь. Да, точно вот этакая седовласая молодящаяся бабушка, за ней и еще одна-две. Может быть, группа «Здоровье». Отвечаю: «Нет, не на канал».— «А куда? Может быть, в сторону канала?» — «Извините, не знаю даже, что здесь есть канал». Намереваемся идти... Не отстает. «Но вы же идете в лес?» — «Да».— «Но в таком случае мы пойдем...» (понимай так, с вами, вместе и так далее...).— «Знаете, мы не на канал».— «Да, но ведь вы в лес?» Господи, как же спастись? Как избавиться от этой навязчивой дамы и ее спутниц? Где спасение? «Ведь вы же в лес?»

— Да мы просто... в кусты! — говорю я наконец.

Где краски! Где кисти! — описать негодование молодящейся ханжи. Зато враз отстали. Грешен, конечно. Но поймите меня, люди. Жена красная. Идем к лесу. Молчит. Потом начинает хохотать, тузит меня, и мне уже вроде бы тоже смешно.

— Это не живопись. Это какое-то безобразие! И еще водят школьников?! Ты видишь? Голые женщины. Голые мужчины... Ну, я понимаю... Венера... Но ведь здесь просто — ужас, что такое... И — обнимаются... Какая мерзость... Какая мерзость...

При всей цветности картин Мунка, пляске штриха, иногда идущей до французского точечного пуантилизма Сёра или Синьяка, я понял, что Мунк художник истинно норвежский и «северо-западный». Понял также, как близок к нему наш великий литовец Чюрлёнис и даже — вот диво — Остроухов, Виральт, Петров-Водкин, Кустодиев.

Норвежскую суть Мунка воспринимаешь не столько в типажах лиц на картинах, пейзажах, допустим таких, как «Дом в Асгарстренде», где на деревянном мосту стоят простенькие девушки-провинциалки, не в северных желто- и краснополосных закатах и рассветах,— видишь прежде всего в том, что в картинах он протестант, борец и сеятель нового. Это как бы викинг в искусстве, дерзкий и неукротимый, или рыбак, забрасывающий свои сети в такие дали и глуби, где до него не ловил никто и где сеть иногда приносит чудное и неведомое.

Со звенящей от напряжения головой вернулись в отель. Порция впечатлений опять была чудовищно велика. Но что делать? Надо успеть и усвоить. За тем и ехали. Пили чай. Кипятили в стаканах. Для того есть у нас теперь отличный микрокипятильник. Ели московский хлеб, предусмотрительно запасенный на этот раз вместе с другими продуктами. Ужинов у нас, как вы уже поняли, и здесь не было.

Спать ложимся поздно, а Осло все не спит. С улицы доносит шум этого спокойно-неспокойного, непредсказуемого города. Здесь все не так, как я предполагал и представлял по прочитанному. Деревянные боги на манер российских мужичков, торжественность стенных росписей, свобода нравов, любовь к героям, вольный

вид молодежи, босоногая мамаша в юбке и бюстгальтере, толкающая коляску, хиппи с фигурно выстриженной на манер иероглифов головой, чучело собаки Нансена, картины Мунка, «Фрам», похожий на огромное трехцветное яйцо, нос судна «Мод», памятник Амундсену, каменные и бронзовые могучие женщины, тихий, добрый норвежец, потрясенный нашим аппетитом,— все кружит и кружится в голове, не дает уснуть. А когда заснуть с т а р а е ш ь с я, получается еще хуже.

Глава VI

Крепость Акерсхус. Белозобые дрозды. Куда девать норвежские кроны. Нищие музыканты. «Попрошайничать надо уметь». Сувениры из Осло.

И еще один день в Осло. Он уже не перегружен музеями. С утра были только в крепости Акерсхус, старинном добротном укреплении на берегу Осло-фиорда. Некогда крепость была дворцом. Мрачные стены из огромных средневековых кирпичей. Строена в 1300 году при короле Хоконе V Магнуссоне. Реставрирована и теперь — памятник и место приемов. На стенах залов секиры, мечи, копья, ружья. Старинная мебель. Сундуки. Гобелены, выцветшие от времени. Коллекция сабель. Залы, где пировали короли и рыцари. Все это тронуто безжалостной рукой времени, безмолвно говорит об ушедших веках. При крепости-замке на берегу фиорда — парк. И здесь уже нет следов времени, ярко зеленеет подстриженная трава, ее увлажняют вращающиеся разбрызгиватели, дорожки ухожены и укатаны, громадные дубы, каштаны и платаны без признаков старости, а по лужайкам и в кустах везде бегают крупные черно-седые, с муаровым переливом на перьях, желтоносые дрозды. Это не был обычный на Северном Западе черный дрозд, что поет и гнездится во всех парках и садах. Хорошо помню, например, его гнездо на подстриженном каштане у самой Эйфелевой башни, где дрозд, не обращая внимания на толпы туристов, кормил птенцов. Здесь, в Норвегии, в более крупных черновато-

сизых птицах я узнал замечательного певца северных белых ночей белозобого дрозда! На вид он слегка сходен с черным, но крупнее, красивее, и белый нагрудник-полумесяц придает этой птице нечто торжественно-таинственное. Страстный орнитолог тотчас пробудился во мне, подтверждая догадку.

— Смотри! Смотри! Белозобый дрозд! — едва не закричал я спутнице, дергая ее за руку.

— Все-то ты знаешь,— сказала она, усмехаясь.

— Да ведь это — редкость! Большая редкость! — радостно подтвердил я.— Это тебе не обычный черный дрозд.

И должно быть привыкшая уже радоваться вместе со мной, жена улыбнулась, следя, как птица, отчасти похожая и на скворца, только вдвое больше, бегала по газону, деловито вылавливая кузнечиков.

Так и запомнилась мне крепость Акерсхус, скорее, не пушками, не мрачными залами с коллекциями оружия, а белозобыми дроздами, мирно живущими тут, в большом и красивом парке.

В последний день нашего пребывания в Осло мы решили идти в центр, по магазинам, пошли, хотя заранее знали оба — ненужная это затея. В центре сосредоточены самые дорогие универмаги, торговые ряды. Здесь все дорого. Цены... Куда нам! Смотреть витрины? Толкаться в толпе? К тому же и жара была сегодня отнюдь не северная, понуждавшая многих норвежцев и норвежек одеться как можно раскованнее. В этой толпе мы гляделись прибывшими с полюса.

В самом центре Осло, на оживленных улицах, было много не то чтобы нищих, но людей, пробивающихся подаянием. Вот благообразный мальчик-еврей, лет четырнадцати, старательно играет на скрипке. Юный маэстро зарабатывает на скудный хлеб. Дальше бородатый рыжий художник рисует цветными мелками на тротуаре. Еще дальше, на перекрестке, подобии маленькой площади, прыгает человек, похожий на цыгана или итальянца. Он темнокож, курчавые волосы, улыбка дьявола на желтом, копченом лице. Играет на саксофоне, приплясывает, бьет в барабан, брякает медными тарелками, привязанными к коленям. Все это одновременно. Человек-оркестр. Получается довольно бравурная музыка в сочетании с каннибальским танцем. Закончив играть и плясать, обходит толпу со шляпой.

Кроны и мелочь бросают не густо. Человек утомлен, но улыбается своей сатанинской улыбкой.

Еще дальше парень красивого вида, с чистым правильным лицом, прическа — аккуратный проборчик, бренчит на гитаре. У ног, в раскрытом футляре, несколько медяков.

И уж совсем безнадежно дудел на какой-то трубе негр на углу улицы, сворачивающей прочь от центра. Негр был печален. Самый печальный негр, какого мы когда-либо видели. В шапке ни одной монеты. Эх ты, бедняга...

Такого рода заработок здесь, по-видимому, дело привычное. И не осудишь этих бедняков, скорее всего, они безработные. Впрочем, кроме негра, все они не вызывали своим видом большого сострадания. Гораздо более трогающую и печальную картину видели мы как-то во французском городе Авиньоне. Там, в привокзальных улицах, на углу одной из них, стояла целая семья. Молодой мужчина, женщина с ребенком на руках и маленький бурый щенок, привязанный на веревочку. Муж играл на гитаре, женщина пела плачуще-крикливым голосом, ребенок привычно спал у нее на руках, но почему-то больше всех вызывал сострадание этот щеночек на шнурке, покорно сидевший у ног четы, смотревший на мир с трогательной щенячьей грустью. И наверное, уж согрешу, не им, молодым и здоровым людям, сколько ему, склонившему на бок свою трогательную детскую голову со свисающими краями пушистых ушек, кидали и кидали в футляр гитары латунные и никелевые франки и сантимы.

— Вот и попрошайничать тоже надо уметь,— сказал кто-то из нашей группы.

К попрошайничеству дома все мы привыкли относиться отрицательно: лодыри, тунеядцы, прохвосты — вот основные категории наших оценок. И они в основном справедливы для страны, где нет безработицы, работа всегда имеется, как всегда есть самый дешевый хлеб. А здесь были иные законы, иная жизнь и, значит, иные требовались ее оценки.

Ничего не купив в центре Осло, мы вернулись на улицы близ отеля. Тут были магазины одновременно и проще, и разнообразнее. Ходить по ним даже интересно. Мало ли какой попадется... Вот, например, магазин, торгующий старой морской утварью и атрибутикой. Чего

только не было в нем! Обводы иллюминаторов, якоря, штурвалы старых парусников, морские снасти, медные колокола-рынды, зюйдвестки, морские сапоги и еще бог знает что. Покупателей в магазине не было. Казался необитаемым. Мы искали магазин раковин, но такого в Осло не нашли, зато обнаружили неплохой магазин хрусталя и фарфора. Деньги надо было тратить. Зайдем?

Сказано — сделано. Мы зашли в магазин, к огромной радости двух парней-норвежцев, не то продавцов, не то хозяйских сыновей, последнее кажется более верным. Парни глядели на нас так, как смотрят на седьмое чудо света, само собой явившееся в гости. Покупатели?! Мальчишки безошибочно угадали в нас людей, способных купить сверкающий товар. Хотя говорили мы на странном языке. Кто такие — непонятно.

Больше всего подошли нам по цене и стилю две литые хрустальные безделушки — конфетница и рогатая модерн-ваза для цветов. Только вот какую взять? Нравились обе. Вернее, мне ваза, а жене — конфетница.

— Купим обе! — решились на компромисс. Денег хватало. Вот и будут у нас норвежские сувениры из Осло! Вазы правда красивые и недорого.

— Мы это купим! — к огромной радости юнцов, по-немецки сказал я.— Битте, гутен паккен!

Вазы нам бережно-бережно упаковали в коробки, нас проводили до дверей. Выйдя и оглянувшись, мы увидели обоих продавцов, выскочивших из магазина за дверь, очевидно, поглядеть на чудаков.

Дома, то есть в гостинице, мы распаковали вазы, чтоб еще раз полюбоваться творениями норвежских мастеров. Разглядывая внимательно, заметили на боковинках золотые круглые наклеечки.

«Сделано в Чехословакии»,— четко было на них. Ничего не осталось, как от души посмеяться.

— Так, глядишь, мы и с Урала что-нибудь здесь купим! — хохотала жена. Ходит ведь такой анекдот не анекдот, но рассказик, как некая свердловчанка купила в Париже великолепные туфли модерн, привезла домой и обнаружила клеймо фабрики «Уралобувь».

КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ

Швеция, как красивая женщина, красота ее сразу бросается в глаза, а чтобы узнать по-настоящему, какой у нее характер, надо прожить с ней некоторое время.

Геннадий Фиш

Летели мы теперь уже на самолете Ил-62, но финской авиакомпании «САС». Прощальный взгляд на Осло-фиорд, похожий на громадную синюю реку, где купаются гигантские допотопные чудища, динозавры не динозавры, черепахи не черепахи, но что-то такое, что явно было живым и движущимся, глядело глазами панцирных рептилий, и только время остановило их движение, и они замерли, окаменели, поросли лесом и так лежат в голубой воде, может быть, до нового воскрешения... Осло-фиорд, может быть, красивейший из фиордов этой страны моря, леса и камня.

Перелет до Стокгольма так же невелик во времени, как от Копенгагена до Осло. К тому же нам подают еще нечто вроде раннего ужина или позднего обеда. Стюардессы-финки, светловолосые и розовощекие, очаровательны, к тому же, как у всякого мужчины, у меня есть свой тип привлекательной женщины, для меня он как раз «финно-угорский», как называю я его, то есть женщины с льняными и ближе к овсяной соломе волосами и северно-серыми спокойными глазами. Кстати, и моя спутница относится к этому типу, но не дело мужу описывать достоинства или недостатки своей жены. А финки, заметив мой взгляд, столь же очаровательно усмехаются. Коль уж я заговорил о женщинах и смотрю на них, то вспоминаю, что Швеция считается страной красавиц, это отмечали многие бывавшие там, да тот же Фиш, из книги которого я взял эпиграф, и даже печально известный Булгарин, который вычислил, что во время стояния его на одном стокгольмском мосту из ста прошедших мимо шведок было столько-то настоящих красавиц, столько-то прелестных, столько-то, говоря по-русски, хоть куда и совсем мало невзрачных. Ну, что ж, прилетим — посмотрим, убедимся сами, женщины, как ни крути, входят в число самых запоминающихся достопримечательностей любой страны, города,

местности, насчет мужчин я этого не скажу, да, наверное, тут лучше спрашивать у женской половины нашей группы.

А пока справлялись с этим ужином-обедом, самолет уже, клоня крыло, делал плавный разворот, снижался, и в иллюминаторе, как в овальной раме, открывалась поразительная по ясности панорама Стокгольма — Северной Венеции. И не бывав в Стокгольме, я знал, что центр его представляет собой остров. Видимо, вот этот, как бы плавающий в середине голубого до синевы залива и словно привязанный к застроенным берегам тросами мостов. Здесь замок королей Швеции, должно быть, вон те три кирпичных строгих квадрата. Сверху кажется, что весь город плавает на воде, даже зыблется, мосты стягивают его берега, не дают расплыться, но ощущение власти воды, ее простора, пожалуй, сильнее всей этой застройки по берегам, нарезанной, как некий странный торт, на аккуратные доли и дольки. Улицы Стокгольма сравнительно с другими городами-столицами Скандинавии прямые, бегут по ним потоки разноцветных жучков-машин. Игрушки-суда стоят на причалах вдоль небережной, и прекрасная модель парусника с тремя мачтами стоит у противоположного берега, наискосок от дворца. Еще я успеваю рассмотреть крепость — мрачноватое строение с башней типа каланчи и рядок узких прямоугольных домов-высотников, похожих на поставленные друг за другом игральные карты. Стокгольм — город на воде. Сверху это ясно видишь и понимаешь, ибо водное пространство морского залива, где «плавает» центр, просторнее окружающего его города. Из справочников я знаю, что Стокгольм имеет приличную историю, впервые упомянут в 1252 году, но, конечно, люди жили здесь и в более отдаленное время, уходящее к стоянкам викингов. Очевидно, на удобном острове посреди залива они основали нечто вроде главного поселения, города на холме,— немецкое Штадтхольм, другое, более древнее предположение, что здесь скатывали в воду стволы срубленных деревьев и отсюда шведское «штоккар». Историческим основателем города является регент, воинственный Ярл Биргер. Считается, что город прошел через три периода — становление, в 13 и 14 столетиях, превращение в столицу объединенных под властью Швеции земель в 15—17 веках и, наконец, эпоху расширения и разви-

тия, особенно быстро идущую от девятнадцатого века и до настоящего времени.

Глава VII

Аэропорт Арланда. Шведско-датско-норвежский юмор. Прием в посольстве. Обед без хлеба. Экскурсия по городу и в национальную галерею. Вечерний Стокгольм. Рулетка в гостинице «Карлтон».

Аэропорт Арланда считается лучшим в Скандинавии, как лучшим в Европе новый аэропорт под Парижем — «Шарль де Голль». Мы были в обоих и можем сопоставить. Действительно, Арланда внушителен,— движущиеся дорожки, светореклама, четкая работа таможни. Правда, с моими норвежско-чешскими вазами на секунду заминка. Экран просвечивающего багажи-чемоданы телевизора показывает нечто странное, непонятной формы. Но таможенники здесь привычные, только спрашивают: «Что это такое?» Язык близкий к немецкому, жесты — к русскому. Все понимаю и отвечаю: «Крюстал».— «Аа! О-о!» — вот и все формальности. Шведской таможне из всех скандинавских больше всего работы. В стране много наркоманов. Нет закона об их принудительном лечении, и наркотики, очевидно, проникают через самые бдительные кордоны. Проблема эта бедственная, к несчастью, коснувшаяся и нашей страны, но все же на нас, русских, смотрят как на людей надежных,— эти не повезут! Таможня все знает.

Если Норвегия по сравнению с Данией поражает своей каменистостью, то Швеция, если можно так выразиться, еще более «скальная». Серый, розоватый, местами голубой и замшелый камень начинается прямо от аэровокзала. Это не горы — а именно скалы, скальные обнажения, сглаженные ледником, временем и морским ветром. Но в Норвегии камень сочетается с не менее северным ландшафтом: сосна, береза, опять сосна, здесь же растительность более южная, и в районе Стокгольма растут не только кипарисоподобные туи, но и чуть ли даже не магнолии. Этакий Северный Прованс. Там, на берегу Средиземного моря, тоже камень,

скалы, яркое небо, хотя и подразбеленное к горизонту вечным зноем, да камень у моря выцвел дожелта, не хранит, как здесь, первозданную синеву. В общем, странное впечатление рождает природа Швеции, по крайней мере Стокгольм, смешение северного и южного особенно заметно, и южное, пожалуй, преобладает, как плетистые вьющиеся розы, что ползут по углу каменного здания какого-то пакгауза.

Нас встречает третий, теперь шведский гид — Эми Валлениус, замечательно чисто, без всякого акцента говорящая по-русски. Узнаем, что Эми просто-напросто москвичка, в свое время вышла замуж за шведа, не потеряла связи с Родиной, каждый год бывает в Москве и даже, должно быть, подданство имеет советское. Наконец-то гид, которого не надо корректировать, вслушиваясь в полуграмотные конструкции, гид, который говорит с нами, как со своими, чуть не сказал по-одесски, «с родными». Эми располагает к себе искренностью, юмором, умением объяснять и показывать достопримечательности просто, без ненужной амбиции — большое достоинство гида. Это женщина средних лет, живая, энергичная, с черными глазами, излучающими будто доброту и спокойствие.

Пока мы едем к Стокгольму, Эми сама расспрашивает нас о Дании и Норвегии. Разговор идет непринужденный, мы рады такому гиду после фру Маргарет и говорившей прописями Фанни.

Между норвежцами и шведами, шведами и датчанами испокон века существует не то чтобы вражда, а довольно едкое высмеивание друг друга. Датчане любят трунить над шведами, шведы — над норвежцами, норвежцы — над всеми и сами над собой. Тут все идет в ход. Характер народа, язык, обычаи и даже то, чего у народа нет, но ему приписывают. Идет это, наверное, издалека, от старых междоусобных распрей, когда страны входили в Датское королевство, а Швеция как бы владела Норвегией. Идет и от разного уровня жизни. Ведь самыми зажиточными по традиции считаются шведы, за ними датчане, норвежцы победнее,— так было до недавнего времени, но сейчас положение меняется. Норвегия поправила дела за счет нефтяного шельфа, Дания интенсифицирует свое молочное хозяйство, а шведы не хотят уступать, они привыкли считать себя самыми-самыми. Из всех скандинавских стран природа

богаче одарила Швецию, есть ископаемые, лес, гидроэнергия, большая территория (в два раза больше Англии!) при населении всего 8,2 миллиона. Швеция не воевала уже около двухсот лет. На ее территорию не врывались захватчики. Даже в годы минувшей войны она умудрилась сохранить нейтралитет, хотя и продавала фашистской Германии железо и сталь,— недаром говорят, что каждый пятый наш погибший солдат убит пулей из шведского металла. Мне вспоминаются слова Геннадия Фиша из его талантливой книги «У шведов» о шведском нейтралитете. Там сказано примерно так: «Если шведы ругают США, они считают необходимым обругать и Россию, но если ругают Россию, ругать США не обязательно».

Фиш пишет, что датские моряки не любят шведских и, если, что называется, «по пьянке» ловят матроса-шведа в порту, то снимают с него штаны. Шведы же трунят над датским произношением: «Когда у шведа болит горло, он начинает говорить по-датски».

Эту шутку нам подтверждает и Эми Валлениус.

— Еще шведы говорят, что лучший способ развлечь норвежца — дать ему чистый лист бумаги, сказав: «Посмотри, что на обороте».

— А еще есть вот такая привычка. У шведов принято писать надписи на тортах. У норвежцев такой привычки нет. Спрашивается, почему?

Недоумение слушателей.

— Потому что норвежцы считают, что торт очень трудно вытащить из машинки,— говорит Эми.

— А почему норвежцы в грозу выбегают из дома? — задает новый вопрос Эми.

— Они думают, что их фотографируют...— отвечает она с усмешкой.

Таков шведский юмор. Норвежцы, без сомнения, платят тем же. За словом в карман эти нации не лезут.

Мы в Стокгольме. Город уже не кажется здесь плавающим на воде. Напротив, он весьма обстоятельно расположен на земной скалистой тверди. Стокгольм респектабелен. Самый основательный город Скандинавии. Основательнее Копенгагена. Все крепко. На скальном грунте. На камне. Все прочно: кладка домов, решетки балконов, стены, ограды. Если Копенгаген напоминает старый Питер, у Стокгольма есть сходство с нынешним Ленинградом, морской залив у королев-

ского острова напоминает Неву, есть здесь и крепость с башней. Дворец королей как-то напоминает уменьшенное подобие Зимнего. Реет над ним голубой флаг с желтым национальным крестом. Флаг у всех скандинавов, как уже говорилось, одинаковый по символике, крест с одним удлиненным концом на однотонном фоне разного цвета. Символика простая, объединяющая как бы всех скандинавов, не лезущая в глаза, достаточно торжественная и осененная религиозным началом. Все соблюдено, продумано... И флаги мне нравятся. Вообще, копаясь внутри себя, я не раз находил какие-то, словно шведские, отзвуки. И, не собираясь примазываться ни к какой нации, лезть в родство, скажу, что в Швеции еще больше, чем в Норвегии, чувствовал себя ближе к Родине, ближе к северной России, а жену мою, похожую на шведку или финку, не раз останавливали с вопросами на малопонятном шведском языке,— видимо, не очень отличалась от местных жителей.

Вот и отель «Карлтон» в самом центре Стокгольма, на Королевской улице! Впрочем, я уж писал, что на Северном Западе все почти королевское. Символика нигде не обходится без короля — что фарфор, что мост. Деньги — кроны. Библиотеки, галереи, марки, музеи, крепости, дворцы — все королевское, или хотя бы так высоко именуется.

«Не хочешь, да станешь монархистом»,— шутит кто-то из наших, читая названия улиц.

— Швеция — конституционная монархия, глава государства — король. Его величество Карл XVI Густав и королева Сильвия. Советский художник Глазунов писал портрет Карла Густава здесь, в Стокгольме. Он писал также президента Финляндии Урхо Кекконена и датского премьера Енса Крага. Дипломатические отношения Швеции с СССР с 1924 года. Советским послом в Швеции долго была первая женщина-посол Александра Михайловна Коллонтай. Швеция имела в Европе самый высокий доход на душу населения. Ее доля в мировом капиталистическом производстве несколько более одного процента. В основном это руды металлов, металл, лес, суда и машины. Швеция — самая телефонизированная страна мира, а кампания «Эриксон» известна всему свету...

Все ясно и точно. Гид Эми на высоте.

В гостинице мы устраиваемся неплохо, в прохладном номере, выходящем на северную сторону, в узкую улицу-щель. Все вроде бы ничего, если не считать, что в доме напротив, почти балкон в балкон, два патлатых парня, типа «золотой молодежи», пьют из банок пиво, что-то орут нам, с трудом перекрикивая включенный на всю железку магнитофон. Картина, в общем, не из необычных. И у нас такое бывает, развлекаются юнцы под равнодушную снисходительность милиции. Не обращаем внимания. Пытаемся не обращать... Это лучшее, что можно придумать в данной ситуации. Хотя дома я расцениваю это как злостное хулиганство и дремучую невоспитанность, а всякого рода забулдыг с их магнитофонами, как бы обязательным приложением к хмелю, считаю... Да пусть читатель сам подберет сравнение, вдруг ему нравится, когда, допустим, сосед развлекается такой музыкой, еще и в ночное время...

Чтоб не слушать пьяные голоса, мы спустились в ресторан. Время было к обеду, и стол накрыт.

Мой сосед по столу писатель-молодожен (ему семьдесят, ей вполовину меньше, первое путешествие за рубеж, может быть, и свадебное) сокрушается:

— Знаете, прямо напротив нас какие-то два жлоба пьют и орут что-то неприятное. Хорошо, что я не понимаю по-шведски.— Встревожен не на шутку.

— Ничего! Выпьют все пиво — угомонятся... В крайнем случае пойдем и поколотим их. Нас-то ведь четверо. Или купим пива, выйдем на балкон, вот только где бы по магнитофону взять. Между прочим, лучшее средство. Однажды я так легко угомонил своего соседа, любителя-меломана. Поставил маг на пол, надел ботинки и сплясал. Получилось чудесно. Еще лучше помогает вода. Пару ведерок на пол — и как рукой... Согласны?

Молодожены смеются, успокаиваются и приступают к обеду.

Я не стану описывать шведский обед в гостинице «Карлтон». Скажу только: он хороший, сытный, вкусный, лишь без традиционного для нас супа и вместо хлеба нечто похожее на сухие галеты. Уже не раз упоминал, что хлеб на Северном Западе словно бы не в моде. Его предпочитают избегать, кроме воздушных утренних булочек и тех длинномерных батонов. А вот шведский завтрак или «шведский стол» я рискну опи-

сать, забегая несколько вперед. Он значительно отличается от «европейского». Утром в том же ресторане отдельные столы накрыты, как у нас на ярмарке-продаже. Горами булочки, сыр, нарезанная колбаса, масло, конфитюр, а также кофе в больших кофейниках, чай, естественно в чайниках, молоко и сливки. Подходи с тарелочкой, бери сколько нужно, наливай чай-кофе, клади сахар и трапезуй за отдельным столиком. Не хватило — добавь, подходи снова, хоть десять раз (правда, такого я не видел, но могу предположить, что возможно), никто тебя не оговорит. Норма и плата за продукты, должно быть, рассчитана на средний аппетит. А поскольку Швеция и вообще страны этого региона, откуда сюда едут ежегодно 3—4 миллиона туристов и путешественников, не славятся обжорством и всякого рода раблезианством, то стол по-шведски выгоден. Себе в убыток здесь не обслуживают и не торгуют. Прислуги минимум — только те, кто меняют чайники и подносят снедь. Аппетит мужской уравновешивается женским — ведь не все, но многие женщины всю жизнь стараются и мечтают похудеть (на мой вкус, несносное качество), едят, как птички. Никак только не могу понять, откуда их полнота?.. Итог напрашивается сам собой. Все четко, просто, демократично, без лишних церемоний. Но у шведского стола есть и железный закон, кстати, соблюдаемый на всем Северном Западе: не должно оставлять на тарелках объедков, закусанного хлеба, корок, несъеденного сыра, масла, сахару. На человека, полубрезгливо ковыряющего в тарелке, оставляющего, едва отведав, разворошенную еду, смотрят (и, думаю, справедливо), как на дикаря, троглодита и даже на существо из животного мира, по пословице, роющееся в апельсинах. Пища — ценность. Ее надо использовать по прямому назначению. Продукты питания здесь не дешевы. Гораздо дороже, чем у нас дома. И русскую расточительность в еде и хлебах я могу объяснить баснословной дешевизной от привычно немеренного богатства.

Первый день в Стокгольме у нас как-то не рассчитан по минутам. После обеда ездили по городу, гуляли, ходили в кино. Такой режим все восприняли с облегчением, устраивал гораздо больше пресыщенной музеями норвежской программы. Лучше меньше, да лучше.

Правда, мы побывали на приеме в своем посольстве.

Думали-гадали, когда ехали, как-то нас встретят. Оказалось, все просто. Некий советник,— не припомню, не записал имени-отчества,— принял нас с ледяной любезностью. Провел по залам роскошного нового здания, на скользском паркете отражались пальмы, зал — чудо для приемов. А потом в разникелированном зальце нам прочли скучную нотацию, как вести себя в Стокгольме. Не ходить на красный свет (штраф очень большой, не хватит всех наших крон), не гулять по ночам, не задерживаться в злачных местах, не...— и так далее. Воспитательный момент. Читавший же лекцию больше походил на чопорного иностранца, чем на соотечественника,— вот что значит жить за границей,— и, помнится, все без исключения вышли за крепкие ворота посольства с некоторым недоумением во взорах. Зачем приглашали? Вот так радушие к своим. Пусть уж сие останется на совести дипломатов. «А ведь стало и очень стало бы»,— как писал Гоголь в «Ревизоре»,— принять группу потеплее. Были в ней люди заслуженные, писатели с именем на всю страну, были два фронтовика со звездами Героев Советского Союза. Оставляю информацию для сведения и размышления. Писать — так правду и только правду.

Вечерний Стокгольм. Город этот довольно прост в планировке. Улицы прямые. Заблудиться мудрено. Тихий розовый вечер с прелестного тона синими тучами. Над башнями и церквами кружат ласточки и стрижи. Здесь их много. Светится стеклянная башня-фонтан на одной из некрупных площадей. Не людно, однако со всех сторон рокочущий скрип роликовых коньков, на которых здесь бешено гоняют здоровенные парни и девушки им под стать. Роликовые коньки в Швеции, похоже, мода и бедствие для нормальных пешеходов. Иди и берегись, могут снести, толкнуть, а то еще и гаркнуть над ухом и — дальше. Вечер выводит на улицы разного рода искателей приключений. Вот ватага веселых юнцов в огромном открытом автомобиле-колымаге мчится куда-то, явно пренебрегая правилами уличного движения. С ревом несутся на ярких японских «Хондах», «Тойотах» парни в цветных шлемах, судя по скорости, кандидаты на больничную койку. Мотоциклистов мы с женой побаиваемся. Однажды,— это

было в Марселе,— один такой лихач едва не сшиб нас, вылетев с главной улицы в узкий проулок, где в пяти метрах от нас он снес несколько человек и, конечно, не уцелел сам. За парнем гналась полиция.

Японцы наводнили европейский, и только ли европейский, рынок мотоциклами-чудовищами, мотоциклами-красавцами. Эти «звери» — так хочется их назвать, даже с виду сверхмодные, быстрые, яркие, глазастые машины с двумя, четырьмя, шестью цилиндрами — так и прут на тебя из витрин. Сила, скорость, мужество, красота! Но скольким юношам она стоит жизни! Молодость жадна до впечатлений, молодость требует простора, размаха и скорости, скорости... Но обилие ревущих чудовищ на улицах вечернего Стокгольма вызывает и чувство какой-то родительской боязни за мчащихся всадников. Впрочем, это уж дело шведское, внутреннее. У нас, в России, мотоцикл, похоже, вымирает в городах, может быть, так же и в глубинке. Заменяется «Жигулями», «Москвичами». Дорожный кордон у нас строже, многочисленнее, и лихачей-«кавалеристов», что лавируют меж машин, бросая ревущий мотоцикл то вправо, то влево, давно бы усмирила суровая ГАИ.

Кроме этих лихачей, вечерний Стокгольм показался мне спокойнее, чем Осло. Чем позднее, тем улицы его становились безлюднее, и мы вернулись в гостиницу «Карлтон».

В вестибюле ее предприимчивые хозяева устроили нечто вроде казино с рулеткой, так что и не ездя в Монте-Карло, здесь можно было проиграть любые наличные деньги. Я не игрок по сути своей и никогда не стал бы рисковать даже франком, кроной, рублем. Во всех играх и лотереях мне чудится замаскированный подвох. За всю жизнь я лишь один раз сыграл во время войны на рынке, у базарного ловкача, где на разграфленную на квадраты картонку «на номер» ставили кто что мог, испытывая судьбу. Я поставил рубль, выиграл пять и сахарную карточку, больше играть не стал. А выигрыш не доставил мне, в общем, большой радости, ведь кто-то остался из-за него без сахару. В общем, я и жена лишь смотрели на бойкий шарик, скачущий в чаше рулетки, которую крутил не мужчина-крупье, а довольно миловидная женщина, типа горничной. Женщина знала свое дело. Бойко раздавала круглые фишки ставящими на красное или на черное, отпу-

скала остроты, выдавала выигрыш, но чаще всего она собирала бумажные банкноты и опускала их в щель-прорезь игорного стола, очевидно, в подобие сейфа, находившегося под ним, и уталкивала туда бумажки специальной плоской «толкушкой». Деньги прятались надежно на случай возможного появления в вестибюле какой-нибудь личности в черной полумаске, желающей, так сказать, «снять банк». Возможно, я и преувеличиваю, но зачем тогда такие предосторожности. Играли в рулетку довольно охотно «по маленькой» и, просадив свои кроны, что было чаще всего, присоединялись к зрителям. В конце концов остались двое — молодой мужчина, или парень лет двадцати, инвалид в кресле-каталке, как видно, весьма богатый, и солидный, седой старик с обличием бизнесмена и не нуждающегося в деньгах человека. Парень в каталке выигрывал, старику же не везло. Он доставал из бумажника зеленые американские доллары, неким полуцарственным, полупрезрительным жестом кидал на стол и делал новую ставку. В конце концов, проиграв сумму, видимо, приличную, но не настолько, чтобы огорчаться, он со смехом потрепал женщину-крупье по плечу и величественно удалился. Инвалида в коляске — кажется, это был также путешествующий американец или немец — увезли служители. Рулетка с ее никелированной центральной стоечкой-турелью с четырьмя блестящими ручками и скачущим в полированной чаше шариком все-таки осталась в моей памяти как символ проигрыша, бедствия и в общем-то какого-то легального мошенничества, хотя в нее, говорят, кто-то и выигрывает,— тот парень-американец в каталке не в счет.

Глава VIII

Экскурсия по Стокгольму. Шведские школы. Мужчины на женских должностях и женщины на мужских. К вопросу о пьянстве. Национальный музей. Корабль «Васа». К вопросу о Нобелевских премиях. Куда смотрит шведская ГАИ.

Нам очень нравится полупескованное программами шведское житье. С утра, правда, опять экскурсия, но

как-то неназойливо, просто по городу. Мимо каналов, набережных, площадей, церквей, пристаней, мест, где стоят конные и пешие памятники шведским героям, королям и писателям. Есть и статуя Карла XII. Говорят, что он указывает на Россию. Но что может обозначать сей жест? Карл XII возглавил войска воинственных шведов, он же, быть может, яснее других понял бесполезность, бессмысленность вражды.

В Швеции, как и везде в Скандинавии, чтут историю, ее деятелей и деятелей национальной культуры. Мы проезжаем улицу Бёльмана. В Швеции поэт Карл Микаэль Бёльман, живший в 18 веке, почитается, как у нас Пушкин. Знаю его застольные, славящие радости жизни песни. Бёльман, несомненно, и поэт-философ, глубоко осмысливший течение шведской жизни. Эми говорит, что в Стокгольме ежегодно бывает праздник Бёльмана с театральным представлением и чтением его стихов. Своего рода День поэзии.

Проезжаем американское посольство, которое стокгольмцы зовут самым некрасивым зданием в городе. Мелькают названия ресторанов и ресторанчиков. Как могу понять и успеть, перевожу: «Гамлет», «Шериф», «Гурман», «Милая мама». Это, наверное, что-нибудь для детей. А это, конечно, ресторан, где преобладает мясная кухня,— «Длиннорогий бык». Неплохо для вывески. Далее «Богемия». Это совсем уж близко к богеме. А вот ресторан... «Золотые деньки»! Ха-ха.... Золотые... Деньки. Они, наверное, впрямь могут стать золотыми, если не вылезать отсюда?

Эми говорит, что в Стокгольме на набережной ежегодно бывает парад шляп. Ходят дамы, иные с собачками, и на собачках тоже шляпы.

В туристских проспектах можно прочесть много рекламных зазываний. Преобладают традиционные: «Только у нас!», «Единственный в мире...», «Самое лучшее и по умеренным ценам». Ресторан «Гамлет», например, предлагает даже набор английских фраз в переводе на шведский. Самые обиходные: «Что-нибудь вкусненькое, пожалуйста». Или: «Что-нибудь типично шведское». Или: «Только пиво и отварной картофель». Кошелек посетителей ведь может быть разной толщины. И еще: «Кофе для всех». «Пожалуйста, счет». Удобно?

Мы едем мимо старого здания парламента. По-шведски это риксдаг. Эми сообщает, что в современном со-

ставе парламента 16 мест имеют коммунисты. Во время заседаний в риксдаге можно присутствовать на балконах для публики. Здание парламента отражается в воде. Здесь, в центре Стокгольма, очень много воды, всюду мосты и как бы водяные улицы. Острова и островки, конечно, застроены. Здесь самая респектабельная часть города. Шведский характер словно чувствуется во всей застройке. В городе много старых, любовно ухоженных деревьев, в скверах и парках громадные дубы. Липы в обхват. Каштаны. Буки. Клены. Растительность явно благоденствует тут, щедро снабженная, скажем так, почвенными водами и заботливым уходом. Гид сообщила, что в Стокгольме и зимой недолго лежит снег. А чаще бывают теплые, бесснежные зимы. Минус десять — это уже чрезмерный мороз. В каналах и на заливе зимуют утки, лебеди, здесь их любят и кормят, как везде по Северному Западу.

По привычке я интересуюсь шведской школой, системой образования, и Эми Валлениус подробно рассказывает.

Школа в Швеции из двенадцати классов. 9 классов — обязательны и 3 — можем так сказать — второй ступени. Обучение бесплатное, включая учебники. До пятого класса ученики не получают оценок. В дальнейшем оценки есть, но переводят с любыми. Учись хоть на сплошные двойки! «То-то радость нерадивым!» — скажет кто-то, забывая, что это капиталистическая страна. Да, учись как хочешь, но если ты учишься на эти самые «колы-нули», ты и в жизни будешь занимать в лучшем случае место мусорщика, мойщика посуды, а скорее всего, просто безработного, со всеми вытекающими обстоятельствами. В школах есть уроки домоводства, так сказать, профилактики семейной жизни и даже сексуального просвещения.

— Это же ужас какой-то! — ворчит Серафима Кондратьевна.— Ты представляешь? На уроках! На уроках!

Брачные отношения с 18 лет. А так, скажем, «близкие» не возбраняются с 14. Не следуя Серафиме Кондратьевне, напомню, что на Руси невест выдавали и на 13-м году. Не ссылаюсь на Индию, Иран. В последнем сейчас установили брачный возраст невест... с 9 лет. Усердствует правящее духовенство.

В школах и детских садах Швеции работает много

мужчин. У шведов вообще считается, что мужчина, так сказать, обладает всеми правами женщины. Вот почему мужчины неохотно идут в полицию, а женщины служат там с большим рвением. Кажется, в Швеции была единственная или первая женщина-пастор. В Швеции домохозяйки, имеющие семью, считаются работающими. Застрахованы. И получают некое символическое пособие по больничному листу (12 крон в день). По больничному листу оплата за 8 дней без справки. На девятый требуется документ. Есть отпуск, называемый «на доверии», на два-три дня. И снова напомню, Швеция — страна капиталистическая. Если вы будете слишком часто «болеть» и злоупотреблять «доверием», скорее всего, вам откажут от места. Мне рассказывали, что если шведский рабочий в обеденный перерыв берет к столу бутылку пива, на него обязательно обратят внимание те, кому положено от администрации его обращать, а если он делает это постоянно, он будет считаться алкоголиком, и опять с вытекающими последствиями.

Разговор переходит на проблемы сейчас очень актуальные в нашей стране. Эми говорит, что в Швеции нет сухого закона, но есть регистрация алкоголиков. Крепкое пиво продается только в винных магазинах, которые по субботам и воскресеньям закрыты. Пьяницу или человека, явившегося пьяным на работу, уволят без всяких церемоний. В соседней Финляндии к такому относятся еще строже. Там есть лимит на спиртное, нечто вроде карточек на год, появившегося пьяного жестоко штрафуют или отправляют на определенный срок строить аэродромы, дороги и тому подобное. А «отпетым» алкоголикам даже запрещается производить потомство. Таковы законы.

Очевидно для развлечения, гидесса сообщила нам, что в Швеции муж, с согласия супруги, имеет право присутствовать при родах и стоять у изголовья жены. На мой взгляд, гуманно и поучительно для обеих сторон. А послеродовой отпуск вместо жены может взять муж. Не потому ли в Швеции так много мужчин работает в детских садах?

— Вот эта площадь,— говорит Эми,— называется Русское подворье. Здесь продавали русские товары новгородцы. Шведы же возили свои товары в Выборг. Торговые ряды были созданы, когда царь Михаил Романов написал шведской королеве Кристине укоризненное

письмо об утеснениях торговых людей. В Москве,— улыбаясь, говорит Эми,— есть Шведский тупик. Это возле улицы Станиславского...

Объезжаем королевский дворец, как я уже сказал, похожий на Зимний. Эми сообщает, что король получает своеобразную зарплату-содержание от государства. Форма королевского дворца напоминает четкий прямоугольник с двумя более низкими открылками, обращенными к набережной морского залива. Фактически стоит дворец на острове в центре Стокгольма, где до него был сгоревший старый замок «Три короны». Это было в 1697 году. Новое здание построено по плану архитектора Никодима Тессина. Замок охраняется специальной гвардией в синих мундирах и золоченых касках, с одной стороны, напоминающих пожарные, а с другой — каски немецких солдат с острым шпилем-шишаком периода 1-й мировой войны. Периодически на площади перед дворцом эта гвардия устраивает как бы парадное построение, главным образом для туристов-иностранцев. Эми сообщает, что в Стокгольме есть луна-парк, нечто вроде копенгагенского «Тиволи», большой зоосад, «бродвей» — те высотники, похожие на стоящие друг за другом игральные карты, которые я заметил, еще когда самолет заходил на посадку. Высотники, впрочем, не слишком громадные — этажей по двадцать и одинаковой формы. Конечно, есть и Королевский театр, и Королевский национальный музей, и Музей модернизма, и Музей-корабль «Васа», поднятый из морских глубин. Я перечислил эти музеи, так как в них мы побываем, а экскурсия наша кончалась возвращением в отель «Карлтон».

Национальный музей — крупнейшее в Швеции собрание живописи, скульптуры, графики, предметов старины и прикладного искусства. Его коллекции показывают историю европейского искусства, доведенную приблизительно от середины нынешнего тысячелетия до сегодняшних дней. В основу положены королевские собрания и пожертвования. Особенно славится музей собранием русских икон, картин Рембрандта и французской живописи периода классицизма. Стоит этот музей-галерея на берегу — не поймешь сразу — залива или канала, так как морская вода мешается здесь с речной, а рукотворные реки-каналы — с естественными руслами меж островов. Музей кирпичный, трехэтажный, надеж-

но-шведской кладки с трехарочным входом-фронтоном. Прямо к музею ведет мост. Национальный музей шведов — не Лувр, в котором легко заблудиться, поэтому ходим по его залам индивидуально и есть возможность задержаться у картин, которые интересуют больше других, не следить за стремительно удаляющейся группой, большую часть которой (и которых) — я не ставлю это в вину — не слишком интересуют ни старые, ни новые мастера.

Ходим по залам. Ищем, как всегда, «изюминки». Вот Рембрандт — «Святой Петр с ключами». Мне известен этот библейского вида старец по многим репродукциям. Рембрандт ведь издан, переиздан, растиражирован на весь мир. Что такое посмертная слава? Вот бы при жизни художнику... Горько за Рембрандта. За всех, имевших сходную с ним судьбу. Но, может быть, он и выразил ее в олицетворении старика с ключами от рая? Гораздо менее известна, но не менее прекрасна «Кухонная девочка», этакая гризетка-замарашка, задумчиво позирующая великому живописцу. Великому ли? Она того, наверное, и не знала.

А далее мы переходим к залам шведской и северонемецкой живописи. Картины Нильса Бломмера, Хоккерта, Ритверга, Берха, Линдмана. Пейзажи. Море. Порты. Корабли. Вот, например, картина Линдмана «Порт с кораблями», Салмсона «На пшеничном поле». Прекрасен Цорн, его «Женщина с ребенком», «Автопортрет с натурщицей»,— на мой взгляд, лучшая из картин — или его «Танцы в разгаре лета».

Зал импрессионизма, куда хлынули все наши знатоки и будто бы знатоки. Собрание импрессионистов не крупное, но есть Мане, Ренуар, Моне, Берта Моризо, Дега, из постимпрессионистов Сезанн и Гоген. Картины не слишком известные. И вряд ли шедевры. Мане — картина «Парижанки», его же «Портрет Леона Ланкопфа». Моне — это «Морской пейзаж». Ренуар — «Портрет Корде», еще один групповой портрет из раннего периода, где видно подражание голландским мастерам, еще Ренуар с самой лучшей, по моему мнению, в этом собрании картиной «Гренвилл». Берта Моризо — «Женщины в саду»,— слабенькое подражание тому же Ренуару. Дега представлен одним из полотен с танцовщицами. Гоген и Сезанн смотрятся лучше. Это Франция с ее дорогами, полями, одинокими дубами и старыми фер-

мами, похожими на сараи древнекаменной кладки. Гоген традиционен в своих картинах, написанных как бы яичным желтком и малярной синькой. В данном случае передаю общее впечатление.

Описывать музеи-галереи — неблагодарная задача. Либо надо писать о широкоизвестных шедеврах, о картинах хотя бы со скандальной славой, либо... В общем, галереи надо смотреть, как картины Лильефорса, где совсем как будто живая лиса играет со своими лисятами, улетают птицы, порхают бабочки. Кот ловит зяблика.

Лильефорс — картины есть в галерее,— может быть, провозвестник нового направления в живописи, изображающего, так сказать, лики животного мира. Мира, который на его исходе от наших рук мы еще только-только начинаем узнавать, изумляться ему, не отказывать ему в разуме, «гуманизме», этике, совести, индивидуальности, то есть во всем, не говоря уже о красоте, эстетике,— ее-то мы все-таки замечали, крадясь с сачком за редкостной бабочкой, вылавливая раковину, сажая на окно или в сад растение,— во всем, что даст художникам право писать портрет быка, лошади, льва, совы и, как знать, может быть медузы или осьминога. Впрочем, лучшие художники всегда замечали и отражали-видели лики животного мира в обличье человека. Вам не встречались мужчины с лицом медведя или бизона, а также женщины с глазами лани или мурены?

В тот же день мы посетили еще одну шведскую достопримечательность. Это был старинный военный корабль «Васа», построенный на королевской верфи Стокгольма в 1625—1628 годах.

Как повествует путеводитель, «Васа», построенный по приказу короля Густава II Адольфа, был спущен на воду 10 августа 1628 года, но, не успев даже выйти из гавани, по неустановленным причинам вдруг накренился, зачерпнул воду через пушечные портики и с поднятыми парусами и флагами пошел ко дну. Он затонул на сравнительно небольшой глубине — 32 метра. Многие члены экипажа, женщины и дети, бывшие на торжественном спуске судна, погибли. В 1664 году с корабля удалось снять пушки (53 из 54!). Затем о нем забыли, потеряли местонахождение, и лишь через 333 года, в апреле 1961 корабль «Васа» был поднят на поверхность.

«Васа» огромен для своего времени, может быть,

даже чудовищно огромен. Его длина 62 метра! Высота от киля до верха грот-мачты 49 метров, водоизмещение 1300 тонн и площадь парусов 1200 кв. метров. Экипаж составляли 437 человек. Из них 3 офицера, 12 старшин, 12 ремесленников (путеводитель имеет в виду сапожников, слесарей, кузнецов и т. п.), 90 артиллеристов и 300 солдат. К счастью, во время пробного рейса солдат на борту не было, и погибли около 30 человек, вместе с капитаном. Корабль, столько лет пролежавший под водой, на воздухе начал разваливаться. Поэтому его в течение десяти лет пропитывали консервирующей жидкостью и антисептикой.

Такова история корабля. Отреставрирован он на славу, на нем установлены все утраченные части, резные деревянные скульптуры. Судно можно осмотреть, проходя по мосткам возле него или с антресолей понтонного помещения (корабль стоит под крышей), угнетает лишь запах консервирующей жидкости, довольно противный. В музее выставлены документы о том, сколько жалованья платили морякам и солдатам, какой выдавался паек, какие пушки были на вооружении. Из пушек сохранились три двадцатичетырехфунтовые (по весу ядер). Орудийная прислуга состояла из 8 человек!

И снова мы предоставлены сами себе. Экскурсий сегодня больше нет, и мы рады этому обстоятельству. В конце концов надоедает все: архитектура, готика, старые мастера, галереи, магазины,— все это можно принимать в меру, и не следует объедаться. Туристов-путешественников все фирмы без исключения явно перекармливают, и шведы, пожалуй, здесь на высоте. Я уже сказал, что надоедает все, что предписывается принудительно. Зато никогда не приедается просто «бродить по новым местам», по городу, где можно и любоваться все теми же, но самостоятельно открытыми памятниками старины, а то и просто считать в небе ворон и голубей, дышать воздухом, которым дышал Андерсен или Амундсен, посидеть в парке, постоять на мосту через канал или залив, глядя, как полощутся утки и державно плавают лебеди. Я и в музеях люблю гулять, как гурман, и вместо бестолковой беготни присесть где-нибудь на банкетку, любуясь знакомой или приглянувшейся кар-

тиной подолгу. Вот так смотрел сегодня полотна Цорна и Лильефорса.

В Стокгольме, да еще имея карту-проспект, заблудиться мудрено. А возле широкой Кунгстгатан, где находится отель, и вовсе просто ориентироваться. Мы идем по ней до площади Хёторгет, где расположен знаменитый концертный зал или, скажем так, филармония. Ну, и что особенного в этой филармонии, голубоватого тона здании с десятью коринфскими колоннами вдоль фасада? Филармония и в Свердловске есть, пожалуй, не хуже. Но дом я не даром назвал знаменитым, во-первых, у главного входа, прямо в ступенях, бьет фонтан, в котором стоят бронзовые скульптуры муз, а над ними, как бы парящая в водяных струях, статуя Орфея, волшебного певца мифической Эллады, древних богов и героев. Фонтан Орфей, подобно копенгагенскому фонтану Гефион, отпахавшей Данию от Швеции, считается одной из главных достопримечательностей Северной Венеции. Создатель скульптурной группы — Карл Миллес, в музей-усадьбу которого мы должны ехать завтра. Но не только фонтаном знаменито голубое здание с колоннами. Здесь 10 декабря каждого года вручаются Нобелевские премии в области науки и литературы. Каждый год в этот день мир узнает новых счастливцев и новых гениев, прежде, может быть, не слишком известных.

Стою на ступенях возле поющего Орфея. Смотрю, как играют водяные, хрустально-ломкие, с особым шорохом спадающие струи. Мокрые музы смотрят на Орфея. А жена, смеясь, убеждает меня, что раз я родился 10 декабря (так оно и есть), да еще стою сейчас на ступенях концертного зала,— Нобелевская премия мне обеспечена в перспективе. Отвечаю, что, конечно, ничего не имею против приехать за ней сюда в свой день рождения. Но даже если и не повезет, все равно теперь хорошо могу представить чувства лауреатов, поднимающихся по этим обрызганным как бы весенним дождем ступеням.

Поет бронзовый Орфей. Плещет фонтан. Где-то там чудится как бы витающий в здешнем воздухе Нобелевский диплом. Но как легко в Швеции и вообще на Западе сочетается высокая парадность с деловой прозой жизни! На площади перед филармонией в палатках с красными, желтыми, зелеными крышами вовсю торгует, шумит овощной и фруктовый рынок. Бойкие жгучегла-

зые итальянцы, а может, турки продают персики, сливы, арбузы, айву, виноград. Итальянцы в Стокгольме замещают словно бы грузин и узбеков в моем родном городе. И очень на них похожи. Торгуют здесь и экзотическими плодами: апельсины, ананасы, манго, еще что-то колючее, пахучее, южнотропическое. Базарная толчея площади буквально рядом сменяется высотниками модернового Стокгольма, что возвышаются за зданием концертного зала. Это Хёторгсити или «бродвей», которым, чувствуется, шведы гордятся. Сейчас «бродвеи» есть во всех крупных городах мира, но, кажется, всех перещеголял Париж, ибо в нем таких «бродвеев» даже два: один в пригороде с круглыми и шестиугольными домами-башнями, наподобие элеваторов, другой — в самом сердце Парижа, на берегу Сены и недалеко от Эйфелевой башни. «Нью-Йорк» у Сены имеет даже уменьшенную копию статуи Свободы, стоящую на пьедестале как-то почти в реке, у одного из мостов. Это уж так, мелькнувшее сопоставление. Восточный же по стилю базар на площади перед стокгольмской филармонией к вечеру исчезает, как по мановению палочки волшебника. Лотки и тенты убираются в подземное хранилище под площадью. Все исчезает, чтобы воскреснуть на другой день. Вечером площадь чиста и пуста, ничто не напоминает ее дневной торговой суеты.

Меня часто потом спрашивали, раз уж я был в Стокгольме, то каковы размеры Нобелевской премии. И кто ее присуждает. Этот вопрос я задал Эми Валлениус, и она, как всегда, с юмором, живо объяснила, что премия ежегодная, размер зависит от дохода, полученного на капитал, вложенный учредителем. Сумма премии колеблется, следовательно, от 100 до 200 тысяч долларов. Присуждает Нобелевский комитет. Вручает диплом король.

— Я думал — больше! — разочарованно говорит кто-то.

— Не стоит и трудиться.

— Ну, что ж,— говорю.— Были ведь случаи, когда от премии и лауреатства отказывались. Отказался Лев Толстой, отказался Пастернак, кажется, Сартр...

— Я бы не отказался,— опять кто-то со смехом.— Да вот жаль, не предлагают.

Да, господин Нобель сумел увековечить свое имя. Изобретатель динамита, торговец взрывчаткой и россий-

ский нефтяной король, он сумел сделаться шведским меценатом, имя которого, олицетворенное в премии, безусловно, не будет забыто. Но произошло ведь и нечто еще более замечательное, когда премия как бы переросла учредителя, превратившись в символ мировой славы, всесветного признания. Такое случается редко, и Швеция может гордиться символикой почетного лауреатства.

Мы покупаем у итальянца с фиолетово-синими глазами и волосами, с голубыми белками и зубами отменные, благоухающие сливы. Полосатые осы ползают у прилавка. Осы — приложение к сладости. А сливы и на вид так вкусны, светят налитым соком, что я готов немедленно взять одну в рот целиком, чтобы, сдавив, вытолкнуть косточку и ощутить потом почти неземное блаженство сливовой мякоти, превращающейся в сладко кислящий сок. Но супруга строго следит за моим намерением, забирает пакет. Сливы надо вымыть, и со вздохом я подчиняюсь.

Мы сворачиваем за какой-то серебряный магазин. Не того ли уж «Георга Енсена» с его вкрадчиво-зазывающей рекламой?

Далее нам попадается витрина магазина сантехники. О сантехнике этой я рассказывал в Копенгагене, обещал рассказать еще. Так вот, в витрине были выставлены как бы гарнитуры для... уборной. Ну, скажем помягче, туалета. Но какого туалета! Фаянсовый унитаз форм рококо, ослепительно белый с голубыми разводами и цветами. Нечто вроде китайской вазы. В том же стиле сливной бачок, биде, ночные горшки и тому подобная утварь — все в стиль и в цвет. Такая роскошь вряд ли была даже у мадам Ментенон и Помпадур. Посмеялись. Пошли дальше. В конце концов тщеславию пределов нет. И ведь у Маркеса одна из героинь имела, кажется, наследственную ночную вазу из золота — что там фаянс, фарфор!

Мы шли обратно, а тем временем наперерез и навстречу нам из какого-то проулка выкатил древний автомобиль, ну точно «Антилопа-Гну». Автомобиль был открытый, в нем сидела развеселая компания, юнцы и девчонки из тех, что ничего не стесняются. Компашка была явно навеселе, орала, махала руками и, кажется, ногами. Обдав нас синей газовой дрянью, «Антилопа» помчалась по Королевской улице. Бежала она довольно бойко.

— Куда у них смотрит ГАИ,— сказала жена, чуть не выронившая кулек со сливами.

Я же лишь подумал, что Швеция, конечно, особая страна и, как всякая, имеет немало особенностей и чудачеств, почитающихся именно шведскими. В Швеции, например, как не в каждой стране, ни один преподаватель не имеет права занимать кафедру более десяти лет, собаки ходят без намордников. Государственные музеи и библиотеки бесплатны. А в спорах здесь не принято говорить: «Вы ошибаетесь! Вы не правы!» Здесь говорят: «Возможно, вы правы, но я думаю иначе».

Глава IX

Разговор двух женщин. Музей, которого не было в плане. Размышление о модернизме. Экспонаты из рая. Символы искусства. «Позвольте мне работать». Сад Карла Миллеса. Живая античность. До свиданья, Стокгольм!

В моей коллекции фотографий из стран Северного Запада есть одна случайная. На снимке моя жена с каким-то растерянным видом прислушивается (очевидно, это так) к тому, что говорит ей стоящая рядом и точно такого же роста металлическая женщина с руками робота, кубической формы грудями, где соски напоминают пулеметные дула. Женщина из кубического металла, с кубическим животом и бедрами, уперев в них бронзовые руки, по-моему, жалуется на скульптора, который все ее прекрасные женские формы свел к математическим плоскостям и, вбив то, что именуется нежным женским телом, в панцирь робота, заставил мучиться на потеху, иначе не скажешь, стороннему зрителю. Так как будто они и беседуют на фото: одна жалуется, другая — сочувствует, пытается утешить. Как же быть? Как помочь? И в самом деле терпеть уже нет сил.

Фотография сделана в последний день нашего пребывания в Стокгольме, когда, нарушив программу, все мы (нет, не все, пардон, но добрая половина, если не две трети) вместо значащегося в проспекте пункта «Свободное время» отправились в музей современного ис-

кусства, или Модерна-музей, как называют его здесь.

Был веселый, солнечный день, но чем-то напоминающий дни золотой осени. В Стокгольме солнце словно бы нежаркое, белое, и, когда мы оказались на мосту напротив Королевского дворца, украшенном солидной золотой короной, нам еще раз показалось, что в городе уже осень. На мосту дул ветер, он посвистывал в реях парусника — прекрасного корабля, причаленного неподалеку,— залив ходил синей, холодного тона волной. Мост привел нас на остров Скепсхолмен, застроенный солидными каменными особняками, вросшими в каменный грунт и осененными толстыми липами, кленами и дубами. Здесь пахло спокойной несуетной жизнью векового уклада. Где-то пел черный дрозд, мягко шелестели деревья, но как бы забавным и резким диссонансом к этому фешенебельному уюту и покою на берегу, недалеко от моста, стояли огромные, ярко размалеванные в синие и красные полосы раскоряченные муляжи не то кукол, не то игрушек на манер наших дымковских, увеличенных в сотни раз. Иные «игрушки» стояли вверх ногами, другие лежали на боку, третьи таращили грубо намалеванные глаза. Здесь же, визгливо поскрипывая и скрежеща, вращались, словно по ветру, железные конструкции, как бы скелеты, склепанные из старых велосипедов, сломанных плугов, кореженых кроватей и тому подобного. В путеводителе, на обложке которого и были как раз эти яркие монстры, я прочел, что это подарок музею от неких художников-модернистов с названием «Райские фантазии». В свое время демонстрировался в Монреале, Буффало и Нью-Йорке. Огромные глиняшки никак не напоминали обозначенную тематику, но именно ими начинался Музей нового искусства, или Модерна-музей.

«Один из лучших в Европе»,— как сказано в проспекте, он был открыт сначала в старом флотском здании в 1958 году, а впоследствии реконструирован и расширен. В 1975 году музей открылся с новым выставочным помещением и сейчас насчитывает более трех тысяч работ, плюс 200 тысяч экспонатов примыкающего фотомузея. В музее кроме залов для экспозиции имеются мастерские для творчества детей и взрослых, зал для кино- театральных представлений и тому подобное. Это как бы шведское воплощение Центра искусств, подобное Центру Сони Хэнни в Осло. Снаружи здание очень про-

сто и напоминает какие-то бывшие пакгаузы. Внутри Модерна-музей глядятся лучше, как вполне приличная галерея или выставочный комплекс. Интересно, что скульптуры и картины здесь разные. Модернизм как бы противопоставляется самому традиционному реализму в скульптуре, графике и живописи. Вот некая цветная пятнистость в раме, вот треугольники, ромбы, квадраты, перечеркнутые какими-то также цветными линиями и полосами. Картины в манере первых абстракционистов, вроде творения Делоне или Мондриана, рядом еще более загадочный коллаж, не поручусь, что не самого нашего соотечественника и основоположника абстракций Василия Кандинского, какое-нибудь там «Сечение стрелой». А рядом, или чуть дальше, нормальная, скажем так, живопись в простой реалистической манере, в какой пишут выпускники художественных школ, и дипломные творения верхних классов художественной академии. Снова люди в рамах, похожие на сонм уродов и привидений, и опять реализм, даже блестящий. Картина «Жемчужное ожерелье», где фигурно изогнутая красотка в вечернем платье примеряет жемчуг.

Соглашусь, что такая подача модерна, безусловно, дает пищу для размышлений, сильнее подчеркивает все эти кубизмы, дадаизмы и конструктивизмы, весь этот поп-арт и абстракции. На реализме отдыхает разум и глаз, и, как знать, всегда ли в пользу главных экспонатов Модерна-музея делается вывод. Но наверное, и здесь действует золотое шведское правило: «Может быть, вы и правы, но я думаю иначе». Я бы не хотел снова ссылаться на гигантский центр модернизма имени Помпиду в Париже,— его я уже называл,— по сравнению с ним стокгольмский музей кажется проще и примитивнее, но — парадокс: из него выносишь едва ли не больше четко отложившихся мнений и впечатлений о модернизме и его тайнах.

Попытаюсь описать некоторые наиболее примечательные экспонаты. Вот сюрреализм — картина Сальвадора Дали со сверхсимволическим названием «Мистерия Вильгельма Телля». Одна из первых крупных (по масштабу) картин испанского художника. Коричневые и желтые тона. На переднем плане инструмент, видимо музыкальный, типа пианолы без ножек. Над ним фигура полуголого мужчины, жилетка и шляпа есть, все прочее отсутствует. Мужчина стоит на одном колене.

Одна из ягодиц его вытянута в бревноподобный предмет, концом лежащий на черной рогульке. Но, наверное, зря описываю я, потому что, по объяснениям критиков и знатоков, сюрреализм, видите ли, непознаваем. Да познать тут можно лишь степень болезненности воображения творца. Иного от такой живописи не выносишь.

А вот знаменитый Анри Матисс. Картина «Аполлон». На светлом фоне с инфантильными цветочками нечто вроде детского рисунка: море, в море лицо, как бы женское, над ним венчик солнца.

Если бы это написал, допустим, мальчик лет пяти — все было бы законно. Детская фантазия, детский примитив, конкретное мышление и неумение рисовать. Но...

Однако здесь есть и картины, зовущие к размышлению. Вот Эрнест Кирхнер. «Марцелла». Худая, тощая даже, девочка-подросток со всезнающими глазами, с детства познающими изнанку жизни. Картина Миро «Мул в огороде» — некоторое подобие маленького ослика, что щиплет травку на дачном участке. Ну, что ж... С таким же успехом подошло бы к полотну известное всем: «В огороде — бузина, а в Киеве — дядька». Сугубо абстрактные картины я вообще не комментирую. Незачем. Их можно лишь смотреть, даже не пытаясь что-то понять, ибо смысла тут нет.

Гораздо больше, на мой взгляд, этого смысла в абстрактной скульптуре и конструкциях. Вот Клес Олденбург «Геометрическая мышь». Действительно, нечто из плоскостей и кругов, напоминающее диснеевского Микки-Мауса. Отто Карлзунд — стул, напоминающий отчасти гильотину.

А вот, пожалуй, наиболее «со смыслом». Это Мере Оппенгейм. Конструкция «Моя гувернантка». На тарелке, и еще на салфетке, упакованные на манер жареной курицы две туфельки, каблучками вверх, на каблучках бумажные папильотки, как это делается в ресторанах для отбивных с косточкой. Любопытно? Ведь символика вполне людоедская. О чем мечтает милый мальчик при виде своей гувернантки?..

А дальше мы видим на постаменте обыкновенный унитаз. Как бы в пару к нему водопроводный кран, довольно точно передающий некую часть мужского тела. Автор этого искусства Марсель Дюшамп. Дальше — больше. Угол гроба, как бы выпирающего из земли, куча, величиной со слоновую, какого-то дерьма из розо-

вой пластмассы. Скульптура мужчины, спутанного веревками, и даже натуральная клетка-камера, заглянув в которую, можно увидеть арестанта.

Может быть, символика скульптур и не так проста, но у нормального, здорового человека она рождает, по моему мнению, либо недоумение, либо желание решать эти загадки, как ребусы-шарады, либо усмешку, либо негодование и стыд за бесстыдство художника. Символы искусства, которые как-то с пещерных времен принято называть прекрасными и возвышенными, упрощены здесь до символов элементарных ощущений, таких, как боль, страх, отвращение, ужас и, в лучшем случае, любопытство. Здесь, в этих спокойных, светлых залах, можно долго стоять перед какой-нибудь абракадаброй из железа, бронзы или красочных линий, но большинство их, повторяю, не рождают того чувства, какое рождает и должна рождать истинная живопись или скульптура, чувства, сходного с тем, какое охватывает душу, когда глядишь на морской простор, реку, лесную даль, грозу, улыбку женщины или опушку желтеющего поля.

Допускаю, что мы вышли из стен Модерна-музея более просвещенными в «измах» и «артах». Многие из нас еще раз здраво пытались понять их суть. И я убежден теперь— нет лучшей агитации за реализм, за здоровую живопись и красоту в искусстве, чем общение с модернизмом. Может быть, эта очень тайная мысль и заложена в суть музея его создателями?

Во дворе музея есть стенка, расписанная детьми. Есть много детских работ. Детям, желающим поупражняться в рисовании, здесь дадут краски, бумагу, кисти. Твори! Пиши что хочешь и как хочешь!

Ну, что ж, может быть, это и есть стимул. Но почему-то я уверен, что любые виды модерна лишь косвенно влияют на реализм, они, возможно, не дают ему застаиваться (вспомним о влиянии яркоцветных импрессионистов на каноны классической живописи!), но они никогда не заменят реализм. Он всегда останется главным методом искусства, так же, как здоровое начало природы и человечества, инстинктивно чуждающееся и страдающее от вида уродства и добровольных вериг.

Возвращались из Модерна-музея совсем не той предвкушающей запретные блага толпой. Даже заметил, как приуныли просвещенные знатоки, у которых все с при-

дыханием: «Ах, Дали! Ах, Шагал! Ах, Матисс!» Действительность трезвее мечты. А мне все это вдруг напомнило о домах, в старину называвшихся воспитательными, где жили и мучились дети-уродцы, обреченные быть такими по воле своих творцов, отказавшихся от творений, быть как та женщина, закованная в квадраты и кубы, которая тихо жаловалась или молчала, уперев руки в изуродованные бедра.

В усадьбу скульптора Карма Миллеса, столь же великого и прославленного во всем мире, как и в Швеции, ехать надо из Стокгольма на остров Лидингё. Здесь, на скальном, обрывами спускающемся к морю берегу фиорда, где растут сосны, а вдали виден Стокгольм и словно бы вся Швеция, еще будучи двадцативосьмилетним, скульптор выбрал место для усадьбы. Синий в холодную сталь залив, светлые с пестриной, как грудь сокола, скалы, серое небо, чуть более теплое, чем дали и фиорд. Шумят сосны. Над железными воротами усадьбы надпись: «Позвольте мне работать, пока длится день». Заповедь, пожалуй, всех истинных художников и мастеров. Им ведь так часто не дают именно работать, реализовывать свою неведомо кем вложенную суть. Их поправляют, одергивают, указуют перстом, совращают на легкий и хлебный путь... Среди сосен стоит странный дом в античном стиле с террасами. Фонтаны. В них купаются бронзовые женщины, быки, и сам Посейдон, бог моря, с рыбиной в руках взирает на кипящее торжество воды. Вот прекрасная в своей мощи женщина-Европа, укротившая быка-Юпитера. А далее на столбах-колоннах стрижами вьются не то черти, не то ангелы с узкими крыльями и с коньками на ногах. Вся усадьба Миллеса — музей под открытым небом, памятник труду, таланту, энергии, упорству Человека.

Я уже упоминал о фонтане Орфея, встроенном в лестницу Стокгольмского концертного зала, там, где музы и жена Орфея Эвридика слушают волшебного певца: Миллес озадачил им городской магистрат, и проект, прежде чем стать достопримечательностью столицы, едва прошел, едва не был забаллотирован. Такова доля мастера, опережающего время и современников. Как часто по этой причине уродливая и угодливая по-

средственность «украшает» города, площади и парки. Лезет в глаза пустяковая ложномногозначительная идея, прет могопудье, идут мимо равнодушные. У Миллеса равнодушных нет. Им можно либо восторгаться, как, например, его «Рукой творца»,— представьте огромную бронзовую ладонь, на пальцах которой изваян человек,— либо негодовать: что это за бог моря, что за Посейдон, с рыбиной в руке, точно сбежавший откуда-то или ограбленный, раздетый догола рыбак?

Миллес, как многие художники и скульпторы, любил воду, она органически входит во многие его творения и здесь, на усадьбе, представлена во всех видах, бурлит, брызжет, льется потоками, просто стоит тихим бассейном, в котором цветут розовые кувшинки.

Миллес и его жена Ольга, помощница и возлюбленная, похоронены здесь же, в своей усадьбе, которую годы и годы они строили, превращая в сад искусства. Судьба трех скандинавских скульпторов — датчанина Торвальдсена, норвежца Вигеланна и шведа Миллеса — удивительно сходна. И Миллес долго странствовал по свету, жил в США, пока наконец не вернулся в Швецию, и нет в ней крупного города, где бы не стояли его статуи. Нет сколько-нибудь известного шведа, кто не был бы воплощен в миллесовской бронзе. Король Густав Васа, писатели Тёгнер и Франсен, путешественник Свен Гедин, рыцарь Энгельбрект и многие, многие другие изваяны руками Миллеса, стоят на постаментах в шведских городах и городах мира. Здесь, в Миллесгордене, «дворе Миллеса», они повторены или представлены моделями.

Вот с волнением смотрю на давно известную по репродукциям группу «Человек и Пегас». Летящий конь и несущийся над ним человек — чудо экспрессии и бесконечного движения. Летят и летят в небе две бронзовые фигуры. Крыло Пегаса едва касается гранитного пьедестала. Едва касается!

Этот швед умел преодолевать пространство, время, законы динамики. Это может только великий художник. У него настолько с в о е лицо, что, взглянув на любую статую или группу, без ошибки скажешь: «Это Миллес!» Точно так же неповторимы почерки Вигеланна, Торвальдсена, Родена или Майоля.

И может быть, только здесь, в саду над фиордом, под шум сосен и плеск воды, под полет и танец всех

этих мчащихся, летящих, плывущих фигур я понял, кажется, как откровение, может быть, еще раз смысл жизни художника — преодолевай привычное, молву, тяготение, страсти, страх, расчет, собственную немощь — все, что тянет, давит, отягощает, связывает руки, глаз, язык. Долой эти путы, на слом повседневный хлам жизни! Долой! И ты свободен, перед тобой безбрежные горизонты, может быть, океан, который надо переплыть, и если ты отважишься на это, дашь людям красоту, дашь новую мысль, новое нечто, чего у них до тебя никогда не было и без тебя не будет,— ты найдешь счастье в этом, счастье для них и для себя, наверное, смысл бытия художника.

В доме Миллеса мы осмотрели собрание его античных скульптур. Довольно выразительное и, вероятно, очень дорогое. Много подлинников, есть и античные копии. Античность. Как бы исток творчества всех мастеров. Вновь возвращаешься к мысли, что эти полуразрушенные, одноглазые, с оббитыми носами полуизваяния живы, живут и дышат, смотрят на пришельцев. Они еще очень близки к природе. Может быть, теперь особенно близки. Они знают все секреты искусства. И я словно видел, как Миллес, седой, долгоносый, в круглочерной шляпе, или, пожалуй, без нее, стоит перед ними, спрашивая совета.

Мы покинули Миллесгорден, когда уже посвечивало над фиордом сквозь тучи северно-светлое шведское солнце.

Наутро мы ехали в аэропорт. Улетали из Стокгольма. С Северного Запада, домой! И мне вспомнились слова шведского скульптора Брур Юрта, о котором я не успел рассказать читателю. У Юрта была судьба, сходная с Миллесом. «Именно долгая жизнь за границей научила меня понимать Швецию»,— сказал Юрт.

Мы были за границей недолго. Но и за эти недолгие дни, кажется, еще лучше научились понимать свою Россию. «Может быть, я не прав, но думаю так».

Никонов Н. Г.

Н 64 Северный Запад: Путешествие.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987.— 384 с.

В пер. 1 р. 15 000 экз.

Известный уральский писатель рассказывает о своих поездках в Люксембург, Бельгию, Голландию, в страны Скандинавии.

Н $\frac{4702010200-078}{М158(03)-87}$ 32-87 **ББК 84Р7**

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Григорьевич Никонов

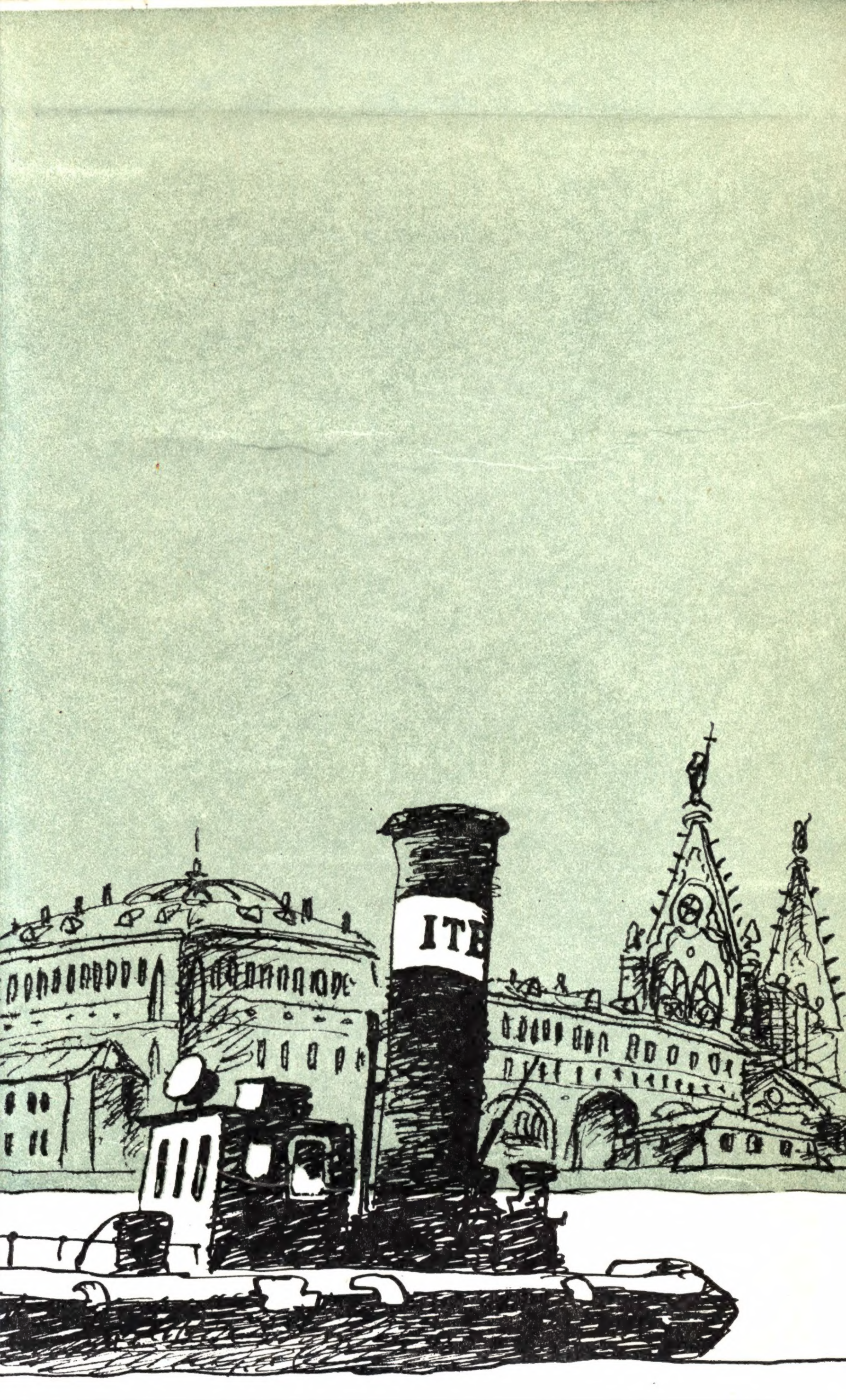
СЕВЕРНЫЙ ЗАПАД

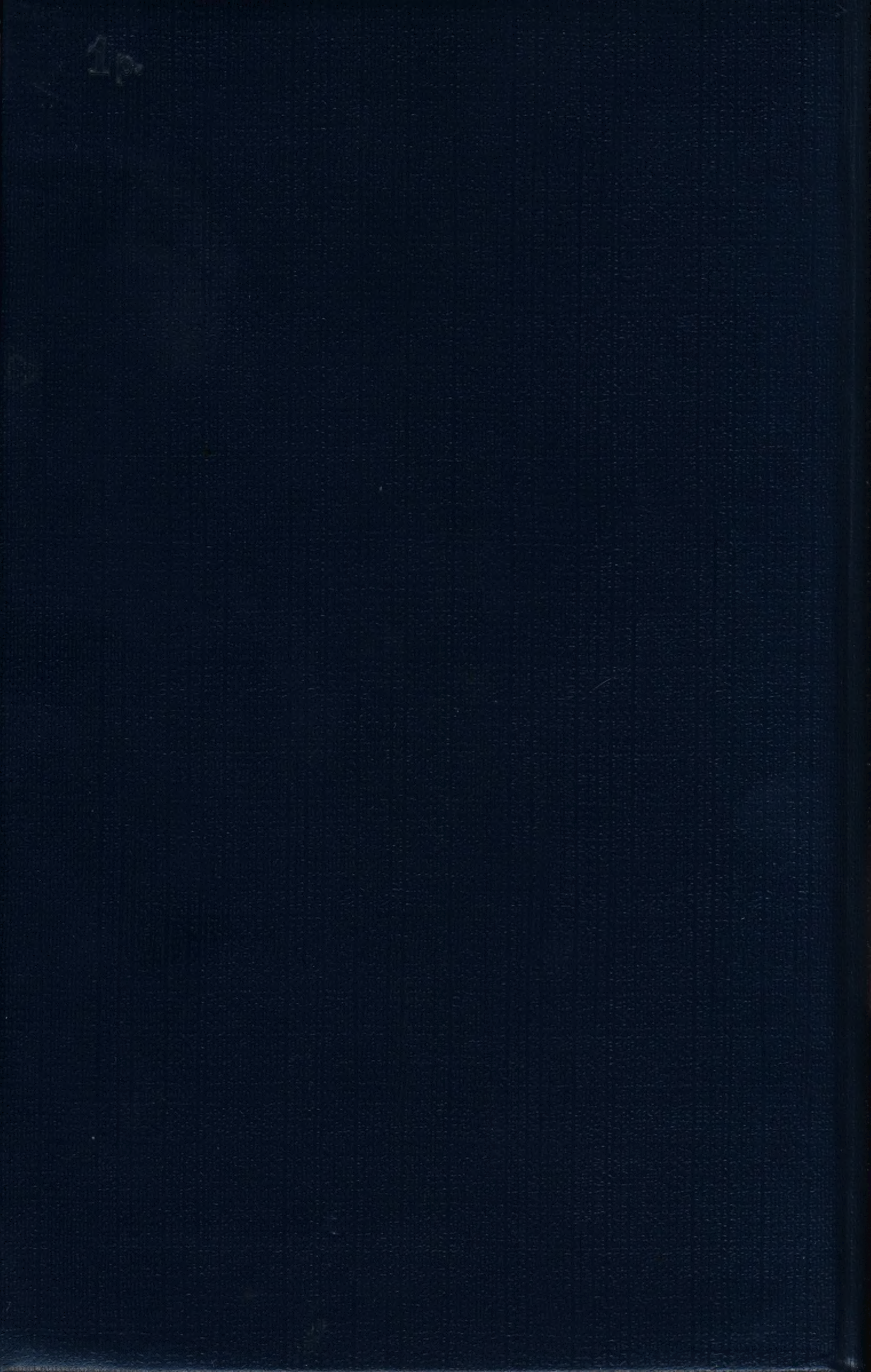
Редактор М. П. Немченко
Художник М. П. Сажаев
Художественный редактор Н. В. Данилов
Технический редактор И. Ш. Трушникова
Корректор Т. В. Сергеенко

ИБ № 1484

Сдано в набор 13.04.87. Подписано в печать 6.08.87. НС 12723. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,2. Усл. кр.-отт. 20,6. Уч.-изд. л. 21,2. Тираж 15 000. Заказ 203. Цена 1 р. Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий». 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

OLS
YNGVE


ITE



николай никонов

северный запад